

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

**ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ  
ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД**



Б

Б

ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ  
ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД

БЕРГГОЛЬЦ

**Б**ИБЛИОТЕКА  
ЖУРНАЛА  
НАМЯ

**ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ**

**ДНЕВНЫЕ  
ЗВЕЗДЫ**

**ГОВОРИТ  
ЛЕНИНГРАД**

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»  
1990

84 P7  
Б 48

Составление  
М. Ф. Берггольц

Б  $\frac{4702010200-2174}{080(02)-90}$  2174-90

© Издательство «Правда», 1990. Составление.



о чем мечталось.  
О чем нам плакалось  
и что хотелось...  
Восстанавливаю  
страх,  
любовь  
и жалость,  
И все, что не было,  
и все, что вдруг имелось.  
Восстанавливаю все свои утраты:  
Заветнейшие (лучших не имелось!)  
Восстанавливаю  
имена и даты,  
Но имя им одно —  
любовь  
и смелость.

*ТВОЯ М.*

## ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ

### ПОЕЗДКА В ГОРОД ДЕТСТВА

#### СОН

У каждого человека, наверное, есть один, самый любимый и самый счастливый, всю жизнь повторяющийся сон. Его невозможно вызвать, упросить, чтобы пришел: он приходит сам, когда захочет. Он может исчезнуть и на целые годы, но потом обязательно вернется и щедро одарит вас той же радостью.

Есть такой сон и у меня: мне снится город детства — Углич, куда мать увезла сестру и меня из Петрограда в 1918 году и где прожили мы почти два с половиной года, пока отец далеко на юге воевал с белыми. Мы жили то на одной, то на другой улице в разных домах, но дольше всего по ордеру горкоммуну в келье Богоявленского девичьего монастыря; это было наше последнее жилье в Угличе. Наш корпус был самым дальним, угловым, он стоял в конце монастырской стены, близ дремучего садика, над глубоким, притаившимся под огромными липами прудом, а в школу мы иногда ходили не по улице, а по темному коридору в толстой каменной монастырской стене. Ходить по этому коридору было страшно, зато в оттепель не промокали валенки. А школа помещалась в том же монастыре, на другом конце, в красном кирпичном здании, которое раньше называлось «покоями» и стояло прямо напротив высокого белого собора с пятью синими главами, и главы были усыпаны крупными золотыми звездами.

Мы прожили в келье лето, осень зиму, — главное, зиму двадцатого года... Ух, какие это были медленные, ледяные вечера, с вонючей слепой коптилкой, с грозным ревом близких монастырских колоколов, с горючей тоской о Петрограде! Мама говорила, что увезла нас из Петрограда для того, чтобы мы не умерли там

с голоду; но мы помнили, что два года назад в Петрограде мы ели лучше, чем теперь, что там бывала даже колбаса, а в нашей столовой горела висячая лампа с абажуром. Мы вспоминали эту лампу, как живого, любимого человека, и нам все казалось, что она и сейчас горит в Петрограде, хотя мама говорила, что бабушка, бабушка и няня Авдотья тоже давно сидят с коптилкой, а едят еще хуже, чем мы: у нас хоть дуранда есть, вобла бывает и много овсяных высевок, из которых можно варить кисель, а там... и она замолкала. Но невозможно было поверить, что во всех, во всех городах, и в особенности в милом Петрограде, так же голодно, холодно и темно, как у нас в келье. Нет, лампа в петроградском доме, наверное, все-таки горела... А мама по вечерам уходила в нашу школу на работу, в ликбез, где старухи учились читать, как маленькие, и мы оставались одни, запертые в сводчатой морозной келье. Угрожающе ревели колокола, чернели полукруглые окна, поблизости было кладбище с могилами каких-то старцев; монашенки, дежурившие в нашей школе, говорили, что старцы иногда зачем-то «встают из могил», и если б не Тузик — рыжая голодная собака, приставшая к нам в эту зиму, — то было бы совсем страшно. Как хорошо, что мы уговорили маму взять собаку в келью и потихоньку делились с нею скудной своей едой: она отвечала нам глубокой любовью, она ревниво оберегала нас. Закутавшись в одеяла, придвинув смердящую коптилку к самым книгам, страшась, что коптилка может потухнуть, и потому почти не дыша (мать оставляла нам на всякий случай одну спичку из своего запаса) мы учили уроки, а Тузик сидел прямо против двери, воинственно наострив рыжие треугольные уши, готовый в любую минуту броситься на старцев, если они вдруг встанут из могил и будут сюда ломиться.

Один раз все-таки, тяжело вздохнув, Муська загасила коптилку. Единственная спичка сломалась у меня в руке, и головку ее мы, конечно, не нашли. Мы оцепенели от ужаса, от внезапной тьмы.

— Теперь мы умрем, — басом сказала Муська.

— Ничего, — прошептала я, — скоро вернется мама. Это звонят ко всенощной, значит, урок в ликбезе уже кончился. Ведь старухам ко всенощной надо...

Но мне было еще страшнее, чем сестренке.

Тузик подошел к нам и, положив лапы мне на колени, деловито облизал наши лица. Язык у него был шершавый, горячий, от него пахнуло теплом. Он держался как самый старший в доме.

— Скоро весна,— сказала я.— Мы опять пойдем в лес... на субботник... собирать ландыши для аптеки и шишки для электростанции. Тебе хочется в лес, Муська?

— Я хочу в Петроград,— ответила она тем же грустным басом.

— Это все из-за Колчака,— пояснила я,— нам в классе говорили! И голод, и все, все...

И сладкая судорога ненависти сдавила мне горло.

Мы замолчали. А в келье было уже не так темно, как в первую минуту, когда погасла копилка и сломалась спичка: смутно стали видны контуры лежанки, подушки на кровати и кадка с водой: то полукруглые окошки, чудесно посветлев, лили в келью снежный, лунный, грустный свет глубокой зимы.

Так мы вместе с Тузиком коротали зиму, встречали милую волжскую весну, ждали папу, ждали конца войны и возвращения в Петроград, к родным, к хлебу, к светлой висячей лампе.

...И вот, уже в молодости, в тридцатых годах, темное, бедственное жильё времен детства и гражданской войны — эта келья, этот угол монастырского двора с могучими липами и, главное, высокий, белый пятиглавый собор напротив школы,— все это стало мне почему-то сниться как место чистейшего, торжествующего, окончательного счастья.

Мне снилось: я попала в Углич и иду по длинной, широкой, заросшей мелкой зеленой травкой улице; и иду я не то на раннем рассвете, когда сумрак переходит в свет, не то поздним, но светлым вечером, переходящим в ночь, потому что не только небо, но весь воздух и даже дома и деревья, окруженные им, трепетно излучают какой-то серебристо-молочный свет, чуть с голубизной — там, наверху. И вот я иду по зеленоватой, мерцающей улице, а вдали тоже мерцает и светится белая громада собора. Мне обязательно нужно дойти до него, потому что за ним — наша школа и садик, а в садике похлопывают и шумят всеми своими круглыми, как бы жестяными, звонкими листиками огромные липы, и я знаю, что когда дойду до собора, до лип — на-



ступит удивительное, мгновенное, полное счастье. И я кружу по странно сумеречным улицам, и собор все ближе, все ярче, и все нарастает и нарастает во мне предчувствие счастья, все сильнее дрожит и трепещет внутри что-то прекрасное, сверкающее, почти режущее, и все ближе собор, и вдруг — конец: просыпаюсь! Так и не удалось мне за долгие-долгие годы дойти — во сне до «своего собора». И с тех пор как мы уехали из Углича, прошло тридцать два года.

В прошлом году я решила проехать в Углич и обязательно наяву дойти до собора, до школы, до того трепетного счастья, которое столько лет снилось. Мне это очень нужно было. Но прежде чем рассказать об этом, надо рассказать еще о том, как мы возвращались в Петроград. Я помню наш обратный путь в Петроград не мертвой памятью, знающей, что то-то и то-то было, имело место, но живой памятью ощущения тогдашних событий и собственных чувств. Той памятью, которая связывает отдельные воспоминания в цельную, единую жизнь, ничему не давая отмереть, но оставляя все вечно живым, сегодняшним. Такая память, говорят, есть наказание или благо человека, а может быть, то и другое вместе. Но если б она была только наказанием, я все равно не отказалась бы от нее.

## ПАПА ПРИЕХАЛ

Мне было десять лет, а сестре восемь, когда однажды утром я проснулась и вдруг увидела, что какой-то военный стоит посредине кельи, спиной к нашей кровати. Его красноармейская шинель была нараспашку, в правой руке он держал мешок, а левой обнял маму и, быстро похлопывая ее по плечу, говорил негромко:

— Ну, ничего, ничего...

Невероятная догадка озарила меня.

— Муська,— закричала я,— вставай! Война кончилась! Папа приехал!

Тут папа обернулся, шагнул к нашей кровати, и мы оцепенели от страха: голова у него была бритая, лицо худое, темное и без усиков, а мы знали, что он должен быть с красивыми усиками и волнистыми волосами: мы почти семь лет — с тех пор как он ушел на войну

еще с германским царем Вильгельмом — знали его по студенческому портрету и давно забыли, какой он — живой.

— Вы — наш папа? — вежливо спросила Муська.

— Ну да, — ответил он и в шинели сел на край кровати; от него пахло незнакомо: сукном, махоркой, дымом, — пахло войной и папой. Он тоже, наверное, не узнавал нас и не знал, что с нами делать; он осторожно левой рукой потрогал сперва мою макушку, потом Муськину, а в правой руке все держал и держал свой мешок: ведь он ехал издалека, с войны, и, наверное, все время так держал мешок, чтоб его не украли мародеры или спекулянты. Мать наконец взяла мешок у него из рук и сказала:

— Ну, поцелуй же ребят...

Но папа не поцеловал нас.

— Вынь им сахару, — сказал он, пристально глядя на Муську.

Мы впервые за последние три года ели сахар, свирепо хрустя и захлебываясь, и все смотрели на нашего папу и привыкали к нему.

— Папа, — спросила я, — голодное время тоже кончилось? Да, папа?

Мне хотелось говорить слово «папа» все время.

— Кончилось, — ответил он.

— И мы поедem в Петроград, папа?

— Ну конечно. Я же за вами приехал.

— Скоро, папа?

— Через три дня.

Мы завизжали и захлопали в ладоши, — они были липкими от сахара и склеивались. Папа в первый раз улыбнулся — он уже немножко привык к нам — и вдруг стал похож на свой студенческий портрет.

— А пароходы по Волге не ходят! — воскликнула Муська. Она была упрямой, она была скептиком и не верила всему этому счастью. — Как же мы?

— А мы прямо на лодке поедem. На большущей такой, знаете? До станции Волга. А оттуда — тук-тук — поездом прямо до Питера.

Он засмеялся, и мы засмеялись и задохнулись от восторга, с обожанием глядя на папу.

И сборы в Петроград начались на другой же день. Незнакомые мужики принесли прямо в келью большие фанерные ящики и свертки рогожи, и к запаху папы

присоединился запах путешествия, отъезда — щемящий запах свежего дерева, воздуха и рогожи. Мы сразу полюбили эти новые, недомашние вещи: забралась в ящики и посидели в них, завернулись в рогожи и походили так по комнате, и папа строго прикрикнул, чтобы мы перестали безобразничать. Нам и это было приятно, потому что означало, что папа с нами не просто так, а уж действительно как настоящий папа, и вообще все на самом деле, потому что он еще прибавил:

— Лучше бы собирали, что в Питер взять!

Мы бросились разбирать наше небогатое детское хозяйство, книжки и игрушки, и вдруг почти все, что еще вчера радовало и было любимо, оказалось недостойным Петрограда: солдаты из чурочек, цветные черепки и большая деревянная ложка, запеленатая в тряпки, которую мы называли «маленький Ванька».

Мы, конечно, забирали Мишку с одним пуговичным глазом и продавленным животом, — ведь Мишка был еще петроградский, он приехал в Углич вместе с нами, а черепки, солдат и «маленького Ваньку» решили оставить здесь.

— А старичка возьмем? — шепотом спросила сестра.

Я тоже перешла на шепот.

— Старичка — да!

И, бросив сборы, мы побежали за нашим старичком.

Мы нашли его ранней весной в монастырском саду, среди еще голых кустов шиповника: он сидел на корточках, горбатенький, темный, опустив корявые ручки до самой земли, неестественно повернув вправо сердитое, задумчивое личико с острой бородкой. Подкравшись поближе, мы увидели, что старичок не настоящий, не живой, а этакий необыкновенный древесный корень. То есть на самом-то деле он, конечно, был живой и только перед нами, перед людьми, замирал и прикидывался корнем, и мы поняли его хитрость.

Мы устроили старичку дом под маленькой, но удивительно густой и угрюмой елкой, похожей на шатер (ведь старичка нельзя было тащить домой, это же была не игрушка, а житель иного, недоступного для людей мира), и старичок жил под елкой, как в капище, в тишине и тайне. Малюсенькие кусочки хлеба, которые мы ему оставляли, он съедал и воду из крышки от бан-

ки выпивал, но, конечно, не при нас. И никто, кроме нас, не знал о старичке и его таинственной жизни, да и нам ни разу не удалось подсмотреть ее, хоть мы очень старались. Но мы догадывались обо всем! Мы даже рассказывали друг другу, как наш старичок ночью бегаёт по саду и все трогает своими корявыми ручками, а иногда зачем-то выкапывает ямки. А бегаёт он, как ступка, переваливаясь с боку на бок, ведь ног-то у него нет! И так было интересно и жутко верить этому, и мы побаивались даже нашего старичка и очень любили его.

Мы захватили с собой старую клетчатую тряпку и благоговейно, немного страшась, вытащили старичка из-под елки. Заглянув в его опустевшее капище, я еще раз убедилась, что мы уезжаем в Петроград. А старичок был безучастен, горбатенький и темный, он думал о чем-то своем, и неестественно повернутое личико его было, как всегда, сердитым и задумчивым. Я завернула старичка в тряпку очень быстро, чтобы никто его не увидел. Мы говорили при нем все время шепотом.

— Дома его не будем разворачивать, да, Лялька?

— Да, да, не разворачивать. А то мама увидит.

— И папа.

— Да, ведь и папа. Папа приехал!

— Ага. Папа приехал. А где старичок будет жить в Петрограде, Лялька?

— Как где? В нашем саду! Муська, ты помнишь наш сад, — какой он огромный, правда?

— Ага. Я помню — он громадный. А наш петроградский дом еще громаднее. Ты знаешь, через три дня мы будем жить в нем!

Мы изумленно смотрели друг на друга и смеялись от счастья.

— Побежим скорее собираться!

Я прижала завернутого старичка к груди, и мы понесли к нашему корпусу. Липы монастырского сада, ликуя, гремели над нами круглыми своими листиками, медовый, сияющий, жаркий ветер летел нам навстречу, мы нарочно бежали что есть силы, опрометью, задыхаясь от ветра и счастья, как вдруг из-за кустов выскочил Тузик.

Он бросался на грудь то ко мне, то к сестре, громко, обиженно лая, и мы остановились как вкопанные, мы поняли: Тузик в с е з н а е т. И то, что мы уезжаем в

Петроград, и то, что мама и папа решительно сказали нам вчера, что Тузика взять с собой невозможно. Он узнал все по новому, чужому запаху папы, по запаху ящиков и рогожи — щемящему запаху отъезда. Он знал также, конечно, что мы не возьмем его с собою, но... но он все-таки надеялся! И в день отъезда, когда мы ловко и незаметно для взрослых сунули нашего старичка в большой ящик под самую рогожу, когда чужие мужики заколотили ящики и повезли их на тачке к пристани, а мы пошли за тачкой, — Тузик деловито бежал рядом, не отвлекаясь ни на минуту в сторону. Он твердо решил ехать вместе с нами в Петроград. Мы с Муськой молчали, подавленные своим предательством, и я даже не оглянулась на монастырь, на собор, который потом столько лет подряд снился мне таким прекрасным и недостижимым.

Большая лодка уже была нагружена нашим скарбом, и папа, очень худой и потный, обнимал угличских друзей и знакомых и торопил нас садиться, а мы, обняв и перецеловав товарищей, все никак не могли проститься с собакой, коротавшей с нами голодные, темные, страшные вечера в келье, и обнимали ее, и плакали, плакали...

Один из мужиков, кативших нашу тачку на пристань, спросил певуче:

— Чья собачка-то?

— Наша, — ответила я и, взглянув на дядьку, увидела, что у него круглое, доброе лицо. — Возьмите ее себе, дяденька! Только, пожалуйста, кормите. А то она умрет.

Дядька кивнул головой:

— Ладно. Возьму для ребят. Собачка веселая, чисто детская.

Он вынул из глубины полосатых штанов веревку, завязал ее на шее Тузика, а конец взял в руку.

— Ну, садитесь, садитесь, — торопил папа. — Да не ревите вы, девчонки, к дедушке-бабушке едете, в Питер!

Мы сели, и лодка отчалила. Отчаянно рванувшись к нам, Тузик залаял, завизжал, захрипел, точно тоже разрыдался. Мы заревели в голос обе.

— Ну, господи благослови, — сказала мама. — Ну, посмотрите же в последний раз на Углич, дети. Ведь сколько здесь пережили.

Я подняла лицо, распухшее от слез. Колеблясь сквозь слезы, точно погружаясь в воду, Углич стоял на высоком-высоком откосе, узорный, древний, зеленый, и «наш собор» возвышался в гуще его зелени, белый, с пятью синими звездными главами, и сумрачно краснел терем Димитрия-царевича на берегу, а немного поодаль — Воскресенский монастырь, и все это было подернуто легкой дымкой летнего зноя и колебалось за пеленой слез, и какой-то белый, нежный пух с деревьев тихонько летел и летел в воздухе. И вдруг во мне вспыхнула небывалая дотоле нежность к исчезающему из глаз городку: здесь ведь было не только «голодное время»; здесь была испытана первая, горделивая, распирающая радость походов на субботники вместе с настоящими коммунистами и комсомольцами, под пение «Интернационала», когда чувствовала, что ты совсем такая, как «большие», и тоже по-настоящему участвуешь в войне с белыми, с ненавистным Колчаком... А наша школа? А Тузик? А праздники — особенно весенние?..

И, не отдавая себе отчета в этом так ясно, как теперь, я помню — сердцем помню, как почувствовала, что что-то очень хорошее, светлое остается в Угличе, такое, чего уже никогда-никогда не будет, даже в Петрограде. И точно тонкая, блестящая, острая струнка дернулась и застонала, задрожала в груди.

...Мы ехали по Волге целый день и целую ночь, и ночью сперва было очень интересно: казалось, что можно даже, если изловчиться, подцепить из темной и теплой воды серебристую звездочку, как рыбку, и на берегах толпились теплые, уютные огни, но потом очень захотелось спать. Мы долго не могли примоститься, отовсюду выпирали ящики, потом, по-щенячьи прижавшись друг к другу, кое-как задремали. Однако проснуться пришлось почти сразу — мы подъехали к станции Волга. Кругом был темно-розовый туман: мы причалили прямо у берега. Мучительно хотелось спать, и все было как во сне: и то, что мы долго карабкались по мокрому, холодному, сизому от росы откосу, и то, что пстом сидели в какой-то вонючей избушке, а потом ехали на нестерпимо скрипящей телеге, и когда уже взошло солнце, приехали на станцию Волга и вошли, наверное, в вокзал.

И тут я до того поразились, что сон как сдуло, а та стонавшая внутри тонкая струнка смолкла внезапно, как оборвалась: столько людей, столько людей было кругом — и в самом вокзале с мутными, полуразбитыми окнами, и на платформе, и прямо на земле у стен вокзала, — столько людей, и, главное, у всех, решительно у всех было одно лицо! Не мужское и не женское, не старое и не молодое, а просто лицо, желтое, как церковная свечка, с синими тенями у глаз, со слившимися прядями серых волос... Потом я узнала это лицо на плакатах Помгола. И — кто лежал в изнеможении, прямо на полу или на земле, кто сидел, кто стоял, но все как-то клубились, кричали, кишели, и диким бедствием, дикой стихией веяло от этих желтосиних клубящихся людей с одним лицом, от слитного, горестного, неумолкающего крика, от режущего плача грудных, от пронзительного запаха мочи и гари.

«Это потому, что кончилась война... это все домой... В Петроград, как мы. Все, все в Петроград... И мы, как они, мы такие же, мы все вместе в Петроград, в Петроград», — стремительно пронеслось в уме, и вдруг я ощутила себя целиком во власти этой стихии, ясно почувствовала, что меня — отдельно — вовсе и нет на земле.

И мы с мамой сели на пол, в гущу людей, тесно прижавшись к одной тетеньке с желтым лицом, до ужаса похожей на нашу маму. Я не могла отвести глаз от нашей соседки. И мы сидели на вокзале долго, до самого вечера, и с ненасытным, новым для себя любопытством разглядывала я обглоданных голодом людей, всем существом ловила общий гул и стон и с жадностью, со страхом, со странным восторгом прислушивалась к новому, смутному, непонятному и огромному — ощущению бытия.

Посадка в вагоны была страшной. Тут все закружилось так, что, казалось, еще минута и — гибель. Папа подал меня и Муську какому-то дядьке прямо в окно, и дядька бросил обеих на верхнюю полку, как мешки. Потом забравшиеся в вагон стали выталкивать тех, кто еще лез в окна, и, в дрожащем желтом свете свечи, люди галдели, стонали и кишели еще страшнее, еще печальнее, чем на вокзале, но я уснула мгновенно, едва голова коснулась полки...

Мне казалось, что кто-то быстро гладит меня по лицу прохладной, пушистой лапкой.

«Белка»,— подумала я, не удивляясь, и в ту же минуту мне приснилась оранжевая сосновая роща, где сосны стояли очень прямые и ярко-оранжевые и между ними неподвижно висели зеркальные солнечные блики и тени. Было очень жарко, руки и щеки прилипали к смоле, было душно от сияющей жаркой смолы, от солнца, от яркого цвета сосен, а белка щекотала лицо быстро, прохладно, нежно, всеми волосиками, расторопно перебирала пряди волос у меня на лбу.

— Белинька, милая,— косноязычно пробормотала я, смеясь и очень любя белку,— вот я тебя поймаю и привезу в Петроград...

Я подняла руку к лицу и открыла глаза. И мгновенно, с той неукротимой жадностью, которая вспыхнула во мне вчера на вокзале, стала смотреть и слушать смотреть и слушать...

Стучал поезд. Смутный рассвет недоуменно, неуверенно освещал вагон. Я взглянула вниз: непонятно как разместившись, истошно кричавшие ночью, грубо пихавшие друг друга люди спали. Все спали, спали сидя, тесно, доверчиво прижавшись друг к другу, спали опустив головы на колени, или спрятав лицо в ладони, или охватив руками затылки. Я не могла различить среди круглых, одинаково согнутых спин папу и маму, спавших, как все. Все сидели так, точно цепенели в глубоком, трудном раздумье, неподвижные, серые, согнувшиеся, и были похожи сверху на большие круглые камни, робко озаренные серым рассветом.

«И спит король Артур, и крепко спят рыцари круглого стола»,— вдруг торжественно и грустно прозвучала в уме вычитанная откуда-то фраза и так это похоже показалось!

Они спали, усталые, безмолвные, как бы навсегда оцепеневшие в важном раздумье, и, спящие так, мчались в Петроград. Лишь иногда раздавался стон или отрывочное, полубредовое бормотанье,— наверное, у многих уже начинался сныняк...

«И крепко спят рыцари круглого стола... А белка?» Лапка ее все еще бегала по моему лицу. Но это оконная рама чуть-чуть спустилась, легкий предутренний



воздух врывался в горячий вагон. Я подставила под живую эту струю открытый горящий рот, приостановив дыхание... Нет, спали не все: внизу, под моей полкой, невидные сверху, негромко говорили двое мужчин. А за окном расстилалось пустое, серое, туманное поле. Обгоревшая избушка боком проскочила мимо. Туман стал гуще, зарокотало железо: мы медленно ползли по железному мосту. Черные, влажные балки плыли мимо окна, нахохлившийся часовой, стоя на каком-то странном выступе моста, поднял глаза и взглянул мне прямо в зрачки, и взгляды наши столкнулись, слились... А внизу и вдали, за балками, тускло поблескивала вода — это была река. Холодная, бесцветная, вся в парах, уходила она в пустые поля, где едва-едва в тумане и утренних сумерках намечались кустарники. И на мгновение остро, почти болезненно, мне показалось, что все это уже было один раз в моей жизни: земля и вода в тумане и пристальный взгляд незнакомого человека прямо в зрачки — из пустоты и тумана...

— ...И вот, дружба, трудятся на этой реке массы народа,— нараспев говорил под моей полкой мужской голос; таким голосом, наверное, говорили по ночам сказочники — сипловатым, таинственным, чуть воспаленным.— Со всех концов Расеи народ, всякого рабочего люду массы — каменотесы, камнебойцы, плитомы, кáтали... как при Петре Великом.

— Мы слышали,— ответил голос помоложе, усталый и ломкий.

— И завезена туда удивительная машина... Это... это умнейшая машина на свете, дружба! Она тебе таким когтем, вроде ковшика, подцепит и подымет земли... Ну, сколько, ты полагаешь, подымет земли?

— Ну сколько?

— А до ста возов земли за один раз! Чуешь? И она любую землю берет — и летом и зимой. А зимы у нас какие пошли? Голодные и холодные, и земля теми зимами — железная. А она этой земли не боится! Она ее копает и копает, грызет до самого дикого камня и сыплет высоченной горою...

— Ну а для ча ж это все?

Рассказчик глубоко, радостно вздохнул, и голос у него стал мягким и умиленным, точно засиял в сумраке; так, должно быть, светлели голоса сказочников, когда приступали они к рассказу о снятии заклятия.

— Эх... дура ты, малый. «Для ча?» Да ведь там же водопад будет! Преогромаднейший, пойми, водопад. И такой неистовой силы, что от этого водопада появится сам свет. Как от бога. Оно Волховстрой называется, дружба, ты запомни это — Волховстрой.

— И много его будет, того свету?

— У-у, малый! Спросил тоже! Да всю Расею светом зальет, до последней щелки. Белый свет, ясный, как денной. Одно слово — научный, ну, попросту говоря-элек-три-че-ский... только тебе пока не выговорить это, пожалуй.

— Отчего же это,— вдруг обиделся молодой голос.— Очень даже выговорим: е... е-лек-тричесткий... Уж ты, дед, думаешь...

— Да я не думаю! — почти ликуя, воскликнул рассказчик.— Я просто говорю: учись, дружба, понимай... Ведь сила от этого света будет, от электричества, страшная сила. Этой силе все подвластно: ею и железо можно точить, самое твердое, и машины двигать, и пахать, пахать можно, малый, вот что главное, да не так, как мы сейчас сохой ковыряем, а тыщи верст зараз поднимать. Сила и свет, как от господа бога,— сила и свет.

Рассказчик бурно вздохнул и помолчал. Стучал поезд. Как бы оцепенев в глубоком раздумье, все спали измученные, подстерегаемые сыпняком, круглые и неподвижные, и, спящие, мчались в Петроград.

— Голодаем и холодаем, пусть хоть светло будет,— грустно, устало сказал молодой голос.— При свете легче, чем в темноте, правда, дед?

— Может, правда,— равнодушно согласился тот и снова вдохновенно пророкотал: — Оно как брызнет с Волховстроя, как засияет на всю Расею, как заплещется! Это Ленин так велел.

## ПЕТРОГРАД

В полдень приехали мы в Петроград, за родную Невскую заставу. И вдруг оказалось, что наш петроградский дом вовсе не огромный, каким вспоминали мы его почти три года, а маленький... Он был очень даже маленький, и было совершенно непонятно, поче-

му он так уменьшился, пока мы жили в Угличе и мечтали о нем.

А сада не было совсем — осталось только четыре березы у полуразрушенной беседки; даже зеленоватого забора с вырезанными в досках сердечками не оказалось.

— В голодуху на дрова срубили, — сказала бабушка и первый раз заплакала о саде. Вместо сада был общий домовый огород, огороженный ржавыми кроватями и ржавыми жестяными вывесками, очень маленький, — значит, и сад был когда-то маленький, — и новые, незнакомые нам жилички окучивали на грядках картошку.

Итак, нашему старичку негде было жить.

Три дня, завернутый в клетчатую тряпку, он прожил за печкой в столовой. Потом мы, оставшись одни, вытащили его с великим благоговением, развернули и поставили на стул. Поставили, взглянули и — обомлели: старичка не было. Это был просто уродливый темный корень, правда, тот же самый, что и в Угличе, и отросточки по бокам у него торчали, которые были в Угличе ручками старичка, и нарост был наверху тот же самый, который раньше был его сердитым и задумчивым личиком, — все, все было на месте, но самого старичка больше не было. Он как бы исчез по пути в Петроград, оставив вместо себя нечто некрасивое и совершенно мертвое. Мы уж и так и этак его вертели, смотрели на него и с боков, и сзади, и на пол ложились, и с полу смотрели, нарочно жмурясь, нет — корень, а не старичок! Муська еще различала бороду и общие смутные очертания старичка, а я уже ничего не видела, кроме уродливого корня, и это, как я поняла потом, была большая утрата.

Бывшего старичка я сама пихнула в плиту, потихоньку...

А может быть, это случилось со старичком или с нами еще и потому, что в петроградском доме встретила нас неожиданная большая радость: как раз незадолго до нашего приезда к нам провели электричество, и старая висючая лампа горела теперь еще ярче, чем до отъезда в Углич! Как хорошо, что мы не верили маме, будто везде эти годы было темно и холодно, как у нас в келье. Правда, свет давали только с вечера, но когда дедушка тихо чикнул выключателем и под старым

зеленоватым абажуром вспыхнул приветливый огонек, мне показалось, то у меня внутри тоже что-то чикнуло и зажглось,— так хорошо стало!

— Дедушка,— спросила я тихонько, робея, точно выдавая большую тайну,— дедушка, это... это с Волховстрой?

— Ну что ты, Олюшка! Волховстрой еще строится... А когда его построят, разве у нас такие лампочки будут? Это — темненькая, шестнадцать свечек... А тогда будут большие, круглые, светлые, и на весь день ток будет, и везде, а не только у нас...

И мне стало еще счастливее. Наш дедушка говорил почти точь-в-точь как тот старик под моей полкой, значит, тот старик не врал, значит, Волховстрой — правда, и он будет... и везде будет светло-светло, а если будет светло, значит, не будет холода, темноты, голодного времени, не будет такого вокзала, как на станции Волга, не будет таких страшных людей, как там, их нигде не будет, ни в Петрограде, ни в Угличе! На мгновение видения минувших суток, ночной разговор в вагоне — путь в Петроград, весь целиком, остро и ярко пронесся передо мной, и я не умом, а чем-то другим поняла, что все это теперь навсегда останется во мне, как часть меня самой, как нечто вечно живое...

## НА МОЕЙ ПАМЯТИ

И так это и стало. Путь из Углича в Петроград остался во мне не просто как воспоминание,— с течением жизни это воспоминание, живое и острое, все более пополнялось, обогащалось, все более жило, и все новое, что вливалось в него или соприкасалось с ним, что я узнавала, становилось и моим личным тогдашним прошлым.

Уже много лет спустя я узнала, что примерно в те же годы, когда мы возвращались в Питер, чуть ли не в те же дни, на родину мою приезжал известнейший английский писатель-фантаст Герберт Уэллс, и прочла его книгу об этом путешествии.

Он ехал по той же железной дороге, что и мы, он видел таких же женщин, мужчин и детей, как мы, он видел н-а-с. Но мы жили, а он смотрел. Смотрел, как

на сцену, из окна отдельного купе в хорошем вагоне, где ехал со своим сыном, со своим английским кофейным прибором, пледом и консервами, привезенными из Англии. Их сопровождал «приставленный в Петрограде» матрос; перевитый пулеметной лентой, который зорко следил, чтобы никто не обидел знаменитого гостя, на остановках бегал для него за кипятком, а кипяток набирал в «серебряный чайник с царской монограммой», настолько «прелестный», что Уэллс этот чайник запомнил... Матрос ходил за кипятком на вокзалах, подобных станции Волга. А английский писатель был ужасно недоволен, что едет не экспрессом, а скорым, и непрерывно сварливо донимал балтийского матроса с серебряным чайником политическими претензиями... «Уста мои разверзлись,— писал он впоследствии,— и я заговорил с моим проводником, как моряк с моряком, и высказал ему все, что думал по поводу русских порядков...» Писатель упоминает также, что испытывал острое раздражение из-за ответов матроса, который, выслушав «мою длинную едкую речь, весьма почтительно отвечал одной, стереотипной, очень знаменательной для современного настроения умов в России, фразой: «Видите ли,— говорил он вежливо,— блокада! Блокада четырнадцати держав...» И автору «Борьбы миров», описавшему войну людей и марсиан, непонятно было, что он вкладывал матрос в эту «стереотипную» вежливую фразу: «Видите ли, блокада...» До сих пор думаю, сколько выдержки потребовалось матросу, чтобы не ответить «по-балтийски» брюзжащему писателю... В те дни даже мы, дети, еще в Угличе пели, что у Колчака «мундир английский...» О, как любит мое детство этого неизвестного, через много лет узнанного матроса, как не прощает ничего знаменитому писателю,— сильнее, чем зрелость!

Герберт Уэллс не слышал, конечно, такого разговора, который слушала я по пути в Петроград, но ведь ему в то же самое время говорил о Волховстрое Ленин! И знаменитый фантаст снисходительно пожалел «кремлевского мечтателя», впавшего в «электрическую утопию». И книгу свою о моей родине в те годы он назвал: «Россия во мгле»; он видел ее только во мгле и будущее ее видел как мглу, а он ведь был совсем не самый худший из зарубежных людей, он в чем-то сочувствовал нам. Как гордится детство мое неизвестны-

ми спутниками в вагоне — русскими крестьянами, которые видели будущее своей родины как свет, как гордится и детство, и вся жизнь моя Владимиром Ильичем Лениным, не только мечтавшим, но уже тогда, в те годы, начавшим воплощать народную мечту о свете и силе. Вечно гордись им, жизнь моя, гордостью глубокой, целомудренной, молчаливой, открытой — гордись всегда, помни о них всегда, что бы ни случилось с тобою, со страной, с народом! К декабрю 1920 года был готов план ГОЭЛРО, и, докладывая о нем VIII съезду Советов, Глеб Максимилианович Кржижановский включил карту Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «с центрами и кругами», и она сверкала перед взорами делегатов, почти ослепляя их. Быть может, это было в тот самый вечер, когда в келье у нас от неосторожного вздоха сестры погасла коптилка и сломалась единственная спичка, и мы, в темноте и страхе прижимаясь друг к другу, не знали, что в эти часы далеко в Москве горит и сверкает карта Будущего — нашего будущего. Оно было уже определено партией, оно было уже зримо ей.

Все это, уже почти легендарное теперь: поездка Уэллса, разговор с Лениным, сверкающая карта на VIII съезде Советов — было узнано мною и сопряжено с детством и органически, горделиво включено в него как нечто ему принадлежащее, как его достояние — уже в дни комсомольской молодости, в период азартной работы на «Электросиле» в первую пятилетку, на заказах Большого Днепра.

И детство мое, и жизнь моя богатели все больше и больше, — еще двадцать лет спустя я услышала обо всем этом от самого Глеба Максимилиановича Кржижановского, когда в январе пятьдесят второго года провела у него целый вечер перед первой своей поездкой на Волго-Дон.

## РЫЦАРЬ СВЕТА

Невысокого роста, сухонький, подвижный, в черной шапочке академика, с темно-смуглым лицом, на котором ослепительно сверкали белые треугольные кустики бровей, такие же кустики усиков и такой же кустик бородки, с очень большими, темными, полными

жизни и ума глазами,— таким предстал передо мной человек, начавший работу с Владимиром Ильичем Ульяновым в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Вместе с ним отбывал он сибирскую ссылку, написал неувядаемую «Варшавянку», был одним из руководителей работ по созданию плана ГОЭЛРО — один из трех подвижников электрификации, которых Ленин назвал «рыцарями света».

По просьбе Глеба Максимилиановича я рассказала, как выглядит сейчас Александровская улица за Невской заставой, куда он и Ленин приходили в конце девятнадцатого века на собрания первых рабочих кружков: деревянный домик, где они собирались, сохранился, а середина мощенной крупным булыжником улицы немного осела, так что огромные тополя, стеной стоящие по обеим ее сторонам, сильно и ровно склонились друг к другу и почти сомкнули кроны, как будто зеленым живым шатром прикрывая путь, по которому ходил когда-то молодой Ленин...

— О... как я помню его — тогдашнего! — негромко воскликнул Глеб Максимилианович, и столько трепетной, глубокой любви зазвучало в его голосе и выразилось на живом лице, что она словно озарила все вокруг.— Я горжусь, что еще тогда сразу пошел за ним. И я уж этак, знаете, за ним, за ним, не отставая, этаким, как говорят, петушком — всю жизнь... А сколько он сердца вложил в этот наш план ГОЭЛРО, сколько о нем мы в этой самой комнате переговорили...

— Владимир Ильич бывал здесь? В этой комнате?

— Ну конечно,— весело подтвердил Кржижановский.— Частенько бывал, и один, и с Надеждой Константиновной... И всегда сидел на том же самом месте и на том же стуле, на котором вы сейчас сидите...

Я невольно вскочила и по-новому оглядела скромную, умную комнату, и даже легкий озноб пробежал по телу.

— Сидите, сидите,— замахал на меня рукой хозяин,— ничего... Тут все с ним у меня связано... Он был мечтатель, смелый, гениальный мечтатель, иногда... озорниковатый — по-русски! Он, знаете ли, не только как государственный деятель понимал, что такое электрификация, но еще как-то по-юношески был влюблен в нее, в свой Волховстрой... Да, это его детище. Люби-

мое. — И, строго взглянув на меня, спросил: — Вы были на Волховстрое, надеюсь?

И тут я не могла, хоть бегло, не рассказать Кржижановскому, что была на Волховстрое — всего три недели назад, когда первенец электрификации отмечал свое двадцатипятилетие. И так счастливо получилось, что там настигла я живое и прекрасное завершение легендарной были, подслушанной в детстве, в бедственном вагоне голодного года: я познакомилась с сыном и внуком человека, который привел в девятнадцатом году из красного Питера ту самую «умнейшую на свете машину», грызущую землю вплоть до дикого камня, о которой с таким вдохновением и надеждой рассказывал старик в вагоне. Это был коренной путиловец, старый питерский рабочий, его звали Алексей Васильевич Васильев, а «умнейшая машина» была экскаватором № 12, поднимавшим полкубометра земли. Как ей далеко еще было до сегодняшних шагающих гигантов!.. А она в те годы казалась моей стране огромной, как мне — петроградский дом... Когда Волховстрой был создан, Алексей Васильевич вернулся в Питер — уже Ленинград, — на родной «Красный путиловец», а сын его, Василий Алексеевич, пришедший сюда в двадцатом, остался работать на новорожденной станции. Он женился на «волховской русалке», на девушке из деревни Дубовки, — деревни, ушедшей на дно, затопленной Волховом после постройки плотины. В год пуска Волховстроя у них родился сын, названный в честь деда — первостроителя Волховстроя — Алексеем. В дни Великой Отечественной войны семья Васильевых не покидала станцию, оберегала ее, готовая драться за нее до последнего вздоха с врагами. И хотя немцы стояли буквально рядом, обстреливали и бомбили Волховстрой, маленькая кучка волховчан — работников станции — все же торжественно отметила пятнадцатилетие Волховстроя в декабре сорок первого года, а в январе уже принялась восстанавливать станцию, чтобы дать ток Ленинграду. Старый путиловец Алексей Васильевич в это время работал на Кировском заводе — в заблокированном Ленинграде. Он умер на заводе от голода в январе сорок второго года на своем рабочем месте.

Я рассказала Глебу Максимилиановичу эту историю, достойную поэмы, еще более бегло, чем здесь, мне не терпелось спрашивать и слушать его. Все более



оживляясь и как бы молодея, он рассказывал и о Ленине, и о встрече его с Уэллсом: «Ленин над ним смеялся, говорил: — Ничегошеньки не понимает!» Рассказывал о VIII съезде Советов, где включил карту плана электрификации России. Я все-таки спросила, неужели правда, что пришлось выключить ток во всей Москве для того, чтобы зажечь эту карту.

— Нет, — ответил он серьезно, — не во всей: в Кремле в одной комнате осталась гореть одна лампочка в шестнадцать свечей... Боже, как я волновался в тот вечер! Мне было предложено уложиться в сорок минут... А план — ведь это же тома, тома, видите?.. Но сорок минут! Я говорю Владимиру Ильичу: «Владимир Ильич, провалюсь». Он посмеивается: «Ничего, ничего, не волнуйтесь, выпейте перед самым докладом чашечку крепкого кофе — я сам так иногда делаю, когда волнуюсь перед докладом». Ну что же, я последовал его совету, но волнение мое не убавилось... И вот я делаю доклад и чувствую, что так много не сказано, так много... Заканчиваю — чувствую, ничего не сказал! Включаю карту Российской Федерации, уже всю карту, произношу последние фразы и совершенно ясно понимаю: ну, провалился! (Глеб Максимилианович схватился руками за голову, в глазах его вспыхнул настоящий ужас.) Провалился! А сам этак краешком глаза, самым уголком — на Ленина, на Ленина! И вижу... Владимир Ильич кивает мне головой и улыбается, и Надежда Константиновна улыбается... А из зала, из полумрака — какой-то непонятный гул... Смотрю — это делегаты один за другим встают, глядят, этак не отрываясь, на зажженную карту и рукоплещут ей... понимаете, рукоплещут! И Ленин такой довольный, улыбается и тоже аплодирует... Ну, думаю, кажется, сошло...

Он засмеялся молодо и счастливо, потряхивая головой в академической шапочке, явно укоряя себя за тогдашние свои сомнения, — все это трудное и прекрасное прошлое жило в нем вечно живой памятью, памятью чувства и крови... Он прошелся по комнате, помолчал и добавил с сильным душевным волнением:

— Д-да... многое пришлось пережить, пока составлялся план. Он весь вон на той машинке отстукан — видите? — и указал на большой старомодный ремингтон под помятым и довольно обшарпанным колпаком. — Всякое было. С иными старыми спецами прихо-

дилось порой вести себя, как укротителю тигров... Но одной ночи мне не забыть никогда! Я в эту ночь заканчивал предисловие к «Плану электрификации»... Заканчивал его словами, обращенными к далекому нашим, счастливым потомкам. Я писал, что, наверное, прекрасные, высокоразвитые, смелые и умные люди будущего найдут в нашей работе немало погрешностей, ошибок, недодуманностей... И я просил их извинить все это нам, потому что мы, создавая этот первый, несовершенный план, работали в тяжелых условиях, в блокаде четырнадцати держав, отбиваясь от интервентов, задыхаясь от разрухи, холода и голода. И, знаете, представляя себе этого изумительного, счастливого человека будущего, мысленно беседуя с ним, я плакал... Да, вот стоял посреди этой комнаты один и, вот так стиснув руки, плакал от любви к этому будущему человеку, от восторга перед ним, от невероятного желания хотя бы одним глазком взглянуть на него, на то будущее, которое мы закладываем, — далекое будущее...

Он стоял посредине комнаты, невысокий, очень старый человек — старше электрической лампочки, автомобиля, самолета, помощник бессмертного Ленина, доблестный рыцарь света, — стоял, стиснув руки, с увлажненными, блестящими глазами, заново переживая ту свою ночь восторга перед будущим. И, с каким-то суровым волнением глядя на него, мне хотелось сказать:

«А ведь вы плакали тогда перед самим собой — сегодняшним... Перед сегодняшним нашим днем — таким, как он есть сейчас... со всем, что в нем есть...»

Но я ничего не сказала, — целомудренное волнение минуты было больше слова.

## ГЛАВНАЯ КНИГА

И вот с того года, с той ночи, когда Глеб Максимилианович Кржижановский, замирая, мечтал «одним глазком» взглянуть на будущее, а потом вскоре включил его зримую, деловую, сияющую карту; с того года, как мы уехали из Углича; с того первого, смутного ощущения бытия на голодном приволжском вокзале; с той ночи в сыпнотифозном вагоне, где подслушала я фантастический рассказ о Волховстрое; с приезда

нашего в Петроград, где уменьшился родной дом и исчез старичок (волшебное зрение детства) и тревожное, знобящее, как рассвет, отрочество вступило в свои права вместе с первой электрической лампочкой, блеснувшей в старом нашем доме,— с тех пор по сегодняшней день прошло тридцать два года. И если я о чем-нибудь больше всего хочу писать, то это именно об этих тридцати двух годах жизни—своей, а значит, и всеобщей, потому что не могу отделить их друг от друга, как нельзя отделить дыхание от воздуха.

Я уверена, что если не у каждого, то у большинства писателей есть Главная книга, которая всегда впереди. Самая любимая его, самая заветная, зовущая к себе преодолимо. Быть может, иногда, в одиночестве, писатель трепещет от восторга перед ее видением, пока никому не доступным, кроме него самого... Писатель может не знать заранее, в какой форме она воплотится — в поэме ли, в стихах ли, в романе, в воспоминаниях ли, но твердо знает, чем она будет по главной сути своей: знает, что стержнем ее будет он сам, его жизнь, и в первую очередь жизнь его души, путь его совести, становление его сознания,— и все это неотделимое от жизни народа. Иначе говоря, Главная книга писателя — во всяком случае, моя Главная книга — рисуется мне книгой, которая насыщена предельной правдой нашего общего бытия, прошедшего через мое сердце. Главная книга должна, мне кажется, начинаться с самого детства, с истоков, с первых, чистейших и фундаментальнейших впечатлений, которые, в частности для моего поколения, так счастливо совпадают с первыми годами — тоже детством! — нашего нового общества. Главная книга должна достичь той вершины зрелости, на которой писатель работает с полной и отраднейшей внутренней свободой и бесстрашием, безоговорочно доверяя себе, на виду у всех и наедине с собой; когда единственной его заботой остается забота о том, чтобы вся жизнь, и его и всеобщая, смогла выразиться наиболее полно и едино, смогла предстать не в случайных эпизодах, а в целом, то есть — в сущности своей; не в частной правде отдельного события, а в ведущей правде истории. Как на фундаменте, Главная книга покоится на едином всеобъемлющем и ясном чувстве, то есть на фундаменте

нашей великой идеи, которая стала всеми пятью чувствами человека и объединяющим их особым, художественным чувством писателя. В Главной книге совершается открытый и правдивый показ становления, мужания и созревания этой идеи-чувства, иначе — коммунистического мировоззрения и мироощущения человека, раскрывается борьба за него — с обстоятельствами, с самим собою, с пережитками прошлого в себе и вокруг себя, с врагами, недругами, а иногда и с друзьями.

Противоречит ли мечта о создании такой книги основной задаче писателя — отражению объективной действительности в художественной форме и воспитанию коммунистического мировоззрения читателя? Нет, не противоречит, потому что самое главное, что должна отображать (точнее — выражать) литература, — это внутренний, духовный мир нашего человека, сложное и многообразное движение этого мира, который и определяется деяниями человека-общественника, и определяет его деяния. Ничего выше и благородней этой задачи для литератора не существует. Незачем говорить о том, каких общечеловеческих побед (а не просто успехов!) добилась великая советская литература на этом поприще; победы ее широко известны, и мы в дальнейшем движении вперед смело можем опираться на них. Если же меня спросят, смогу ли я указать на такого рода книги, то я в первую очередь укажу в поэзии на такие произведения, как «Про это» и «Во весь голос» Маяковского, а в прозе — на «Как закалялась сталь» Николая Островского.

С непреодолимой и спокойной силой разрушают эти произведения нелепое противопоставление исповеди и проповеди.

Страстная, насквозь пропагандистская финальная глава поэмы «Про это» — «Прощение на имя» — с ее пламенной и незыблемой верой в будущее, в «тридцатый век», который «обгонит стаи сердце раздиравших мелочей», в прекрасных людей этого будущего, мольба, обращенная к ним, — «воскреси», жажда быть с ними, состоя хотя бы «у зверя в сторожах» («Хоть одним глазком взглянуть на них», — мечтал Кржижановский), — вся эта глава поддержана всем предыдущим ходом поэмы, где поэт с предельной беспощадностью к себе обнажает свое сердце, свой внутренний мир со

всеми его смятениями, горестями, борьбой «с тем, что в нас ушедшим рабьим вбито», тот внутренний мир, в котором не просто отображались, но через который то с болью, то с радостью проходили сложнейшие общественные процессы того времени. Как нечто глубоко интимное, как ревность к любимой (при этом реальную, человеческую ревность), переживает поэт попытки мещанского наступления на «наш краснофлагий строй» в годы нэпа. Поэма написана, как говорил о ней сам Маяковский, «по личным мотивам об общем быте». Пропагандистская — проповедническая убежденность ее финальной, особенно жизнеутверждающей главы опирается на глубочайшую убежденность самого поэта в своих идеалах, убежденность выношенную, проверенную в испытаниях, выраженную им с беспощадной — воистину исповедальной правдой.

В еще большей мере все это относится к поэме «Во весь голос», не только пропагандирующей, но прямо агитирующей за боевое, социалистическое, партийное искусство, — вот именно проповедующей его. Но Маяковский проповедует это искусство не как нечто прекрасное, но внешнее, вне его существующее, а как дело всей своей личной жизни, агитирует силой личного примера. Сердце его настезь до самых глубин открыто перед читателем, он настолько убежден в правоте своего дела, в истинности проповедуемого им искусства, что ему ничуть не страшно сказать: «И мне агитпроп в зубах навяз». И следующее за этим открытое, суровое признание:

Но я  
         себя  
                 смирял,  
                         становясь  
 на горло  
                 собственной песне...—

или столь же открытое обращение к далеким и счастливым потомкам:

Для вас,  
         которые  
                         здоровы и ловки,  
 поэт  
         вылизывал  
                         чахоткины плевки  
 шершавым языком плаката,—



что о Главной книге есть мечта о максимальной отдаче сил на партийное, народное дело. Не требование максимума, а требование минимума — вот что обескрыливает художника, чувствующего в себе истинные силы и мечтающего о подвиге во имя искусства. Но народ требует от нас максимума, и все наши писательские раздумья, споры, дискуссии подчинены именно этому требованию.

Попытки отделить исповедь от проповеди, противопоставить их друг другу, наконец предпочесть исповедь проповеди — или наоборот — вызывают активный внутренний протест не только в силу своей явной чуждости и вредности для дела советской литературы, но еще, я бы сказала, своей какой-то воинствующей малограмотностью. Эти попытки производятся людьми, которые явно не любят, не ценят и даже не знают опыта великой русской классики и советской литературы, никогда не отделявших исповеди от проповеди, но, наоборот, всегда стремившихся использовать форму исповеди как сильнейшее орудие пропаганды, то есть проповеди. Я говорила уже о величественном личном примере, точнее сказать — подвиге Маяковского. А разве не является автобиографическая трилогия основоположника советской литературы Горького — «Детство», «В людях» и «Мои университеты» — великолепной, уничтожающей пропагандой ненависти к миру мещан и торгашей, искажающему человеческий облик, пламенной проповедью человечности, устремленной в будущее?!

Горький остался здесь таким же публицистом, трибуном, пропагандистом, как и в «Песне о Соколе», в «Матери» и во всех других своих произведениях; для настоящего писателя, кровно связанного с жизнью и борьбой народа, не может существовать никакой опасности в писании о себе и своей жизни. Нет, и здесь он не погрузится в созерцание собственного пупа, не займется ничтожными откровенностями, но, рассказывая о своем сердце, даже о тайных его движениях, обязательно расскажет о сердце народа.

...«Былое и думы» — вот книга, с которой я, как, наверное, множество литераторов, могу беседовать почти ежедневно, каждый раз с новым волнением и новым изумлением. Какое бесстрашное и естественное слияние интимнейшего повествования о «кружении

сердца» с картинами европейских социальных поворотов; какой умной и требовательной любовью пронизано создание обликов тогдашних передовых людей, борцов с царской тиранией, и рядом — какие уничтожающие памфлетные характеристики и «портреты» царских сатрапов, и испепеляющая ненависть к Николаю I, и боль за русский народ, и вера в его безграничные силы! Обо всем в этой книге написано с той идейной прямоотой, с тем личным страстным отношением, с той «субъективностью», которая и является одной из существеннейших сторон партийности художника. И все пропитано кровью сердца, и все — сокрушительной силы пропаганда! Тут уж исповедь проповеди не противопоставишь, и вот это и есть та традиция, которую — я утверждаю — на новой идейной основе, новыми средствами продолжила и углубила советская литература и должна будет продолжать и углублять!

Повторяю и подчеркиваю, я вовсе не хочу сказать, что Главная книга может быть только дневником, мемуарами, только прямой автобиографией, и совсем не каждый писатель может и должен выступить с такой книгой, в такой форме. Но если говорить об облике Главной книги, появления которой я вместе со множеством писателей и читателей особенно горячо жду, о создании которой, как о деле всей жизни, мечтаю сама, то в представлении моем она ближе всего подходит именно к «Былому и думам», гениальному роману о человеческом духе, роману, не имеющему себе подобий в мировой литературе. Но советская литература должна создать его. Мне кажется иногда, что уже все подготовлено для его появления. Мне кажется иногда, что уже рядом с собой я чувствую локоть, происхождения «нашего Герцена», необходимого нам не менее, чем Гоголь и Щедрин. Я готова отдать ему все, что ему потребуется, пусть и жизнь, и имя мое бесследно растворятся в его имени, я буду счастлива, если ему пригодится хоть одна написанная мной строка, хоть одна дневниковая запись, хоть одна мысль или чувство!

Писатель пишет свою Главную книгу непрерывно, иногда с самого детства. Чаще всего это дневник, разумеется не пишущийся с расчетом на торжественную публикацию при жизни. У некоторых дневник — потребность. Не потребность «самолюбования» или «само-



ковыряния», как полагают литературные мещане, скрытники и скопцы, а сначала инстинктивное, но со зрелостью все более осознаваемое ощущение значительности всеобщей жизни, проходящей сквозь его жизнь, а может быть, вернее сказать — ощущение значительности своей жизни, неотделимой от жизни всеобщей.

Конечно, дневники ведут не одни писатели. При этом потребность вести дневник и у литераторов, и у нелитераторов возникает в некоторые периоды с особой остротой. Так, огромное число ленинградцев самых разнообразных возрастов, профессий и положений вели дневники в дни блокады. Я прочла множество блокадных дневников, писанных при темных коптилках, в перчатках, руками, еле державшими перо от слабости (чаще — карандаш: чернила замерзали), записи некоторых дневников обрывались в минуту смерти автора. То опаляюще, то леденяще дышит победоносная ленинградская трагедия со многих и многих страниц этих дневников, где с полной откровенностью человек пишет о своих повседневных заботах, усилиях, скорбях, радостях. И, как правило, «свое», «глубоко личное» есть в то же время всеобщее, а общее, народное становится глубоко личным, воистину человеческим. История вдруг говорит живым, простым человеческим голосом.

Я сказала, что писатель пишет свою Главную книгу непрерывно, идет к ней все время, мечтает о ней неустанно. Очень часто кажется: «Вот то, что я пишу, и есть наконец самое главное, вот тут-то я и выражу все самое свое тайное и драгоценное, необходимое согражданам. Вот она — Главная книга, я пишу ее...» Но книга написана, и видишь, что это опять не она, или только подступ к ней, или отступление от нее. Поэтому Главная книга как бы всегда в черновике, вечный черновик. Потому что она находится в непрерывном движении, совпадающем с движением жизни, с ростом и движением сознания писателя. О чем бы она ни была, она по мере движения жизни и сознания вбирает в себя все больше и больше, все время требует дополнений даже задним числом, даже дополнений из прошлого, встающего по-новому. Сама жизнь и обретаемая в ней истина все время держат свою суровую корректуру над Главной книгой. Она ветвится, рожда-

ет отдельные самостоятельные произведения, которые не более чем ее деталь, она обрастает сносками, массой заметок на полях — к тому, что написано, к тому, что напечатано, а иногда только задумано или набросано. И, может быть, именно эти сноски, заметки на полях, дневниковые раздумья и есть то, что станет основой, «вдохнет душу живую» в будущую книгу и сделает ее Главной. Быть может, она так и останется черновиком, быть может, ее так и нужно печатать?

...И у меня, как и у других писателей, есть Главная книга, которая вся еще впереди, отрывки из которой рассеяны и в том, что напечатано стихами и прозой, и в том, что держится пока еще в черновике, в столе, или только в сердце, в памяти. Но все больше хочется все это собрать, попытаться объединить, воплотить. Наверное, это опять будет не она, но уже наступило то время своей и общей жизни, когда, начиная любую работу, даже газетную, не можешь не думать о Главной книге, не можешь не надеяться, что это — путь к ней, приближение, пусть хотя бы на шаг, но уже реальное приближение.

Я уже говорила, что Главная книга должна начаться с самого детства, с первых страниц жизни... И вот потому в прошлом году я поехала в город детства, в город счастливейшего сна, — по следам Главной книги, которая все еще впереди, только в черновике... Как никогда, возникла потребность начать с начала, с истоков сознания, с далекого, но неувядающего прошлого — моего и моей страны. Но то, что вы уже прочитали и прочтете на этих страницах, еще не Главная книга, это еще не из нее, но только для нее, только шаги к ней, только черновики черновика — вечного черновика. Но так как многие идут сейчас к ней, к Главной книге, может быть, это чем-нибудь поможет общим поискам? Я только пока хочу описать здесь поездку в город детства — не больше...

«ЭТО МОЕ!»

И вот синим июльским днем прошлого года отчалил маленький теплоход «Георгий Седов» от Химок и направился по каналу имени Москвы, по Волге к Угличу.

Я с терпеливой покорностью ждала конца многочисленных шлюзований, уже испытанных однажды на этом канале, и, как и в первый раз, когда теплоход опускался в темную пещеру шлюза, мне казалось, что мы никогда отсюда не выберемся. Мы вошли в Большую Волгу, когда поднималась огромная, тяжелая, темно-золотая луна в прозрачном и тихом небе и еще не совсем погас розоватый свет на западе. Несказанный покой царил вокруг, и милая, добрая, не давящая, не поражающая дикой красотой, а ласкающая своим простором русская природа вздохнула, настала, щедро раскрывалась перед глазами и сердцем... «Приюти ты в далих необъятных! Как и жить и плакать без тебя?» Я твердила эти строки Блока как собственную мольбу. О, правда, правда, даже плакать без тебя нельзя, даже горевать. Ничего без тебя нельзя. А если ты есть, то все будет, все вернется, даже то, что кажется сейчас невозвратимым. И даже любовь вернется... Строки стихов — чужих и своих — вскипали и уходили, и они были о разном, о многом...

О Родине и о любви,—  
они во мне неразделимы...

о «золотой свадьбе» —

Ни до серебряной и ни до золотой,  
всем ясно, я не доживу с тобой.  
Зато у нас железная была —  
по кромке смерти на войне прошла.  
Всем золотым ее не уступлю:  
все так же, как в железную, люблю...

о калязинской колокольне —

о том, как вся она, белея,  
из тихих-тихий вод встает,  
и облака идут над нею  
и у подножия ее.  
Стоит, отражена в зеркальной,  
в бездонно-чистой высоте,  
как бы дивясь своей печальной  
старинной русской красоте;  
как будто говоря: «Глядите ж,  
я с вами — всей своей красотой...»  
О город Китеж, город Китеж,  
бесстрашно вставший над водой!

Наш теплоходик осторожно, тихо, как будто бы с глубоким уважением, огибал колокольню полузаотопленного города, а она в ясном и добром лунном свете,

вся до маковки отраженная в воде, была так прекрасна, что, как в детстве, хотелось протянуть к ней руку и воскликнуть: «Это мое!»

Была у нас в детстве, в Угличе, такая игра... да нет, пожалуй, не игра, а что-то серьезнее: вот если увидишь что-нибудь поразившее воображение — красивое человека, необыкновенный домик, какой-то удивительный уголок в лесу — и если первый протянешь к этому руку и крикнешь: «Чур, это мое!» — то это и будет твоим, и ты можешь делать с этим что хочешь. Например, если это здание, дом, ты можешь населить его кем хочешь, рассказывать о них и о том, как они там живут, какие там комнаты или как ты сам там будешь жить. Если это человек, ты можешь вообразить о нем все, что тебе хочется, дать ему любую жизнь, словом, все можешь ты в воображении своем сделать с тем, что стало твоим. Но самое главное, что это — картина, город, человек — твое и никто из ребят не может уже покуситься на это, потому что все знают, что оно — твое, и ты сам знаешь. И не было никаких сомнений, что это действительно принадлежит тебе. Тогдашнюю удивительно абсолютную уверенность в праве нерушимого обладания я помню по сей день. «Моей» была картина Куинджи «Лунная ночь на Днепре»; «моей» была старшеклассница Таня Козлова, девушка с круглым русским лицом и тихими, большими серо-голубыми глазами, не красавица, даже немножко курносая, но такая милая, что глаз нельзя было отвести; она и не знала, что она — «моя». «Моим» стал Севастополь, матрос Кошка и адмирал Нахимов, когда мы прочитали книжки Лукашевич и Станюковича об обороне Севастополя; Муська мне ужасно завидовала, и хотя я великодушно уступала ей французов и даже Наполеона, она говорила: «Куда мне их...» Потом еще «моим» был один ручеек в лесу, выбегавший из-под зеленомшистого, точно плюшевого камня, прозрачный, неистово светящийся и ужасно ворчливый. Он ворчал и бормотал почти по-человечески, во всяком случае одно слово, которое он баском упрямо твердил — «буду-буду-буду-буду...» — было слышно совершенно ясно... Кем он собрался быть — он не говорил... Наверное, каким-нибудь чудным водопадом, но где-то так далеко, куда мы не могли пойти. Да много чего у меня было в детстве, столько богатств, столько «моего», что и не

вспомнить... Да, еще «моей» была валдайская дуга в тереме Дмитрия-царевича в Угличе, но о ней я расскажу особо...



## ДВЕ ВСТРЕЧИ

И город детства возник на раннем рассвете, в туманце, за марлей мельчайшего теплого дождя, в том самом странном мерцании, в каком снился много лет подряд. И не волнение, а настороженная тишина встала во мне, когда я увидела его еще издали, еще до входа под грандиозную арку шлюза с аккуратно-пышным цветником, рядом с прямоугольным, огромным, почти нагим по архитектуре зданием знаменитой гидростанции.

Мой городок больше не высылся на стремительно крутом зеленом откосе: поднятая плотиной вода подошла почти вплотную к его бульвару, к терему Дмитрия-царевича, к древним церквушкам на берегу; он показался мне очень маленьким, щемяще маленьким, как бы сошедшим к воде, как бы тяжело осевшим в землю. Я уже давно понимала, что так и должно показаться, но потом узнала, что Углич и на самом деле уходит в землю, а частью ушел в воду. Это точная терминология, бытующая на гидростройках, — уходить в землю, уходить в воду, уходить на дно. Ушел в воду старей-старей Паисьевский монастырь, отражавший набег и ляхов в Смутное время, ушла в воду Спасская слобода, поредел древний бор на той стороне. А многие здания Углича, особенно старинные, уходят в землю; с возникновением водохранилища высоко поднялись в городе грунтовые воды, и грунт размягчился, стал иным, чем несколько столетий назад; когда воздвигались эти церкви, эти колокольни и монастыри, все еще сказочной красоты, кротко и непримиримо вздымающиеся над водой свои потемневшие главки.

...Было около пяти часов утра, когда сонная дежурная городской гостиницы — одноэтажного деревянного дома с резными наличниками — отвела мне номер; в маленькой продолговатой комнате была постель, где подушка дыбилась уголком, стол под старенькой скатеркой, кушетка, над ней старинное зеркало в ореховой раме и на подоконнике большого окна — высокие,

пышные, ярко-розовые герани. А из окна, за купами деревьев и кровлями, строго, печально и стройно возносясь в чуть голубевшее небо, виднелись три шатра Дивной — церкви Алексеевского монастыря, три с половиной столетия назад названной так народом за свою поистине дивную архитектуру. Было очень тихо, только еле слышно шептал в листьях маленький свещающийся дождик, и запах мокрой травы вливался в открытое окошко, и порой бесшумно падал на подоконник розовый лепесток герани...

«Вот и хорошо,— подумала я,— точно всегда тут жила. Теперь ничего не буду ждать, ничьих писем, ничьих телеграмм — даже с призывом вернуться, и никуда-никуда не буду торопиться, даже к нашей келье и школе... Успею».

Я добросовестно попыталась уснуть, но, неподвижно полежав в постели около часа, вскочила: нет, надо пойти «к нему». Надо, надо. Пойти и дойти, хотя почему-то вдруг страшно. И я пошла «к своему собору». Он был виден отовсюду — теперь не синими, а почти черными куполами в еле заметных ржавых звездах, и все-таки я долго, как во сне, шла к нему, кружа забытыми улицами. Дождик перестал, город понемножку пробуждался, неясный жемчужный рассвет перешел в утро. Отодвинув рукой пышные герани, из окошек осевших в землю домиков глядели на меня бессонные старухи, и широкие улицы, как в детстве, были покрыты пушистой зеленой травкой, и по улицам неспешно расхаживали многочисленные гуси с умирительно безобразными подростками-гусенятами. Огнепёрый великан петух — несомненный потомок того самого петуха, что оставил отпечаток своей гигантской лапы на Петушином камне, некогда лежавшем в конце Петуховой улицы, — огнепёрый и огнехвостый петух взлетел на глухую деревянную калитку с железным кольцом и упоенно закричал оттуда. А я все шла, и собор был все ближе... И чем ближе я к нему подходила, тем яснее видела, что нет на этом месте ничего похожего на детство и счастливый сон. Нет, не было корпуса с нашей кельей. Просто не было на земле. Не было темного пруда и лип, которые должны были греметь круглыми своими листьями, не было сада, где жил старичок, не было стены, идущей к собору и школе. Ничего похожего не было. Я дошла до самого собора: в об-

шарпанном, словно покрытом лишаями, основательно осевшем в землю соборе был склад «Заготзерна» и нефтебазы, о чем свидетельствовали безобразные вывески над кое-как сколоченными дощатыми дверьми, прикрывавшими входы. И только красное кирпичное здание нашей школы, первой моей школы, напротив собора было таким же, как тогда (хотя, разумеется, уменьшившимся), и было по-прежнему школой. Но сейчас были каникулы, и школа стояла пустая и тихая.

Я села на скамейку в маленьком цветнике, разбитом перед школой, напротив склада «Заготзерна», и подумала, что встреча с детством и счастьем не состоялась. Оно прошло, и то, что было за ним, прошло, ушло в землю, ушло в воду, ушло на дно.

И твердил мне край, родной и милый,  
синь его, и камни, и зола:  
— Ты пришла туда, куда стремилась.  
Будь теперь спокойна. Ты пришла.

Наверное, я сидела здесь очень долго, потому что разгорелось солнце и в каких-то легких лиловатых и голубых цветах на школьных клумбах засверкали под солнцем капли дождя, а лепестки их стали просвечивать. Молодая женщина, поправляя кошелку с овощами, опустилась рядом со мной на скамейку.

— Скажите, пожалуйста, как мне попасть отсюда на Благовещенскую улицу? — спросила я ее.

Мне хотелось разыскать еще дом наших друзей по тем годам.

— На Благовещенскую? Что-то я такой не знаю...

— Она пересекает Крестовоздвиженскую, вот эту, которая идет отсюда.

— Ну-у? Разве это была Крестовоздвиженская? Вот интересно, какие все названия были божественные... Она — Октябрьская. А та, что вам надо, наверно, улица Свободы. Я не знаю как следует, я на улице Зины Золотовой живу.

— А Зина Золотова — это кто?

Она посмотрела на меня, склонив голову, как птица, темными серьезными глазами:

— Разве не знаете? Приезжая, видно, ну да. Это наша замечательная угличанка. Первая здешняя трактористка, комсомолка. Ее кулаки зверски убили, молодую совсем. Вот в ее честь и назвали улицу. Мы там и живем с мамой, со старушкой.

— Вы здесь родились, да?

Она покачала головой и коротко вздохнула.

— Нет, мы не здешние... Мы — ленинградские. Только мы тут уже давно — одиннадцать лет. Наш папа тут работал, на строительстве гидростанции, монтажником. Только вернулся со строительства, а тут война, блокада... Ну... он умер в блокаду, с голоду, не выдержал. А умирал — велел нам с мамой сюда ехать. Мы в феврале через Ладогу ехали, по Дороге жизни. Много тогда через Дорогу жизни ехало, а некоторые просто шли... Везут за собой саночки, в саночках — ребятки, ребятки замерзнут, мертвые уже, а мать все везет, пока сама не упадет или пока ее не подберут... А мы на грузовике... Мне десять лет, сестренке того меньше, мама еще жива, вся черная, как смерть... Как только доехали до Большой Земли, не знаю... Ну, все-таки в нашем грузовике несколько человек по дороге замерзло... А мы сюда все же добрались, как отец велел. Тут много блокадников, ленинградцев. И встречали нас тут сердечно, кормили хорошо, а нам первое время все не наесться, все не наесться, даже стыдно. Я девочкой была, и то мне было совестно. Но — ела!

Она рассказывала так, как говорят о блокаде почти все ленинградцы, пережившие ее, — ровным глуховатым голосом, словно прислушиваясь к себе и не веря себе...

— Вот так с тех пор и живем мы здесь. Я эту школу как раз кончила, а сестренка еще учится в девятом. Ну, многие из блокадников обратно уехали, в Ленинград, а мы здесь остались. Понимаете, побоялась мамаша возвращаться в Ленинград, — не могу, говорит, не могу, мы ведь там такое пережили, вы не представляете...

— Нет, — ответила я, — представляю.

— Ой, — воскликнула она, словно обрадовавшись, — вы там были, в блокаду? До конца?

— Да. До конца.

— Ой... А сейчас вы... не оттуда?

— Оттуда. Всего две недели назад.

— Оттуда! — воскликнула она, и вдруг слезы брызнули у нее из глаз. Она засмушалась, постаралась засмеяться. — Ну, расскажите ж, какой он?

— Ну какой он же может быть? Чудесный, самый красивый! В этом году на Невском трамвай сняли...



И на Большом на Васильевском тоже. И на проспекте Кирова... А за Московской — парк Победы совсем густой стал. Да, ведь вас уже не было, когда мы его сажали. Но он прекрасный! Следов блокады почти совсем не осталось...

Я рассказывала добросовестно, а все как будто не о том, не о главном, но она жадно спрашивала и спрашивала, перебивая иногда восклицаниями: «Ну да?», «Вот здорово!» — ее блокадное детство было для нее тем же, чем для меня угличское! — и вдруг, заторопясь, вытащила из сумки фотографию.

— А я здесь после школы замуж вышла, и вот сын, Вовочка, уже третий год, хотите взглянуть?

С фотографии глянула на меня толстая мордочка мальчугана с губами, вытянутыми в трубочку, и донельзя вытарашенными, очень удивленными темными глазами: наверное, фотограф показал ему какую-то особо удивительную «птичку».

— Вот он уже настоящий угличанин, — сказала молодая мать, любуясь удивленным сыном. — Но я его обязательно в Ленинград свезу, — горячо добавила она, — обязательно свезу, как только понимать начнет. И покажу ему все, и прочитаю, и о дедушке расскажу... Нельзя, чтоб дети про такое забывали... то есть он, конечно, не может помнить, я хочу сказать, надо, чтоб знали дети, что до них пережили, правда ведь? Если не возражаете, дайте ваш адрес, мы вас навестим обязательно.

Я подумала, что к тому времени, когда удивленный мальчуган «начнет понимать», пройдет по меньшей мере семь лет, но адрес свой дала и сказала, чтобы обязательно заходили, когда приедут, обязательно.

...Я вновь обошла участок, где когда-то было детство, где маленький, древний русский город Углич приютил нас, детей, в годы гражданской войны, в годы борьбы за власть Советов... и снова принял ленинградских матерей и детей в годы войны Великой Отечественной... а наше поколение уже воевало, обороняло Ленинград, и холод, голод и тьма блокады были стократно страшнее, чем в детстве, в Угличе... и я была на войне, в Ленинграде, вместе с папой, как равная... и пришел сверкающий День Победы, и в честь него мы заложили парки, теперь уже почти дремучие... А между этими двумя войнами была трактористка Зина Зо-

лотова, убитая кулаками, и сотни подобных ей — я помню их по работе в Казахстане, по первым большевистским веснам, — и строилась Угличская гидростанция — строилась совсем-совсем не так, как Волховстрой, — и часть древнего Углича безвозвратно ушла в воду, а гидростанция по мощи своей во много раз превзошла мечту детства, первую любовь молодой Республики — Волховстрой, но и она, эта гидростанция, — лишь одна из первых ступеней великой «волжской лестницы»...

О, какое большое время уложилось в жизнь каждого из нас, какое большое! Его хватило бы на несколько поколений, а приняло его — одно... Сколько событий, и почти каждое — твоя жизнь, сколько горя и радости, неразрывных с горестями и радостями всего народа. И вот не светлое чувство счастья, которое мечтала я встретить здесь, но нечто большее — почти грозное, открытое чувство своей живой сопричастности, кровной, жизненной связи со всем, что меня окружает, с тем, что уходит в землю и в воду, и тем, что воздвигнуто и воздвигается над землей и водой сейчас; с теми, кто в разные годы погиб за Родину, за коммунизм; с теми, кто строил Угличскую гидростанцию; с теми, кто рождается, растет и трудится здесь, в Угличе, в Ленинграде, во всей стране, — это всеобъемлющее сильное чувство, знакомое многим и многим советским людям, охватило сознание и сердце. И если жизнь моя так неразрывно сплетается с жизнью страны, значит, в ней остается все, вплоть до утрат, и все вместе с родной землей устремляется в будущее, к новым утратам, к новым возникновениям. «Это мое». Нет, это наше. И все наше — это мое! Это мое!

...А монастырский корпус, где жили мы далекой зимой двадцатого года, и липы, и прудок я все-таки нашла и, забегаая вперед, расскажу об этом.

#### РИСУНОК ПЕРОМ

Я нашла это все потому, что сначала отыскиала одного старого своего учителя, учителя рисования. Он не помнил меня, конечно, но я вспомнила и даже узнала его, когда пришла в его кирпичный домик на самом берегу Волги.

Иван Николаевич Потехин, художник, старожилогличанин, мой старый учитель рисования, одну за другой показывал мне акварели, этюды маслом, рисунки карандашом и пером, изображающие старый, сказочный Углич, и вдруг так запросто и положил перед глазами этот тонкий рисунок пером, а на нем — детство, зима, счастье, на нем то, что снилось долгие годы, заветное место, к которому я так и не могла прийти во сне и не дошла наяву... А оно, оказывается, живо. И вот глядит на меня всей своей неуходящей прелестью. Оно живо, оно сохранено старым художником — этот корпус с нашим окошком, выходящим к липам и зимнему дворику. Как догадался он, что этот скромный рисунок так нужен будет чьему-то сердцу? Радость встречи этой, подаренной искусством, была, вероятно, глубже той, которую ждала я от жизни... Нет, не за прошлое держался старый художник, запечатлевая и этот угол монастырского двора, и стоящий теперь на дне Угличского водохранилища Паисьевский монастырь XV века, фиксируя облик Углича до возведения рядом с ним плотины, гидростанции, шлюза. О потомках, о будущем думал он, о наследниках, которые придут сюда принять все свое наследство и пожелаю увидеть, а что же тут было много-много лет назад, и, увидев, по достоинству оценят бурное наше время, менявшее облик русской земли... Он думал, как большинство встреченных мною людей, не только о завтрашнем дне, но и о Большом Времени, простирающемся далеко в будущее. Не мешает это, а помогает ему творчески, озаренно работать для дня сегодняшнего. Вот он ходит по деревням, зарисовывая старинную, еще сохранившуюся кое-где резьбу наличников, подзоров, коньков, — ведь резчики по дереву, как и гончары, здесь почти исчезли. Исчезают и образцы. Но они должны быть сохранены — чудесные в простоте, первородности и естественном изяществе образцы! Должны вновь появиться искусные молодые мастера, искусство резьбы не должно исчезнуть, ведь оно служит людской радости, украшению мирного жилья, его не заменить никаким машинным производством — здесь нужна мудрая и свободная человеческая рука... Вот он, невысокий и крепкий смуглый старичок, неутомимый краевед, бродя по лесу, обнаруживает под корнями вековой вывороченной ветром сосны кирпичи... Ста-

рые, массивные кирпичи... Он наклоняется, разбирает кирпичи, обнаруживает лаз, бесстрашно ползет туда на спине, чиркает спичкой и видит, что кирпичный свод над ним сияет десятками ослепительных красок с преобладанием голубых, желтых, зеленых — точно ушедшая в землю пышная радуга спряталась и окаменела здесь. Ему ясно — это печь для обжига немеркнущих знаменитых угличских изразцов, которыми изукрашены древние церкви возле его кирпичного домика, из которых сложены лежанки и печи в старинных бревенчатых домах Углича. Здесь они обжигались — на своде следы поливы, секрет которой еще не разгадан, которая так нужна была бы нам и для облицовки наших зданий, и в керамическом современном производстве. Значит, оно действительно было в Угличе, и его тоже можно возродить, тем более что возле города огромные залежи прекрасных жирных, пластических глин и редкие по качеству каолиновые глины. И вот Иван Николаевич из этих великолепных глин лепит опытные фигурки, вазочки, утварь, с большим трудом, кустарным способом обжигает их, и все же обжиг дает прекрасные результаты. Здесь сама природа, сами исторические традиции подсказывают: возродить керамическое производство, и старый художник предлагает создать студию, объединить и воспитывать кадры художников — резчиков, керамиков — труженников, которые уже сейчас могли бы украшать быт горожан и колхозников. Его никто не обязывает к этим зарисовкам, изысканиям, опытам (так же как никто и не помогает ни в чем!), — его обязывает к этому личное, государственное сознание долга перед сегодняшним днем, перед будущим, перед наследниками.

...Но я была у Ивана Николаевича через несколько дней после встречи с «моим собором», а в то утро, проотившись около него со своей землячкой, вернулась к себе в гостиницу.

#### «СЕРЕБРЯНАЯ НОЧЬ»

Я вернулась в свою комнату с померкшим старинным зеркалом и пышными геранями и, еще раз с наслаждением почувствовала, что я — у себя дома, больше «у себя» в настоящее время, чем где бы то ни было,

раскрыла тетрадь, чтобы записать о встрече с «моим собором», с молодой ленинградкой, и вдруг мне неудержимо захотелось писать не об этом, но об одной ночи в конце сентября сорок первого года...

...Уже сгорели Бадаевские склады — продовольственные запасы Ленинграда, и когда они горели, маслянистая плотная туча встала до середины неба и закрыла вечернее солнце, и на город лег тревожный, чуть красноватый сумрак, как во время полного солнечного затмения, — первый вестник голодного мора, уже вступившего в наш осажденный город. Но мы еще не знали об этом. Я была в те дни политорганизатором (комиссаром) нашего дома, а Николай Никифорович Фомин — начальником группы самозащиты. Мы были взволнованы странной листовкой, которую разбросал во время последней бомбежки немец, уже после пожара Бадаевских; она состояла из одной только фразы: «Ждите серебряной ночи», и, конечно, внизу подлая виньетка и буквы «шт. в з.» — что означало «штык в землю». Мы боялись, что листовка все же попала к населению, потому что некоторые женщины у нас на дворе стали говорить, что «он обещал газы»... Но газов, конечно, не было, а через несколько дней, около 12 ночи, Фомин постучал ко мне и сказал, что пришел приказ группе самозащиты быть «на товсь». Мы поставили усиленные посты и встали у подъезда. Не было ни обстрела, ни тревоги, ясный-ясный лунный сентябрьский вечер властвовал в городе, уже прекратилось движение, и в этой тишине вдруг слабо, но отчетливо мы слышали рокот полевых орудий.

— Немцы взяли Стрельну, — сквозь зубы сказал мне начгруппы самозащиты, — прорываются к «Красному путиловцу»... — И вдруг простонал: — Поз-зор... о, позор, позор... куда пропустили...

— Серебряная ночь, Николай Никифорович? — также сквозь зубы, сдерживая внезапную противную дрожь, спросила я. — Быть может, вас кем-нибудь заменить?

— Ерунда, — крикнул он, — я не мальчишка! Займите пост у подъезда, я на крышу... О боже...

(Через три месяца он умер от истощения, по дороге на работу, на Литейном мосту.)

Я встала у подъезда, приготовила «на товсь» санитарную сумку и противогаз; дворничиха тетя Маша,

сухоньгая, тихая старушка, подошла ко мне, доложила, что бутылки с горючим (на случай прорыва танков к нашему дому) наготове, и встала рядом, по-деревенски пригорюнившись. Убийственная тишина царила в лунном неподвижном городе, звуки смертного боя, идущего на окраине, доносились сюда, в центр, как слабый, смутный гул...

Я глядела на наш дом; это был самый нелепый дом в Ленинграде. Его официальное название было «дом-коммуна инженеров и писателей». А потом появилось шуточное, но довольно популярное тогда в Ленинграде прозвище — «слеза социализма». Нас же, его инициаторов и жильцов, повсеместно величали «слезинцами». Мы, группа молодых (очень молодых!) инженеров и писателей, на паях выстроили его в самом начале тридцатых годов в порядке категорической борьбы со «старым бытом» (кухня и пеленки!), поэтому ни в одной квартире не было не только кухонь, но даже уголка для стряпни. Не было даже передних с вешалками — вешалка тоже была общая, внизу, и там же, в первом этаже, была общая детская комната и общая комната отдыха: еще на предварительных собраниях отдыхать мы решили только коллективно, без всякого индивидуализма. Мы вселялись в наш дом с энтузиазмом, восторженно сдавали в общую кухню продовольственные карточки и «отжившую» кухонную индивидуальную посуду — хватит, от стряпни раскрепостились, — создали сразу огромное количество комиссий и «троек», и даже архинепривлекательный внешний вид дома «под Корбюзье» с массой высоких, крохотных железных клеток-балкончиков не смущал нас: крайняя убогость его архитектуры казалась нам какой-то особой «строгостью», соответствующей новому быту... И вот, через некоторое время, не более чем года через два, когда отменили карточки, когда мы повзрослели, мы обнаружили, что изрядно поторопились и обобществили свой быт настолько, что не оставили себе никаких плацдармов даже для тактического отступления... кроме подоконников; на них-то первые «отступники» и начали стряпать то, что им нравилось, — общая столовая была уже не в силах удовлетворить разнообразные вкусы обитателей дома. С пеленками же, которых в доме становилось почему-то все больше, был просто ужас: сушить их было негде! Мы имели

дивный солярий, но чердак был для сушки пеленок совершенно непригоден. Звукопроницаемость же в доме была такая идеальная, что, если внизу, в третьем этаже, у писателя Миши Чумандрина играли в блочки или читали стихи, у меня на пятом уже было все слышно, вплоть до плохих рифм! Это слишком тесное вынужденное общение друг с другом, при невероятно маленьких комнатах-конурках, раздражало и утомляло. «Фаланстера на Рубинштейна семь не состоялась», — пошутил кто-то, и — что скрывать? — мы часто сердились и на «слезу», и на свою поспешность.

И вот мы ходили с дворничихой тетей Машей от подъезда до калиточки и, напряженно вслушиваясь в неестественную тишину ночи, глядели на наш дом, тихий-тихий, без единого огня, в серебряном лунном свете видный со всеми своими клетками-балкончиками на плоских серых стенах...

— Хороший дом, — нежно, как о ребенке, сказала тетя Маша и добавила: — Ничего... отобьемся.

«Хороший дом, правда», — подумала я, и вдруг неистовая, горячая волна любви к этому дому, именно такому, как он есть, взмыла во мне и начисто смела остатки страха и напряжения.

Хороший дом, нет — отличный дом, нет, самое главное — любимый дом! В нем всегда зимой было светло и тепло, а какие хорошие коллективные вечера отдыха у нас были: приходил и пел свои песенки Борис Чирков — живой Максим из «Юности Максима», показывал нам новые работы свои Бабочкин — живой Чапаев, — обе картины только что вышли тогда. «Тетя Катя» — чудеснейшая Корчагина-Александровская нередко бывала у нас и вдруг за столиком, импровизируя, «выдавала» такое, чего никогда не увидишь в театре; был один раз даже какой-то прогрессивный красавец индус, про которого говорили, что он «бывший магараджа», и Миша Чумандрин здорово агитировал его за революцию — главным образом жестами и лозунгами, произносимыми на им самим изобретенном эсперанто: «Империализмус нужно — фини! Понятно, камрад?..» Вообще Миша Чумандрин, когда выпивал, то обязательно таинственным, сдавленным голосом — в шутку, конечно, — произносил среди узкого круга лиц тосты: «Хай живе наша ридна червонна Булгария... Хай живе наша ридна червонна Хермания...» Мы очень

смеялись, внимая этим тостам — в тридцать втором году!.. Но каким прекрасным был вечер, когда антифашистский певец Эрнст Буш пел нам в комнате коллективного отдыха песни Красного Веддинга и взмывал головой, давая знак, чтобы мы подхватывали припев, и мы с искренней верой и горящими глазами подпевали ему в темпе марша: «Левой! Левой! Ты придешь, товарищ, к нам... Ты придешь в наш единый рабочий фронт, потому что рабочий ты сам!»

«Нет, мы не отдадим нашего дома. Мы любим его. Не за удобства, да их и немного — неудобств куда больше! Мы любим его просто так, потому что он наш, часть нашей жизни, нашей мечты, наших дерзаний, пусть не всегда продуманных, но всегда искренних, а неудобства... что ж, их ведь можно поправить! Мы сами их наворотили, сами и исправим, все поправим, все в наших руках... А если этот, данный дом не исправить, то мы просто будем строить другие, лучше! Будем, будем!»

А ночь была серебряно-лунной, невероятно тихой, и только на заре нам дали распоряжение оставить обычные посты вместо усиленных,— враг был задержан на ближних подступах к Ленинграду.

Мне вспомнилась почему-то именно эта ночь после встречи с собором и разговора с моей землячкой, и захотелось записать об этой ночи и об истории нашего дома вообще, но я ничего не записала тогда, только посидела и страшно, до слез, пережила ту ночь заново, глядя на герани.

Я написала «почему-то», но это тогдашнее ощущение. Теперь я знаю, почему вспомнилась мне именно эта ночь, как знаю и то, почему все три недели жила в Угличе необычной жизнью — прошлым, настоящим и будущим сразу, жила в с е й ж и з н ь ю.

## ЛЕТО ПРОШЛОГО ГОДА

Это было, конечно, потому, что я была в городе детства в знаменательные для всей страны дни: еще не прошло и пяти месяцев со дня смерти Сталина; совсем недавно было заключено перемирие в Корее; только что было сообщено о разоблачении проклятого врага народа — Берия... Я вместе с угличанами слушала и



обсуждала тезисы к пятидесятилетию Коммунистической партии Советского Союза, праздновала это великое пятидесятилетие вместе с угличским комсомолом. Как и всем остальным, мне было не только понятно, но всем сознанием ощутимо, что та великая работа, которая была начата Советской властью в годы моего детства — когда трудящихся угличан горкоммуна переселяла в барские особнячки и монастырские покои и, несмотря на блокаду четырнадцати держав, и тьму, и холод, Советы стремились, чтобы вся страна стала грамотной, и пожилые женщины в классах нашей школы с волнением, удивляясь себе, начинали читать: «Мы — не ра-бы, ра-бы не мы», а в это время на Волховстрой питерский рабочий Алексей Васильев привел первый полукубовый экскаватор, чтобы начать закладку первого источника света и силы,— эта великая работа разворачивалась ныне по-новому, брала новый исторический подъем.

Я встречалась в Угличе, Ярославле и Рыбинске с десятками различных людей, главным образом интеллигенцией — газетными работниками, архитекторами, учителями, библиотекарями, молодыми художниками, инженерами, встречалась и с рабочими Угличской ГЭС, на которой встретила я и ветеранов-волховстроевцев, и ровесников-днепростроевцев,— и о чем бы мы ни говорили, огромные события прошлого года, перечисленные мною, вплетались в наш разговор или стояли за ним так, как стоит, бывает, над омытой грозой равниной высокая, ясная радуга.

...И каждый раз, возвращаясь в свою комнатку с геранями, я записывала не только пережитое и увиденное за сегодняшний день (многое было потом из этого опубликовано в очерке, в «Литературной газете»), но обязательно заносила на поля сегодняшнего все, что заново начинало жить во мне. А начинало жить разное и неожиданное. Например, вдруг заново переживала я вечер перед двадцатипятилетием Октября в заблокированном Ленинграде, когда после долгой, изнурительной тьмы дали первый ток — свет на первые три тысячи жилых объектов, то есть домов, и этот свет был с Волховстроя, первенца электрификации, детища Ленинграда: он первый прорвался к нам из-за кольца. И в тот вечер, когда дали свет, в вымерших квартирах вспыхнули окна, ведь они были не затем-

нены, а немец бомбил, и надо было срочно гасить свет в этих жилищах — взламывать двери, чтоб войти туда... Но главное — в том, что маленький Волховстрой всю блокаду питал своим светом и силой колыбель революции... Но об этом надо подробно, очень подробно! Это ведь тоже все для Главной книги, как и все, что было в Угличе. То вспоминала, как монтировали первый наш электросиловый генератор на Днепрогэсе — его называли «Ворошиловским», потому что почти все, кто его монтировал, сражались в дни гражданской войны под командой Ворошилова, — но это было еще в дни ранней юности. И вот шла через меня вся юность, со всеми ее белыми ночами, с ее ясной, простой любовью, с ее фантастической верой в то, что далекое, прекрасное будущее ты можешь заставить прийти завтра же, запросто, вот в этот дом, — шла вся молодость и обрывалась большим и страшным испытанием конца тридцатых годов.

...То записывала я после встреч с архитекторами и художниками, какими должны быть силуэты будущих волжских городов, и как мы откроем и освоим все древние секреты русских безымянных гениальных зодчих и художников и узнаем их славные имена, и какая превосходная многообразная живопись у нас будет, и мы все это вручим наследникам, потомкам (среди них будет и удивленный Вовочка моей землячки, который уже будет «все понимать»), и, сидя в одиночестве, не могла сдержать широкой неуходящей улыбки, представляя их восторг и благоговение перед нашей эпохой, перед этим годом, перед партией, перед нами...

Так, вместе со всей страной пережив громадные события 1953 года, сердце вместе с нею готовилось к какому-то новому восхождению.

На этом пока я обрываю записки о поездке в город детства...

1954

## ТА САМАЯ ПОЛЯНКА

Поздно вечером пришел мой папа и заявил, что останется у меня ночевать.

— А завтра я поведу тебя в Зоологический сад, — прибавил он строго. — Да, да. Утром. Обязательно.

«В градусе,— отметила я,— только бы «Гаудеамус» не стал исполнять...»

В градусе мой папа бывает редко, но зато градусы у него самые разнообразные. В градусе наиболее низком, в так называемом «недóпинге», он брюзглив и придирчив: разносит порядки на хирургическом отделении (которым сам же заведует!), жестоко бранит местком, куда его «нарочно все время выбирают», громит райздрав и назойливо требует от меня — именно от меня — ответа, «почему все эти безобразия творятся?».

В градусе чуть повыше он сосредоточен, серьезен, с нежностью вспоминает страшные фронты мировой и гражданской войн, на которых служил военно-полевым хирургом с первого дня мировой вплоть до кронштадтского льда, обсуждает вопросы международной политики — «мой прогноз таков...» — и очень сердится, если его прогнозы оспариваешь.

В градусе самом благоприятном он шумно и весело куролесит: без поводов рукоплещет, поет старинную невскозаставскую песенку, как все такие — печально-веселую:

А носил Алеша кудри золотые!  
Пел великолепно песни городские...—

и встряхивает при этом все еще волнистой золотисто-седой шевелюрой, декламирует отрывки из державинского «Бога» и — старый дерптский студент — обязательно стремится (басом!) исполнить «Гаудеамус». В этом состоянии его одолевают самые необычайные желания: «родить еще ребеночка», «написать трагедию в стихах» или — вот как сегодня — в пожарном порядке тащить меня, взрослого, ответственного, замученного к тому же «личным делом» работника редакции,— в Зоологический сад.

— Ох, папа,— сказала я,— ты же знаешь: мне некогда. И... не до того!

— Ну, ну, ну! Оставьте ваши штучки. Я тебе отец или нет? Я тебя породил. Сказал — поведу, и поведу.

Он помолчал и вкусно, значительно добавил:

— Льва увидим. Царя зверей.

Я невольно улыбнулась. Заметив это, папа пришел в восторг и захлопал в ладоши.

— Мамонька родная, я ведь тракторист!—закричал он, куролеса, и, вдруг став совершенно серьезным, негромко спросил: — Ну, а дела твои как?

Я оживилась. В то время два человека подали на меня клеузное заявление, и разбирательство тянулось уже долго-долго... Это томило и мучило меня, это было неотступно, я могла говорить о «моем деле» в любое время суток сколько угодно, я мысленно произносила бесконечные патетические речи и вела горькие внутренние диалоги с редактором, с секретарем парткома, с моими обвинителями, я даже во сне видела только это...

— Ты знаешь, папа,— заговорила я,— они опять отложили окончательный разбор! А на прошлом собрании редакции эта Климанчук несла такое... такое... что я просто... Нет, я этого так не оставлю! Я сама подам на нее заявление, понимаешь, сама! И сразу в наивысшую инстанцию... А сейчас я пишу новую, очень подробную объяснительную записку по поводу той статьи. В этой записке...

Я, горячась и терзаясь, излагала суть записки, а папа смотрел на меня пристально, совершенно трезво и только поминутно вставлял докторские реплики: «ну-ну», «да-да», «так-так».

— Ой, страховодная же ты стала! — вдруг воскликнул он, не дослушав меня.— Ой, психопаты вы, господа, все-таки... Ну, ладно. Ложись спать, завтра нам рано ехать. Я тоже ложусь... «Я царь, я раб, я бог, я червь».

— Ложись. Я еще посижу, напишу черновик заявления. Не того, а другого. По поводу другой моей статьи... Я сейчас принесу тебе матрас.

— Не надо. Я старый солдат, обойдусь и без матраса. «На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук».

— Папа, только без пения! У меня и так голова скрипит.

— Ну, ладно, ладно. Отец я тебе или нет? Ох, тяжелый случай...

Он улегся на жесткой и очень узенькой кушетке, а я закрыла лампу газетным кульком и уселась перед листом бумаги. Мне было очень одиноко, потому что папа не дослушал про «мое дело», и ничего вообще не понимает ни в нем, ни в моем состоянии, и неизвестно

чем доволен, а я... Как это все-таки противно — даже не дослушал... а я...

А он вдруг окликнул меня ласково и грустно:

— Лялька! Девчонка...

— Ну что, папа?

— А помнишь, как в Заручевье я и мать не пустили тебя с Муськой за грибами? На какую-то вашу полянку... Давно дело было... Ревели-то вы как, господи...

— Ах, папа, ну отстань, какая еще там полянка! Не мешай...

Он замолчал.

Я сидела долго, томилась, подбирала формулировки, мысленно бранилась с Климанчук, курила до сердцебиения. Меня душила обида — было ужасно жалко себя, я твердила шепотом: «Устала, устала, совсем устала...»

Я уснула на рассвете, мне снилось какое-то собрание, и вдруг в разгар этого собрания послышался папин голос:

— Лялька-а! Вставай! В Зоологический едем!

Я с трудом разлепила глаза: «Не забыл...»

— Папа, еще десяти нет. Куда мы в такую рань по-премся?

— Вот и хорошо, что рань: там в десять как раз открывают. Вставай, посмотри — какое солнышко-то! Ну-ну, давай побыстрее...

Он был весел, бодр, необыкновенно деятелен, его лицо с большими голубыми глазами было лукавым, как у человека, который задумал удивить мир, и злил он меня всем этим до изнеможения.

В старом своем военном картузике, который я помнила с детства, в коротком пальто реглан, похожем на бабью юбку, папа бежал по улице так, точно опаздывал на поезд. Я семенила за ним и тихо ругалась. В трамвай мы вскочили на ходу.

А возле Зоологического сада не по-городскому пахло прохладной осенней землей, деревья стояли бронзовые, строгие и не шевелились, замерев, точно понимали, что чуть теплый, бледно-золотой солнечный свет льется на них в последний раз. Строгость, умиротворенность и милая прозрачность осеннего дня кольнули меня, как льдинкой, особой грустью — тоже строгой, умиротворенной и прозрачной.

«А ведь мне уже много лет», — подумала я.

А папа сладко жмурился, подставляя лицо солнцу, круглыми своими ноздрями втягивал острый воздух, ежился и блаженно крякал.

— Ай, хорошо! Ну и хорошо! Что? Довольна, девчонка, что поехала? Жалко, что Муськи с нами нет. Помнишь, как осенью, в Заручевье, мы вас с Муськой за грибами не пустили? На какую-то вашу особую полянку?

— Ну, помню. Ну и что?

Он раздражал меня бесконечно.

— Гиены,— с удовольствием отметил он, когда мы подошли к клеткам.— Ишь, сволочи. Хохотать умеют. Смотри, как вон эта — рыщет, а? А вонь-то от нее, мамочка...

«Типичная Климанчук»,— определила я про себя и угрюмо улыбнулась.

— А вот тигры, Лялька, смотри, тигры. Шика-арные звери, верно?

— Похоже, что они из тигрового одеяла сшиты,— ответила я.— Неправдоподобные.

— Ну нет, это ты напрасно. Красивые звери. Мне нравятся. Ну, а это тебе львы. Их скоро кормить будут (папа вдруг ужасно озаботился, вытащил из жилетного кармана дедушкины часы, луковкой, взглянул на них, даже послушал). Да, ведь верно, кормить скоро будут. Ну, ничего, я тебе покажу, как их кормят.

— Да не надо мне, господи. Дождаться тут, что ли... кормежки ихней. Ты лучше посмотри, какие они плешивые. Точно топтались на них. И морды дурацкие. Тоже — царские! Как у Николая Второго...

Папа неуверенно хохотнул.

— Ну, пойдём, папа. Посмотрели. Да и смотреть-то не на что.

— Львы эти, действительно, немножко... того,— говорил папа смущенно, но еще бодро.— А вот медведи тебе понравятся. Они, знаешь, играют, кобелятся. Мы вот сейчас птиц посмотрим, потом к разным там коровам пойдем, и — к медведям. Ладно? А уж потом дальше. А? Хорошо?

— Как хочешь, папа.

Мы стояли у клетки с птицами. Тошнотворно пахло птичьим пометом, вода в неглубоком круглом бассейне была загаженной, грязной. А вокруг бассейна аккуратнейшим кружком расположились птицы: пузатый пе-

ликан неподвижно созерцал плавающую в воде корку; рядом с ним замерла, вытянув шею и прикрыв глаза белесой пленкой, неопрятная курочка; за курочкой торчала на одной ноге какая-то востроносенькая, ехидного вида птичка с хохолком, и так далее. Все они почему-то находились в полном оцепенении, точно были чем-то сильно озадачены.

— Заседание нашей редакции,— определила я немедленно и уныло.

Папа тяжело вздохнул и промолчал. Мы молча подходили к загородке с пони.

— Ну, а это пони,— сказал папа,— конечно, так себе. Мелкая лошадь... Тебе они тоже не понравятся...

Что-то в голосе папы удивило меня. Я бегло взглянула на него: лицо у папы было старое, разочарованное и... да! — пристыженное.

«Чего это он скис?» — подумала я, и вдруг меня как ударило: да ведь папа хочет, чтоб я удивлялась и радовалась, как в детстве! Ведь он не в Зоологический сад прогулку придумал — в мое детство, в свою молодость. А я-то брюзжу, а я-то ничего не вижу вокруг — ни золотых деревьев, ни забавных зверей, ничего, кроме страшных образов своей тоски, а я-то — старая...

— Ну, пойдем,— уныло уронил папа.

Но я воскликнула с увлечением:

— Нет, папочка, подожди, подожди! Я хочу еще посмотреть на лошадку!

— Ну, посмотри,— недоверчиво сказал папа, но немного смягчился.

— Нет, вот эти мне наконец нравятся,— восхищалась я, дрожа от жалости и любви к отцу и зорко следя, чтобы не переиграть.— А какая она маленькая! Отчего это она такая маленькая, а, папа?

— Да уж порода такая — пони.

— А это «пони английский», папа. Знаешь, он лучше того, красивей.

— Да как будто бы получше. Мордастый!

— Нет, не как будто, а определенно красивей. А вот интересно — ездить на нем удобно? Ужасно хотелось бы прокатиться... Ведь в Англии на них катаются, верно?

Я уже не знала, как угодить ему!

— Ну, зачем же сразу в Англию? Вон ребята едут! — веселея, сказал папа.

Действительно, к нам приближалась таратайка; она дребезжала, как консервная банка, сердитый, очень волосатый пони тащил ее. В таратайке глубоко, по самую шею сидело четверо детей в пушистых беретах, мальчик-служаший чмокал и правил, а за таратайкой сидела маленькая лохматая-лохматая собака с пучками шерсти над глазами. Все — и пони, и дети, и мальчик-служаший, и даже шерстяная безглазая собака — были очень серьезны, надуты, важны, все казались какими-то очень деловитыми, точно торопились на службу или даже выполняли ответственной задание.

— Ну, хочешь прокачу? — повторил папа и подмигнул. — Я могу!

— Ужасно хочу! Только... папочка, пожалуй, это не совсем удобно?

— Ну, тогда пойдем дальше. Нам еще много надо посмотреть.

— Да, да, пойдем. Я к обезьянам хочу, — воскликнула я, радуясь, что удалось обмануть папу. — Ты знаешь, я ужасно люблю обезьян. Особенно человекоподобных... Я так давно хотела посмотреть на них.

Мы тронулись к обезьяннику. Я взяла папу за руку и, нарочно чуть-чуть отставая, шла рядом с ним, как самая примерная дочка. Папа сиял.

— Хочешь, вафлю куплю? — спросил он. — Большую, с кремом?

— Ну конечно. Очень.

— Что, вкусная?

— Спрашиваешь. Прелесть!

Крем по запаху и, вероятно, по вкусу напоминал земляничное мыло, а в самой вафле, несомненно, уже появилась древесина. Я ела, давясь от отвращения, осыпая себя фанерными крошками, папа курил, золотые деревья неподвижно стояли над нашей скамеечкой, наслаждаясь последним солнцем. Рядом на скамеечке молодая женщина надевала трехлетнему сыну тупоносенькую гусклую галошку. Толстая ножка мальчика болталась, как ватная, мать никак не могла поймать ее в галошку и, лоя, спрашивала нежно и певуче:

— Ну, Вовочка, как же мы расскажем нашей бабушке — что мы видели в Зоологическом саду?

И мальчик отвечал, старательно морща круглый лоб и вытягивая губы в трубочку:



— Видели... большого слона-а... Большого велиблюда... и ма-аленькую лошади́нку.

При этом про слона и верблюда он сказал басом, а про «маленькую лошади́нку» тоненьким-тоненьким голоском пропищал.

Я наконец справилась с вафлей.

— Замечательно. Теперь, папочка, попить. Только, пожалуйста, с сиропом.

— У вас какие сиропы? — строго спросил папа продащицу.

Продащица с пышными, бумазейно-красными щеками отвечала, увеличивая в голосе восторг при каждом новом названии:-

— Клюква. Вишня! Свежее сено!! Чайный не́ктар!!!

Я выбрала «свежее сено» пополам с «чайным не́ктаром» — кутить так кутить!

Пока я пила, папа смотрел на меня с тревогой:

— Не очень холодная?

— Нет, ничуть.

— А помнишь, Лялька,— спросил он в третий раз,— как вы ревели, когда мы с матерью не пустили вас за грибами?

Я закивала головой. Он счастливо засмеялся.

— Как вы ревели с Муськой, как вы ревели, господа! Три часа подряд. Я думаю — сколько же они еще проревут?

— Еще бы! День-то какой был! Самый грибной. Дождичек моросил, такой светлый-светлый, мокрыми елками пахло, на той полянке маслят полно, а вы... Что? Теперь-то небось, через пятнадцать лет, жалко нас стало?

— Жалко... И тогда было жалко, да мать испугалась — дождь. Ну, мы и не пустили вас.

Папа взглянул на меня виновато и счастливо. Как я любила его! Мне хотелось увести его еще дальше, еще ближе к его молодости, и добрая память сразу открыла туда тропинку.

— А ты помнишь, папа, как мы были в Зоологическом, когда ты приезжал с германского фронта?

Он изумился.

— Ну? Неужели ты помнишь? Ты же тогда совсем щенком была?

— Вот,— а помню. У ворот тогда стоял такой киоск—огромная золотая бутылка, лимонад продавали.

А мне больше всего хотелось посмотреть на Серого волка, который Иван-царевича возил... Я и волка помню! А ты был в военном... А потом мы все снимались, и я снималась у тебя на коленях и держалась за твою шашку. И мне из-за этого казалось, что я ужасно храбрая. Ты помнишь, папа?

— Да я-то помню, но ты... Лялька! А ведь красивый я тогда был, а? Кудрявый! — И, тряхнув головой, он тихонько загудел:

А носил Алеша кудри золотые!  
Пел великолепно песни городские,

Эх! И усы у меня были — помнишь, какие усы?

— Ну как же, Муська еще говорила: «У папы под носом хвостики растут...» А ты все время подкручивал их и пел: «Усы мои, úсыньки, перестали виться, баба моя барыня стала чепуриться...»

— Постой, постой, — папа замахал рукою: — «Чепчик носит, чаю просит, нельзя подступиться». Так?

— Не всё! — торжествуя, сказала я. — «Дали бабе весь мундир, баба стала командир!» Это ж военная, фронтовая песня была...

Смеясь, счастливые и оба молодые, мы подошли к обезьяннику.

Как обычно, возле обезьян было больше всего народу. Озябшие, сизые мальчишки, перевесившись через барьер, как Петрушки, с восхищением и завистью следили за дракой двух молодых макак и поощряли их советами и возгласами.

— Двинь его, двинь!

— Эй, ты, сюда! Вон она, на ветке.

— Хватай ее за хвост! Хватай задней рукою!

За сизыми мальчишками топталась парочка: черненькая миниатюрная девушка и молодой человек с такими огромными ватными плечами, что был похож на киоск. Девушка глядела на обезьян с восторгом, взвизгивала и смеялась, но сразу спохватывалась и, заглядывая спутнику в глаза, степенно спрашивала:

— Женечка, правда, какие они оригинальные?

— Чудаки, — снисходительно отвечал парень.

А обезьяны жили самостоятельной, буйной жизнью, полной трудов и хлопот. Им было наплевать на зрителей, — они были заняты, они все что-то делали. Одна растрепанная макака заботливо выталкивала из

клетки поилку. Поилка была вдвинута плотно, макака подпихивала ее то справа, то слева. Другая макака сидела на корточках рядом и с глубоким вниманием наблюдала за работой подруги. Когда ей казалось, что товарищ не справляется с намеченной задачей, она бурно ввязывалась сама, но так как она была глупее первой, то тянула поилку назад. Наконец поилка неожиданно выскочила из клетки. Обе обезьяны на минуту остолбенели — они поняли, что сделали что-то не то. Тогда они стали высовывать худенькие ребячьи ручки и воровато трогать поилку, как бы желая убедиться — тот это предмет или нет? А в клетке рядом седой, бородатый и мужественный павиан деловито тряс сетку: схватится цепкими кулачками за сетку, потрясет и посмотрит — не вышло ли чего? Ан все по-старому! Тщета седобородого павиана была такой нелепо-человеческой, что я окончательно развеселилась.

«Вот это про меня, я — дура», — подумала я без всякой обиды, захохотала и оглянулась на папу.

Он смотрел на меня с радостью; сам он находился в том состоянии наивысшего довольства и доброты, когда у человека остается одно желание: расточить эту доброту. Он сказал:

— Ну, а теперь я покажу тебе слона.

— Ах, ведь еще слон! Пойдем скорее!

Играть мне было уже легко и интересно. Да нет, я уже и не играла, а жила этой внезапно возникшей радостной и милой жизнью...

— Ой, папа, какой он огромный, а уши-то какие, — суетилась я около загородки, и должно быть, так хорошо получалось у меня детское изумление, что какой-то испитой дяденька, удивительно похожий на тушканчика, заботливо пропустил меня вперед, как маленькую. Но мне даже показалось, что это в порядке вещей!

— Папа, а хвост? — надрывалась я. — Ужасно до чего непропорциональный хвост. А интересно, как его зовут?

— Их зовут Бетти, — почтительно сказал дяденька, похожий на тушканчика. — Они — дама.

Бетти стояла огромная, равнодушная, почти безглазая. Только потрескавшийся хобот двигался из стороны в сторону, да иногда переступали столбообразные, тяжкие даже на взгляд ноги.

«Если есть судьба, то она похожа на Бетти»,— подумала я и, испугавшись этой «недетской» мысли, воскликнула:

— Папа, смотри, он пяточок подобрал!

— Ага. Сейчас морковку себе купит. Соображает, как же!

— Они, действительно, работают,— вставил дяденька-тушканчик.— Они сознательные.

— Папа, купил, купил! Ест! Ах, как интересно!

Папа, порывшись в кармане, достал монетку и протянул ее мне. Это был гривенник, весь облепленный табачной трухой.

— На,— сказал папа,— купи слону морковку.

И я с блаженно-глупым лицом бросила слону гривенник. Гривенник мелькнул под самым хоботом Бетти, лихо прокатился под ее чудовищным туловищем и, немного повертевшись, улегся за слонихой, как раз под самым хвостом.

— Эх, неаккуратно,— воскликнул дяденька-тушканчик.— Они не повернутся.

— Не повернутся,— подтвердили в толпе.

«Если слон найдет мой гривенник — мое желание исполнится, меня не исключат»,— подумала я, и меня бросило в жар: я искушала Судьбу.

— Не найдет,— точно отвечая моим мыслям, крикнул кто-то.

Огромный хобот Бетти-судьбы ощупывал бетонную площадку. И все не там, все не там! Вот он пошарил справа, потом около решетки, потом замер, чуть покачиваясь. Все кончено. Я вцепилась ногтями в ладони. И вдруг моя судьба, медленно переставляя страшные слоновьи ноги, повернулась к любопытствующим зрителям задом, вытянула хобот и — цоп! — поймала мой гривенник.

— Исполнится,— взвизгнула я, вцепившись в папин рукав.— Все будет хорошо,— ты понимаешь?

В глазах у дяденьки-тушканчика мелькнул ужас. Зрители ахнули. И только папа, мой папа — понял ВСЁ.

— Ну как же не понимаю?! — закричал он сердито, но мне показалось, что из больших глаз его сейчас брызнут слезы.— Все исполнится! Ну, пошли, девочка. Теперь все посмотрели. Понравилось?

— Очень, папочка, очень! Особенно слон.

— Ну-ну, я рад. Ну, ты куда? К трамваю? А я — налево. К Дяде. Помнишь Дядю? Ну, неужели не помнишь?

— Постой, постой... кажется, что-то припоминаю... Ну да — Дядя...

— Ну как же Дядя — Минька Волохин, мой дерптский коллега... Гм... А ведь ты действительно, пожалуйста, не помнишь его, — ведь тебя тогда еще на свете не было. Ну как же — учились вместе, «Гаудеамус» пели...

И папа загудел, хотя вовсе не был в градусе:

— Гаудеамус игитур...

«Как мы далеко сегодня ходили с тобой», — думала я, глядя вслед старому, с детства знакомому военному картузику и короткому пальто реглан, похожему на бабью юбку. И мне было очень приятно, что я такая умная и хитрая, так тонко провела папу и доставила ему радость — прогулялась с ним в его молодость. Но тут же мелькнула догадка: а ведь папа сейчас идет и радуется тому, что он такой умный и хитрый и так ловко увел меня в детство от тяжких моих дел. И оказалось, что его молодость и мое детство — здесь, рядом с нами, со всем их счастьем и светом — а ведь это и есть жизнь, настоящая жизнь — счастье и свет... А мои дела...

«Да, но ведь это же просто ерунда, мои дела, — вдруг изумилась я, — это — тяжело, обидно, но ведь это — пройдет, и это не главное. А главное — Жизнь. И Жизнь у меня есть, она со мной, я рада ей, я люблю ее... И разве на свете одна Климанчук и подобные иже с нею?! А редактор? Как он терпеливо и заботливо выясняет эту путаницу. Он хороший... И райкомовец хороший — он возился вчера с одним пунктом весь день... А мой папа, — какой он хороший и добрый! Их много, добрых! Если есть добрые — есть жизнь. Она есть, есть!»

И я целый день шаталась по золотому, прозрачному осеннему городу и, вспоминая Зоологический, детство, папу, слона, — смеялась, а люди думали, что это я им улыбаюсь, и некоторые обиженно удивлялись, а другие смеялись мне в ответ сами.

А ночью я видела свой любимый сон. Их два у меня, любимых сна, очень похожих друг на друга. Мой первый, самый главный и любимый сон — это про Уг-

лич, про город, где мы жили, пока папа воевал на гражданской,— я уже рассказала об этом. А второй мой любимый сон — это как раз про ту самую полянку, куда не пустили нас родители в светлый дождливый день за грибами маслятами. Она была в Новгородской губернии, возле деревни Заручевье, куда ездили мы на каникулы несколько лет подряд. И вот мне снилось, как я иду к той самой полянке — так, как и ходили мы в отрочестве,— по узенькой тропочке через очень густую, старую ольховую рощу, полную тревожного, несомненно что-то значащего сумрака, и шороха, и бормотанья невидимого сердитого ручья, бегущего по темно-ржавым палым листьям между замшелых камней. Долго вьется черная, сырая тропка в сумраке и ропоте настороженной рощи, идешь по ней, и немножко чего-то страшно, но как только ступишь за последнюю ольху, на ту самую полянку — сразу так и обдаст тебя сияющий, зеленоватый, мягкий свет: на полянке нежнейшей зелени трава, с боков — березки с мелкими своими листьями, и с полянки настезь распахивается могучий, светлый, тихий-тихий простор. Ведь полянка-то на обрыве, на крутизне, и с обрыва видно далеко-далеко вокруг и внизу: необъятно стелются чуть обозначенные, мягкие холмы, луга, луга на них, синие толпы лесов видны вдали, узкая голубая речка вьется и мерцает внизу, избушечка стоит над ней,— простор и свет, русский, мудрый, добрый.

И если мне никогда не снилось, что я дошла до углического собора, то до той самой полянки я во сне всегда дохожу и долго стою на ней, и долго упивается сердце красой открывшегося простора, и я просыпаюсь освеженной, как-то по-особому спокойной и уверенной, потому что знаю: это существует не только во сне, но и наяву — родина, свет, жизнь...

1940—1957

## ПОХОД ЗА НЕВСКУЮ ЗАСТАВУ

### ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Я узнала о них в отрочестве, в Новгородской губернии, и уже не помню теперь точно, прочитала ли это в журнале или услышала от учителя Петра Петрови-

ча, зашедшего в тот вечер к избачу... Нет, наверное, это все-таки рассказал сельский учитель — старый человек с глубокими маленькими глазами и длинной, очень редкой, светящейся бородкой, знающий множество интересного и даже тайного о мире, о жизни и людях. Июльский вечер все голубел, все сгущался, первые звезды зажглись в просторном окошке избы-читальни, и вот Петр Петрович сказал, что будто бы звезды никогда не исчезают с неба: кроме звезд ночных и вечерних, есть еще и дневные звезды. Они даже ярче и красивее, чем звезды ночные, но никогда не видны в небе: их затмевает солнце. Дневные звезды можно увидеть только в очень глубоких и тихих колодцах: высоко стоящие над нами, недоступно-невидимые нам, они горят в глубине земли в малом черном зеркале воды, венчиком разбрызгивая вокруг себя коротенькие острые лучи... Правда, про лучи учитель не говорил, но я сразу представила это — ведь так обязательно должно было быть.

И вот с того вечера одолело меня неистовое желание — увидеть дневные звезды! Я никому-никому, даже сестре Муське, не сказала, что знаю о них и хочу их увидеть. Я думала — вот я сперва одна, первая я увижу их, а уж потом расскажу (Муське — сразу) и покажу даже — сначала Муське, а потом другим: посмотрите-ка, что я первая увидела! Даже не увидела, а подглядела — это больше, чем увидеть... Дневные звезды — это чудо, конечно, но оно существует на самом деле, оно — правда, я-то знаю! Теперь знайте о них, смотрите на них все, все!

Желание увидеть дневные звезды и весь план — показать их другим — возникли в тот же вечер, когда из Заручевья возвращалась я на недалекий хутор, где мы занимали комнату вот уже третье лето. Дорога сладко пахла недавно прошедшим сталом, парным молоком, остывающей пылью; маленькие мягкие фонтанчики пыли с приятной прохладой били меж пальцев босых ног, ивановские червячки доверчиво мерцали в придорожных канавах. В низинах, в легком тумане, побрякивали деревянные ботала и жестяные колокольцы невидимых лошадей. Иногда же слышалось звяканье какого-то особого, очень нежного, грустного колокольца. Дорога вилась с холма на холм, и было отрадно знать, что идешь не просто по дороге, а по Валдай-

ским возвышенностям, где не так уж далеко от тебя, из земли, из деревянной часовни, выбивается родник, который называется Волга. Везде вечер, и звезды отразились уже и в Волге-роднике, и в Волге-ручье, и в Волге-реке... А дневные... Дневные звезды я увижу завтра! Проходя через огород к дому, я приостановилась и с радостным страхом покосилась на старый наш, покрытый седыми лишаями и мохом колодец. Он был таким, как всегда: упираясь в небо, в какую-то обыкновенную звезду, высился над ним тонкий журавль, и огромные толстые лопухи (на листе как раз такого лопуха плыла когда-то Дюймовочка) — голубые вечерние лопухи чмокали и шевелились вокруг колодца. Все было как вчера, и все — иначе! Оказывается, этот давно знакомый колодец был просто набит лучистыми дневными звездами, а мы-то, дураки, и не знали об этом и нарочно норовили погромче плюхнуть ведро в его темную звездную воду.

«Я завтра увижу их», — вновь подумала я, и приятные мурашки пробежали по спине. Но почему-то несколько дней я не решалась заглянуть в наш старый колодец. «Нет, не сегодня... завтра... а уж послезавтра — обязательно...» Неосознанно я оттягивала счастливую и чем-то страшашую меня минуту свидания с дневными звездами, и — странно — эта оттяжка доставляла мне непонятное, ни на что не похожее наслаждение.

...Тогда, накануне юности, я не знала еще, что ожидание счастья сплошь и рядом сильнее, чем само счастье. Так же, как и предвкушение большой, сложной и желанной работы часто приносит больше радости, чем сама работа. Вот почему иногда тянешь с нею, откладываяешь сроки, придумываешь причины, чтобы не приступать к ней, а иметь возможность всласть, свободно помечтать — и о процессе ее и даже о плодах ее, то есть о новом своем произведении. Каким стройным и значительным видится оно из замысла, еще не додуманного до конца, — и не надо, не надо, чтоб в точности был известен конец, — он должен прийти с а м, как открытие, как награда за труд; из путаной сети первоначальных, то пронзительно блещущих, то еле мерцающих образов, наконец, из наивно-тщеславных мечтаний о том, как эта — еще не начатая на бумаге! — работа будет признана самыми строгими друзьями, при-



несет тебе искренне душевное волнение читателя, быть может, даже лучшие слезы его — одинокие, тайные слезы...

Отравленный ипритом, медленно умирающий и знающий, что умирает, Антуан Тибо, оглядываясь на молодость свою, записывал в дневнике: «Я жил в состоянии предвосхищения жизни и активного доверия к ней».

Предвосхищение жизни, то есть способность жить тем, что только будет, что только может наступить, но уже жить этим, — какой щедрый и жестокий дар бытия! Я долго, наверное слишком долго, жила в предвосхищении только одной радости и, быть может, слишком активно доверяла ей. Я знаю теперь, что значит жить в предвосхищении неизбежной утраты (любви, друга, семьи), незаслуженного обвинения, долгого и тяжкого испытания. Но тогда в отрочестве, в Новгородской губернии, не имея понятия, что сверх меры наделена способностью жить будущим (как и способностью жить прошедшим — памятью особого рода), я попросту наслаждалась предвосхищением радости, предвосхищением встречи своей с дневными звездами.

И вот через два или три дня, в знойный, безоблачный полдень, убедившись, что на огороде никого нет, я стремглав подошла к старому колодезному срубу, зажмурилась, с размаху, как книгу, распахнула обомшелые двери и, не мигая, устала в темную глубь его.

Никаких звезд в колодце не было.

Я не поверила этому.

Я смотрела в колодец очень долго, долго вдыхала его холодок и запах разбухшего дерева, но звезды не появлялись в нем, лишь время от времени черный квадрат воды начинал почему-то вздрагивать и с самой середины его к стенкам бежали и бежали еле заметные круги.

«Наверно, с первого раза их и нельзя увидеть», — догадалась я и через час или два, протомившись на зное, уже не стремглав, а крадучись подошла к колодцу, осторожно, тихонечко отворила его и... снова ничего не увидела! Так я заглядывала в колодец до вечера, пока не зажглись первые звезды, видимые всем и каждому.

На другой день зарядил дождик, потом пошли дни, когда ясное небо вдруг наполнялось сияющими, бур-

ными, круглыми облаками (их-то я видела в колодце!), потом снова и снова, по-разному, в разное время заглядывала я в колодец, но так и не увидела — хотя б на минутку! — ни одной дневной звезды...

Я никому ничего не сказала и была довольна, что не похвасталась дневными звездами заранее даже перед Муськой.

Но странно! Уверенность в том, что дневные звезды есть и что есть на земле колодцы, отражающие, держащие их в себе, не оставила меня. Просто, наверное, наш колодец был не так глубок и не так темен, как надо. Быть может, со дна его били какие-то тоненькие бредливые источники, колебавшие воду, не дававшие ей покоя, необходимого для отражения никому не видимых звезд. Неудобно сознаваться, но лишь недавно я узнала, что ослышалась тогда или просто не поняла Петра Петровича: дневные звезды можно увидеть не в глубоких колодцах, а из колодца, то есть сидя где-то в недрах земли. И все-таки, несмотря на то, что ни разу не увидела я в отрочестве ни одной дневной звезды, несмотря на широкое распространение водопроводных колонок, мне и сейчас хочется верить, что есть у нас на земле звездные колодцы, и не только старые, тихо обступаемые сказочными лопухами, но и новые, возникшие при нас, стройно и жестко бетонированные, стремительно уходящие в такую земную глубину, хранящие такое тихое и темное зеркало воды, какое старым колодцам и не снилось. Я не только уверена, что такие колодцы есть, — больше того: я хочу, чтобы душа моя, чтобы книги мои, то есть душа, открытая всем, была бы такой, как тот колодец, который отражает и держит в себе дневные звезды — чьи-то души, жизни и судьбы... нет, точнее: души и судьбы моих современников и сограждан.

Незримые обычным глазом и, значит, как бы не существующие, пусть будут видимы они всем, во всем сиянии своем — через меня, в моей глубине и чистейшем сумраке. Я хочу все время держать их в себе, как свой собственный свет и собственную тайну, как свою высшую сущность. Я знаю: без них, без этих дневных звезд, меня как писателя нет и не может быть... Но ведь и они не могут быть видны другим — то есть существовать — без меня, без моей жизни и рассказа о ней, без нас — писателей, и мы знаем об этом.

А я по-особому, заново вспомнила об отроческой мечте своей, о дневных звездах и колодцах, отражающих их, когда раздумывала над письмами и откликами читателей на записки свои, опубликованные в 1954 году в журнале «Новый мир» под названием «Поездка прошлого года», а ныне открывшие эту книгу под заголовком «Поездка в Город Детства». Я не рискнула бы говорить об этих письмах, если б не была уверена, что они относятся не только ко мне, а ко многим моим товарищам по профессии, затрагивая при этом область наиважнейшую: наши отношения с читателями, точнее же говоря — с народом.

Я рассказывала в первом отрывке (условимся называть пока так неопределенные эти записки) о путешествии в город детства, в древний русский город Углич, вспоминала трудные годы, прожитые там во время гражданской войны в келье девичьего монастыря, куда вселила нас горкоммуна. Я размышляла о Главной книге своей, которая у меня, как и у многих писателей, всегда впереди, говорила о том, какой именно рисуется мне моя Главная книга — как «исповедь сына века», писала еще о многом другом.

Я получила очень много писем.

Откликнулись мне многие мои «земляки» по Угличу — ныне военнослужащие, инженеры, речники, матери семейств, — те, чье детство и юность связаны с этим неповторимым русским городком, которые и учились-то, как оказалось, или одновременно со мной, или несколько позже, многие — в той же школе, только мы тогда, ребятами, не знали друг друга, не дружили, и вот лишь теперь, тридцать лет спустя, заочно познакомились...

Откликнулись люди, никак не связанные с Угличем.

И — кое-кому это может показаться невероятным — больше всего писем было о Главной книге.

Среди них было письмо старой учительницы из подмосковной деревни, письмо донецкого шахтера-красногвардейца, письмо старика лесоведа...

Они писали о том, какой видят они мою Главную книгу, они рассказывали о своей жизни, приписывая в конце: «Может быть, это понадобится для вашей Главной книги».

И вот, читая письма-напутствия и письма-исповеди, я поняла еще одно, очень важное: если у меня есть

Главная книга, еще не написанная, которая всегда впереди, то и у читателя тоже есть такая Главная книга, еще не прочитанная, и она тоже всегда впереди. И так же, как писатель пишет свою Главную книгу непрерывно, мечтает о ней неустанно, так же, как кажется писателю во время очередной его работы: «вот я пишу наконец самое главное», а потом видишь, что это только подступы к главному, а оно опять впереди,— так же и у читателя существует это чувство: во многих книгах нашей поистине великой советской литературы он узнает и время и себя, многие книги наши он любит, но какая-то самая Главная, самая всеобъемлющая и выражающая его душу книга — для него впереди, и он ищет, он жаждет этой книги. Он хочет увидеть в ней не только внешнее движение событий, не только внешние свои деяния, а прежде всего самый глубинный, тайный, интимный, самый достоверный мир своей души. Он хочет увидеть нравственный путь свой без прикрас и без прикраснения, без умолчаний и без болтовни, без преувеличений, но и без умалений. Быть может, так дневная звезда томится своей невидимостью и «жаждет обнаружения», жаждет не только увидеть себя, но хочет знать, что ее увидели и узнали другие, хочет поделиться с другими своим заветнейшим, своим невидимым, своим глубинным светом. Советский же человек с его титанической биографией не только хочет поделиться своим духовным опытом с современниками-соотечественниками, но и с людьми всего мира, но и с потомками, и не «немой исповедью», не скороговоркой, а через Главную, Большую книгу своего писателя. Больше того, он хочет вместе с писателем создать эту книгу, вместе с писателем он хочет быть героем этой книги, чья душа настезь, до самых глубин, открыта перед народом, он хочет быть героем «исповеди сына века». Жажда такой книги ничего общего не имеет с праздным тщеславием типа требований: «Увековечьте нас, пищевиков», «А вот нас, работников горфинотдела, забыли», «Ближе к жизни пожарников и огнетушителей, товарищи писатели» и т. п.

Нет, это не суетное желание как можно скорее насладиться собственным лицемерием, а хозяйское отношение труженика, строящего будущее, к будущему. Это — предвосхищение жизни своей в жизни тех, кто идет вслед за нами, желание оставить им не только ма-

териальное, но и духовное наследство; с беспощадной правдой передать нравственный опыт эпохи, при этом не только положительный, но и отрицательный — вот это хорошо, вот так поступайте, а так не делайте, не повторяйте наших ошибок и страданий. Вот это долго казалось нам правильным, а на самом деле оно было ложным. Это мы долго принимали за ложное, страшилось и чурались его, а оно оказалось единственно истинным.

...И еще одно поняла я из таких писем-исповедей, писем-автобиографий: читатель всерьез тревожится, что мы, писатели, отображая, фиксируя, записывая видимое и известное всем, не поднимаясь выше преходящего и злободневного, забудем что-то очень важное, может быть самое важное, и теперь и навсегда самое современное, что происходило и происходит в жизни и душе его, читателя-народа. Так дневная звезда, проходя над колодецем, трепещет, что колодец не отразит ее, не примет невидимого ее света в свою вещую глубину...

Эта тревога понятна. Да! Мы много сторон и событий нашей жизни, проходивших через душу советского человека, волновавших ее то горечью, то отрадой, терзавших и возносивших ее, иначе — много сторон истории души его — коснулись пока лишь поверхностно и чаще всего фальшиво. Но мы помним все. Древний поэт, оплакивая разрушенный Иерусалим, город своего счастья и своего страдания, единого со счастьем и страданием народа, восклицал: «Если я забуду тебя, Иерусалим, — да забудет меня рука моя, да прилипнет язык к гортани моей — если не буду помнить тебя, если не поставлю тебя во главу веселия моего».

Паралич тела, вечную немоту — паралич духа — вот что призывал на голову свою древний поэт, если он забудет то прекрасную, то страшную правду о себе и своем народе и не сделает ее «главой веселия своего», то есть основой своей жизни, основой ее радости.

Нет, мы ничего не забудем! Мы верны зову Партии: помнить, знать и писать о нашей жизни, о нашем советском человеке, о его душе — всю правду и только правду. Мы верны тебе, читатель, требующий ее от нас, ждущий наших — и своих! — Главных книг. Мы их все-таки напишем с твоей щедрой и умной помощью, напишем, открывая свое и твое сердце как единое сердце народа. Напишу, наверно, и я свою Главную книгу —

нет, не наверное, а непременно!.. Но сегодня я все еще только на подступах к ней, и эти записи тоже лишь подступы к ней, хотя мне кажется почему-то — более ближние, чем предыдущие. О да, и это лишь черновик, но Главная книга всегда больше замысел, чем воплощение, она всегда мечта, предвосхищение самой себя — Главной, Большой книги. Но, повторяю, эти записи кажутся мне на сегодняшний день приближающимися Главную книгу более, чем все другие. Поэтому я и решаюсь публиковать их. Главную книгу невозможно создать в стерильных редакционных недрах, в наилучшем кабинетном уединении. Записи к ней необходимо, по-моему, выносить на люди. Это не гордыня, это надежда на помощь читателя, а также друзей по профессии — писателей и критиков. Я продолжаю свои записки, по-прежнему не связывая себя более тесной формой, чем открытый дневник, в котором смешается прошлое, настоящее и будущее, память жизни и предвосхищение ее, герои погибшие и живые. Здесь будут повторы уже написанного, возвращение к уже сказанному. Мне хочется сказать о многом — сегодняшний день обязывает ко многому. Но если что-нибудь и не будет досказано мною, по неумению моему или каким-либо иным причинам, — я знаю теперь более, чем когда-либо, что читатель, который вместе со мною пишет нашу Главную книгу, поймет меня до конца.

Сегодняшний день обязывает ко многому, но прежде всего — к обороне мира. Поэтому в этом отрывке я буду много говорить о войне — о Ленинграде в страшные и высокие годы блокады...

#### ДЕНЬ ВЕРШИН, ДЕТСТВО!

В предыдущем отрывке я остановилась на том, как сидела в угличской гостинице перед окошком с геранями на подоконнике и нежным силуэтом Дивной вдали и жила всей жизнью, ибо только что на месте исчезнувшего жилища детства и несбывшегося сна испытала необычайное состояние сопричастности со всей жизнью народа во времени и пространстве. Но тому угличскому дню предшествовал другой день, похожий на него по неистовому накалу и густоте бытия, который я до сих пор называю, быть может, несколько торжествен-

но — «днем вершин», о котором даже стихи писала, где и сотой доли не смогла выразить того, что испытала в тот день. Но я уже говорила, что Главная книга ищет себя в разных воплощениях...

«День вершин» был в начале октября сорок первого года за Невской заставой... Но сначала я должна — пока хоть коротко — рассказать о Невской заставе, о самом начале своей жизни, — мне кажется, что без этого ничего нельзя будет понять ни другим, ни, главное, мне самой.

...Потребность связать свою жизнь воедино, потребность вспомнить, сравнить, переосмыслить все, что в ней было, начиная с ее истоков, собрать самое себя как нечто единое, рассеченное сначала войной, затем событиями 1953—1957 годов, — вот что означает, по-моему, это стремление «начать с самого начала...»

Я застаю себя очень рано, примерно лет с трех. Я застаю себя в нашем двухэтажном деревянном доме, среди людей, почему-то очень давно известных и любимых, — это дородная бабушка Ольга Михайловна, дед Христофор, красивейшие папа и мама, Авдотья, наша няня и прислуга, вторая бабушка — маленькая Марья Иванна, мамина мама (мы звали ее баба Маша), многие тети и дяди и, наконец, таинственно появившаяся в доме сестра Муська.

Собственно, с ее появления и возникает в сознании память и с той ночи, как тутовый шелкопряд, начинает прядь клейкую нить, скрепляющую отдельные явления в непрерывную жизнь.

Я застаю себя впервые на мощных руках Авдотьи, которая несет меня сквозь полутемную, полную невнятного движения квартиру, сквозь мерцающую ночную кухню, сквозь прихожую, где от двери дохнуло улицей и морозом, — в комнату матери.

Здесь горит висячий голубой фонарь, и комната точно наполнена светящейся голубоватой водой. Пахнет чем-то незнакомым, и очень жарко. Под фонарем, на самой середине комнаты, стоит что-то неизвестное мне, вроде кровати с белым остроконечным пологом, похожее на бумажный кораблик. Оно покачивается и шуршит, как кораблик. Конечно, это большой кораблик! Сухонькая, вся в темном, бабка Марья Иванна покачивает его. Бабка Ольга в огненном капоте, скрепив огромные руки на огромной груди, стоит с другой

стороны кораблика... Но прежде всего я вижу окно. Освещенное откуда-то с улицы, замерзшее январское окно трепещет ярчайшими — зелененькими, красненькими, желтыми, голубыми — огнями. Огоньки бегут один за другим, вспыхивают, крутятся, прыгают, льются, и я не могу оторвать глаз от зрелища Окна...

— Смотри на сестренку-то, смотри, Лялеца, — шепчет Авдотья, и кораблик останавливается.

Я напряженно гляжу. В белой сердцевине кораблика лежит что-то темное и сморщенное, как грецкий орех, немножко похожее на чловечка. Я протягиваю руку, чтобы потрогать это. Мне не дают потрогать. Авдотья шепчет:

— Ну что, нравится сестренка-то, а?

Я ответила басом, нетерпеливо стремясь к Окну:

— Нет! Она очень красная.

И обе бабки засмеялись, и тетки засмеялись тоже. Ночь, а никто не спит. Все столпились возле люльки-кораблика, кроме мамы — она почему-то лежит за пологом, — шепчут над ним, качают его, целуют меня и все такие добрые — бабка, отец, дед, тетки...

Я плоть от плоти и кровь от крови всех этих людей, существо, рожденное в их далекой Атлантиде. Они заботливо учили меня ходить и говорить по-человечески, так, как тысячелетия учили этому их самих. Я свидетель геологической гибели этой Атлантиды и сама, насколько могла, способствовала этому... Как я временами тоскую по ней теперь...

Первые годы моего существования, как и у всех людей, были прекрасны, исполнены тайн и открытий в никому не известном мире.

Я вспоминаю эти годы с глубоким уважением, с печальной любовью, с завистью к самой себе. Я вспоминаю эти годы, как страну, дорога к которой утеряна, но чудесный ландшафт которой душа никогда не забудет.

Все было живым в Стране Детства.

Ее необъятная территория начиналась, конечно, с нашей небольшой, но, как казалось тогда — огромной квартиры. О, тогда здесь не было ничего незначительного и мертвого. Наоборот, каждая вещь жила особой жизнью, имела свое лицо, голос и повадки.

В прихожей стояла огромная бочка с темной, глубокой водой. Если, подтянувшись на цыпочки, наклонить-



ся над бочкой и крикнуть, бочка отвечала толстым, сердитым голосом, как дяденька. Лицо у нее тоже было толстое, с надутыми щеками. В бочке можно было утонуть, и, наверное, в глубине ее вод жили рыбки. Зима начиналась с бочки: в темной ее воде заводились юркие, скользкие, как мальки, льдинки; Авдотья не давала их ловить руками.

За прихожей расстилалась кухня, набитая домашними, мелкими, но тоже хитрыми и живыми вещами, наполненная запретными закоулками, где все-таки можно было устроить дом и жить.

Блестящая, всегда теплая кафельная плита имела топку, духовку, а под духовкой еще какую-то маленькую дверцу, которую Авдотья ни за что не позволяла открывать и испуганно кричала, как только я подбиралась к этой дверце:

— Уйди! Там зола! Не трожь!

— Почему?

— Откроешь — полетит, глаза щипать будет.

Я еще не знала, что такое зола (слово-то было произнесено впервые!), и решила, что это какая-то злая тетка, которую Авдотья поймала и заперла под духовкой. И зимними вечерами, когда дули ветры, — так страшно было на кухне! — злая тетка Зола стучалась в дверцу, тихонько скулила, и я тесно прижималась к Дуне, которая Золы ничуть не боялась, а выгребала ее по утрам, когда все спали.

Над кухонным столом медового, съедобного цвета висел черный лохматый ёршик, которым прочищали ламповые стекла. Когда его брали в руки, ручка ёршика сердито пищала: ёршик был живой, он мог укусить, и я боялась его. Авдотья знала это и иногда, когда я уж очень вертелась под ногами, хваталась за ёршик и восклицала:

— А вот я тебя сейчас Ёршику отдам!

А Ёршик противно пищал и топорищился от злости.

Сахарные щипцы мы называли Хáха, потому что они широко раскрывались, как рот во время хохота, оскалась острыми кончиками.

Хáха тоже был живой и скалился — радовался, когда грыз сахар.

В столовой, где обои были как дубовые доски и в углу стояла гофрированная золотая печка (мы были уверены, что она всамделишная золотая), а в центре—

большой стол под висячей лампой, самой замечательной вещью были стенные часы: небольшая рогатая головка оленя украшала их, и если, притаившись, сощурить веки и быстро-быстро вращать глазами, олень начинал поворачивать голову из стороны в сторону, и казалось, что вот он сейчас совсем оживет и, маленький, милый, соскочит с часов. «Олёнюшка!» — звала я его шепотом. Но волшебство моментально исчезало, как только я по-настоящему открывала глаза.

Это была эпоха божественной потребности осязать и наименовывать вещи, вдыхать в них душу, наслаждаться их движением. Но домашние не позволяли нам ни трогать, ни одушевлять, ни приводить вещи в движение и с каким-то удовольствием, даже старательно, разрушали наше представление о живом мире, полном человечков.

— Испортишь! Сломаешь! Ушибешься! Отойди! Не трогай! — ежеминутно восклицала бабушка Ольга, как только я подбиралась к чему-нибудь интересенькому.

Даже игрушки, которые дарила мне она сама или другие, бабушка прятала от меня, чтобы я их не испортила или не сломала. Она спрятала в горку красивую жестяную посуду, которую подарил мне дед, убрала в недра комода мою куклу Нину с закрывающимися глазами, скрыла в глубине платяного, огромного, как дом, шкафа настоящий маленький красный зонтик, подаренный тетей Лизой.

И вот поэтому не было во всем доме милее и любимее угла, чем кухня, а в кухне — Дунина кровать. Она была плотно приставлена к стене, и тиковый полог бордового цвета (Дуня говорила «бурдовый») отделял ее от кухни. Дуня никогда не отгоняла нас от своей кровати. На кровать Дуни можно было даже забираться с ногами, можно было прятаться за огромной розовой подушкой, кувыркаться. Можно было даже встать на подушку и посмотреть вблизи на Дунину иконку. У бабушки все иконы были одинаковые — с темными, сердитыми, длинными лицами. А у Дуни иконка была очень интересная: старичок, святой, ужасно похожий на нашего дедушку, только с чересчур большой головой и с сияньем вокруг головы, кормил из рук коричневого медведя, а кругом был густой, дремучий лес и избушечка выглядывала из лесу, маленькая, с окошка-

ми и трубой, а из трубы даже шел дымок — наверное, все это было как у Дуни в Гужове. Когда перед иконкой горела зеленая лампадка, лес оживал и двигался... А под кроватью помещалась Дунина круглая плетеная корзинка, и там лежали очень красивые, в розах и бабочках, материи, потом зеленая-зеленая шелковая кофта и, главное, удивительный платок: с одной стороны золотой, с другой — серебряный!

В свободное время любимым занятием Авдотьи было перебирать вещи в корзине.

Она особенно ценила свой платок и подолгу любовалась им, ну и мы, конечно, тоже. Мы всегда неслись в кухню, как только Дуня начинала перебирать корзину...

Мы не могли оторвать глаз от золотисто-серебряного платка, который Дуня почему-то называла двуличным.

— Ой, Дуня, красивый какой! Дай потрогать! А как ты думаешь, Дуня, у царицы такой платок есть? Дуня, а что ж ты его не носишь никогда?

— А зачем мне его зря-то трепать, — с достоинством возражала Дуня. — Я вот в Гужово поеду, все это с собой повезу... Я его в Гужове и обновлю...

Дуня была «скобская», поэтому вместо «ч» она произносила «ц» — и наоборот. Деревня Гужово, родина ее, была в Скобской (Псковской) губернии, и ехать туда, по словам Дуни, надо было целых три ночи, а то и больше ночей...

— А днем? — спрашивали мы.

— Не... туда только ночью ездют, — твердо отвечала она.

Очень далеко было Дунино Гужово — за тридевять земель, за тридевять ночей...

«Бурдовый» полог у Дуниной постели обычно был закинут на карниз, Дуня опускала его только на ночь, когда ложилась спать.

Но иногда она опускала его задолго до ночи. Это было тогда, когда все взрослые уходили в гости, а мы оставались одни в полутемной, освещенной только лампадками, странно затихшей квартире; квартира становилась вдруг немного чуждой, страшноватой и как будто бы необитаемой.

Тогда Авдотья опускала полог, садилась на кровать, аккуратно вытягивала руки на мощных своих ко-

ленях и, уставив куда-то неподвижный, отсутствующий взгляд, заводила на всю квартиру тоненьким, «долгим» голосом, точно плача:

А как родимая сторо-онушка...

И дальше она не могла пропеть ни одного слова, сразу, мгновенно мелкие слезы заливали ее широкое лицо, и она плакала тем же тонким, тоскующим голосом, без слов, без жалоб, лишь время от времени выводя свою единственную фразу:

А как родимая сторо-онушка...

Непонятная тягостная тревога начинала томить меня, когда тонко пела-плакала Дуня в нашей опустевшей вечерней квартире, за темным своим пологом у гладкой сырой стены.

Мы теребили ее: «Дуня, Дуня, не пой, страшно», но она, неподвижная, с окаменевшим разъеденным слезами лицом, с покрасневшим носом-уточкой, казалось, не слышала нас, пока мы сами не начинали реветь во весь голос. Тогда она, словно проснувшись, кидалась к нам:

— Ай, тошно мое лихо! Ну, вы чего? Вы чего? Вам плакать нельзя, у вас папа-мама есть...

— А зачем ты сама плачешь?

— Так. У меня мамы нет. Папы нет. Сиротка я. Гужово вспомнила. Братуху жалко. Была бы грамотная — письмо бы ему написала...

Ее главной болью и горем была ее неграмотность. Она неумоимо стыдилась, что «темная дура, безграмотная», мучилась этим, хотя за Невской кругом были неграмотные — и дворник наш, и водовоз, и полотер, и много жильцов и жилищек. Но им это было все равно, а Дуня страдала оттого, что неграмотная, и на наши книжки смотрела, как голодный смотрит на хлеб, и иногда спрашивала:

— А это какая буква? А это? Ну, букве «А» я уже науцилась. Лялецка, науци меня исцо одной буковке...

Ее заветнейшей мечтой было научиться писать, и не для чего-нибудь, а для того только, чтобы с а м о й написать письмо в Гужово, братухе... В то Гужово, о котором она так плакала и пела, о котором мы готовы были слушать целыми часами.

Едва она переставала плакать, как мы привязывались к ней:

— Дуня, расскажи про Гужово! Расскажи, Дунечка, миленькая!

Ее бессвязные новеллы, состоявшие иногда из одной фразы, были полны событий, всегда печальных или страшных. Авдотья рассказывала:

— У нас в Гужове лес очень огромный. В этом лесу одну девку Зеленый завел и удушил...

Мы замирали.

— Дунь... А Зеленый — это кто?

Она шептала, озираясь:

— Ну... самый страшный на свете... Про него нельзя рассказывать!

Перетерпев ужас, мы просили:

— Дунь... Ну, еще что-нибудь.

И, помолчав, она повествовала:

— Маму мою волки заели. Не вправду, а... Она умирала, все кричала: «Ой, волки в избу пришли, ой, волки ко мне идут!..» Братуха меня жалел.

Мы ежились и озирались, крепче прижимаясь к ее широкому, теплым бокам.

— Ну, еще что-нибудь...

Она неподвижно глядела вперед, точно вглядываясь во что-то. Ее широкое, доброе лицо с яркими красными жилками казалось жалостливым, губы распускались.

— Гуси меня один раз чуть до смерти не исципали...

— Ой, Дуня, почему?!

— Так. Я девчонкой у одного хозяина у гусятничих была. Я вот такая маленькая, а гуси больсцупие, злые! Гусаки. Они все на меня, все сцупать. Я в ров. Братуха прибежал, отбил. У братухи гусей нет. Лошади нет.

— А братуха гусей не боится?

— А цего ему гусей бояться?

Мы вздыхали от удовольствия и просили еще рассказать про братуху.

Помолчав, Авдотья рассказывала:

— У нас один раз корова была — злая, бодущая. Всех бодала. Братуха ей рога взял и спилил.

Или:

— У одного хозяина лошадь была — во кусающая! В лес со двора забегла. Братуха пошел, лошадь пой-

мал да исцо грибов стоко собрал, хоть все Гужово корми...

— А Зеленый?

— А цего Зеленый?

— А разве братуха Зеленого не боится?

— А братуха ницего не боится!..

В Гужове коровы были бодущие и злые, и гуси были огромные и злые, и леса, обиталище Зеленого, огромные и страшные, и к людям оттуда в смертный час приходили волки, и лошади были дикие и кусачие, а братуха, огромный, бесстрашный, бесстрашно ходил среди дикого скобского леса, разгонял разъяренных гусей, спиливал бодущим коровам рога и, ничуть не страшась Зеленого, о котором даже говорить нельзя, громко играл на гармошке ту самую песню, которую никак не могла спеть в Питере Авдотья.

О свирепо-прекрасная скобская деревня Гужово! Твой дремучий лесной лик непримиримо глядел с Дуниной иконки на городскую чужбину. И каждый вечер, столбом встав перед иконкой, окаменев, выпучив глаза, Авдотья молилась изображению старика, спокойно кормящего медведя, изображению горестной избушки — сияющему своему за тремя ночами, далекому Гужову. Сидя на корточках у плиты, мы с уважением следили за ее широкой сборчатой юбкой, за тощей косичкой меж голых мужественных лопаток, за большой красной рукой, кладущей медленные кресты. Мы напряженно вслушивались в ее цокающий шепот, и я услышала однажды:

— Светы божи, светы крепки, светы бессмертны, помилуйте мя.

Воображение перевело подслушанную молитву иначе — она была таинственна и прекрасна: «Цветы божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные, помилуйте нас».

И тотчас же, легко и отрадно, мы поверили, что у бога в раю растут такие цветы — огромные с дерево, неувядающие, крепкие и добрые; они светятся, как фонарики, и сделают все, что у них попросишь. И мы верили в божьи цветы, в их дивную силу, спокойно и радостно и с особым доверием просили:

— Цветы божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные, помилуйте нас!

Я скрывала эту молитву от взрослых, инстинктивно

чувствуя, что они запретят ее, что они, молясь скучным, темноликим иконам своим, не поверят в веселые и добрые святые цветы.

И вот прошло много-много лет — была революция, была гражданская война, мы почти три года жили в Угличе, потом вернулись в Петроград, где в квартире нашей исчезли все человечки, исчез и угличский старичок, потом, всего через девять лет, я навсегда ушла из отчего дома, из-за Невской заставы, и была уже комсомолкой и даже кандидатом партии, и давным-давно не верила в бога, и совсем позабыла про его всемогущие цветы,— когда увидела их воочию, живыми! Это было в то лето, когда я первый раз в жизни поехала на юг, к морю, и до отхода автобуса в Гагры бродила одна в сочинском дендрарии. Казалось, сердце уже не в силах вместить восторженного изумления перед впервые увиденной красотой юга, казалось, оно до отказа полно только вчера открытым морем, морем — его трепещущим, влажным, безграничным серебром. Но вот я повернула в аллею с какими-то высокими темно-зелеными деревьями, полную неподвижного, неведомо-благоуханного сумрака, и — обмерла: на ветвях этих деревьев, среди крупных темных листьев, светясь, как фонарики, недвижно сидели огромные молочно-жемчужные цветы. То были магнолии. Я не знала еще их названия. Но когда я вошла в эту аллею, увидела эти светящиеся огромные цветы, такие крепкие, такие на вид бессмертные, такие спокойно-прекрасные, то сама собой внезапно вспомнилась мечта-молитва раннего детства. И я засмеялась,— господи, да ведь я же в р а ю! И в веселом счастье я прошептала, не молясь и не кощунствуя: «Цветы божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные, помилуйте нас» — как давным-давно, за Невской заставой...

А за Невской заставой я бывала все реже и реже. Я жила теперь в «городе», на улице Рубинштейна, семь, в странном доме, построенном в самом начале тридцатых годов,— я писала о нем в первом отрывке.

За Невской заставой, в старом доме нашем, остался жить папа (они разошлись с матерью, и мать жила у сестры), тетя Варя с бабушкой Марьей Ивановной — бабой Машей — и нянька наша Авдотья.

Волнистые белокурые волосы папы стали седеть и

редеть, хотя он при случае все так же лихо ерошил их и напевал старую заставскую песенку:

А носил Алеша кудри золотые!  
Пел великолепно песни городские,  
Как же тут Марусе  
Было не влюбляться...

Он работал все там же, врачом в амбулатории при бывшей фабрике Торнтонга, ныне «Красный ткач» имени Тельмана, куда поступил после гражданской — после кронштадтского льда, на котором завершилась его военная служба.

Он бывал иногда у меня в неправдоподобно маленькой, какой-то «понарощечной» макетной квартирке «дома-коммуны», а я никак не могла вырвать время побывать у него — ни на фабрике, в его ветхой деревянной амбулатории с палисадником, где у папы, собственно, был второй дом, где много лет выращивал он какие-то необыкновенные для Ленинграда розы, ни в запущенной комнате его в нашем старом доме.

Бабушка Ольга и дед умерли уже давно, а баба Маша все жила и непрерывно работала по дому, совсем став маленькой и сухонькой, еле шелестящей, но все еще будучи подвижной, с быстрыми черными глазами. Она заботливо обихаживала бывшего зятя — папу, когда он бывал дома, и единственную оставшуюся вместе с нею дочь — тетю Варю — медицинскую сестру Александровской больницы, непрерывно при этом ворча на нее... Тетя Варя стала работать в госпитале сестрой милосердия в первые же месяцы войны с Вильгельмом, когда жениха ее взяли на войну. Он был прапорщиком, и когда тетки по вечерам негромко пели романс «Военная чайка», мне казалось, что это про тети Вариного жениха.

Вот прапорщик юный со взводом пехоты  
Старается знамя полка отстоять.  
Один он остался

из всей своей роты...

Но нет! Он не будет назад отступать.

Тети Вариного жениха, прапорщика, убили на войне, и, наверное, тоже как в романсе:

Вот ночь пронеслась, и заря заблестела,  
Врага мы прогнали далеко к реке.  
Наутро нашли его мертвое тело,  
И знамя держал он в застывшей руке...



Тетя Варя так и не вышла замуж и тихо, безропотно, вроде даже охотно увядала, и третье десятилетие плакала о своем женихе-прапорщике, и работала в том же госпитале, который после гражданской войны стал рабочей больницей, и носила все такую же белую косынку с маленьким красным крестиком посередине. Хотя такие косынки и не полагались теперь, тете Варя разрешили носить именно такую, с крестиком, как очень опытной, кадровой хирургической сестре.

А наша Дуня давно работала на фабрике «Картонтоль» уборщицей и все училась в ликбезе, с двадцатого года училась и все никак не могла выучиться грамоте — не только писать, даже читать.

— Букву «ща» никак пройти не могу, — жаловалась она мне в те редчайшие случаи, когда я бывала у наших за Невской. — Понимаешь, Лялеца, «кы», «ны», «ры», «лы», «мы» — это я все цитаю, а буква «ща» (она говорила «ца») и которые на нее похожие никак процитать не могу!

И она начинала плакать и утирать глаза кончиком головного платка, шепча:

— Темной дурой при чаре была — темной дурой при Советской власти останусь... Уеду к братухе в деревню, буду помогать ему...

Братуху ее тяжело искалечили на германской войне.

Но Дуня так все и не могла съездить в Гужово — город уже держал ее.

...Шли годы: начало тридцатых годов, первая пятилетка, пламенные штурмовые ночи «Электросилы», где я работала; конец тридцатых годов, смерть дочерей моих, одна за другой; затем сразу — тягчайшее испытание 1937—1939 годов, оставившее в сознании след неизгладимый, и вот, почти сразу, — Великая Отечественная война... Все больше жизни ложилось, обваливалось и громоздилось между мною и старым моим домом, и так не похожи были мои горести и радости, особенно горести, на какие-то неподвижные, как казалось мне, горести и радости моих родичей из-за Невской заставы, что нить, связывавшая меня с ними, становилась все тоньше и тоньше и вот-вот готова была порваться.

Я не жалела об этом — собственно говоря, даже не думала. Я редко встречалась с отцом, Невская заста-

ва жила где-то далеко в подсознании, я почти не вспоминала ни Авдотью, ни бабушку, ни тетю Варю, пока в начале октября сорок первого года, когда Ленинград был уже окружен плотным кольцом немцев и штурм города не прекращался ни на минуту,— пока в это время рано утром в телефонной трубке не раздался голос тети Вари:

— Лялечка... Приезжай проститься с бабушкой.

Я не поняла ее, изумилась, но от другого.

— Тетя Варя... Как же ты думаешь эвакуировать ее? Ведь дорог-то от нас больше нет...

— Она не эвакуируется, Лялечка. Она умирает.

«Ну и что?» — чуть не сказала я: что-то не доходило до меня.

— Она умирает, Лялечка, и хочет с тобой проститься...

— Тетя Варя,— забормотала я, совсем растерявшись,— у нас сегодня в райкоме срочное совещание политорганизаторов... А я ведь политорганизатор... — Но вдруг, перебивая меня, косо пронеслась мысль, пока я лопотала: «Сколько же лет я не видела бабу Машу? Постой, постой... Больше двух лет... Живя рядом... А она перед смертью...»

И вдруг она предстала перед глазами такая, как в детстве: маленькая, вечно и споро работающая, ласково ворчливая, добрая-добрая... Моя бабушка! Моя добрая, старенькая, последняя бабушка...

— Тетя Варя! — крикнула я.— Я сейчас приеду. Я... я успею?

— Думаю, успеешь.

— Я еду, тетя Варя!

## ДЕНЬ ВЕРШИН, ФЛАНДРСКАЯ ЦЕПЬ

Это было через несколько дней после того, как во время очередной воздушной тревоги мы, как и многие ленинградцы, подобрали у себя на дворе знаменитую немецкую листовку «Ждите серебряной ночи». А сегодня утром жильцы принесли мне несколько новых листовок. Они нашли их у себя под дверьми, и это были не немецкие листовки: они были написаны на небольших листках бумаги в мелкую клетку, по всем признакам вырванных из блокнота, карандашом, от ру-

ки, почерком неуверенным, дрожащим, не то детским, не то старческим, и над текстом карандашом же было изображено нечто вроде спирали или цепи, тоже как-то чересчур наивно, по-детски. Однако в тексте не было ни единой грамматической или синтаксической ошибки. Вот ее текст, который я знала уже почти наизусть, так как и сама нашла у себя рано утром на полу возле двери точно такую же листовку...

«Фландрская цепь счастья прислана мне кем-то. Я препровождаю ее Вам. Спешите! Пошлите ее в течение 24-х часов четырем лицам, кому Вы желаете счастья. Эта цепь начата во Франции в 1729 году одним ученым и должна обойти три раза вокруг света. Кто порвет цепь, тому будет великое несчастье. Обратите внимание на то, что с Вами случится на 4-й день получения цепи. В этот день Вас ожидает великое счастье, если это письмо Вы не оставите у себя».

Пока все тот же номер трамвая, на котором я ездила в «город», еще живя за Невской, вез меня на полузабытую мою родину, я думала вовсе не о встрече с заставой, не о прощании с бабушкой, и вот именно об этой сегодняшней листовке, ее наивно гипнотизирующем тексте. Я невольно твердила: «Фландрская цепь счастья... должна обойти три раза вокруг света... кто порвет цепь — тому будет великое несчастье...» И тут же возникала тревожная мысль: кто же, кто же составил, кто распространяет эти слова, эту «фландрскую цепь счастья»? Она не сброшена с немецких самолетов, но тем хуже — она составлена врагом, живущим рядом. Врагом? А может быть, человеком, желающим, чтобы в эти дни, когда все вокруг распадается и рушится, люди подали друг другу руки? Сомкнулись бы в единую неразрывную цепь? Да, но зачем тогда этот туман вместо простых, сегодняшних, сердечных слов, зачем запугивания: «Кто порвет цепь, тому будет великое несчастье...» Нет, если даже растерявшийся человек переписал и подсунул мне листовку, то составил и пустил ее по рукам враг. И этот враг живет где-то рядом... быть может, в моем доме... Ведь кто-то же проходил сегодня ночью или на заре по коридорам нашего дома и подсовывал эти листки под двери, — враг, или посланник врага, или запуганный им человек дышал у моей двери, прислушивался, не раздадутся ли мои шаги, кто-то грозил мне: «Кто порвет цепь,

тому будет великое несчастье». Враг умен, грамотен, он понимает, что в дни, полные неожиданных потрясений и ужасов, безотказнее всего могут действовать именно вот такие туманные, полные смутных угроз и смутных обещаний слова, — так кто же он, автор этого листка? Мне передали сегодня четыре такие странички, плюс моя — это пять... Пять человек порвали «фландрскую цепь счастья», а сколько людей сидят сейчас и переписывают, и рассылают эту дурманящую своей таинственностью бумажку? И не только на моем объекте, но и в других домах, но и во всем Ленинграде, — ведь эта «цепь» ходит давно, мы имели об этом сведения, и вот сегодня утром она дошла до моего дома, звякнула у моих дверей ржавым своим железом. Наверное, сегодня в райкоме будут говорить об этом... Я скажу, что нет смысла молчать об этой листовке, наоборот, надо на собрании или в бомбоубежище во время тревоги рассказать о ней, зачитать даже и... высмеять ее. На плакатах и воззваниях, расклеенных по городу, написано: «враг у ворот». Надо заострить — сказать: «враг у дверей». Надо схватить его за руку в ту минуту, когда он подсовывает под дверь или опускает в почтовый ящик таинственно написанную прокламацию... Если это не враг, а запутавшийся, растерявшийся свой человек, надо объяснить ему...

Я так задумалась обо всем этом, что не заметила, что трамвай давно уже стоит. Кондукторша сердито и нетерпеливо крикнула мне:

— Гражданка! Гражданка, да вы что? Выходите!

Я взглянула в окно, мы стояли у завода имени Ленина, бывшего Семянниковского.

— Мне еще одна остановка, — сказала я.

— Да вы что, оглохли? Артиллерийский обстрел. Выходите. Укрытие напротив, вон в том доме...

Я соскочила с площадки. Действительно, высоко над головой с плачущим стоном проносились снаряды и рвались где-то впереди, — там, где был Палевский проспект. Огромные, плотные, круглые серебряные облака стояли, как стена, в конце прямого Шлиссельбургского проспекта, и в этих облаках что-то урчало и перекатывалось, точно в огромном котелке варилась огромная чугунная картошка. «Там бой... Наверное, за Мурзинку... А может, уже за папину фабрику?» Протяжно воя, пронесся совсем низко снаряд, и через

Несколько секунд послышался взрыв — и опять там, в перспективе Шлиссельбургского, где был мой дом... И вдруг леденящая мысль обдала меня: «А если этот в наш дом?!» И мне так страстно захотелось еще раз увидеть наш дом, и бабушку, и родных, так сжалось сердце, что, не чувствуя страха, я почти бегом устремилась по проспекту на Палевский, на ходу выхватив из противогаса на всякий случай оба свои пропуска: «пропуск для хождения по улицам во время ВТ» и «пропуск для проезда и прохода на фронт из г. Ленинграда и обратно».

Крепко держа оба пропуска в правой руке, левой придерживая сердце, я бежала к дому, где родилась, откуда открылся мир, первая любовь и неодолимый зов революции, к дому, откуда ушла в двадцать лет, презирая его и его обитателей за их «мещанскую сущность», к дому, который почти забыла,— я бежала к нему под гнусным воем снарядов, задыхаясь и обмирая от горя, что, может быть, не увижу его еще один раз. О, хоть раз! Хоть один раз...

Он был цел!

## **ЦВЕТЫ ВЕССМЕРТНЫЕ**

Я на мгновение остановилась перед ним, перед могучим тополем, который всю юность заглядывал ко мне в окно и под утро, голубел, перед кривой калиткой палисадника. Мой дом был цел, но каким он стал маленьким! Еще меньше, чем тогда, когда мы приехали из Углича. Но он был цел. Правда, такой же деревянный домишко напротив был весь разворочен, но это было явно не сейчас, даже не сегодня, потому что пожара не было и от развалин пахло холодной золой. Однако снаряды ложились и ложились недалеко, и вдруг земля вздрогнула — это где-то, тоже невдалеке, упала бомба, и тотчас же отвратительно и безумно, как ведьмы, завывали сирены, и еще ударила бомба, предварительно смертельно просвистев, а крутые, круглые серебряные облака стали урчать еще громче. Переведя дыхание и вспомнив, что мне надо проститься с бабушкой, которая умирает, я вошла в наш дом.

...В той комнате, которую я помнила с детства, большое трюмо в простенке между окон уже совсем умер-

ло — оно было подернуто как бы вечным туманом и ничего больше не отражало. В комнате было светло — это серебряные, смертельно урчащие облака освещали ее. Темной была только большущая икона Николая Чудотворца в углу, которой боялись мы с детства, с которой началось мое «иконоборчество» перед вступлением в комсомол. Красная лампадка горела перед Николаем Угодником, и поэтому выступающее из сплошного черного поля коричневое надменно-строгое лицо старца в митре, похожей на часовенку, казалось еще неумолимее и мертвеннее; фикусы, ненавидимые мной до иступления в то же время «иконоборчества» ужасно разрослись, так что стали похожи на какие-то наглые живые существа, и в комнате пахло одним из самых забытых запахов — грустным и чистым запахом ладана. Я охватила это и восприняла в одно мгновение, прежде чем в следующее воспринять самое поразительное: необычайное, почти торжественное спокойствие, царившее здесь, и гордую-гордую в невероятной простоте своей умирающую бабушку. Тетя Варя в косынке сестры милосердия с красным крестиком посредине стояла у нее в ногах, — тетя Варя работала в той же Александровской, точнее — Пролетарской больнице, которая вновь была госпиталем, и госпиталь ввиду близости переднего края считался прифронтовым.

Увидев меня, она спокойно подошла, поцеловала нежно и спокойно и негромко сказала:

— Она еще в сознании. Она будет рада тебе.

Я почему-то стащила платок с головы и подошла к постели бабушки. Сильный взрыв в этот миг сотряс наш домишко, красная лампадка перед бесстрастным ликом угодника закачалась из стороны в сторону, тетя Варя, став на цыпочки, остановила ее рукой. А бабушка лежала на подушках, по-крестьянски повязанная белым платочком; ее лицо стало совсем-совсем маленьким и морщинистым, глаза запали очень глубоко, но смотрели из впадин своих умно и просветленно, как-то особенно по-живому мерца. Но больше всего меня поразили ее сложенные на груди руки: они казались непомерно громадными — столько узлов и мозолей было на пальцах, такие вздувшиеся, крупные, синие вены увивали их. Это были руки женщины, которая из своих восьмидесяти семи лет работала ровно восемьдесят, руки матери, которая родила, кормила,

пеленала и поднимала четырнадцать человек детей и множество внуков и даже правнуков, и пережила и похоронила многих из них, и закрывала им глаза этими же руками, и бросала первую горсть земли в их могилы. Я глядела на ее махонькое, чуть теплящееся лицо, на живо мерцающие глаза и на ее огромные руки с небывалым трепетом, почти со страхом, и вдруг подумала, что за всю свою жизнь я ничего-ничего хорошего не сделала и даже не сказала бабушке — вот с этими живыми глазами, с этими руками... Как я могла, чтобы так получилось? Я вспомнила вдруг также, как она водила меня в баню, сажала в шайку с «холодненькой» водичкой, высасывала из глаз шипучее мыло и потом покупала у ворот бани черный и дико сладкий «рожок» или давала выпить кисленького квасу. А я? Что я сделала хорошего ей, тете Варя, отцу? Ничего. Мне не до них было, мне было некогда: первая пятилетка, ударные стройки, овладение теорией, своя жизнь — построение своей новой семьи, — ах, не до них мне было, не до них! Я новое общество строила, а тут бабушка и тети с ихними «днем ангела» и еще какой-то мещанской суетней...

Бабушка моя находилась как бы в полузабытьи, глядя на стену, когда я присела около.

— Мама,— окликнула ее тетя Варя,— к вам Ляля пришла проститься.

Глаза ее стали живее, и огромные руки зашевелились.

— Варька,— сказала она строго,— что ж ты госпиталь в такое время бросила?

— Там меня заменяют, мама,— покорно ответила тетя Варя и повторила:— К вам Лялечка пришла, вы видите?

Бабушка повернула ко мне голову, долго молча глядела на меня с неизъяснимой нежностью и любовью.

— Лялечка... внучка моя первая... Безбожница ты... комсомолка... Ну, все-таки дай я тебя благословлю. Не рассердишься?

— Нет, бабушка,— ответила я.

И вновь сильный взрыв шатнул наш старый дом, пока она узловатой, почти чугунной на вид, но легчайшей своей рукой медленно благословила меня. Я прижалась губами к ее руке, уже прохладной.

— Ну вот,— шелестела она еле слышно, но внятно,— ну, хоть одну внучку повидала... А Муська-то, Муська-то где?

— Она в Москве, бабушка...

— Москву-то... тоже бомбят?

— Тоже, бабушка...

— А где она, Москва? Ну, в какой стороне?

Не совсем поняв ее вопрос, я наугад указала на стену, возле которой она лежала.

— Вот в этой стороне, бабушка.

Она чуть-чуть повернулась к стене и вновь подняла свою огромную натруженную руку и небольшим крестом — на большой-то у нее уже не было сил — благословила ее, прошелестев:

— Спаси, господи, рабу твою Марию и красную твою столицу Москву...

И вдруг неведомое доселе чувство, похожее на разгорающееся зарево, начало подниматься во мне.

«Вот как она умирает: не спеша, торжественно... Вот прощается, благословляет... Это все, чем может она принять участие в войне... Это ее последний труд в жизни. Не смерть — последнее деяние. По-русски умирает, верней, отходит — истово, все понимая. И не в боге для нее дело, совсем не в боге. Говорили, когда умирал Павлов, он следил за своим состоянием и диктовал свои ощущения ассистенту, сидевшему около. И вот к нему постучали, хотели войти, но он ответил: «Павлов занят — Павлов умирает». Гений человечества — и темная моя бабушка... Впрочем, почему же она темная? Разве трудиться, любить, без конца любить, так, чтоб в последний час свой помнить о родных, о родине,— это не чистейшие вершины духа? Итак, гений Павлов и бабушка моя умирали одинаково — бесстрашно и все время помня о жизни, и во имя ее совершая последние деяния... Но ведь это вовсе не смерть, это вызов... Вызов бушующей кругом, насланной на нас смерти. Это воинская смерть. Но разве ж и мы не так умираем? Мы, те, кто под снарядами и кто дерется там, в этих урчащих облаках? Так! Не замечая смерти, помня только о жизни. А раз так, значит... значит, смерти просто нет, и не надо ее ничуть бояться. Неужели же это правда, что ее нет?»

Примерно так, наступая друг на друга, повторяясь, неслись мысли. И невольно я отдернула руку свою от



холодеющих ладоней бабушки и взглянула на ручные часы. «Мне же надо на объект и потом в райком и на радио...» Она уловила мой жест и ласково, чуть снисходительно улыбнулась, как улыбается взрослый над оплошавшим ребенком.

— Ступай, Лялечка,— прошептала она нежно,— ступай, родная, не жди... меня...

— Бабушка, ты прости меня,— ответила я так, точно прощалась с ней не навсегда, а до завтра,— мне действительно надо бежать, понимаешь...

— Я все понимаю, внученька, деточка, иди... Иди!

### **ДЕНЬ ВЕРШИН, «ГУЖОВО НЕ ВЗЯТЬ»**

Я вышла во двор наш, взглянула на сад — он был прекрасен в златосумрачном наряде своем, густой, вновь разроэшийся после того, как в гражданскую его почти весь вырубил. Снаряды свистели над ним почти без перерыва — огонь был перенесен дальше. Мысли мои неслись все круче, все массивнее.

— Лялечка! — окликнул меня знакомый голос, и я увидела Авдотью, нашу Дуню, подходившую ко мне. В одной руке у нее был заступ, в другой узелок с пищей, голова повязана белоснежным платком.

— Дуня, Дунечка! — кинулась я к ней, ликуя. — Ой, как я рада, что тебя увидела... Ну, как ты? Где работаешь-то?

— А на окопах, известно дело,— ответила она, улыбаясь.— Вот и сейчас иду. Белый плат повязала, видишь?

— Вижу. Ну и что ж, что белый?

Она таинственно и значительно прошептала, озираясь на золотой сад:

— А то, что он третьего дня листовки кидал: «выходите в белых платках — тогда бонбить не буду». Мы у себя на фабрике и порешили — а ну, выйдем в белых платках.

— Дуня, да вы что?! Ведь это же означает, что вы ему сдаетесь, понимаешь?!

— Ну да... Скажешь еще! Сдаемся! Мы его обвести хотим. Раз увидит, вышли женщины в белых платках, ну и бросит бонбить, а мы себе копаем да копаем, мало ли что платки белые. Думаешь, под бонба-

ми-то много натворишь? А нам там надо во какие ямины вырыть, цтоб он, цорт, в них себе обе ноги поломал.

Она с достоинством поправила платок, которым хотела «обвести» немца, и, вздохнув, добавила:

— А как немча-то разобьем, я в Гужово поеду, тот платок надену, помнишь — двулицной-то? Он у меня не надеванный ни разу — челехонек. В Гужове-то и обновлю его.

— Дуня,— невольно сказала я,— ведь Гужово-то немец взял... и Псков тоже.

Она взглянула на меня почти презрительно, даже надменно, как на непристойно хмельного, несущего чепуху.

— Не,— сказала она совершенно спокойно.— Это, Лялецка, дураки тебе наврали. Немчам нашего Гужова ни в кои веки не взять. Братуха-то разве допустит?

И с тем же нарастающим восторгом безбоязненности и сопротивления я молниеносно поняла: «Конечно! Разве можно взять Дунино Гужово? То есть н а в с е г д а взять? С его свирепыми лесами, кусачими лошадьми, злыми гусями и в особенности с братухой — с веселым, добрым и бесстрашным братухой? Нет, Гужова нельзя взять. И Ленинград не взять... Не взять, не взять!.. Это все пока, это бред какой-то, дичь, мы выстоим, конечно... А если гибель — то есть для меня... ну, пусть гибель — ведь ее нет!»

— Ольга!— вдруг окликнул меня отец.

Я с радостью обернулась на его зов. Он вбежал во дворик в своем простеньком, поношенном пальто реглане, похожем на бабью юбку,— и по голубым веселым глазам его, по какому-то помолодевшему голосу я поняла, что им, как и мной, владеет то же веселое чувство сопротивления почти неминуемой гибели.

— У бабки была? — быстро спросил он.— А, ну хорошо. Я вот только что вырвался на минутку с приема. Ты погоди меня — я скоро. До Шлиссельбургского вместе пойдем. Да чего вы тут, дуры, стоите-то?— вдруг сердито крикнул он.— Зайдите хоть за сарайчик. Ляпнет снарядом — костей не соберете.

А мне было все равно, ляпнет или не ляпнет, хотя до сегодняшнего дня каждая бомбежка и артобстрел— я, как политорганизатор, не укрывалась — стоили мне такого смертельного, такого всепожирающего страха, что после отбоя я чувствовала, что у меня существу-

ют где-то далеко внизу холодные-холодные подошвы и сверху тоже ледяное лицо. Ни тела, ни рук своих я не ощущала.

Но сегодня я была спокойна.

— Ну, Лялецка,— говорила Авдотья, приникая к моему лицу рыхлым своим, добрым лицом, целуя меня.— Ну, ты смотри ж, будь умничей, вракам не верь, под бонбы не лезь, а если что — сразу противогаз надевай,— понимаешь, противогаз! Нам нацальник объяснял!

И, уже отойдя несколько шагов, обернулась и горестно добавила:

— А читать-писать я так и не научилась. Ну вот уж после этой войны науцусь! Святой бог, науцусь!

И она погрозила кому-то заступом и ушла со двора, раскачивая могучими своими бедрами, о которые шлепался спасительный противогаз.

Я засмеялась, потому что мгновенно вспомнила, как обучал нас на «Электросиле» мерам противовоздушной обороны один инструктор и как он выкрикивал: «В экстренном случае воздушно-газовой тревоги — что мы делаем? Адиём противогаз! Адиём сапоги резинового характера!»

Вышел отец, посерьезневший, с картузиком в руке.

— Достоинно теща отходит,— сказал он негромко.— Вечная память...— И, упрямо потрянув головой, точно сбрасывая какую-то внезапно свалившуюся на него тяжесть, сурово, с так понятным мне чувством вызова, улыбнулся и сказал:— Ну, пошли, девчонка. Кажется, потише стало.

И мы побежали с папой по Палевскому, по его древним деревянным мосткам, и оба, одержимые весельем сопротивления гибели, разговаривали бегло, телеграфно, почти невоспроизводимо.

Покосившись на меня, отец спросил:

— Ну... комиссаришь?

— Вроде... Политорганизатор. И еще работаю на радио. В разных отделах. В том числе в контрпропаганде. И еще в «Окнах ТАСС».

Я говорила возможно небрежнее, но не в силах была сдержать ни радости, ни гордости своей: ведь он все еще был для меня папой, которого я побаивалась, а вот теперь я шла с ним, участником двух тяжелейших войн, под обстрелом, как равная.

Да, он был участником двух войн! Сначала воевал против императора Вильгельма. Мы видели портрет Вильгельма в «Ниве», с вытаращенными глазами, с ужасными усами, которые какими-то пиками подымались чуть не к самым глазам, с каской на голове, а верхушка каски заканчивалась тоже острой, как его ус, пикой. Один раз папа приехал на несколько дней с войны, когда его санитарный поезд стоял недалеко, в каких-то Сувалках, привез такую каску и подарил нам играть. Она была с пикой на макушке, отвратительный орел с высунутым языком хищно топырил когтистые свои лапы, и главное, из каски пахло чем-то нестерпимо кислым и душным — мы сообразили: пахло... войной! Мы не стали играть с каской... ни я, ни Муська, даже не примерили ее, а повертев в руках, тихонько, брезгливо засунули за печку...

Потом папа воевал против белых на юге — против Врангеля, и Каледина, и Краснова. Он был начальником санитарного поезда «Красные орлы», потом уже после того, как привез нас из Углича в Петроград, вместе с нашими частями шел по кронштадтскому льду на подавление контрреволюционного мятежа и оказывал раненым помощь — он был отличным военно-полевым хирургом, — и вот я первый раз в жизни шла с ним как равная, больше — как солдат рядом с солдатом, и потому и выложила ему про все свои военные работы так много и так небрежно.

— Хотели еще в военную газету взять, но я отказалась — и так еле справляюсь, — добавила я.

Папа фыркнул круглыми ноздрями и зашевелил бровями, что означало высшую степень огорчения или досады.

— Н-да... Таких девчонок, как ты, берут в армию, а мне отказали!

— В чем?

— Я в народное ополчение просился, — помолчав, сказал он таким жалобным, виноватым, мальчишеским голосом, что вздыбленное мое сердце и то замерло: я поняла, что мой папа, участник двух войн, за а в и д у е т мне!

— Ты просто ненормальный! — сказала я ему как можно суше. — У тебя же возраст, сердце — куда тебе в ополчение?

— Вот-вот,— сварливо подтвердил он,— твои товарищи мне так же сказали: доктор, ваше дело — отбирать в армию и в ополчение, и только. А я бы хотел сам в народное ополчение... Я военно-полевой хирург, что, я был бы лишним? А твои товарищи — бюрократы! Да-да!

Тут надо сказать, что с тех лет, как я, вопреки отцовской воле, ушла из-за Невской заставы, папа считал «моими» и партию, и всю историю, и все победы наши, и все недостатки. Он говорил: «Ну, кажется, с твоей пятилеткой что-то все-таки выгорает...» или «Ну вот, опять твои товарищи перекачали». Да в общем, все было «мое», и я отвечала перед папой решительно за все — ух, это было трудновато!

И вот сейчас он опять в чем-то обвинял меня, именно меня и завидовал мне, и просто роптал по нелепейшему поводу: почему его, уже старика, не взяли в народное ополчение? Но и зависть его, и ропот дополняли ту уютчайную радость, ту неистовую свободу и свет, которые все нарастали и нарастали во мне.

Мы добежали до угла Палевского и Шлиссельбургского и остановились на углу. Тут, направо, еще совсем недавно стояла общественная уборная из гофрированного железа, такая, что снизу видны были ноги заходящих в нее граждан, а крыша у нее была сооружена в точном виде германской каски с орлом спереди и с пикой на макушке. Уборная возводилась заставскими патриотами-торговцами на втором году первой империалистической войны, и с тех пор я и помнила ее. А напротив, по левую руку, тоже совсем недавно располагалось другое сооружение — торговое: то был шаткий дощатый прилавок, вернее лоток, над которым на двух рейках трепетал дощатый навес; под этим неверным укрытием стоял старичок, дядя Гриша, который в самом начале нэпа выстроил этот «магазин» и открыл здесь торговлю ирисками и тянучками. Каждое утро, по дороге в школу, я подходила к дяде Грише и спрашивала:

— Дядя Гриша, почему сегодня тянучка?

— Сегодня — двести восемьдесят миллионов штука, — отвечал он невозмутимо.

То была пора инфляции, когда рубль неудержимо падал, и так приятно стало и вначале удивительно, когда вдруг миллиарды и миллионы превра-

тились в рубли и даже в копейки и появились первые монеты: настоящие серебряные рубли, полтинники, двугривенные, большие увесистые медные пятаки, крохотные полушки. На серебряных монетах были изображены крестьянин и рабочий: обнявшись, они смотрели вдаль, а за ними всходило солнце.

Теперь не было ни ларька дяди Гриши, ни уборной с крышей в виде вильгельмовской каски, но я вспомнила их так, точно увидела воочию...

— Ну,— сказал папа,— пока, девчонка! — И, помолчав секунду, спросил негромко: — Как Николай?

— Сначала, получив белый билет, очень горевал. Даром что отступление их рота прикрывала от самого Кингисеппа... Теперь ничего, работает в ПВО. Пишет для военной газеты. И знаешь, даже продолжает свою статью «Лермонтов и Маяковский».

— Не люблю я твоего Маяковского,— сказал папа.— Есенин — это да.

— Полюбишь, когда прочтешь Колину работу. А после войны он сразу возьмется за большую книгу: «Пять поэтов. Пушкин — Лермонтов — Некрасов — Блок — Маяковский». Это так здорово задумано у него, он уже столько набросков сделал! И даже сейчас, когда не дежурит...

— Вам надо уехать,— перебил меня отец, глядя в сторону.— Вам обязательно надо уехать. Любыми средствами.

— Но ведь ты-то не уезжаешь? Еще в ополчение просишься...

— Ну-ну-ну! — прикрикнул он сердито.— В древних книгах написано: «Горе тому, кто покинет осажденный город».

— Справедливо. Вот и мы...

— Он может не выдержать с его болезнью,— сказал папа почти сквозь зубы и тут же, перебив себя, тряхнул головой, почти весело воскликнул: — Заболтались! А нас дело ждет. Будь здорова, девчонка.

Он чуть толкнул меня в плечо, не поцеловал, не пожал руки, не обнял и почти побежал направо, по Шлиссельбургскому, не останавливаясь и не оглядываясь.

Это не было ни позой, ни насилием над собой, просто он, как и я, знал, что мы не можем погибнуть. А я

еще целое мгновение смотрела ему вслед, на его раздувающееся смешное пальто, смотрела в глубь Невской заставы, туда, где была папина фабрика, и тети Варин госпиталь, и чугунный, самый большой за Невской заставой — Обуховский, а там стеной стояли круглые, библейски прекрасные, первозданные облака и рокотали и урчали все громче. Я взглянула туда, и вся жизнь моя вдруг распростерлась передо мной. И с немислимой стремительностью, которую не в силах обрести слово, катились сквозь душу картины всей моей жизни и жизни моей родины и воспоминания о том, что свершилось еще до моей памяти.

Нет, я не вспоминала, я жила тем, что было, есть, будет. Эти воспереживания были внезапны, отрывочны, разбросаны и в то же время слиты в единый сплошной поток — нет, в нечто, подобное сильному южному морскому прибою, который окатывал нестерпимым, почти болезненным счастьем.

Сказали когда-то: времени больше не будет. Верите ли вы, что это верно, — я знаю это, я знаю, как не бывает времени! В тот день его не было — все оно сжалось в один лучевой пучок во мне, все время, все бытие. И весело рухнули перегородки между жизнью и смертью, между искусством и жизнью, между прошлым, настоящим и будущим. О, как хрупки они оказались, как условны, как легко было мне наслаждаться всей жизнью сразу, всей поэзией и всей трагедией ее на самом ее краю, на краю жизни, на углу Палевского и Шлиссельбургского, между тенями нелепых сооружений прошлого, в минуту притихшего арт-обстрела.

Как бы эфирною струею  
По жилам небо протекло..

В мгновения, только в мгновения вмещалась вся жизнь, а мне нужны для них — страницы. Внезапно вспыхивали эти мгновения всей жизни, и я не буду задним числом искать им других объяснений. Я не знаю, почему, глядя на исчезающую вдаль фигурку отца, я подумала, что вот он идет к себе на фабрику, а на этой фабрике появилось первое мое напечатанное стихотворение, и оно было о Ленине. Ленин! И волна неистового тепла и света обдала меня...

Он вошел в сознание с самого раннего детства — в пору жадной мечты о Дунином Гужове, в пору первого соприкосновения со стихами Лермонтова о дубовом листке и одиноком утесе, в ту смутную, как бы предрассветную пору, когда сказка и действительность еще неотделимы друг от друга и довольно намека, чтобы самому создать легенду и поверить в нее.

Папа был на войне, — война с Вильгельмом все шла и никак не могла кончиться, и папа больше не приезжал к нам после того единственного раза, когда привозил каску, и мы уже стали забывать его, какой он на самом деле, и было лето, и мы жили в Финляндии, и воздух был напоен горячим дыханием сосновой хвои и смолы, и струился нежнейший запах нагретого песка у взморья, а взрослые тревожно шептались:

— В Петрограде была огромная манифестация фабричных...

— Говорят, на Невском творилось что-то невероятное, особенно у Садовой... И все — с красными флагами! Тысячи, тысячи людей...

— Это Ленин их поднял...

— Все фабричные за Ленина горой. И чугунолитейные за ним же встали...

— Да, но он приехал из Германии в запломбированном вагоне?!

— Боже, так рисковать! Ехать сейчас через Германию... Ужас!

— Но, подумайте, его даже это не остановило! Он рвался к питерским рабочим.

И вот в воображении возник сказочно сильный и бесстрашный Ленин, человек, за которым «идут все фабричные». Я часто видела, каким сплошным, огромным потоком выходят они из распахнутых ворот фабрики, где работал дедушка, как их много, какой гул поднимается над ними, — а тут все идут за одним Лениным! И всё идут, идут и идут... И чугунолитейные заводы тоже как-то встают за Лениным, — дрожащее, угрюмое зарево над ними всегда было видно из окошек нашего дома по вечерам. Что-то тяжелое, огромное ухало и грохотало там так, что бывало слышно в комнатах, и вот все это встало за Лениным — то, что грохочет, то, что источает багровый трепещущий свет...



А он, Ленин, ехал через Германию, где властвует царь Вильгельм с его страшными усами, в каске с орлом и пикой, и живет еще миллион таких же усатых, ужасных немцев, с которыми воюет наш отец и все солдаты, но Ленин ничуть не побоялся проехать через эту страну, да еще в каком-то особенном, «запломбированном» вагоне,— ему нужно было к рабочим из-за нашей Невской заставы, с дедушкиной фабрики, с дяди Шуриногo Обуховского завода.

Потом в памяти вспыхнула ночь, когда я в неистовом страхе прижималась к Дуне, потому что окна нашей комнаты были полны ярко-розового света,— значит, где-то недалеко был пожар, а я больше всего на свете боялась пожаров... Меня трясла мелкая холодная дрожь, а Авдотья, глядя в розовое окно, прижимая меня к себе, шептала:

— Ницего, Лялецка, ницего... Это участок горит — твоего дедушки фабричные опять бунтуют... Мало им, что государя-анператора свергнули, теперь вот и сам участок подожгли... Ницего, он далеко, головешки к нам не залетят, не бойся...

Участок на углу Палевского и Шлиссельбургского, там, где встал потом мелкий нэпман дядя Гриша со своими тянучками, сожгли почему-то не в феврале, а в октябре семнадцатого года. Утром мы ходили с мамой на проспект и видели, как еще дымились развалины участка, а по Шлиссельбургскому мчались грузовики, в кузове которых, опираясь на ружья, стояли рабочие в кожанках и матросы, крест-накрест опоясанные пулеметными лентами, и ветер раздувал у них на груди огромные красные банты.

И снова имя Ленина не сходило с уст всей Невской заставы, и рядом с именем его звучали грозные, красивые слова: «декрет», «Совнарком», «революция», и все легендарней, все могущественней представлялся он моему детству.

Потом мы уехали в Углич, и там я пошла в школу, я росла, училась и уже, как все школьники, знала, что Владимир Ильич Ульянов-Ленин — это председатель Совета Народных Комиссаров, наш вождь, и что это Ленин указывает, как победить Колчака и всех других проклятых беляков, из-за которых мы так ужасно голодаем, и мерзнем, и давным-давно живем без отцов. Он все время думал, он все время беспокоился о нас,

Владимир Ильич Ульянов-Ленин,— и уж как мы надеялись на него!

Потом, по дороге из Углича в Петроград, ночью, в бедственном, наполовину пораженном сыпняком вагоне, проснувшись на рассвете, я случайно услышала, как какой-то старик рассказывал о Волховстрое, который «зальет светом всю Расею», а Волховстрой велел строить Ленин. Потом, в начале двадцатых годов, за Невской заставой в нашем старом деревянном доме впервые зажглись электрические лампочки, и их называли «лампочки Ильича»... Как великая, порой грозная сила, как великий добрый свет — так с самого раннего детства входил Ленин в сердца моего поколения. По мере того как мы росли, образ его становился все человечнее, все ближе к душе, и любовь наша к нему была глубоко человеческой — она была постоянна, естественна и спокойна, как дыхание здорового человека. Но как мы испугались, когда он захворал! Вслед за поэтом мы твердили, бормотали, заклинали:

Тенью истемня весенний день,  
выклеен правительственный бюллетень.

Нет!  
Не надо!..  
Не хотим!..

Мы готовили в школе вечер к девятнадцатой годовщине Кровавого воскресенья девятьсот пятого года; ставили инсценировку, репетировали коллективную декламацию, проводили спевки — хором пели «Вихри враждебные», «Замучен тяжелой неволей», — мы готовились к вечеру так, точно взаправду должны были драться на баррикадах.

«На баррикады — буржуям нет пощады!» — не пели, выкрикивали мы. О, как хотелось на баррикады — взаправду, как хотелось умереть за Революцию! Только-только отгремевшая тачанками, отгоревшая пожарами, кострами, смердящими «буржуйками», отбредившая в сыпняке гражданская война, когда мы так холодали и голодали, казалась нам уже легендарно-прекрасной порой, и, забыв, что мы сами тоже ведь какие-то участники ее, мы завидовали тем, кто успел родиться вовремя, так, чтобы сражаться за Революцию с оружием в руках.

Но уж зато на демонстрации против лорда Керзона, который вдруг пригрозил опять интервенцией —

значит, опять голодом, угличской ледовитой зимой, войной,— на этой демонстрации мы дали себе волюшку! Мы выскочили из школы с плакатом, на котором косыми черными буквами был начертан, конечно же, уже разнесшийся по заставе клич: «Лорду в морду!», и с размаху очень удачно влились в жаркий, кричащий, грохающий ногами по булыжнику, ревуший медными трубами, полыхающий знаменами и красными платками поток рабочих — ткачей, металлистов, прядильщиц... И мы сразу попали в ногу и пошли с ними как равные, и нашему второму параллельному к тому же очень повезло, потому что прямо перед нами двигался грузовик, на котором был установлен длинный черный гроб, и очень красивый молодой рабочий — живой — в синем комбинезоне держался за огромный кол, косо всажженный в крышку гроба, а на кузове грузовика был туго натянут плакат: «Вобъем осиноый кол в гроб мировой буржуазии».

Мы стремительно шли — не шли, а прямо-таки катились в общем потоке вдоль по Шлиссельбургскому, мимо старых, сумрачных цехов Семянниковского, мимо дощатых и бревенчатых заставских домов — туда, в город. Гнев и отвага полыхали на лицах людей, неумытых, потных, запыленных и закопченных, — они вышли на улицу прямо от станков. На проспекте пахло машинным маслом, пылью пряжи, духотой жиров со Стеаринового. Кто-то кричал с грузовика около Семянниковского: «Долой акул империализма!», и мы неистово подхватывали: «До-ло-о-й!» и пели, пели во все горло, стараясь перекричать друг друга:

Белая армия, черный барон  
Снова готовят нам царский трон.  
Но от тайги до британских морей  
Красная Армия всех сильней!  
Так пусть же Красная  
Сжимает властно  
Свой штык мозолистой рукой,  
И все должны мы  
Неудержимо  
Идти в последний, смертный бой!

И еще мы пели «Смело, товарищи, в ногу...» и «Слезами залит мир безбрежный...», песню с пронзающим припевом о знамени:

То наша кровь горит огнем,  
То кровь товарищей на нем...—

и еще другие песни, и без конца «Интернационал», «Интернационал», «Интернационал» — «Это есть наш последний и решительный бой!». И вот что удивительно: в тот день каждая песня была вовсе не песней, а просто настоящей правдой — и про британские моря, и про то, что мы готовы идти в бой, — да мы все и не пели песни, мы только выговаривали, выдыхали то, что было на душе, все мы — и рабочие, и школьники, и учителя, шагавшие рядом с нами

...Возвращаясь от умирающей бабушки осенью сорок первого года, я подходила как раз к Семянниковскому заводу, миновав нашу старую кирпичную школу, когда это воспоминание — нет, живое, жгучее желание погибнуть за Революцию, этот священный отроческий трепет, впервые испытанный на демонстрации против лорда Керзона, нагнал меня, как волна, и тотчас же слился с сегодняшним состоянием сопротивления, бесстрашия и безграничной свободы. Казалось, уже нельзя быть более свободной, но свобода все нарастала во мне и вокруг меня, и новые воспоминания (воспереживания?) рождались звено за звеном, звено за звеном...

...Да, демонстрация (их называли тогда еще по-старому — манифестация) против лорда Керзона была в мае 1923 года, и Ленин уже тогда был болен, но уже шел январь двадцать четвертого, мы готовились к вечеру Девятое января, а он все еще хворал, но бюллетени не сообщали ничего хорошего...

Нет!  
Не надо!..  
Не хотим!..

...Смерть Ильича была для нашего поколения тем рубежом, с которого мы из детства шагнули прямо в юность, почти миновав ту тревожную, неопределенную пору, которую называют отрочеством... Мы повзрослели и возмужали сразу на несколько лет в тот жестоко морозный день, когда засугробленная, заиндевевшая рабочая окраина, Невская застава, рыдала над Ильичем всеми гудками всех своих чугунолитейных заводов, всех своих прядильно-ткацких фабрик — тех, что встали за ним, тех, что шли за ним в семнадцатом году, — захлебывалась гулками прерывистыми

гудками паровозов. Она голосила, как русская вдова или мать, потерявшая сына, она рыдала в голос безоглядно, самозабвенно, долго-долго — осиротевшая, бревенчатая и дощатая, заваленная вечерующим снегом Невская застава.

До сих пор оттуда, из-за тридцати пяти лет, слышу я этот неповторимый траурный гул. Наверно, в городе, где были кондитерские с пирожными и гуляли по Невскому нэпманы, не так все было слышно, как у нас за Невской, — ведь тут фабрики и заводы стояли рядом, бок о бок. Они загудели совсем иначе, чем гудели каждое утро — каждый гудок по очереди, один за другим, — они загудели как-то все сразу, хотя сначала я различала могучий гудок Семянниковского и высокий голос дедушкиной фабрики, но потом все слилось в сплошное гудение. Мы с подружкой Валей стояли на самой середине нашего двора, засыпанного снегом, а траурный гул становился все громче и громче, и вдруг стало мне казаться, что грудь разверзается, хлещет туда ледяной воздух, и уже нечем дышать, и я как будто тоже стала вся гудеть, исчезать и подниматься ввысь, куда тянуло, как в гигантскую трубу, меня, наш двор, сугробы, сарайчик — все на земле...

«Да. Это на всей земле. Все гудит. А люди стоят. Как мы с Валей: не шевелясь», — и вновь, как на волжском вокзале по дороге в Петроград, я ощутила, что меня отдельно нет: есть что-то огромное, что неистово, изо всех сил, кричит от горя, и я вся — только этот общий всепоглощающий вопль. Есть всеобщее оцепенение — и я цепенею, слитно со всеми. Мы — один кусок льда. Но вопль этот, это всеобщее оцепенение — ведь это же вызов всему миру. Да, вызов. Потому что заставское дыхание достигло такой силы, что звучало уже как угроза, — нет, как торжество.

И трагедийный гул длился долго, казалось, очень долго и затих постепенно, только еще целые полминуты пронзительно всхлипывала какая-то «кукушка» на ближнем заводе, но вот и она замолкла, и абсолютная тишина рухнула на вечерующий наш дворик и оглушила нас с Валей. Мы продолжали стоять все так же неподвижно, навтыжку и молчали. Долго молчали...

— Валя, — наконец сказала я, — я вступлю в комсомол. Немедленно. Мне не хватает лет, но я упрошу...

Бабушка против из-за бога, а мама из-за мальчишек. Но я все равно вступлю.

— Я тоже,— негромко отозвалась черненькая худенькая Валя Балкина...

...Мы говорили, все еще стоя неподвижно, навытяжку.

— Валя, я должна открыть тебе страшную тайну. Я уже довольно давно не верю в бога. Знаешь, его нет.

— Знаю,— ответила Валя.— Я тоже не верю в бога и вступлю в комсомол.

— Валя,— сказала я, почти задыхаясь от странного нового счастья,— я вступлю в комсомол и буду профессиональным революционером. Я всю жизнь буду профессиональным революционером. Как Ленин.

И не тот мороз, который стоял кругом, а внутренний холод — озноб восторга, озноб самоотречения — пробежал по позвоночному столбу: не умом — всем существом, всей плотью и духом я поняла, что да ла к л я т в у, что не смогу ее нарушить, потому что с момента этой клятвы началась у меня совсем новая жизнь, и отказаться от нее — это значит перестать жить...

...И если что-либо дает мне до сих пор силы, несмотря ни на какие горести, жить полноценно, жить всем существом — это вера в то, что я не нарушила своей давней, отроческой клятвы, это сознание, что я принадлежу к Партии, сплавленной именем Ленина...

#### «ТЫ НАПЕЧАТАНА У НАС»

...И, замолчав, мы все еще продолжали стоять с Валею неподвижно, навытяжку, среди сугробов, пока из форточки не окликнула меня бабушка Ольга:

— Лялька! Ты что там, замерзнуть хочешь, дура? Я вот тебя отмотаю за косы...

Она крикнула сердито, даже зло — но какое дело мне было теперь до бабушки Ольги и ее угроз? И до доброй бабы Маши? И даже до мамы и папы? И до Муськи? И вообще до всего нашего дома? Ни малейшего.

Полная отчужденности и важной тишины, опустившейся в душу после клятвы среди заснеженных дровяных сарайчиков, я молча прошла на кухню, в Дуний



взъерошил волосы и сказал: «Очень здорово... Как у Пушкина!» — и целый вечер, по привычке своей расхаживая по квартире и ероша волосы, гудел первую строчку:

Ты дремлешь, старый сад, осыпанный морозом...

А когда я влюбилась в одного мальчику из девятого параллельного и написала стихотворение:

Ландыши! Душистые,  
Чудные цветы!  
Слезы серебристые  
Девичьи мечты,—

он сказал: «М-да»... и негромко, но очень обидно пропел на лихой мотивчик «Далеко от Типперерри...»:

Сантименты! Сантименты!  
Сантименты, господа!

И так как я знала, что для папы слово «сантименты» хуже всякого ругательства, я расплакалась от огорчения и обиды. Мама потихоньку утешала меня и говорила, что стихотворение «чудное, чудное» и что папа не понял его, так же, как не понимает и ее... Но я-то знала, что папа все понимает.

И вот потому, когда я написала свое самое первое стихотворение о революции, о Ленине, я прочитала его папе — без мамы, без Муськи, без Авдотьи, ему одному. У меня ужасно стучало сердце, когда я закончила чтение, а папа ничего не говорил, только смотрел на меня долгим, новым взглядом, потом протянул руку, молча прочитал стихи и сказал строго:

— Перепиши начисто, покрасивей. Я покажу это в нашей стенгазете. Может быть, даже и напечатают... Мне кажется, могут напечатать.

Через два дня он пришел с работы важный, даже какой-то напыженный, и в то же время явно ликующий — он совершенно не умел прятать радость, хоть на время прикрывать ее важностью или безразличием, ему не терпелось раздать ее другим. В то же время он не умел жаловаться на невзгоды — он стыдился, если был несчастен, точно сам был виноват в этом...

— Ну, Лялька, дела обстоят так... — важно начал он и тут же воскликнул, хлопая в ладоши: — Напечатали! Понимаешь, в нашей стенгазете напечатали! Сказали — отлично. Поздравляю. Теперь, пожалуй, ты настоящий поэт: напечатали!



Мне стало ужасно приятно и даже страшно. Я покраснела, выскочила в другую комнату и, закрыв глаза, расставив руки, немножко, но очень быстро покружилась, как тогда, когда была маленькой. Потом посмотрела на себя в трюмо: ну-ка, какая я стала после того, как мое стихотворение напечатали? Ведь я же теперь... настоящий поэт! Увы, я была все та же — курносая, с длинными светлыми косами. А мне так хотелось быть стриженной, как настоящие комсомолки, и носить толстовку! О кожанке я только мечтала, как о прямом, «классическом» носе... Но все-таки мой стих напечатали, и я... я попрошусь у папы прийти завтра на фабрику и посмотреть на свой стих в стенгазете!

И на другой день — морозный, дымно-розовый, хрустящий — я на конке доехала до Фарфорового завода, а потом через Неву, по звонкой тропинке, перебежала на правый берег, где рядом с приземистыми кирпичными зданиями бумажной фабрики, бывшей Варгуни-на, стояла папина суконная, зашла к нему в амбулаторию — уютнейший бревенчатый домик с палисадником, окруженный низеньким деревянным заборчиком, — и он привел меня в рабком, где висела стенгазета. Мое стихотворение было действительно напечатано на настоящей пишущей машинке лиловыми крупными буквами, только не совсем ровными — одна буква была ниже, другая выше, но оно было наклеено в самой середине стенгазеты, и над ним были нарисованы склоненные траурные знамена, а под стихотворением очень крупно были написаны моя фамилия, и главное, полное «взрослое» имя. Было написано «Ольга»... а не «Ляля», как звали меня дома.

Я очень долго стояла перед стенгазетой, прочла все заметки, в которых ткачи и ткачихи бывшей фабрики Торнтон вспоминали об Ильиче, — они знали его запросто, живым, еще тогда, когда он совсем молодым приезжал на конке за Невскую заставу к первым рабочим-подпольщикам. И вот посредине этих заметок — косноязычных, угловатых, полных непередаваемо суровой нежности и любви к Ильичу — было мое стихотворение. Первая авторская гордость (невероятнейшая!), смешанная с первым (жесточайшим!) смущением перед еще не заслуженной честью — распирала мое сердце.

«Я буду профессиональным революционером, —

повторила я слова, которые уже четыре дня не оставляли меня,— я буду профессиональным революционером-поэтом. Я сравниваю даже с рабкорами».

...Возвращаясь в город по безлюдной, зловеще притихшей Невской заставе и вспоминая зрительно ту, в неровных лиловых буквах и наивных рисунках, стенгазету, я вновь испытывала смущение и боль, что все еще «не сравнялась с рабкорами».

Все дальше и дальше уходил, все стремительнее и бесповоротнее забывался сегодняшний день, а самое дальнее и даже не бывшее со мною приблизилось, подхватило и понесло в дали, которых я еще не знала. При воспоминании о первом напечатанном стихотворении подхватил меня вал поэзии...

#### ДЕНЬ ВЕРШИН, ЛЕРМОНТОВ

Поэзия стала частью моей жизни тоже с самого раннего детства. Я едва научилась писать и писала большими печатными буквами, не отделяя еще слово от слова, писала так, как люди говорили — ведь говорили-то они без запятых и точек, слитно,— и вот однажды, длинным зимним вечером, в старой хрестоматии с обложкой цвета жуковского мыла мне попалось на глаза маленькое стихотворение, которое начиналось так:

Вот север, тучи нагоняя,  
Дождил, завыл — и вот сама  
Идет волшебница зима...

Я замерла: была как раз зима, и улица и наш сад были в клокастом инее, в пушистом снегу, и все в стихе было сказано как будто бы об этом самом, нашем, которое я просто вижу, но в стихе было все это так удивительно, что я сразу поняла, что зима-то живая я, потому что она пришла, что ведь она взаправду волшебница, и север живой — он «завыл», что и стих и наша заставская зима — это одно, но как все в стихе красиво!

Я прочитала стишок еще раз и еще, и мне вдруг так захотелось, чтоб все это ужасно правильное, изумительно красивое про зиму было сказано... мною!

Нет, мне никак не передать сейчас этот первозданный восторг перед животворящим, одухотворяющим

чудом поэзии. Да этот восторг вообще ни передать, ни пересказать, ни объяснить нельзя. В этом тайна поэзии, и в тайне этой — ее власть.

Воровато оглянувшись, я переписала на большой лист бумаги стишок из хрестоматии, большими печатными буквами, без просветов между словами, засунула хрестоматию далеко-далеко под кушетку, чтобы ее больше никто никогда в жизни не нашел, и побежала к бабе Маше: я сидела как раз у нее, а они все жили в нашем же доме, внизу.

— Бабушка! — закричала я, дрожа от восторга. — Бабушка, послушай-ка, что я сама сочинила!

— Ай да молодец, — сказала бабушка, — ведь как складно!

И никакого сомнения в том, что это сочинила я сама, у меня больше не было.

И все-таки первой моей сознательной любовью в поэзии был Лермонтов. Толстенная книжка в сером потрепанном переплете, с портретом грустного большеглазого гусара, нарисованным «ниточками» (это была гравюра), лежала у меня под подушкой ночью, я не выпускала ее из рук днем, если не надо было штопать чулки или что-нибудь помочь по дому, — это было как раз перед отъездом в Углич, мне было семь и потом восемь лет...

Красота и человечность лермонтовских стихов, неосознаваемые, а потому тем более властные, пленили меня всей силой своею. И если через пушкинские строки я открыла, узнала, что зима — живая и север — ветер — живой, то в лермонтовских стихах мне открылось, что не только все кругом живое, но все про меня! Я прочла и тут же запомнила стихи об одинокой сосне, о листочке дубовом, об утесе и золотой тучке. Как жалко было сосну, утес, дубовый листок! С тех пор для меня осенью все листья неслись из-за Невской заставы только на юг, и все самые жемчужные облака шли только на юг, и каждому дереву в нашем пыльном и дымном саду снилось другое, далекое, прекрасное, с которым никогда-никогда не увидеться, но почему же все это было и про меня?! Почему — вместе с сосной и утесом — так мучительно жалко себя, почему я одна, совсем одна на свете, и так одиноко, что плакать хочется, почему меня никто не любит (все они только притворяются, будто любят меня), что это та-

кое со мной,—чинара, гордая чинара, почему ты не хочешь приютить дубовый листок — меня? Почему?!

Засох и увял он от холода, зноя и горя...

Нет, я не вынесу этого... я не могу больше! Если б умчаться в море, как парус одинокий! В огромное море — одной, одной, ведь в море одной не страшно, ведь парус не боится бури,— я тоже!

О, как сладостно было это мучение, эта тоска о невиданном, желанном друге — прекрасной пальме, мечта о бесстрашии перед бурей — перед гибелью, как я счастлива, что еще на рассвете сознания мне дано было изведать это упоение, это пленение, эту власть поэзии, это приобщение ко всему миру через ее волшебные, непостижимые умом напевы, как счастлива я, что до сих пор она сильнее всего владычит над сердцем и над жизнью моею.

Среди множества ремесел и искусств, воздействующих на человеческую душу, нет силы более доброй и более беспощадной, чем поэзия. Она все может. Я утверждаю: она сильнее атомной бомбы — разрушающее и творящее слово, пропитанное кровью любящего сердца, светом ищущего духа, окрыленное великой нашей идеей. Нет подчинения более добровольного и более неодолимого, чем подчинение поэзии. Нет любви более вознаграждаемой, чем любовь к поэзии: любящий поэзию — дважды поэт. Нет доверия более простого и обогащающего, чем доверие к поэзии. Но доверять ей нужно безгранично и безоглядно — безоговорочно, потому что она бескорытна, потому что ведь она-то доверяется тебе вполне, она готова отдать тебе всю неисчерпаемость свою, весь сумрак свой и все дневные звезды — твои и чужие, горящие и зримые только в ее глубинах. Доверяющий поэзии одарен судьбою, как говорили в старину — блажен. Снова и снова повторяю: я счастлива, что с самого раннего детства награждена даром безоговорочного доверия к поэзии.

Но я пленялась не только теми стихами, которые были «про меня», а и множеством других лермонтовских стихов. Правда, в толстенькой книге Лермонтова многие стихи были почему-то непонятны, и в смущении за себя и за поэта я пропускала их, но понятные стихи «не про меня» волновали не меньше, а, пожалуй,

даже чуть больше — ведь точно в чужое окошко с высоких мостков вечером, я заглядывала в чью-то, другую, не мою, укрытую от всех жизнь и, узнав о ней, становилась соучастницей ее, обладательницей важной чужой тайны... Тяга к таинственному, жажда узнать ее или, что еще сладостнее, поделиться этим с подругой: «Валя, Валя, что я знаю! Только, чур, это тайна...» — сколько чистейшей радости в этом, и как хорошо, если хоть в какой-то мере остается эта тяга и в зрелом возрасте, и как нищ, как жалок человек, для которого все решительно понятно и нет ничего таинственного даже в искусстве... Именно сумрачной тайной своей пленяли и изумляли меня стихи. «В полдневный жар в долине Дагестана...» О, почему же убитому гусару, который лежит в долине с дымящейся раной в груди, снится далекая-далекая красавица, а ей снится он? Как почуяла она, что он убит, как, умирая, узнал он, что она думает о нем? Но ведь это все правда, это так и есть, и убитый гусар похож на Лермонтова с его большими грустными глазами, а на убитого гусара и самого Лермонтова похож витязь, спящий на дне реки, витязь, о котором так удивительно поет русалка... Очарованная этим стихотворением, я твердила его наизусть, про себя, целый день, изнемогая от наслаждения прекрасной, не своей грустью.

Но я — в отца, я не в силах одна выносить бремя радости, мне необходимо поделиться ею с другими, похвалиться ею. Наверное, это корыстное чувство: ведь в то время как разделенное горе съезживается, уменьшается, разделенная радость нарастает, крепнет, разгорается в тебе, и ты становишься все богаче, все счастливее. Нет, я просто не могла владеть одна этой голубой рекой, той волшебной песней русалки! Взяв книжку — для достоверности, что это написано, — я почти насильно усадила Муську в угол дивана и стала по книжке читать ей стихотворение. Она, дура (недавно ей было всего шесть лет!), сперва говорила:

— Я не хочу из этой книжки. Она без картинок!

— Да ты послушай только, послушай, это лучше, чем с картинками... — И я, торопясь, пока она не ушла, прочитала сдавленным от волнения голосом, — я первый раз читала эти стихи вслух, другому:

Русалка плыла по реке голубой,  
Озаряема полной луной;

И старалась она доплеснуть до луны  
Серебристую пену волны...

Прочла, и тотчас же кто-то плеснул мне за ворот той самой серебристой, лунной, русалочьей водой! И она побежала по телу сверкающими, прохладными тонкими струйками, и я, почти захлебываясь в ней, дочитывала:

Но к страстным лобзням, не знаю зачем,  
Остается он хладен и нем,  
Он спит — и, склонившись на перси ко мне,  
Он не дышит, не шепчет во сне...

— Ну? Ну, хорошо? — нетерпеливо спросила я Муську, закончив чтение.

— Ага,— ответила она басом и, помолчав, сурово спросила: — Лялька! А лобзня и перси — это чего? Я растерялась, но лишь на мгновение.

— Ну, дура... Ну, как ты не понимаешь? Это такие цветы, необыкновенные, подводные... чудеса морские... или такие, знаешь, большие золотые рыбки...

В тот день, идучи из-за Невской в город, я засмеялась и даже приостановилась от радости, вспомнив русалку и Муськин вопрос... То был Лермонтов детства. Потом был Лермонтов недолгого отрочества и внезапной, ранней юности, когда стихи его властно и просто сливались с жаждой подвига во имя Революции, питали бурное отрицание бога — Демон! — рождали первые мечты о будущей, обязательно необыкновенной и страшной любви — вновь Демон! — а решение стать настоящим, профессиональным революционером-поэтом уверенно опиралось на образ лермонтовского поэта-свободолюбца-кинжала-колокола. О, главное — колокола! Несмотря на первое упоение безбожием, строки о «божьем духе» ничуть не смущали — чудился не бог, а ветер, буря, стихия.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой.  
И, отзвук мыслей благородных,  
Звучал, как колокол на башне вечевой  
Во дни торжеств и бед народных.

И стыдно было даже думать об этом, но все-таки и эти стихи, как стихи о парусе, утесе и дубовом листке, тоже были про меня — но про меня такую, какой

я должна была стать, вступая в Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи...

Удивительно ли, что, не разлюбив Лермонтова, я, мы, наше поколение всем сердцем приняли Маяковского и говорили — от себя — его стихами, в решающие минуты жизни?

И были еще пронзающий Есенин, и Блок — его вьюга, его «Двенадцать», и все величавее открывался Пушкин, а потом рядом с ними зазвучали в сердце наши комсомольские поэты, «успевшие родиться» и повоевать за революцию с оружием в руках, и прежде всего Михаил Светлов с его удивительной «Гренадой», где уж на самом деле все было про нас! Не про меня, а про нас, даже не успевших родиться, когда это надо было.

«Поэзия сопровождала нас с рассвета сознания до сегодняшнего дня,— думала я, шагая по булыжникам в город,— вот до этих дней штурма и обороны Ленинграда: и сейчас она идет рядом со мною». И я опять широко улыбулась от радости: господи, да кто же отнимет у меня Лермонтова? Никто и никогда. Кто сможет уничтожить его, если даже уничтожит меня? Никто и ничто. Его уже нельзя уничтожить — он бессмертен. Лермонтов бессмертен и вечен, и наша русская поэзия вечна и бессмертна. Но Лермонтов и вся наша поэзия — давно уже неотъемлемая часть моей души, всей меня, значит, и я... Мне страшно — от счастья — было додумать об этом! Но если — я, значит, и ты, мой дорогой, мой единственный, с темно-золотыми, теплыми, большими глазами своими, ты тоже... бессмертен? Так вот почему я не подумала ни разу за время тревоги о возможной гибели твоей! Я ведь уже два часа как из города, два часа назад началась артиллерийская, потом воздушная тревога — раз воздушная, значит, во всем городе, и ты, конечно, стоишь сейчас на крыше, верней, на солярии нашей «слезы» — дежурный ты или нет, ты всегда подменяешь тех, кто боится бомбежек, а на крыше напротив, через улицу, сидят те же самые мальчишки, они, наверное, как всегда свистят и улюлюкают проносющимся «мессерам»... Нет, бомба не упала на наш дом, и ты и наши мальчишки живы, — как ты можешь погибнуть, когда гибели

нет, когда мы бессмертны?! Я приду и скажу тебе об этом. Впрочем, ты знаешь все сам. Я не вспоминала тебя, переживая почти всю жизнь. Не пережила «наших» Островов, первого признания друг другу, и того раннего-раннего утра на безлюдной и старинной Тучковой набережной, где от опрокинутых лодок пахло смолой, а чайки носились над розовой водою, розовые от зари,— я не вспомнила этого до сих пор, но ведь это потому, что мне и не надо думать о тебе как-то особо, отдельно: все, что происходит со мною, в то же самое время происходит и с тобою... Вот я вспоминала о Лермонтове, не о твоём, трагическом, гибельном и бунтарском, каким живет он в намеченной работе твоей «Лермонтов и Маяковский»,— два чуда, две неповторимости, два поэта, столь разных и все же соприкасающихся через века... Как прямо говорил о своем родстве с Лермонтовым Маяковский, когда стоял, еле удерживая равновесие, на колокольне Ивана Великого, а разнuzданная толпа мещан насмерть терзала его:

И так я калека в любовном боленьи.

Для ваших оставьте помоев ушат.

Я вам не мешаю.

К чему оскорбленья!

Я только стих,

я только душа.

А снизу:

— Нет!

Ты враг наш столетний.

Один уж такой попался —

гусар!

Мой дорогой, я вспоминала о Лермонтове детском, с «подводными чудесами» — персями и лобзаниями, но он у нас один, потому что давно нет тебя и меня отдельно, есть одно — мы, потому что времени нет, и жизнь — одно мгновение, мы знаем это теперь, но оно вмещает в се, и оно бесконечно.

Так рухнула грань между жизнью и смертью, между искусством и жизнью. Они слились в одно — в полную, торжествующую свободу.

#### ДЕНЬ ВЕРШИН, «ОХРАНЯЙТЕ РЕВОЛЮЦИЮ!»

Но странно, зловеще безмолвствовала Невская застава: не слышно было ни свиста бомб, ни воя снарядов, но не дали и отбоя — артиллерийская и воз-



душная тревога продолжалась. И даже круглые огромные облака не урчали больше, они только перемещались, переваливались друг через друга, клубились и пучились, и казалось, именно они источают эту еле звенящую обмершую тишину, вернее — безмолвие.

«Почему так тихо? Или прослушала отбой? Но тогда б на улице были люди... их нет почти... и трамваи стоят... Очень тихо! Ох, уж лучше б снаряды свистали, проклятые...»

Но было мертвенно-тихо, как будто бы все затаилось и готовилось к последнему, страшному прыжку, решающему исход смертного поединка.

Я шла одна между двумя рядами кирпичных грузных, приземистых, глухих — без окон — амбаров. Никаких домов, кроме них, здесь, на Шлиссельбургском, не было — только амбары. Кирпичный, чем-то враждебный мир... Я помнила, что в дни Октябрьской революции на всех фронтонах этих амбаров прописными изогнутыми буквами были начертаны революционные лозунги: «Не работающий да не ест!», «Кто не с нами, тот против нас!», «Ум не терпит неволи!», «Охраняйте революцию!» и много-много других — на каждом амбаре по лозунгу, вписанному полукругом во фронтон.

Революция кричала, как только что родившийся младенец. Нет, вернее, Революции надо было выговориться, выкричать все главное, что она хотела утвердить и сделать законом, все, чем хотела она обрадовать людей. Она без конца, в любое время суток пела «Интернационал», она заставляла своими лозунгами и словами «Интернационала» вопиять даже камни.

Как повторилось это в дни Великой Отечественной войны! Она тоже заставляла вопиять камни о путях, и победах, и горестях своих. О, надписи на развалинах Севастополя, уже освобожденного, надписи на стенах Ленинграда, особенно страшные в дни блокады, — сестры пламенных надписей Революции!

Революционные лозунги были начертаны везде, на всех камнях, зданиях и оградах города, особенно много было их на окраинах: на воротах фабрик и заводов, на их корпусах, на обломках участков и — со всей грозностью и наивностью новорожденной Револю-

ции — даже на этих приземистых кирпичных купеческих амбарах. Я отлично помнила эти лозунги, они еще отчетливо виднелись в годы нэпа и первой пятилетки, я всегда читала их, когда ездила из-за Невской в город, в университет, то есть всего одиннадцать лет назад. Но теперь они уже совсем исчезли — лишь еле видные мазки остались на кирпичных полукружиях. Я шла между рядами амбаров, по трамвайным путям — ведь все равно трамваи стояли, — глядя то в одну, то в другую сторону, жадно ища глазами старинные надписи, но их все не было, не было... И вдруг я обнаружила — на одном кирпичном фронте еле уловимой тенью проступают узкие изогнутые буквы. Я остановилась, вгляделась, разобрала: «Охраняйте революцию!» И рыдание сжало мне горло — счастливое рыдание!

...Я слишком часто повторяю слово «счастье» на этих листах, но в тот день ничто из бесчисленных горестей моих не вспомнилось мне, ни на миг не овладело душою — ни смерть дочерей, ни несправедливое обвинение в 1937—1939 годах, видение которых до войны было неодолимо... Ничего этого не вспоминалось мне, ничто не обижало, не мучило. Нет, я шла по одним вершинам, мною владело только наше высокое и прекрасное, только счастье и упоение жизнью. И я знала, знала, что так не только со мной, так с Николаем, так с папой, с Дуней, с подружкой Галиной, с электросиловцами, с новыми друзьями по Радиокomiteту. Скоро Старо-Невский. Амбары скоро кончатся. Как жаль, что не сохранились все надписи, лишь еле видная тень одной... Но ведь я-то помню их все! Их же при мне наносили на эти кирпичные здания, когда я уже твердила стихи Лермонтова, уже слышала, что Ленин приехал в Петроград и фабричные и заводские нашей заставы встали за ним и пошли встречать его к Финляндскому вокзалу... Господи, погоди, — да ведь они шли к Финляндскому вокзалу этим же самым путем, мимо этих же сумрачных амбаров! Надписей, наверно, на амбарах еще не было. Но на встречу с Лениным шли здесь, где иду сейчас я!

И этой же дорогой шли к Ленину в февральский вьюжный день восемнадцатого года рабочие нашего Обуховского завода. Они решили построить на Алтае

первую в мире рабочую коммуну, прекрасную, справедливую, настоящую коммуну, о которой до них только мечтали и писали в книжках — целые века, целые тысячелетия. Они назвали ее «Первороссийском», что означало «Первое Российское общество землеробов-коммунаров». Они шли к Ильичу за советом, как лучше строить свою коммуну, а главное, с просьбой, чтоб он помог им уехать на Алтай. Да, да, они шли между этими же амбарами, все было так же, как сейчас, только надписи на фронтонах были тогда ярко-белые, недавно нанесенные на красные кирпичи. «Ум не терпит неволи», — утверждали они. «Мы не рабы!» — восклицали они. «Охраняйте революцию!» — приказывали они. И вот — эта девушка в военном и в пилотке, и какой-то дяденька, и я — мы идем той же дорогой, и х дорогой, и те же надписи горят на тех же стенах, ну и что ж, что они стерты временем, мы-то помним о них, да и не только помним — мы на самом деле охраняем Революцию. Мы идем их дорогой, шаг в шаг, мы их современники, и они наши современники, потому что мы живем в едином времени — во времени Революции, нас не разомкнуть, не разъединить, мы единая цепь, звено в звено...

Цепь, цепь... Погоди, откуда это слово? Почему оно вдруг оцарапало сознание? Цепь, цепь! Ах, да! «Фландрская цепь счастья»... Листовка, которую обнаружили сегодня жильцы моего дома и я сама... Ну что ж, она и вправду существует, только не их, а наша цепь. Она обходит мир, она обойдет его не трижды, а тридцать три раза трижды, не символом рабства, скованности, неволи, но символом нерушимого единства, вечной преемственности, неразрывности наших жизней и деяний, — звено в звено, шаг в шаг, век в век, жизнь в жизнь, поколение в поколение, народ за народом, революция за революцией. Нашу цепь не порвать, потому что это цепь жизни, я — звено ее, и вся она, — с неведомых ее истоков уходящая в бесконечность, — моя!

И как будто бы в ответ на эту думу чистым, высоким голосом сразу в несколько уличных рупоров запели фанфары: то был сигнал отбоя!

И тотчас на Старо-Невский высыпали люди, трамваи звякнули, задребезжали, залились звонками и скрежетом, побежали, громко сигналя, автобусы, все

ожило, заговорило, зазвенело, казалось, даже пронзительно золотые лучи осеннего солнца заверещали над Старо-Невским, даже стекла в домах, голубевшие небом, даже асфальт под ногами — все было полно исступленно-веселого звона и гудения, а надо всем несся серебряный, чуть грустный голос фанфар: они возвещали конец бомбежки, ужаса, смерти, они возвещали возвращение к обычной суете и жизни, — что может быть лучше?! Это был обыкновеннейший ежедневный городской шум, — какая же это, оказывается, радость, что же мы раньше так злились на него?

«Мы потребуем, чтоб сигнал отбоя играли целый час, когда объявят победу», — подумала я, на ходу вскакивая в трамвай, и мне показалось, что победа совсем недалеко. Как я любила скрежещущий, звенящий трамвай, сердитую кондукторшу, граждан, толкавшихся, но счастливо оживленных, — какое это все было милое, дорогое и, главное, мое! Но раз я заканчиваю рассказ о «дне вершин» словом «мое», дне, так похожем на ощущение сопричастности с миром в Угличе, я должна выполнить обещание, данное еще в первом отрывке, в главке «Это мое!», — рассказать о валдайской дуге.

## ВАЛДАЙСКАЯ ДУГА

Я услышала ее в Угличе, где жили мы с мамой, пока отец воевал с беляками на юге. Она хранилась в музее, в бывшем тереме Дмитрия-царевича, а темно-красный кирпичный терем стоял на крутом, отвесном берегу Волги и был окружен небольшим, но очень густым садиком с древними задумчивыми деревьями, с огромными темными кустами сирени, такими огромными, что внутри них были настоящие небольшие пещерки. И под плакучими ветвями древних берез, между клубящимися кустами сирени вились ярко-желтые песчаные дорожки, а за теремом стояли настоящие солнечные часы столбиком, которые были еще при царевиче Дмитрии. Он глядел на них и, наверное, уже понимал, сколько времени они показывают, — ведь ему было уже тогда целых семь лет. Он еще глядел из этого садика, с обрыва, на тот берег Волги, а

там стоял удивительный сосновый бор: очень прямой и густой, ствол к стволу навтыжку, темно-синий, неподвижный, он стоял вдоль берега тремя ровными, большими нисходящими ступенями, вернее уступами, — казалось, что это три полка огромных красноармейцев в своих острых буденовках-шлемах плечом к плечу стоят напротив нашего Углича и охраняют его. Особенно были похожи на красноармейцев уступы бора ранними зимними вечерами, когда как раз за бором в сиреневой морозной дымке садилось очень красное солнце и верхушки-буденовки сосен просвечивали и сочились красным.

Но в теремном садике зимой было гулять нельзя — большие, тоже какие-то древние, очень уютные, но совершенно непроходимые сугробы заваливали его. Поэтому мы любили бегать в теремном садике летом, в жаркие дни, когда такой отрадной прохладой веяло с Волги, и из пещерной глубины сиреневых кустов тоже тянуло душистой лесной сыростью. Здесь было очень хорошо, и было почему-то приятно знать, что ходишь по тем же дорожкам, по которым ходил царевич Дмитрий — такой, как на иконе: в длинной белой рубашке, с розовыми ладонями, которые он, как крылышки, держал открытыми над плечами, и аккуратное золотое кольчи́ко сияния неотступно кружилось над его головой.

Мы уже знали, как убили царевича: вот он в такой же жаркий весенний день гулял по этим самым дорожкам, подняв ладони, с крутящимся сиянием над головой, а из дремучих, буйно цветущих кустов сирени выскочил Данила Битяговский с длинным, блестящим, острым ножом и зарезал царевича — ножом по горлу.

И мы нарочно обходили кусты сирени — чудилось: вдруг выскочит оттуда Битяговский да как кинется на нас!.. Правда, мы ему ничего такого не сделали, ну а что ему сделал царевич?! Зачем было убивать его — ведь хоть он и был царевич, что, конечно, не так-то уж хорошо, как мы узнали после свержения нашего петроградского царя, но ведь он же был еще маленький, он еще не понимал, что нехорошо быть царевичем, он даже бусы носил, как девчонка, — Битяговский-то и обманул его бусами, чтобы царевич поближе подошел к нему и закинул голову.

В музей же, в палаты, где когда-то жил царевич, мы попали не скоро, чуть ли не через год, как приехали,— мама все никак не могла собраться: то устраивалась в школу, то мы все время кочевали с квартиры на квартиру, то надо было сажать картошку и ходить на субботники за шишками для электростанции и ландышами для аптеки. Но наконец мы все-таки собрались и, умытые, даже с бантиками в косицах, отправились в музей с мамой и еще двумя знакомыми по Петрограду. Сухощавый и благообразно седой заведующий музеем встретил нас очень учтиво и сначала водил вокруг музея и объяснял, что и как тут было, потом повел в подвал, показал очень интересный фонарь, похожий на целую часовенку, и большую деревянную некрасивую телегу, напоминающую гроб на огромных колесах. Это и взаправду оказалась повозка, на которой везли гроб с телом Кутузова в Россию. Почему она попала в угличский музей — заведующий объяснял, но я пропустила это мимо ушей, потому что устремила глаза к другому предмету, стоявшему за гробом-повозкой. И наша мама, правда, очень вежливо дослушав про тело Кутузова, тоже спросила о том же предмете — что это такое, неужели дуга? Она спросила это, наверное, потому, что и она, и тетки наши, собираясь по вечерам за Невской, любили петь песни про ямщиков, которые мчались по Волге-матушке зимой и под звон бубенцов и колокольчиков горевали о покинутых или замерзших невестах или сами замерзали в степи, шепча имя любимой жены, моля о ее счастье. Песен о тройках и ямщиках за Невской пели много. Они были то пронзительно грустные, то отчаянно веселые, я знала их почти все и больше всего любила песню о том, как в степи глухой замерзал ямщик...

А жене скажи,  
что в степи замерз  
и свою любовь  
на тот свет унес...  
А еще скажи —  
пусть не печалится.  
Пусть с другим она  
перевенчается...

— А-а... Это старинная валдайская дуга,— сказал хранитель музея, и сухое седое лицо его потеплело.

Мы подошли поближе. Огромная, плавная, пологая, она слабо светилась, мерцала в полумраке пожухшей, но тем более достоверно сказочной красотой своей — синими, пунцовыми и зелеными розами на бледно-матовом золоте, и была похожа на небольшую, но самую настоящую деревянную радугу. А в центре радуги-дуги висел большой потускневший колокольчик, справа и слева от него располагались колокольчики поменьше и круглые, узорчатые бубенцы: да, это была та самая дуга — из песни!

И колокольчик, дар Валдая,  
Звенит и плачет под дугой...

И хранитель музея, чуть улыбаясь, протянул к ней руку, раза два или три мягко качнул ее из стороны в сторону, тряхнул. Ох, как она залилась, зазвенела, зарыдала, захохотала, как живая и все это было сразу: и острая, пронзающая грусть, и взвывшееся веселье, этот сумасшедший звон серебряный, ударивший в каменные своды и рухнувший с них, как сверкающий ливень, наполнив собой все — подвал, сердце, жизнь!

Я уже больше и не слушала и не слыхала ничего из того, что говорил хранитель, я только угрожающе прошептала Муське: «Это мое!» — и все смотрела на валдайскую дугу... А когда хранитель сказал, что теперь можно пройти в палаты, наверх, сердце у меня жалось, и я сказала с отчаянием:

— Дяденька... потряните ее еще разочек... пожалуйста!

Он улыбнулся и тряхнул мою — мою дугу-песню, дугу-сказку. Краткую, огнистую россыпь ее помню я до сих пор...

Ты хоть раз, хоть раз еще раздайся,—  
в жизни в песне, в плаче, наконец,—  
о любовь моя, дуга валдайская,  
сердце, омертвевший бубенец...

...Но когда я была в Угличе в 1953 году и пришла в музей, в терем царевича Дмитрия, там в подвалах уже не было ни кутузовской колесницы, ни моей валдайской дуги. И только знаменитый угличский корноухий колокол был в тереме на том же самом месте, и вот именно кратким рассказом об этом колоколе и закончу я свой «день вершин».

Он назывался так потому, что был опозорен и лишен одного уха за преступление свое против царской власти: в тот миг, когда убили царевича Димитрия, люди ударили в этот самый колокол, и он загудел набатным звоном. И по зову его сбежались угличане и увидели ребенка, лежащего на песчаной дорожке в крови, с перерезанным горлом... Не моя задача, как вы понимаете сами, исследовать, зарезался ли царевич сам в припадке эпилепсии, спровоцировали ли народ Нагие,— важно было для него, народа, по-моему, то, что во имя каких-то непонятных ему дворцовых интриг «обидели дитё», да не просто обидели, а убили. Но ведь это извечная боль, это непреложный закон для русского человека, сформулированный впоследствии Федором Достоевским: «Нельзя, чтобы плакало дитё!» А тут — обидели, убили маленького, беззащитного. И вот угличане, прибежав по зову колокола, совершили самосуд над убийцами ребенка. Они растерзали убийц.

В тот день, с убийства ни в чем не виновного ребенка, с набата, возвестившего об этом, началось Смутное время.

«О граде ты, граде, богоспасаемый граде Угличе! Горькую чашу испил ты за русскую землю...» — сказано в летописи.

В этой чаше едва ли не наибольшую долю горечи составляет история, начавшаяся в Угличе после самосуда над Битяговским. Борис Годунов жестоко расправился с угличанами. Двести человек были казнены как изменники и убийцы. Множеству других за смелые речи отрезали языки, шестьдесят семейств были осуждены на ссылку в Сибирь, в Пелымь.

Не остался безнаказанным и колокол, возвестивший о пролитой крови ребенка и начале великой народной трагедии: колокол был сброшен с колокольни, лишен крестного знамения, ему отрубили одно ухо, вырвали язык, и на площади публично, при народе, было нанесено ему сто двадцать ударов плетью. Затем корноухий колокол (так отныне стали звать его) был приговорен к ссылке, туда же, куда отправлялись шестьдесят угличских семейств, в Сибирь. Ссылные угличане должны были тянуть его на себе до места ссылки.



И они шли в Сибирь и тянули на себе колокол на особом станке, вроде салазок.

Они шли целый год — летом и зимой, весной и осенью; они, меняясь в упряжке, тянули очень тяжелый колокол по болотам, по трактам и бездорожью, по лесам и горам. Не раз падал со станка корноухий колокол — края его зазубрились, и весь он потемнел, но трещины не дал. Многие угличане не дошли до Пелыми, умерли в дороге, некоторые — в упряжке под колоколом. Но никто из них на корноухого не роптал: они тянули за собой своего глашатая, они тащили с собой своего певца и поэта. Да, так было, хотя, конечно, никто из угличан не осознавал этого, и еще целых двести пятьдесят лет должно было пройти, чтобы Лермонтов сказал о поэте:

Звучал, как колокол на башне вечевой,  
Во дни торжеств и бед народных.

...Наконец с первой партией ссыльных мятежный колокол прибыл в ~~Тобольск~~ Тобольск. Тогдашний тобольский воевода, князь Лобанов-Ростовский, велел сдать его в приказную избу, где он и был записан так: «Первоссыльный неодушевленный с Углича».

И целых триста лет пробыл корноухий колокол в ссылке. Не раз русские образованные люди, любящие родную историю, просили правительство возвратить колокол на родину — в Углич. Цари — один за другим — упорно отказывали в этом, свыше столетия отказывали. И только в 1892 году, когда юридически удалось доказать, что «первоссыльный неодушевленный» полностью отбыл срок наказания, было разрешено возвратить колокол в Углич.

...Колокол возвращался торжественно, по Волге он плыл на особом, лишь для него предназначенном пароходе, еще в дороге были возвращены ему ухо и язык, и встречали его торжественно — главное духовенство, народ, интеллигенция. А в Угличе, куда колокол прибыл поздно вечером, невдалеке от терема было сооружено для него нечто вроде невысокой звонницы, куда его и подвесили на ночь, и всю ночь стоял вокруг колокола-бунтаря почетный гвардейский караул. Утром же при огромном стечении народа был торжественный молебен, а затем вместо крестного хода все угличане прошли под колоколом, и каждый из них дергал ве-

ревку, привязанную к его языку, и язык колокола бил без перерыва в его щербатые края, и колокол гудел и пел, как тогда, триста один год назад, только много часов подряд...

Однако на колокольню корноухий поднят не был: даже духовенство понимало, что возвращена и торжественно принята не религиозная реликвия, а бунтарская, народная. Духовенство и правительство вынуждены были вернуть колокол на родину и почетно встретить его, но к богослужениям этот колокол призывать народ не мог, ему не доверяли этого! Поэтому колокол повесили в музее-палате Димитрия, но тоже таким образом, что можно было пройти под ним. И вот я помню, как тогда, когда мы жили с мамой в Угличе и я еще верила в бога, мы каждый год пятнадцатого мая — в день царевича Димитрия — шли к обедне в церковь Димитрия на крови, а потом, как и все угличане, проходили через музей, под колоколом, и ударяли в него, и над самой головой раздавался его густой, стонущий, угрожающий, какой-то темный звук, идущий откуда-то издалека, из бездонного прошлого, и в то же время как будто из твоей груди. И если валдайская дуга отзывалась и звенела в сердце снежно искрящейся неистойвой печалью и радостью, то гул колокола исходил из души как некий сумрачный восторг, почти гибельный, но желанный.

...Приехав в город детства, я не застала там уже валдайской дуги и не услышала ее серебряного рыдания... И садик вокруг музея был вроде ошипан, да и в самом музее много чего не было. Молодой и, как говорится, «не шибко образованный» заведующий музеем, с круглым равнодушным лицом, равнодушно водил меня по музею, почти ничего не в силах объяснить, и у меня было только одно желание: чтобы он молчал, чтобы не мешал он мне прислушиваться к нахлынувшим звукам, запахам, воспоминаниям милого и сурового нашего детства. И когда мы вошли в палату Димитрия и я увидела колокол на том же самом месте, я и его гудение услышала в себе... Но мне захотелось проверить себя: так ли я слышу его после стольких лет такой моей жизни, после Великой Отечественной войны, после ленинградской блокады? Я знала, что обычай проходить под колоколом давно не существует и, вероятно, просто забыт... И вдруг не-

одолимое, странное желание охватило меня. Мы были одни в палате с заведующим музеем.

— Можно, я ударю в этот колокол? — спросила я его.

Он взглянул на меня, как на помешавшуюся, — он ведь не знал старинного обычая, да навряд ли знал и историю колокола.

— Пожалуйста, — испуганно сказал он.

И я стала под колокол и с силой дернула за веревку. И он запел и загудел над моей головой, как тогда, но звук этот для меня все-таки был полон теперь новой силы и нового значения: это был голос, предупреждающий всех, кто вновь вздумал бы обидеть дитё войной, голодом, сиротством, что возмездие на страже, что колокол-поэт первым призовет к нему.

Прикоснувшись к щербатым, густо и прозно поющим краям колокола, я сказала про себя не так, как в детстве, но властно и продуманно: «Это мое!»

Так шла я из-за Невской заставы в начале сухого, золотого октября сорок первого года, безмерно бесстрашная и радостная, опьяненная сознанием своего бессмертия и бессмертия всего, что меня окружает и окружало раньше, и даже того, что было еще до моей памяти. Но ни я, никто, никто из нас не знал, что по тем же самым иступленным, вершинным, озаренным дорогам мы, ленинградцы, будем ходить по-другому, и очень скоро...

## ПУТЬ К ОТЦУ

И вот всего через четыре месяца я пошла той же дорогой, но только обратной: я шла из города за Невскую заставу. Я шла к отцу в первых числах февраля тысяча девятьсот сорок второго года.

Шла к отцу и слез не отирала:  
трудно было руку приподнять.  
Ледяная корка застывала  
на лице отеком у меня.  
Тяжело идти среди сугробов:  
спотыкаешься, едва бредешь.  
Встретишь гроб — не разминуться с гробом.  
Стиснешь зубы и — перешагнешь.  
Друг мой, друг, и я, как ты, встречала  
сотни их, ползущих по снегам,

Я, как ты, через гробы шагала...  
Память вечная таким шагам.  
Память вечная, немая слава,  
легкий, легкий озаренный путь...  
Тот, кто мог тогда перешагнуть  
через гроб,— на жизнь имеет право...

Эти стихи из тех, что пишутся, вернее записываются, в дневниках, на полях Главной книги. Но я записываю их редко, не знаю почему. Они записываются где-то не на бумаге, сказать — в сердце? Высокопарно... Скажем: они запоминаются. Их время от времени бормочешь про себя, только для себя. Иногда для самых близких людей — внезапно.

Большинство таких — дневниковых — стихов у меня не записано. И это стихотворение, как многие такие, забывалось, потом вспоминалось неожиданно и отчетливо. Что-то прибавлялось в него, что-то непроизвольно отбрасывалось — вот наконец записалось. Как в каждом из таких стихов, здесь все верно, кроме одной строчки: я не плакала в тот день, когда шла к отцу. Я плакала за всю блокаду один раз, когда шла из госпиталя, где умирал Николай...

Отправляясь за Невскую, я снарядилась обстоятельно. Товарищи по радиокомитету, где я давно уже жила на казарменном положении, снабдили меня каждый чем мог. Мне налили в появившуюся откуда-то бутылочку с делениями (в таких бутылочках дают в консультациях детям-искусственникам молоко) жидкого, чуть сладкого чаю, кто-то подарил две папироски, я взяла свой хлебный паек. Это было в то время уже целых двести пятьдесят граммов хлеба. Я решила есть понемножку и ни за что не съесть весь хлеб сразу, хотя думала только о том, что в противогазе моем лежит хлеб — целых двести пятьдесят граммов с довесочками... Да, на боку у меня висел противогаз, тот самый противогаз, который еще в октябре казался нашей Авдотье главным спасением от всех ужасов войны. «Ты, Лялеца, цуть цто — лезь в противогаз», — убеждала она меня... В те же дни казались еще спасением бумажные кресты на стеклах. Как старательно летом 1941 года — неужели это было всего семь месяцев назад? — наклеивали мы эти кресты на окна! Некоторые чудаки перестарались: простое закрепивание окон их не устраивало, и они вырезали из бума-

ги сложные узоры и целые картины. До сих пор на Фонтанке окно одной из квартир было изукрашено тропическими пальмами, а под пальмами восседали условные бумажные обезьяны. Быть может, обитатели этой квартиры хотели как-то отыграться, отшутиться от войны, думали, что это поможет?

Ничто не помогло! Ничто не помешало смерти войти в наши дома: ни бумажные кресты, ни затейливые узоры и картинки на стеклах, ни противогазы, тщательно проверенные, которые по сигналу воздушной тревоги мы немедленно открывали и приводили в положение «на товсь». Нам ни разу не пришлось надеть их, смерть не дохнула нам в лица удушающими газами, она просто вошла в каждого из нас как предельная слабость плоти, как грызущий голод, как постоянный ледяной озноб...

Вместо противогазов люди носили на лицах шерстяные маски и полумаски всех цветов, у кого какая — или вязаная гарусная, или суконная тряпка нашлась. Красные, черные, зеленые, синие маски с узкими щелочками для глаз шли мне навстречу.

А резиновая маска из сумки противогаза давно уже была выброшена. В сумке помещался чаще всего «малый дистрофический набор»: одна-две полулитровые баночки, ложка, пища, если она была у человека.

Когда я вышла в дорогу, в противогазе моем была пустая баночка, бутылка с чаем и хлеб, хлеб — двести пятьдесят граммов хлеба!

Я знала, что идти нужно будет долго. Надо дойти до завода Ленина, потом долго по Шлиссельбургскому. Надо будет даже перейти Неву, подняться на крутой правый берег. От радиокомитета это примерно километров пятнадцать — семнадцать. Я очень истово собиралась в дорогу и вообще исполнена была какой-то странной истовости, удивительного спокойствия. Да нет, пожалуй, даже не спокойствия, а этакое мертвого безразличия, нет, вернее даже — неизведанной тишины, странной кротости. Я не была уверена, что дойду до отца, и решила не загадывать так далеко. Я решила: во время дороги буду ставить себе микрозадачи: вот сейчас я у этого фонарного столба. Надо дойти до следующего. Потом опять до следующего. Потом до Московского вокзала. А там видно будет! Надо пе-

реставлять ноги, не торопясь, никуда не спеша, стараясь идти по тропинке и не оступаясь в снег.

И вот я пошла. Сначала по Невскому, от одного фонарного столба до другого. От одного до другого...

#### «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»

У нас в Ленинграде перед самой войной должна была пойти музыкальная кинокомедия под таким названием, и потому почти к каждому фонарному столбу прикреплена была дозольно крупная фанерная доска, на которой большими цветастыми буквами было написано: «Антон Иванович сердится». Больше ничего не было написано. Кинокомедию мы посмотреть не успели, не успели снять в первые дни войны и эти афиши. Так они и остались — под потухшими фонарями — до конца блокады.

И тот, кто шел по Невскому, сколько бы раз ни поднимал глаза, всегда видел эти афиши, которые, по мере того как разворачивалась война, штурм, блокада и бедствия города, превращались в некое предупреждение, напоминание, громкий упрек: «А ведь Антон Иванович сердится!» И в представлении нашем невольно возник какой-то реальный, живой человек, очень добрый, не все понимающий, ужасно желающий людям счастья и по-доброму, с болью, сердившийся на людей за все те ненужные, нелепые и страшные страдания, которым они себя зачем-то подвергали.

Под фонарные столбы после обстрелов подтаскивали изуродованные трупы горожан. Дистрофики обнимали фонарные столбы, пытаясь устоять на ногах, и медленно опускались к их подножию, чтобы больше не встать... Антон Иванович сердился. Ах, как он сердился, печально сердился на все это! И так совестно иногда становилось перед Антон Ивановичем — человеком. Хотелось сказать за себя и за всех людей земли: «Антон Иванович, дорогой, добрый Антон Иванович, не сердитесь на нас! Мы не очень виноваты. Мы все-таки хорошие. Мы как-нибудь придем в себя. Мы исправим это безобразие. Мы будем жить по-человечески».

Но в тот день я не обратилась к Антону Ивановичу с этой безмольвной тирадой или мольбой. Мне и он был душевно не под силу. Даже перед ним я не могла оправдываться. Да и вообще мне было не до него, и

ни о чем не могла я думать, сосредоточившись на том, чтобы аккуратно переставлять ноги, двигаясь от столба к столбу.

А Антон Иванович сердился и становился все грустнее, все грустнее...

Вот дошла до Московского вокзала. Поглядела на часы: стоят.

Вступила на Старо-Невский. Там снова от столба к столбу. А слева от Московского — до самой Александро-Невской лавры — цепь обледеневших, засыпанных снегом, тоже мертвых — как люди мертвых — троллейбусов. Друг за другом, вереницей, несколько десятков. Стоят. И у Лавры на путях цепь трамваев с выбитыми стеклами, с сугробами на скамейках. Тоже стоят. Наверно, всегда теперь так будут стоять. Невозможно представить, чтобы все это когда-нибудь двинулось, зазвенело, зашелестело по асфальту. Неужели мы в этом когда-то ездили? Странно! Я шла мимо умерших трамваев и троллейбусов в каком-то другом столетии, в другой жизни. Жила ли я на сто лет раньше сегодняшнего дня или на сто лет позже — я не знала. Мне было все равно.

Тропинка вилась посередине улицы. Но здесь она была еще довольно широкой. Я услышала позади себя скрип полозьев. Остановилась и оглянулась: женщина везла на саночках мужчину. Он был привязан к санкам полотенцем, но сидел и был явно еще живой. Я вяло подумала: куда же она его везет? Потому что уже начинались амбары, среди которых лежал когда-то, целых четыре месяца назад, последний, самый ликующий, самый высокогорный отрезок моего пути в «день вершин». Я не вспомнила о нем ни на мгновение. Зато, взглянув на амбары, я подумала: «Это зернохранилища. Хранилища зерна. Да, ведь когда-то во всех этих амбарах было зерно — рожь, и даже между амбарами, под навесами, тоже лежали груды ржаного зерна. Я помню это. Когда я ездила за Невскую, я видела груды ржаного зерна».

При мысли о ржаных зернах рот мой наполнился холодной слюной. Я вспомнила, как растирали мы в руках спелые ржаные колосья летом, когда жили в Заручевье, там, где я узнала о дневных звездах. На мгновение мне точно пахнуло в лицо запахом ржаного поля... Если б вдруг хоть один колосок растереть, всы-

пать в рот и долго перемалывать зерна зубами,— ох, как мы на своих супах истомились по «твердой еде»!

«Сейчас выну хлеб и съем его весь»,— подумала я, и в глазах у меня потемнело. Я остановилась, рывком расстегнула противогаз... и вдруг мне удалось подавить внезапно вспыхнувшее, единственное за всю дорогу живое чувство. Я сказала все тихо, но вслух:

— Нет. У завода Ленина. Сяду. Отопью глоточек чайку. Съем хлебца.

И снова, на миг нарушенная, воцарилась во мне хорошая покорная тихость. Я стала двигаться дальше и до сих пор помню, что всю дорогу была удивительно кроткой, спокойной и как-то очень готовой умереть. Даже не умереть, а раствориться в этом снеге, в этих огромных сугробах, в заиндеветших багрово-кирпичных амбарах, в низком грифельном небе.

Эта кротость, как мы уяснили потом, была действительно началом смерти. Как раз в этом состоянии человек начинал все говорить с употреблением суффикса «чка» и «ца»: «кусочек хлебца», «корочка», «водичка» — и становился безгранично вежливым и тихим.

Правда, были такие, что зверели, но о них как-нибудь потом...

## ПЕРЕКУР

Уже за Невской тропинку мою пересекала поперечная. И так случилось, что в ту минуту, когда я подошла к этому малому перекрестку, столкнулась я с женщиной, замотанной во множество платков, тащившей на санках гроб, собственно говоря, даже не гроб, а что-то вроде комодного ящика. Может быть, это даже и был комодный ящик, заколоченный сверху фанеркой. Она тащила его, всем корпусом наклонясь вперед, почти падая. Я остановилась, чтобы пропустить гроб, а она остановилась, чтобы пропустить меня, выпрямилась и глубоко вздохнула. Я шагнула, а она в это время рванула саночки. Я опять стала. А ей уже не сдвинуть с места санки: наверное, они наскочили на какую-нибудь выбоинку или бугор на тропинке, и стоят они прямо около моих ног. Она ненавидяще по-



смотрела на меня из своих платков и еле слышно крикнула:

— Да ну, шагай!

И я перешагнула через гроб, а так как шаг пришлось сделать очень широкий, то почти упала назад и невольно села на ящик. Она вздохнула и села рядом.

— Из города? — спросила она.

— Да.

— Давно?

— Давно. Часа три, пожалуй.

— Ну что там, мрут?

— Да.

— Бомбит?

— Сейчас нет. Обстреливает.

— И у нас тоже. Мрут и обстреливает.

Я все-таки раскрыла противогаз и вытащила оттуда драгоценность: «гвоздик» — тонюсенькую папироску. Я уже говорила, что у меня их было две: одну я несла папе, а другую решила выкурить по дороге, у завода имени Ленина. Но вот не утерпела и закурила.

Женщина с неистовой жадностью взглянула на меня. В глубоких провалах на ее лице, где находились глаза, вроде что-то сверкнуло.

— Оставишь? — не сказала, а как-то просвистела она и глотнула воздух.

Я кивнула головой. Она не сводила глаз с «гвоздика», пока я курила, и сама протянула руку, увидев, что «гвоздик» выкурен до половины. Ей хватило на две затяжки.

Потом мы встали, обе взяли за веревку ее санок и перетащили гроб через бугорок, на котором он остановился. Она молча кивнула мне. Я — ей. И опять, от столба к столбу, пошла к отцу. Встреча с женщиной, тащившей комодный ящик-гроб, и перекур с нею ничего не шевельнули во мне тогда. Я только подумала: «Теперь не присяду до завода Ленина. А у завода съем кусочек хлеба».

## СТУПЕНЬКИ ВО ЛЬДУ

...Я мерно, бездумно шла вперед и по дороге встречала еще и еще гробы, и мертвецов, которых везли на санках зашитыми в простыни или пикейные одеяла, и

мертвецов, лежавших в снегу ногами к тропинке. Почти все они были разуты — ну что ж, правильно, обувь их нужна была тем, кто еще жил и шагал по тропинкам мертвого, цепенеющего и несдающегося города.

У завода Ленина, откуда когда-то очень-очень давно — в детстве и юности — начинался «город», потому что до завода ходила конка, а от завода трамвай, — у завода Ленина, бывшего Семянниковского, я присела на бетонную скамеечку, огибавшую бетонную диспетчерскую будку (выстроенную, конечно, в стиле Корбюзье), аккуратно съела «кусочек хлебца» и пошла дальше по Шлиссельбургскому. Наша школа не вызвала никаких воспоминаний. Я не посмотрела и вправо — на Палевский, где пять месяцев назад под воем и громом снарядов неспешно, торжественно умирала моя бабушка, благословляя все четыре стороны света и моля о спасении Москвы, не взглянула на перекресток, где среди библейских серебряных облаков мы стояли с отцом и спеша говорили о Николае, о его работе. «Лермонтов и Маяковский», о поэзии, о будущем...

И ведь это я теперь пишу, теперь вспоминаю этот ледовый путь, а тогда я вовсе и не отметила, что вот — не взглянула в сторону отчего дома, не подумала о его последних обитателях... Повторяю, у меня тогда почти не было чувств, не было человеческих реакций. Вернее, были одни суженные, первичные реакции.

Я только замерла, когда дошла до Невы, до перехода к папиной фабрике, потому что уже смеркалось и первые, нежнейшие, чуть сиреневые сумерки спускались на землю. Сиренево-розовой, дымчатой была засугробленная Нева и казалась необозримой, свирепой снежной пустыней. Отсюда до отца было дальше всего, хотя я видела через Неву фабрику и знала, что влево от главных корпусов стоит старенькая бревенчатая амбулатория.

В противогазе у меня остался совсем маленький кусочек хлеба, граммов сто, и я подумала, что, наверное, у отца найдется же кружка кипятка и мы поделим этот кусочек и съедим его. Как только я приду — сразу и съедим. Эта мысль придавала мне силы, и я пошла через Неву.

«Теперь скоро, теперь скоро, но, боже мой, как далеко!»

Очень узенькая тропинка через Неву была твердой, утоптанной, но какими-то неверными, чересчур легкими шагами: она была ребристой, спотыкающейся. Правый берег высился неприступной ледяной горой, теряясь вверху в сизо-розовых сумерках. У подножия горы закутанные в платки, не похожие на людей женщины брали воду из проруби.

«Мне не взобраться на гору»,— вяло подумала я, чувствуя, что весь мой страшный путь был напрасен.

Я все же подошла к горе вплотную и вдруг увидела, что вверх идут еле высеченные во льду ступеньки.

Женщина, немисливо похожая на ту, что тащила гроб, в таких же платках, с таким же коричневым пергаментным лицом подошла ко мне. В правой руке она держала бидон с водой литра на два, не больше, но и то клонилась направо.

— Поползем, подруга?— спросила она.

— Поползем...

И мы на четвереньках, рядышком, тесно прижавшись друг к другу, поддерживая друг друга плечами, поползли вверх, цепляясь руками за верхние вырубки во льду, с трудом подтягивая ноги, со ступеньки на ступеньку, останавливаясь через каждые два-три шага.

— Доктор ступеньки вырубил,— задыхаясь, сказала на четвертой остановке женщина.— Дай ему бог... все легче... за водичкой ходить...

Но я не подумала, что это она говорит о моем папе. Ей было труднее, чем мне, потому что я цеплялась за верхние ступени двумя руками, а она одной, другой рукой она переставляла со ступеньки на ступеньку бидон с водой. Вторую половину пути мы переставляли бидон по очереди, то я, то она, и так доползли до верха и дошли до ворот фабрики.

Фабричный двор, и бревенчатая амбулатория, и палисадник около нее из резных балясинок, где уже много лет каждый год хлопотал над розами папа,— я совершенно ничего, решительно ничего не узнала и долго стояла перед крылечком амбулатории, туго соображая: куда же это я пришла? Может, я зашла на соседнюю фабрику Варгунина или вообще... совсем не туда? Что это за странная деревянная избушка, полуразобраный заборчик из балясинок? Я никогда в жизни их не видала... А я тут бывала с детства и почти в такой же, только ярко-розовый день, исступленно мо-

розный, искрящийся, пришла сюда много лет назад, чтобы взглянуть на первое свое напечатанное стихотворение в стенной газете папиной фабрики, посвященное смерти Ленина.

Я не вспомнила об этом тогда.

Приглядевшись, я все же убедилась, что это папина больница, и равнодушно отметила, что вот и все неживое — то есть здания, заборчик, сугробы — тоже может умирать. Да, все это было мертвое, вернее, как бы перенесенное на «тот свет», где все, конечно, иное: то же самое, но без души. В безмолвии и безлюдии заиндевевшего леса, даже в снежной пустой степи есть жизнь и есть душа, а тут ее не было. Все было и, казалось, ничто не жило.

#### СЕКРЕТ ЗЕМЛИ

В маленькой передней амбулатории, еле-еле освещаемой из соседней комнаты, на деревянной скамейке с высокой спинкой, на скамейке, похожей на вокзальную, лежала женщина. Она была в ватнике, старательно укутана платком и лежала на боку, подложив сложенные ладони под правую щеку. Так спят на вокзалах транзитники в ожидании поезда дальнего следования. Но она не спала. Она была мертвая. Я увидела это сразу, как вошла.

«Наверно, их у папы много», — подумала я, шагнула в соседнюю комнату, и там, за деревянной загородочкой из пузатых столбиков, за столом сидел мой папа.

Низенькая толстая свеча башенкой («ишь, какие у него свечи!..») снизу освещала его лицо. Он очень отекал, даже при свече видно было, что лицо его приняло зеленовато-голубой оттенок... Но волосы на висках и на затылке, легкие полуседые волосы блондина, еще топорщились и курчавились, и глаза его, большие, выпуклые, голубые, в мерцании свечи казались особенно большими и голубыми.

Я молча стояла перед загородочкой, перед папой. Он поднял отекавшее свое лицо, взглянул на меня снизу вверх очень пристально и вежливо спросил:

— Вам кого, гражданка?

И я почему-то ответила деревянным голосом, слышимым самой себе:

— Мне нужно доктора Берггольца.

— Я вас слушаю. Что вас беспокоит?

Я смотрела на него и молчала. Не рыдание, не страх, нечто неведомое,— что-то, что я не могу определить даже теперь,— охватило меня, но тоже что-то мертвое, бесчувственное. Он участливо повторил:

— На что жалуетесь?

— Папа,— выговорила я,— да ведь это я — Ляля!..

Он молчал, как мне показалось, очень долго, а вероятно, всего несколько секунд. Он понял, почему я пришла к нему. Он знал, что Николай был в госпитале. И папа молча вышел из-за барьерчика, встал против меня и, низко склонив голову, молча поцеловал мне руку. Потом, рывком подняв лицо, твердым и как бы слегка отстраняющим взглядом взглянул мне в глаза и негромко сказал:

— Ну, пойдем, девчонка, кипяточком попою. Может, поесть что-нибудь соорудим!..— И добавил, чуть усмехнувшись: — «Щи-то ведь посленные...»

Я поняла его цитату и услышала всю горечь, с которой он сказал ее. Он очень любил Николая. Но ни о нем, ни о смерти его мы не говорили больше ни слова.

Мы вошли в маленькую, слабо освещенную каганцом кухню амбулатории. Свечку папа принес с собой и тут же потушил ее. Это была государственная драгоценность, ею папа пользовался только на приемах.

Две женщины в халатах поверх ватников — одна низенькая и черноглазая, другая очень высокая, с резко подчеркнутыми истощением чертами лица — всплеснули руками, увидя меня.

— Лялечка,— почти пропела низенькая, черноглазая, — как... как вы выросли!..

— Это Матреша,— сказал папа,— не узнаешь? Матреша, лучшая санитарка. А это — Александра Ивановна... Тоже не узнала?

— Папа, да ведь я у тебя последний раз лет пять назад была...

— Возможно,— бросил он и тихонько захлопал в ладоши.— А ну-ка, бабоньки, чем богаты? Кипяточку нам с дочкой!

Матреша стала хлопотать у маленькой плиты, что-то жарить на сковородке. Отвратительная вонь распространилась по крохотной кухоньке. Я догадалась,

что это какой-нибудь технический жир. Пахло омерзительно, но — о, как здесь было тепло!..

Я сняла платок, пальто, вязаную шапку, косынку, надетую под шапку. Я осталась в одном лыжном костюме с непокрытой головой.

— Как у тебя тепло, папа!

Матреша подхватила:

— Тепло! Палисадничек понемножку разбираем. Доктор горюет, да ведь что ж, надо греться-то, правда?

— Правда.

— Лялечка! — воскликнула она. — Может, помыть-ся хотите? Можно даже до пояса. И ноги можно помыть... Я за водой схожу.

Но я вспомнила о ледяной, почти отвесной лестнице, по которой только что карабкалась, и замахала руками.

— Нет, нет, нет, я не грязная, мы там, в радиокomiteе, следим за собой. Вшей в нашей комнате нет. Воду из подвала берем, из бывшей котельной, какая-то странная щелочная вода из лопнувшей трубы по утрам брызжет, но тепленькая бывает. Нет, мы следим за собой. Мы обязали женщин даже губы чуть-чуть подкрашивать. И в зеркало смотреться, чтобы никакой копоти в ноздрях, в углах глаз, в ушах не было. Ведь если хозяйка не смотрится в зеркало — значит, зеркала занавешены, значит, в доме смерть. Вот мы и обязали наших женщин смотреться в зеркало, следить за собой.

На меня напала какая-то болезненная болтливость. Я очень долго молчала последние дни, а тут от тепла, исходящего от печурки, от людей, окружавших меня, я опьянела. Меня вдруг стало клонить в сон, покачивать, в то же время хотелось говорить, говорить о чем угодно.

Я вытащила остаток своего пайка и «гвоздик»-папирску. Отец захлебнулся от счастья.

— Вот это да! — сказал он, благоговейно беря «гвоздик» своими большими, умными руками хирурга. — Богато живете, мужики!

Нечто вонючее и странное на сковородке было подано на стол. Мой ломтик хлеба мы по-аптекаарски аккуратно поделили на всех четверых, разлили по кружкам кипятка — тоже всем ровнехонько-ровнехонько, сели у столика, и было так тесно, что мы невольно при-

жимались друг к другу, как в битком набитом вагоне... Маленькое пламечко каганца металось из стороны в сторону, тени наши, уродливые и страшные, качались на стенах комнатки, и от этого еще больше казалось, что все мы куда-то едем — далеко-далеко, на поезде дальнего следования. А та, в передней, просто ждет своего...

Скрипнула дверь, и в щель просунулось чье-то коричнево-пергаментное лицо, непонятно — мужчины или женщины, чем-то закутанное и обмотанное, в огромной ушанке, напяленной поверх женского платка.

Ярко светящиеся темно-желтые глаза глянули из-под ушанки.

— Доктор, мы вот...

— Не студить комнату! — крикнул отец. — Залезай весь!

В дверь протиснулся человек (это все-таки был мужчина), он протянул отцу на ладони что-то в бумажке.

Папа раздул ноздри и зашевелил бровями.

— Ну, ну, не валяйте дурака! Опять?..

— Доктор, — протянул дрожащим голосом человек, — не обижайте!

Сердито фыркнув, отец взял маленький сверточек.

— Ну ладно, спасибо, но чтоб в последний раз!.. Как там у вас, все в форме?

— Пока все, — прохрипел человек. — Сегодня, слава тебе господи, тихо, вчера зажигалками замучил...

— Я к вам через часок загляну, — сказал отец. — Ступай! Да не рыпайся, иди тихо. Если что, сразу ко мне!

Пятясь задом, человек чуть-чуть приоткрыл дверь и протиснулся в эту щель, без улыбки, но приветливо кивая нам.

— Пожарная охрана, — сказал папа и, высоко подняв указательный палец, строго взглянул на меня, точно ждал возражения. — Герои! Львы! Люди! Еле дышат, а большого пожара ни разу не допустили. Любят наш объект, комбинат имени Тельмана.

— Чего он принес тебе? Съедобное?

— Деликатес! Около завода «Вена» — пивоваренный, помнишь? — у нас теперь раскопки вовсю идут, барду раскапываем многолетней давности. Раскапывают это все с трудом египетским, разогревают, лепеш-

ки пекут. Стоматит чудовищный от этого «деликатеса». Столько народу со стоматитом в день на прием приходит! Ну а как уговорить, чтоб не жрали этого? Матреша, разогрей-ка нам лепешечку!..

Лепешка оказалась мне очень вкусной.

— А у нас на Кузнечном бадаевскую землю продают,— сказала я.— Когда бадаевские склады горели, оказывается, масса сахару расплавленного в землю ушло. Первый метр — сто рублей стакан, второй — пятьдесят. Разводят водой, процеживают и пьют...

Когда мы поели, Александра Ивановна куда-то ушла, а Матреша опять предложила мне помыться и я опять отказалась, вспомнив Неву и лестницу, а вспомнив ее, не по необходимости, а движимая чем-то умственным и полубабытым, сказала:

— Отец, ты совсем не бережешь себя...

— То есть? — спросил он удивленно.

— Ну вот... ступеньки во льду вырубаешь...

Он взглянул на меня почти с состраданием.

— Дура ты, дочь моя и знаменитая поэтесса города Ленина,— беззлобно сказал он.— Ибо произносишь все это всуе без веры...

Мы помолчали, и, словно продолжая необрывавшийся разговор, он негромко, задумчиво стал говорить:

— ...А у нас за Невской, мне рассказывали, на одном заводе, кажется Александровском, в литейной старик один был — формовщик. Ну, из тех старых колдунов, которые грамоты не знали, а дело свое знали так, что и заграничные инженеры руками разводили. На Обуховском, например, был в свое время такой литейщик... Отольют, скажем, ствол для пушки — ну, надо его дальше обрабатывать: сверлить там и все такое,— я не понимаю. В общем, массу труда человеческого класть. А вдруг отливка-то бракованная, с этими, как их — ну да — раковинами? Тогда этого деда и зовут: «Дед, послушай, есть в стволе раковины или нет?» Он молоточком постучит, ухо к металлу приложит и говорит: «Раковин нет, можно обрабатывать». Или наоборот. И что ты думаешь — хоть бы раз ошибся! Пробовали ему не верить, разными тогдашними научными методами проверять, а выходило все, как дед говорил. Ну вот и формовщик у нас такой же был. Знал он особый секрет земли. Особый состав ее, та-



кой, чтобы отливка никогда не имела брака, по вине формовщиков, конечно. И никогда, ни разу у него браку не было. Его спрашивают: «Дед, почему у тебя браку не бывает?» А он только посмеивается: «Петушиное слово знаю». И молчит. Ну, в ноябре прошлого года завод, разумеется, встал. Народ разбрелся, только охрана — как вот у нас. А старик чувствует, что помирает: эвакуироваться в свое время отказался. Он тогда своей старухе и говорит: «Сквалыжник я, говорит, и скряга, и грешник великий, говорит, хоть в бога и не верю. До сих пор свой секрет земли никому не передал. А теперь — некому. Кроме тебя. Да ты женщина, притом немолодая, к литейному делу никакого отношения не имеешь. Ну, делать нечего — край. Я не помру, пока ты мой секрет не усвоишь. Пойдем». Та: «Куда?» — «На завод, в литейную». Повела она его под ручку в литейную, довела — и стал он ее обучать своему секрету земли. Составу, пропорциям... Представляешь — двое голодных, полуумирающих стариков одни в холоднящей литейной... Но ведь каждый божий день, оба истощенные, тащились они в литейную — и трудились, копались в холодной земле. Да еще старик старуху заставлял съесть половину его вечернего супа, говорил: «Я так и так помру, а ты должна выжить, чтоб потом, когда завод заработает, секрет земли всем формовщикам открыть». И ведь выучил ее! И когда она при нем несколько раз состав этот, с его секретом, воспроизвела, лег старик и говорит: «Слава тебе, господи, с чистой совестью на тот свет ухожу». И на другой день помер. Вечная ему память — имя его я обязательно узнаю. А старуха, говорят, жива, даже, говорят, эвакуировали ее, заботятся: ну как же, такой секрет — это ж важно...

Он помолчал и сказал еще задумчивей, точно говорил только с самим собою:

— А может, к тому времени, когда завод заработает, и не нужен будет стариковский секрет. Изобретут нечто более точное, научное. Неважно. Не в этом дело... — Он помолчал, пожал плечами. — А может, и не изобретут. Выше любви человеческой — разной... к родной земле, к человеку, к женщине или женщины к мужчине, — выше этого ничего, Лялька, изобрести нельзя... Нет, не изобретут... «Ибо тайна сия велика есть»: секрет земли...

И ему, наверное, хотелось поговорить, пофилософствовать даже, с близким человеком, и он много говорил в тот вечер, а мы ведь тогда совсем мало говорили — инстинктивно берегли силы.

Папа рассказывал, как организует стационар на своей фабрике:

— Вот хожу по Невской заставе с нашими фабричными властями и привожу в стационар кадровых наших ткачей и ткачих. Я ведь их всех знаю — слава богу, двадцать лет на фабрике... Эти у меня не умрут! Ну, черт же поberi, ведь когда-нибудь фабрика-то заработает! И сукно нужно будет людям, одежонка-то за войну пообтреплется, а?

— Наверное,— сказала я.

Мне было почему-то противно думать о сукне, даже затошнило, когда я его себе представила — серое, жесткое, и почему-то его надо еще разжевать...

Я совершенно опьянела от вонючей еды, от кипятка, от тепла, меня клонило куда-то в сторону, я стала не то засыпать, не то умирать. Черноглазая Матреша первая заметила мое состояние.

— Доктор,— сказала она,— а дочке-то спать пора.

И уже тоном приказа добавила:

— Снимайте валенки, я вам ноги вымыть помогу. Я все ж таки тут снежку натаяла, согрела.

— Мне не снять валенки, Матреша.

— Ну-ка, выпей,— сказал отец и дал чего-то горького.

А Матреша ловко, хотя и с трудом, стянула валенки с распухших моих ног и погрузила их в ведро с теплой водой. О, какое это было блаженство, ясное, младенческое блаженство! Теплая вода и чьи-то ласковые, родные и властные руки, расторопно скольльзящие по ноющим ступням,— то санитарка Матреша, стоя на коленях, мыла и растирала мне ноги, и мне почему-то не было стыдно, что мне, взрослому человеку, моют ноги, а она поглядывала на меня снизу вверх милыми своими круглыми глазами и приговаривала чуть нараспев, точно рассказывала сказку про кого-то другого, и я, сквозь сон, слушала ее:

— ...А шла-то издалёка, из города, да ведь все по снегу да по льду... Умница, к папочке шла, правильно надумала... А ведь как на папочку похожа, до чего ж похожа, портрет вылитый...

Я вздрогнула, как вздрагивают, просыпаясь, и взглянула прямо в глаза Матрешки: санитарка смотрела на меня с такой любовью, что мне стало ясно: эта женщина тоже любит моего отца...

## КНЯЖНА ВАРВАРА

— Ну а теперь я тебя уложу,— сказал папа и повел меня по своей маленькой бревенчатой амбулатории в какую-то комнатку. Я легла на койку, а он сел рядом на низенькую табуретку и даже зажег ту свечку, башенкой,— с ней было светлее, чем с каганцом, и казалось теплее.

— Отец, чего ты казенный свет палишь? — пробормотала я, кивнув на свечу.

— Ничего, я на минутку. Ты сейчас уснешь, а я зайду к своим пожарникам и к дистрофикам в стационар... Хочу все-таки образцово-показательно наш стационар поставить... Как думаешь, девчонка, поставлю?

— Конечно. У тебя персонал хороший.

— Ах, хороший! — самозабвенно, упоенно почти пропел отец и, смутясь, добавил: — Не воруют!

Он так любил людей — и не человечество вообще, что легче всего, а именно людей, обычных, грешных, — что стеснялся говорить о своей любви к ним, как о чем-то самом интимном. Поэтому он иногда — от ревнивейшей любви — людей обругивал, сердился на них, как Антон Иванович, или говорил о них нарочно грубовато, как сейчас. Он не понимал, что виден людям насквозь со своим страстным и чистым сердцем мудреца и всегда большого ребенка... Он считал себя... циником!

— Нет, верно, хорошие бабенки,— поправился он.— Люди! Ведь Матрешка-то каждого так моет, кого приводим, как тебя сейчас... Нет, работать с ними можно... но... но... эх, девчонка! Княжну Варвару мне бы сюда!

...Уже говорила я, что запомнила себя очень рано, еще до первой империалистической войны. Помню я и день, когда папа — невероятно красивый в мундире с блестящими пуговицами, с огромной шашкой на боку, с пышной своей золотой шевелюрой — уезжал на войну, помню, как бурно шумели в этот солнечный и

ветренный день под окнами наши клены и тополя, как кричала бабушка Ольга, и плакали тетки, и голосила Дуня, и молча стояла рядом с папой бледная и тоже очень красивая мама. А может, я и не помню этого, а вообразила все уже потом? Нет, помню, помню, потому что, когда рисуется передо мной картина прощания с красивым и в новой красоте своей почти незнакомым папой, возникает во мне и тогдашнее чувство смутной тревоги, страха, беды, оттого что громко, ликующе лопочет, шумит сочная летняя листва и с ликованием ее сливается надсадный плач женщин. А мама молчит, а отец так прекрасен...

...Он стал работать на войне хирургом во фронтовом санитарном поезде, и в тот же санитарный поезд, тоже в первые дни войны, поступила сестрой милосердия княжна Варвара Николаевна Б-ва. Она носила такую же косынку с красным крестиком, как наша тетя Варя, но, как рассказала нам потом мама, происходила из очень знатного и древнего рода, была настоящей русской княжной. А тут надо сказать, что в детстве для меня и Муськи среди множества сказочных героев не было никого прекрасней и любимей русской княжны. Мы, конечно, еще очень любили Лисичку-сестричку и Серого волка, но это — из зверей, а из людей милее всех была нам Снегурочка и прекрасней, главнее всех — русская княжна, она же царевна Лебедь. Ну разве можно было сравнить с нею какую-нибудь гриммовскую или андерсеновскую принцессу — даже маленькую грустную Русалочку? Нет, лучше всех была наша русская царевна Лебедь.

Месяц под косою блесит,  
А во лбу звезда горит;  
А сама-то величава,  
Выступает, будто пава...

Вот такой и представлялась нам княжна Варвара. Мы никогда не видели ее в жизни, не видели даже ее фотографий, мы знали о ней из беглых рассказов матери, из случайно услышанных разговоров о княжне между родными и знакомыми.

Княжна Варвара все время работала вместе с отцом на фронтах империалистической, а после Октябрьского переворота, когда отец тотчас же подался в Красную Армию, княжна Варвара пошла вместе с ним и всю гражданскую войну работала старшей хирур-

гической сестрой в санитарном поезде «Красные орлы», начальником которого был мой отец. Санпоезд «Красные орлы» воевал на юге против Врангеля, Каледина и других беляков, дважды поезд чудом вырвался из белогвардейского окружения, многократно был под огнем, принимал короткие, но ожесточенные бои, вел перестрелки — княжна Варвара ни на минуту не отходила от отца, ни разу ничего не испугалась, ни разу не воспользовалась отпуском.

Четырежды смертной хваткой хватал нашего папу тиф — сыпной, брюшной, возвратный, паратиф, — четыре раза княжна Варвара вытаскивала его из смерти.

Мы жили в те годы в древнем городке Угличе и узнавали об этом от мамы: четыре раза долго-долго не было никаких вестей от отца, а потом вдруг приходило совсем коротенькое письмецо, и мама горько и долго плакала над ним, а потом вела нас в церковь Дмитрия на крови, ставила на колени перед страшными темными иконами и чужим, жестяным, не маминым голосом говорила:

— Дети, помолитесь за княжну Варвару. Она опять спасла жизнь вашему отцу.

Давным-давно, целых три года, не было уже в России ни царей, ни князей, ни столбовых дворян, все были просто люди, граждане и товарищи, а цари, князья и царевны остались только в сказках, но мама все еще говорила о красной сестре Варваре Николаевне — «княжна Варвара».

Быть может, именуя так женщину, которая волей судьбы заняла ее место в жизни и сердце любимого ею человека, она находила какое-то, пусть крохотное утешение своей ревности — утешение тщеславием? Все-таки не кто-нибудь, а родовитая княжна спасла жизнь ее мужа, отца ее детей.

Потом отец приехал в Углич и увез нас в Петроград, к бабушке и бабушкам, за Невскую заставу, и началась новая, петроградская жизнь, петроградская школа, и я так и не увидела никогда княжну Варвару, и только глубоко-глубоко в душе, как еле видный лунный серп при восходе солнца, сохранился воображенный в детстве образ.

...И вот отец первый раз в жизни заговорил со мной о княжне Варваре в тот день, когда я, овдовев, пришла к нему из города.

— А где она сейчас, папа? — спросила я.

— Не знаю,— помолчав, ответил он,— я почти не встречался с нею с тех пор, как привез вас из Углича.

И я поняла, что он расстался с ней из-за нас, с тех пор, когда после гражданской войны собрал семью и вернулся в нее, главным образом к нам — ко мне и Муське... Я ничего больше не стала спрашивать у него о княжне Варваре, но облик нестареющей, стройной, пленительной женщины на мгновение мелькнул передо мною в холодных потемках блокадного жилища...

...Я увидела ее через три года после Великой Отечественной войны в больнице, где лежал отец. Тифы гражданской войны, голод и беды блокады все-таки нагнали и доконали его гипертонической болезнью. Он был отличный врач и понимал, что умирает, и как же он тосковал, что расстается с жизнью, со всем, что так любил в ней,— а он любил многое: труд, людей, пространство, зверей, розы... Он не боялся смерти, он просто иногда не мог скрыть тоски своей по уходящей жизни. Он даже сказал мне однажды тем мальчишеским жалобным голосом, которым когда-то жаловался, что его не берут в народное ополчение:

— Лялька, девчонка... Ты теперь знаменитая — напиши ты кому-нибудь, пусть мне настоящего женьшеня пришлют, а? Скажи — просит мой папа, старый доктор.

— Хорошо, папа,— покорно отвечала я,— я напишу Самуилу Яковлевичу Маршаку. Он постарается...

— Я знаю! Я знаю, что он постарается...

Надо сказать, что в самом начале тридцатых годов — в 1931 и 1932, когда Самуил Яковлевич Маршак редактировал первые мои детские книжки, папа как-то прибежал ко мне страшно оживленный. Каким молодым он еще был тогда! Как часто упоенно хохотал — именно хохотал, а не смеялся!

— Лялька! — закричал он чуть ли не с порога.— Я в газетине вашей читал, что Маршак твой в Германию едет.

— Да. А почему ты так взволнован этим?

— То есть как — почему? Вот рецептики. Один — на меркузал, другой — на люминал. Понимаешь, там

у немцев фармакопея знаменитая — байеровская, у нас еще таких лекарствий делать не научились. Понятно?

— Пока нет.

— Ах, господи! Все-то вам разжуй и в рот положи. Ну, у меня одна ткачиха, хорошая такая баба, отекает страшнейшим образом — меркузал ей нужен. А одному ткачу — хороший такой мужик, старательный — люминал. У него какие-то припадки, типа эпилептических, хочу попробовать люминалом его полечить. Ну, так вот, пусть Маршак из Германии привезет мне меркузалу и люминалу. Только непременно байеровского.

— Папа, да ты... да ты пойми — это неприлично, неудобно. Ему же за все это валюту выкладывать придется. Неудобно мне!

— Очень даже удобно. Скажи — просит мой папа, старый доктор. Маршак умный, он все понимает, он пишет отлично: «Крокодил, крокодил, крокодилище!»

— Да это не Маршак, а Чуковский.

— Верно. Спутал. Но у Маршака не хуже. Про вас, всех писателей:

Разевает щука рот,  
А не слышно, что поет...

— Это Самуил Яковлевич вовсе не про нас писал! Ты просто демагог.

— Про вас! Я читатель, мне виднее... В общем, я знаю, что он человек хороший. Ребята его стихи любят... На рецептики. И попроси Самуила Яковлевича. Скажи — мой папа, старый доктор, просит. Для своих ткачей.

И я, пропадая от стыда, все-таки просила Самуила Яковлевича, а он так просто и охотно брал папины рецептики, что стыд мой исчезал, и он два или три раза привозил то, что просил отец... Наверно, до сих пор не знает Самуил Яковлевич, сколько папиных ткачей и ткачих помог он папе поставить на ноги, спасти от смерти...

— Я напишу, папа, обязательно, — повторила я, и не написала, потому что знала уже от врачей, что дни его сочтены, что осталась неделя, много — две. Я знала — необходимо дать телеграмму Муське и матери,

чтоб они приехали, но я боялась, что папа поймет, почему мы все вокруг него собрались, и просто не знала, что делать.

В один из таких вечеров, когда он особенно тосковал и дышал уже трудно, мне сказали, что меня просят выйти в вестибюль — там ко мне кто-то пришел.

Я вышла. С диванчика поднялась незнакомая женщина и шагнула ко мне навстречу. Она была высокой, грузной, полуседой, причесанная на прямой пробор, с маленьким старомодным пучком волос на затылке, с широким простонародным лицом, чем-то очень похожа на нашу Дуню, только у Дуни нос был уточкой, а у этой — чуть-чуть дулькой, и глаза были другие — мягко-серые, пушистые, смотревшие умно и печально.

— Здравствуйте, Лялечка...— сказала она, протягивая мне руку.

— Здравствуйте,— ответила я, недоумевая, кто же эта старуха.

Она обеими руками сжала мою правую ладонь и держала, не отпуская, пристально вглядываясь в меня, чуть улыбаясь уголками крупного, наверно, когда-то красивого, рта и грустными, умными глазами.

— Как же вы похожи на отца, Лялечка,— негромко сказала она и, спохватившись, добавила:— Впрочем, простите, мы же знакомы только заочно, да и то это было давно... Я — Варвара Николаевна Б-ва.

Я невольно вздрогнула, вскинула голову, и, наверно, на лице моем выразилось удивление, может быть, испуг, потому что, вновь бегло и грустно усмехнувшись, она прибавила:

— Да, это я. Я пришла попросить вас — помочь вам ухаживать за вашим папой. Я узнала, что он в тяжелом состоянии...

Так это была красная сестра — княжна Варвара, царевна Лебедь нашего детства?

Старая, грустная женщина в простеньком ситцевом платье стояла передо мною, ничем, совершенно ничем не напоминая княжну Варвару, представшую душе в древнем Угличе, в годы гражданской войны и бедственного детства, немного даже неуклюжая, оплывшая женщина... И все-таки было в ней что-то от царевны Лебеди! Что — я еще не могла понять и жадно вслушивалась в ее голос, а она говорила:



— Я уже договорилась с врачами, они доверяют мне пост возле вашего папы... Пойдемте к нему, Лялечка... Простите, я не могу называть вас иначе.

— Пойдемте,— почти механически ответила я, и мы пошли.

Отец лежал, тяжело дыша и прикрыв глаза, но я видела — он не спал.

— Папа,— окликнула я его,— к тебе пришли.

Он повернулся, увидел Варвару Николаевну, и лицо его преобразилось, точно осветилось изнутри и помолодело в самозабвенной, счастливой улыбке.

— Варюша,— протянул он с нежностью неизъяснимой,— родная. Ты со мной?

— С вами, докторёныш, дорогой мой,— ответила она, склонясь над ним и целуя его руки, в то время как он прижимал к губам ее ладони,— конечно, с вами, где же мне еще быть?

— Что ж... как в поезде «Красные орлы», товарищ княжна... смотрим вместе в глаза смерти?..

— Как в поезде «Красные орлы», товарищ начальник,— ответила она и вдруг негромко, счастливо, коротко засмеялась,— как в поезде «Красные орлы» — ничего не боимся...

Я вздрогнула, услышав ее голос и смех: это был голос валдайской дуги — голос любви, голос жизни.

...На этот раз княжне Варваре не удалось вытащить отца из смерти. Но с приходом ее он стал просветленно-спокоен, он не метался и не тосковал, как раньше, точно был уверен в своем выздоровлении, он больше ни разу не спросил меня — попросила ли я Маршака прислать ему женьшеня, он не испугался приезда мамы и Муси, и даже шутил с ними; он умер под валдайской дугой, на руках у красной сестры своего боевого санитарного поезда...

## СЛАВА МИРА

А в тот вечер, когда я лежала у папы в амбулатории, он сидел рядом, поглаживая мне то руку, то голову, как иногда делал в раннем моем детстве, когда у нас была корь или ангина.

И оттого, что он вот так поглаживал мне руку и лоб, оттого, что возник у нас разговор о княжне Вар-

варе и сказочный облик ее на мгновение засветился в холодном полумраке блокадного жилища,— в лицо мне дохнуло детство, и я вспомнила о Палевском.

— Папа, а что на Палевском? Как тятя Варя? Дуня?

Он долго молчал, неподвижно глядя на свечку.

— Они умерли от голода. Тетка Варя — по дороге в госпиталь. Авдотья — на своей фабрике, на дежурстве. А дом прошило снарядом.

— Значит... там никто не живет?

— Нет. Никто. Там теперь одни сугробы...

Он вновь замолчал, замолчала и я. И вдруг с отчетливостью и достоверностью галлюцинации услышала, как поет Дуня:

— А как родимая сторо-онушка...

Дуня всегда выводила тонким, «долгим» голосом только эту строку, потом обильные слезы душили ее и не давали петь дальше. И вот умерла тетя Варя — «по дороге в госпиталь», то есть на той самой дороге, которой сегодня пришла сюда я... Умерла Дуня, так и не спев своей заветной песни-плача, не обновив в Гужове своего золотисто-серебряного платя, ее Скобская губерния с дремучими лесами и бесстрашной братухой занята немцами и вся в непроходимом, холодно серебрящемся снегу, и вымерший, полуразрушенный дом наш тоже занесло снегом, снег стелется по всей России, как Дунин серебряный плат,— только снег, снег и снег и такое же нескончаемое, безмолвное горе, как у меня. Медленно-медленно просыпалась в душе боль, а значит, и жизнь, но я тогда еще не понимала этого.

— Папа,— сказала я вслух,— по-моему, я уже не живу...

— Вранье,— сердито возразил отец.— Живешь. Если б не жила — легла бы и сюда не пошла бы.

— Нет, правда. Мне совсем не хочется жить. Верней, все равно...

Он ответил печально и ласково:

— Дуреха! А я, например, очень хочу жить... Знаешь, я даже коллекционером стал.

— Что же ты... коллекционируешь?

Он засмутился.

— Да всякую ерунду... Это, быть может, тоже ка-

кой-то психоз. Все коллекционирую, что могу: открытки, пуговицы, семена роз.

— Пуговицы? Зачем?

Из-за свечи, из сумерек, не знаю, из какого времени, из каких столетий, прошлых или будущих, он взглянул на меня невероятно чистыми голубыми глазами и сокрушенно признался:

— Знаешь, может быть, это некрасиво, особенно у нас, в Ленинграде, но у меня такая жажда жизни появилась! Немыслимая — как первая любовь — жажда! Нет, даже не жажда, а жадность... Вот-вот-вот... И до того хочется все сберечь, сохранить, просто вот... к самому сердцу прижать! Ну все, что на свете есть: и пуговицы, и открытки, и семена роз. Прижать все к сердцу, до последней пуговицы, чтоб не исчезло...

Как доверчиво смотрел он на меня, поверяя всю эту несусветность, эту «великую дичь» нашего времени, как увлеченно, верней заговорщически, добавил:

— Знаешь, мне обещали прислать семена особых роз. Называются они «слава мира». Это такие, знаешь, большущие, медленно распускающиеся розы золотистого цвета с чуть-чуть оранжевым ободком по краям. Они вообще-то на юге растут, да и то не везде, но я их здесь разведу, вот около своей амбулатории. Жалко, конечно, что Матреша за зиму палисадник сожжет, ну ничего, другой соорудим. Весной я эти розы в грунт посажу. Ну, года через два-три они должны расцвести... Приедешь взглянуть, а? Как думаешь — хорошо будет?

— Хорошо, — ответила я, с удивлением прислушиваясь к тому, как рядом с нарастающей болью в сердце возникает еще какое-то чувство.

Быть может, то, что Матреша вымыла мне ноги, как мать или старшая сестра, и то, что пожарник принес лепешку из земли — щедрый дар голодного голодному, и оттого, что папа рассказывал о старом формовщике, а теперь говорил о розах, именуемых «слава мира», о том, как я приеду к нему, — «значит, будут даже ходить трамвай?» — от всего этого и многого еще не осознанного — да, рядом с болью встало в моей душе некое спокойное и стойкое чувство. Оно, пожалуй, было похоже на гордость, но не было ею. Повторяю, теперь-то я понимаю, что все это было возвращением жизни. «Конечно, отец прав, — подумала я, — я жива,

я хожу, я дошла до него... К черту, не прислушиваться к себе, делать все, что можешь! Господи! Да ведь у меня еще две передачи впереди — и на город и на эфир, — надо их сделать как следует... Сейчас посплю, а завтра — крайний срок послезавтра — пойду в Радиокomitee и буду работать. Лучше умереть на ходу и в работе. Но я не умру. Я выживу назло всему, что сделано со мною и с нею... с родимой сторонущкой. Она жива, и она тоже выживет... А сейчас мы с ней будем спать... Она и я. Мы устали. Сейчас ночь. Мы будем спать».

— Папа, кажется, я буду сегодня спать, — сказала я, — потуши наконец государственную свечку...

Он положил мне на лицо большую свою докторскую ладонь, и я поцеловала ее, как в детстве...

— Ну, спи, спи, это лучше всего... А потом ты увидишь у меня в палисаднике розы «слава мира»...

Он встал и, прежде чем затушить свечу, окружил ее желтый огонек ладонями и показал округлым движением, какие розы будут большущие и как будут распускаться.

— Вот так, понимаешь, вот так — огромные, золотые, — говорил он, пошевеливая пальцами, — вот такой величины могут быть! А? Здорово?!

А я смотрела на его руки: освещенные изнутри, просвечивающие по краям розовым, они как бы сами источали почти ослепляющий золотисто-розовый свет;

руки русского доктора, хирурга, спасшие тысячи и тысячи солдатских и иных жизней, вырубившие во льду ступеньки к проруби, сейчас действительно похожие на огромный невиданный цветок;

такие же прекрасные, как руки бабушки моей, чугунные на вид, перевитые темными венами, узлами и мозолями, руки, которыми благословила она в дни штурма города меня и всю страну нашу;

такие же властные и добрые, как руки Матрешки; такие же большие, и умелые, и бесстрашные, как руки старого заставского формовщика;

руки, источающие свет и силу, знающие и передающие друг другу и будущему секрет земли, трудовые руки — высшая, подлинная слава мира.

«Да, я увижу папины розы», — подумала я твердо и просто, как о чем-то обычном и само собой разумеющемся, — так, как говорил об этом отец...

## ПУТЬ ВОЗВРАТА...

С тем же чувством спокойной твердости пошла я на второе утро обратно в город, все по тому же пути, по которому, почти мертвая, шла сюда позавчера и, безмерно счастливая, исступленная, бессмертная, отсюда — четыре месяца назад. Я не думала о позавчерашнем пути и не испытывала ничего похожего на «день вершин».

Я знала теперь, что горе мое бессрочно, что вдовство мое никогда не пройдет, даже если я полюблю другого человека. Но все равно я буду жить. Я была так же слаба, как позавчера, но я знала, что должна идти, должна жить и работать, потому что работа моя нужна людям. Я не испытывала, повторяю, от этого сознания ни гордости собой, ни счастья. И просто шла и делала дело; обдумывала предстоящие свои радиопередачи, вперемежку с ними тихонько бормотала внезапно возникающие строки стихов, которые необходимо было написать ко дню Красной Армии — тоже по заданию Радиокомитета...

Я знала уже, о чем они будут: вот — о сегодняшнем дне Ленинграда, о себе как одной из ленинградок, о том, что было главного с нами за восемь месяцев войны, о том, что мы чувствуем, как воюем сейчас, о том, что, голодные, теряющие самых близких людей, сами умирающие, мы любим жизнь и поэтому обязательно победим.

Мне не терпелось написать об этом, написать всю правду, не щадя ни себя, ни читателя, хотелось, чтоб вышло хорошо, достойно сограждан моих, хотелось скорее отдать им это. Вот этой женщине, везущей на саночках запеленатый в простыню труп, вот этому командиру, попавшемуся навстречу — он идет за Невскую, наверно на фронт, в 51-ю, — и Матреше, и папе, и тем женщинам, с которыми ползла вверх по ледяной горе от проруби...

Теперь, когда я обдумываю все три похода — сперва из-за Невской, потом за Невскую и обратно, — вспоминается одна индийская мудрость, ставшая известной мне уже после нашей победы в изложении Ивана Бунина... Я излагаю ее менее сложно и тонко, чем он, но уверена, что точно передаю сущность.

Так вот, индийская мудрость гласит, что человек должен пройти два пути в жизни: путь выступления и путь возврата. На пути выступления человек находится в тех своих личных границах, куда заключена часть единой жизни; человек живет главным образом только собой, живет корыстью чисто личной, жаждой «захвата», жаждой «братъ» — для себя, для своего племени, для своего народа. На пути же возврата теряются границы его личного и общественного «я», кончается жажда «братъ» и все более и более растет жажда «отдавать» — взято у природы, у людей, у мира. Так сливается сознание и жизнь человека с единой Жизнью, с единым «я» — начинается его подлинное духовное существование.

Повторяю, я приблизительно излагаю изложенное другим, и это положение, эту мудрость на нашу — на мою — жизнь нельзя, конечно, наложить так, чтобы все точки их совпали.

И все-таки мне кажется, что головокружительно-счастливый и страшный путь мой в октябре 1941 года из-за Невской заставы, несмотря на все ощущение слитности с жизнью всеобщей, был все еще в какой-то мере «путем выступления», а вот путь от отца, когда главным желанием было отдать, как можно больше отдать согражданам и своей земле необходимых для ее дела сил и слов, — это, вероятно, было началом моего вступления на «путь возврата».

Нет, не прекратилась и не умерла во мне «жажда братъ», даже от прошлого, но «жажда отдавать взятое» — преобладает.

Отдавать не только то, что ты взял, но отдавать преображенным в слове, прошедшим через душу, ставшим ее сущностью.

Об этом — только другими словами — говорила я в начале моих записей в главке «Дневные звезды» и на этом же обрываю их, как всегда неожиданно для себя... И, дочитав эти записи, некоторые могут спросить: «Да, в самом деле! Ведь ты обещала нам дневные звезды — где же они?»

На что я отвечаю: «Я раскрыла перед вами душу, как створки колодца, со всем его сумраком и светом. Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути — значит, вы увидели дневные звезды, значит, они зажглись во мне, они будут

все разгораться в Главной книге, которая всегда впереди, которую мы с вами пишем непрерывно и неустанно...»

1958—1959

## ДОБРОЕ УТРО, ЛЮДИ

### «НАШ ФРИЦ УМИРАЕТ...»

И я вернулась в город и дошла до Радиокomiteта. Около подъезда артист Иосиф Горин старательно наматывал на руку веревку, к которой были привязаны детские санки.

— На пожар, Ося?

— На пожар.

Три дня тому назад загорелся дом его сестры, где-то на Литейном, и Ося каждый день, как на работу, ходил на пожар, собирался медленно, обстоятельно и не торопясь.

Пожары у нас в Ленинграде в ту зиму были длительные, медленные, и тушить их было нечем — не было воды. Жители просто выносили из дому то, что было в силах вынести.

— Все еще горит?

— Да, третий этаж.

Мы немного помолчали.

— А что нового в Радиокomiteте?

— Да все то же... Вот — наш Фриц умирает...

— Наш Фриц умирает? Не может быть!!

Я только вчера узнала о смерти тети Вари и старой няньки моей, Авдотьи, то есть о смерти части души своей, части жизни и детства, и уже, казалось, ничто не могло бы поразить меня больше. И все же известие, что наш Фриц умирает, поразило меня. Настолько облик Фрица и понятие смерти были несовместимы.

В иностранном отделе Радиокomiteта, который занимался пропагандой на противника и который мы величественно именовали «отделом контрпропаганды», кроме начальника отдела Николая Верховского и помощника его Всеволода Римского-Корсакова, работали два немца, вернее — австрияка, брата Фриц и Эрнст. Эрнст был худенький, с глубоко сидящими гла-

зами, почти миниатюрный, а Фриц был типичный довоенный литературный «фриц»: румяный, белокурый, голубоглазый, плотный и очень добродушный. Нередко по заданию этого отдела я писала короткие воззвания, обращенные к немцам, а Фриц или Эрнст наговаривали их на пластинку, а Сева Римский-Корсаков ездил с этими пластинками на передний край, к Ижорскому или Путиловскому заводу, и там их передавали через радиоузел так, чтобы слышал противник...

Я никогда не забуду один октябрьский вечер, когда уже голод властно входил в Ленинград, а немец штурмовал город и был на ближних подступах к Москве. Мы все впятером слушали передачу из штаб-квартиры Гитлера. Один из наших немцев стенографировал ее.

Сначала мы услышали ревущие фанфары; они даже не проревели — они прорычали какой-то грубый, наглый торжествующий марш. Сытый и в то же время жестяной голос произнес: «Сейчас будет говорить штаб-квартира фюрера». Потом снова пять минут ревели фанфары.

Мы сидели у приемника, сжав кулаки, стиснув зубы. И вот после отвратительного рычания и марша фанфар сытый, самодовольный голос почти лениво произнес, что «под Москвой окружено и уничтожено несметное количество» наших войск, что дни большевистской столицы сочтены, а Ленинград тоже обречен.

И после этого сообщения вновь долго и грубо ревели, рычали, громыхали фанфары, и вдруг сразу, без паузы, страшный этот, дикий марш перешел в беспечный, мурлыкающий фокстрот.

Фокстрот следовал за фокстротом, и томное танго за танго, без остановки, пока в темном нашем городе, отрезанном от всей страны, стучал метроном. Он стучал учащенно, как напряженное сердце, — в городе шла воздушная тревога. А фашистский Берлин, разбойничий притон, веселился! Они отплясывали и ликовали потому, что реки крови пенились в России, горели тысячи русских деревень и на ленинградских улицах женщины и дети уже падали от голода.

И начальник отдела Николай Верховский сквозь зубы сказал:

— Ну... будет время... у них метроном и двух месяцев не простучит!



Сухонький Эрнст добавил:

— Меньше.

Фриц улыбнулся не свойственной ему недоброй улыбкой.

Потом мы занялись каждый своим делом...

А еще совсем недавно, накануне Нового года, вернее — накануне рождества, я получила задание написать передачу на противника именно в связи с наступающим рождеством... Я писала передачу-листовку в своей обледеневшей квартире, уже тяжело опухшая от голода. Я писала:

«Немецкий солдат, ты мерзнешь и голодаешь в своих окопах под Ленинградом. Но вспомни только, как еще недавно было уютно у тебя под рождество дома. Вспомни, как зажигалась елка и трещали дрова в печке... Неужели это навсегда ушло от тебя? Во имя чего?! Во имя чего ты стынешь под Ленинградом?.. Ты обмерзаешь, ты можешь стать калекой...»

И вдруг мысль о том, что ведь это все правда и что живые люди мерзнут в холодной земле под нашим городом, и мерзнут так же, как мерзну я сейчас, что они тоже люди, — пронзила меня. Я немедленно оттолкнула эту неправильную, ненужную мысль. Но все же эта мысль, вернее — даже ощущение, а не мысль, возвращалась ко мне, как бумеранг, за какие бы вернейшие лозунги ни забрасывала я ее, и с каждым разом все сильнее била по душе.

«Нет, это враги, а не люди», — сказала я себе и стала писать дальше: «Неужели же тебе не хочется вернуться к теплу и радости домашнего мирного очага...» О, хочется, хочется, мне — очень хочется! Я ведь помню и елку в детстве за Невской заставой, и недавние милые и веселые встречи Нового года в нашем электросиловском клубе, — о, где же это все, зачем оно отнято, где простая, мирная жизнь, как она обижена, как жестоко обижена...

«Что за вздор? Я запсиховала от голода, — сказала я себе шепотом. — Это враги, захватчики, интервенты, и только». Так что же, мне жалко их? Нет! Но мне жалко... Мне жалко нас. Мне жалко нас вместе, как нечто существовавшее когда-то в прекрасном человеческом единстве, как нечто живое, целое и вдруг беспощадно и бессмысленно рассеченное кем-то Третьим — не человеком, кем-то чуждым человечности. Да, этот

кто-то Третий рассек нас, единого Человека, единое человечество, и бросил рассеченные половины друг на друга, чтобы мы терзали и ненавидели друг друга, и встал между нами. Одна половина единого Человека по злобной воле Третьего лишнего грызет, терзает и ненавидит другую половину. Вот этого Третьего лишнего я ненавижу всей силой души и жизни. Этот Третий — фашист. Он терзает меня, он разбомбил дом Фрица, и тот чудом спасся из-под бомб, и немцы Фриц и Эрнст голодают так же, как я. У них тот же враг, что у меня. Вот этот Третий лишний — фашизм, гитлеризм.

Нет большего преступления перед человеком и жизнью, чем преступление Третьего. И я написала передачу, вложив в нее всю личную, единственную, неповторимую жажду мира и счастья, и всю свою ненависть к фашистам, и желание елки.

«И если ты не повернешь своих пушек против Гитлера, немецкий солдат, ты не уйдешь из-под Ленинграда живым!»

Так заканчивалась листовка, и я дописывала ее на полном спокойствии души, убежденная в своей правоте. Наш Фриц наговорил ее на пластинку, и Всеволод Римский-Корсаков отвез пластинку в сочельник на передний край — на Ижорский завод. Он вернулся закоченевший, но довольный: передавали с очень близкого расстояния — так что было слышно, как немцы поют у себя рождественские псалмы, но передачу, несомненно, слушали, потому что, когда она началась, псалмы умолкли и по нашему голосу не били.

— А голос твой звучал там — дай бог, — сказал Сева Фрицу. — Ты молодец, Фриц!

И наш Фриц довольно улыбнулся.

И вот теперь наш Фриц умирал так же, как умерли моя Дуня, и тетя Варя, и — уже — сотни тысяч других ленинградцев.

— Ну ладно, Ося, — сказала я. — Иди на свой пожар.

— Пока, — ответил он. И тихо поплелся на пожар.

Уже давно все основные работники Радиокomiteта жили на казарменном положении тут же, где работали. Я зашла в иностранный отдел, и, хотя не была тут всего два дня, перемена в лицах Верховского и Рим-

Ского-Корсакова удивила меня. Они были почти черные, высохшие, а Эрнст был совсем как обугленный.

На койке за ширмой лежал Фриц. А он был не черный, но совсем прозрачный и очень кроткий. Он попытался улыбнуться, увидев меня.

— Ну, что же ты, Фрицушко? — сказала я. — Что же это ты выдумал валяться?

— Ничего, — ответил он с едва заметным акцентом. — Я скоро встану.

И он не умер. Ни он, ни Эрнст. Фриц работает сейчас в Австрии. А Николай Верховский, до войны стрелительный, высокий здоровяк, умница, талантливый литературовед, и мягкий, необычайно обаятельный Всеволод Римский-Корсаков через несколько дней после того, как стал умирать наш Фриц, были отвезены товарищами на саночках в гостиницу «Астория», в стационар. Но их ничто уже не могло спасти, и они умерли там. Уже без них я делала передачу — «Берлин пал». Эрнст оказался прав: Берлин не продержался и двух недель.

А через три года после победы мы, группа ленинградских писателей, встретились в зале гостиницы «Астория» с делегацией немецкой интеллигенции, приехавшей из Германии, из Берлина.

#### ВСТРЕЧА В «АСТОРИИ»

Делегация почти целиком состояла из коммунистов или близких к партии антифашистов. Среди них были: замечательная писательница Анна Зегерс, маститый Бернгард Келлерман с супругой, Стефан Фермлин, поэт, беллетрист, критик, в прошлом старый комсомолец, ныне — то есть уже тогда, в 1948 году — коммунист; Вольфганг Лангхоф, актер и режиссер, член партии со спартаковских времен, автор книги «Болотные солдаты», побывавший в гитлеровском лагере, а в те дни и посейчас руководитель театра имени Макса Рейнгардта. Был профессор Юрген Кучинский, известный экономист, автор многих капитальных трудов по политической экономии, старый член партии; Эдуард Клаудиус, прозаик, старый антифашист, сражавшийся в Испании, а во вторую мировую вместе с партизанами Северной Италии сражавшийся против Гитлера;

Гюнтер Вайзенборн, поэт и драматург, участник движения Сопротивления группы «Красная капелла», освобожденный из тюрьмы нашими войсками; Михаэль Чесно-Хелль, старый член партии, был в эмиграции в Швейцарии, тельмановец, один из авторов сценария о Тельмане, и другие.

И вот мы уселись за стол, ломившийся от яств, от дорогих вин, в банкетном зале — в том зале, где во время блокады был морг.

И был поднят первый бокал, произнесен первый тост. Раздались шумные, но холодные аплодисменты. Мы сидели рядом с антифашистами, с коммунистами, и все-таки буквально каждый из нас (я говорю о ленинградских писателях) ощущал, что между нами и немцами стоит некая невидимая, но нерушимая стена, вроде как бы стена из особого стекла или льда, через которую мы видим друг друга, пытаемся объяснить, но друг друга не слышим. Они были немцы, они приехали из той страны, из того города, откуда ринулось на нас, на нашу Родину несколько лет назад озверевшее, лязгающее железо под рев людоедских фанфар, откуда пришли в наш город непроглядная тьма, ледовитый холод, жажда и голодный мор и безвозвратно унесли тысячи и тысячи ленинградцев, среди которых были люди такой душевной чистоты и отваги и беззаветности, как покойный мой муж Николай, как работник Радиокomiteта Яков Бабушкин, как старая няня моя Авдотья и тетя Варя, как Николай Верховский и Всеволод Римский-Корсаков, умершие в этом здании.

Я вспомнила, что в этих самых залах Гитлер собирался устраивать торжественный банкет для офицеров по случаю взятия Ленинграда, что были даже заготовлены пригласительные билеты на этот банкет и медали за взятие Ленинграда. Я подняла тост за то, что мы пируем в «Астории» с другими немцами и по другому поводу. Тосту удовлетворенно, но прохладно поаплодировали.

И мы улыбались друг другу, но чувство отчужденности, больше — чувство глубокой усталости и необратимой утраты никак не могло сойти у меня с души. Это чувство утраты — огромной, общечеловеческой — даже как будто проросло с новой силой во время встречи с немцами здесь, в «Астории». Я чувствовала

какую-то саднящую сухость в глазницах, сухость во рту, сухость в душе.

Тамадой с нашей стороны был Евгений Львович Шварц, изумительный драматург и, несомненно, последний настоящий сказочник в мире, человек огромного, щедрого, чистого воистину сказочного таланта. Невозможно было не поддаться обаянию Евгения Львовича...

И вот он встал и на нарочито нелепом русско-немецком языке начал представлять немецкой делегации нас, ленинградских писателей.

— Их бин дер Шварц,— важно сказал он, указывая на себя. И мы все засмеялись, потому что и манера говорить и интонация Евгения Львовича не могли не вызвать веселящей душу улыбки.

— Их шрайбе ди пьесы...— продолжал он.— Дас ист поэтессен Олга Берггольц, она шрейбен ейне стихи...

Так он представил всех ленинградских писателей, милый, веселый, изобретательный, и поднял тост за нашу дружбу, и мы, стоя, выпили за нее.

И вновь — после порыва теплого, влажного ветра — наступило некое отчуждение, точно дышал на нас кто-то смертным холодом.

После Евгения Шварца выступил профессор Юрген Кучинский. Он говорил о том, как они ходили сегодня по весеннему Ленинграду, любовались этим неповторимым городом, видели его еще не зажившие раны...

— ...И мне было странно,— говорил он,— что в этом городе в нас никто не бросает камнями. Сидящие здесь не виноваты в том, что произошло, но чувство стыда и вины за свой народ не покидало нас. А вы, вместо того чтобы бросать в нас камни, встречаете нас так дружелюбно... так дружелюбно...

Он говорил, и по щекам его бежали слезы. Мы видели, что немцы взволнованы и потрясены тем приемом, который оказал им город, так тяжело пострадавший в дни Великой Отечественной войны. Но Третий лишний — или проклятая тень его? — все стоял и стоял между нами, тягостная недоуменность разделяла нас, и надо было сказать и сделать что-то очень простое, чтобы все стало ясно и стало возможно снова жить и дышать. Но что?

И вдруг неожиданно кто-то из ленинградских писателей запел песню Красного Веддинга — одну из тех песен, с которыми приезжал в начале тридцатых годов в Ленинград Эрнст Буш и пел их в Филармонии, на заводах и даже у нас, в нашем незадачливом «доме-коммуне инженеров и писателей», известном более в городе под названием «слезы социализма».

И вдруг все сидевшие за столом подхватили эту песню:

— Левой... левой...  
Ты придешь, товарищ, к нам.  
Ты придешь в наш единый рабочий фронт,  
Потому что рабочий ты сам.

И вдруг вся юность наша взмыла над нами, как два гигантских крыла, как пылающие красные знамена, как океанская волна, взмыла и обрушилась на нас всей своей свежестью, всем своим светом и всей своей верой в Революцию, обрушилась и начисто смыла Третьего лишнего, того, кто хотел нас поссорить.

О господи, да ведь и юные спартаковцы, и Тельман, и юнгштурмовки, и поднятый вверх сжатый кулак с возгласом «Рот фронт!» — это же тоже шло к нам из Германии, от ее Революции, от ее рабочего класса!

И мы пели песню за песней: и «Болотные солдаты», и другие песни Эрнста Буша, и потом «Бандера росс», и «Варшавянку», и — стоя — «Интернационал», и наслаждались ощущением нерушимой человеческой любви, любви людей друг к другу, той любви, которую несет человечеству только социалистическая Революция.

А потом, уже после банкета, на рассвете, несколько ленинградских и немецких писателей — среди них были Михаэль Чесно-Хелль, я, Лангхоф, Лев Левин и другие — долго ходили по Ленинграду и вышли к Неве, когда было уже почти светло.

Приближались белые ночи, светало очень рано. Неве, и Университет на той стороне, и ростральные колонны были несказанно прекрасны, и юное солнце бросало на них первые, прозрачно-золотые блики... И вдруг я обернулась к немецким товарищам и сказала, безмерно радуясь:

— Гутен морген, фриц!

Они удивились, но я повторила эту фразу несколько раз, и кто-то спросил меня, в чем дело, но я ничего не рассказала об этом тогда — я расскажу об этом сейчас.

#### «ГУТЕН МОРГЕН, ФРИЦ»

Так вот, была у нас в Ленинграде у моей подруги дочка Галя. Когда началась блокада, ей было около четырех лет, а старшему брату ее, Вадику, лет десять. Дети были умненькие и пытливые, всем интересовались и, как все блокадные ребята, понимали и думали свыше своих лет. Они переносили голод с мужеством и терпением, которым позавидовал бы иной взрослый. Они никогда не скулили, не плакали, не клянчили у матери еды. Они понимали — этого делать нельзя. Одетые во все теплое, в шубейках и шапках-ушанках, они безмолвно, неподвижно сидели рядышком на кровати в очень холодной большой комнате, сидели и молчали... ждали очередной кормежки.

И Галка ни разу не попросила есть раньше срока. Но, съев какую-нибудь столовую ложку соевой каши или блюдечко дрожжевого супа с крохотным кусочком хлеба, она обязательно вздыхала, улыбалась и, заглядывая в сумрачное, полное круто сдержанного отчаяния лицо матери круглыми своими, милыми глазами, говорила заговорщическим тоном:

— А когда в следующий раз фрицы к нам под Ленинград придут, мы все булки в чемоданы спрячем. Вот они у нас их и не отнимут.

Она уже знала, что это «фрицы» — немцы — отняли у нее пищу, что это из-за них она и Вадик не могут играть, радоваться, бегать в соседний Екатерининский садик, а могут только вот так безмолвно сидеть, прижавшись друг к другу.

Надо сказать, что к мысли о «фрицах», о врагах, Галка возвращалась очень часто, — с каждым годом блокады все чаще. Если они с матерью проходили мимо разбомбленного дома, Галя непременно спрашивала:

— Мама, а в этом доме кого фриц убил?

Мать отвечала односложно, угрюмо:

— Мальчика.

Шли дальше.

— Мама, а вот в этом доме кого фриц убил?

— Старушку.

Но если Галка не плакала и не просила есть, понимая, что того делать нельзя, то, когда случался воздушный налет или артиллерийский обстрел, она начала метаться, как-то совсем не по-детски тосковать, беззвучные крупные слезы бежали у нее по щекам, и, поднимая к матери умоляющие глаза, она спрашивала:

— Мама, ну почему фриц хочет меня обязательно убить?

— Потому что он — фриц. Немец.

Галка продолжала молча плакать.

— Ну чего ты плачешь, Галочка,—утешала мать.— Мы же в первом этаже. Он сюда не попадет. Ты же у меня храбрая, не бойся.

— Я не боюсь,—ответила Галя, когда ей было уже почти семь лет.— Нет, я не боюсь. Мне обидно...

«Нельзя, чтобы плакало дите...» А дите плакало от обиды, что его зачем-то хотят убить...

Рокот самолетов в небе, свист бомбы пронизывали Галку неистовым страхом, и она не любила смотреть на небо.

Маленький, низкорослый человек, гуляя по улицам в минуты затишья, она смотрела больше себе под ноги и, заслышав самолет, бежала в подворотню.

И вот настал день, когда Ленинград салютовал в честь полной ликвидации блокады. Мать вывела Галю и Вадика на улицу, и они встали рядом со своим подъездом, напротив угла Гостиного двора. А на углу Гостиного двора висел громадный плакат, изображавший фашиста в каске с рогами, гориллообразного, несшего в вытянутой руке окровавленную женщину.

Раздался первый торжественный, праздничный, победный залп. Миллионы сверкающих огней взлетели в небо, и дети подняли глаза, следя за каскадом огней, стремглав летящих и падающих, сверкая, ликуя, трубя!..

Но в ту секунду, как Галка подняла глаза, взгляд ее упал на плакат напротив, на плакат, ярко озаренный победным огнем.

— Мама,—замерев, спросила Галя,—кто это?

— Это фриц,—ответила мать.



И Галя больше не отрывала глаз от плаката. Она смотрела на ту гнусную рогатую гориллу и тихонько повторяла:

— Так вот он какой — фриц... Так вот, значит, какой он...

Мать испугалась этого шепота. Она стала тормошить девочку.

— Галя, Галенька! Да ты посмотри на огоньки! Не смотри ты на эту дрянь!

Но Галя не смотрела на фейерверк, на ликующий салют... Она неотрывно смотрела на своего врага, который отнял у нее булки и хлеб, который непременно хотел ее убить, смотрела и шептала:

— Так вот он какой — фриц...

Наступила весна. Вадик и Галя целыми днями могли играть теперь в садике возле их дома — ведь обстрелов и бомбежек больше не было! — в сквере около Александринского театра. И вот однажды в полдень Галя пришла с прогулки необычно притихшая, задумавшаяся как-то слишком глубоко и важно для ребенка. Она повздыхала, походила от окошка к окошку, потом подошла к матери и сказала:

— Мама, знаешь, а я сегодня живого фрица видела...

Тут надо сказать, что очень мало кто из нас, ленинградцев, видел живых немцев во время блокады. Мы имели дело с врагами-невидимками, и это было, наверное, мучительнее, чем иметь дело с врагом, лицо которого видишь.

— Где же? — спросила мать.

— А мы в скверике играли, и вдруг мальчишки прибежали и кричат: «Ребята, ребята, пойдемте живых фрицев дразнить, они Александринку ремонтируют». Ну мы и побежали. И мальчики стали кругом них прыгать и дразнить; я вот тут и увидела живых фрицев.

— Ну и какие они?

Галя замялась, потупилась и сказала тихо:

— Знаешь, мама, они худые, зеленые такие, как наши дистрофики.

— Ну и как же ты их дразнила?

Галя потупила еще больше беленькую, круглую свою головку, смущенная, чуть виноватая улыбка озарила ее лицо. Но она прошептала внятно и твердо:

— Я не дразнила. Я подошла к одному и сказала ему: «Гутен морген, фриц!» И знаешь?! Он меня по голове погладил!..

И она прямо и твердо взглянула на мать и снова смущенно улыбнулась, чего-то стыдясь, чему-то удивляясь и радуясь, чего она еще не могла понять умом.

Я вспомнила о Галином «гутен морген, фриц» тогда, когда мы с немецкими товарищами ходили по весеннему Ленинграду, озаренному утренним солнцем, после встречи в «Астории», как бы омытые теми объединяющими нас на всю жизнь драгоценными идеями и образами, которые вызвали эти песни.

Мы ходили, ошастливленные тем, что, несмотря на бездонную реку крови, пролившуюся из-за Третьего лишнего между нашими народами — двумя самыми трагическими народами мира, — мы все же можем по-человечески общаться друг с другом, общаться искренне и чистосердечно, так же, как Галя сказала пленному немцу: «Гутен морген, фриц!», что, несомненно, означало для нее: «Доброе утро, человек!» Не фриц, не немец, а Человек!

И как же радостно мне было обратиться это Галино приветствие к только что обретенным новым друзьям моим! Но я тогда не рассказала им, что это для меня значит, — показалось неуместным, и так уж вечер был перенасыщен, и сердца наши еле выдерживали горькое, терпкое счастье его.

Я дважды виделась после этого с Анной Зегерс, человеком и писателем, которого я люблю все больше и больше. Приезжал в Ленинград на просмотр и обсуждение своего фильма о Тельмане Михаэль Чесно-Хелль, и мы два дня подряд встречались, много и сердечно говорили о прошлом, о настоящем, о будущем. И каждый раз, когда я встречалась с немецкими товарищами, или читала их книги и книги Эриха Марии Ремарка, такие, как «Время жить и время умирать», или думала о них, — неизменно само собой произносилось внутри и звучало все светлее и тверже: «Гутен морген, фриц!» И думалось: да, вот это и есть то самое главное, самое простое и самое ясное, что нужно сказать людям друг другу, чтобы никогда не повторился ужас войны минувшей и не настал еще больший, кромешный, безвыходный ужас войны атомной.

— Доброе утро, Человек,— ведь вот главное, что нам нужно сказать друг другу.

Нет, я вовсе не призываю к вселенскому всепрощению. Мы никогда не простим Галиных слез и ее обиды фашистам — ни тогдашним, ни теперешним, ни их потатчикам. Но в 1945 году, идя по Германии, карая гитлеровцев, уничтожая фашизм, советские бойцы прежде всего кормили голодных немецких ребятшек: они-то, бойцы, слишком хорошо знали по собственной жизни, что такое голодное, обиженное, плачущее дитя. А ведь «нельзя, чтобы плакало дитя»! Нигде в мире нельзя! И недаром в Берлине над могилами павших победителей высоко и незыблемо стоит солдат, рассекающий мечом свастику и прижавший к груди ребенка... И мне все кажется, что ребенок этот — девочка — похож на нашу маленькую блокадницу Галю...

...Мой Углич, мой город детства, больше не снится мне, после того как я семь лет назад побывала в нем. Он не снится мне даже таким, каким я увидела его в 1953 году. Может быть, это оттого, что между той поездкой и сегодняшними моими днями легла такая радость, которая не приснится, и горе, от которого нельзя уснуть.

Зато досадно часто снится мне будущая война. Мне снится, как в воздухе появляются огромные летательные аппараты, похожие на дирижабли воздушного гражданства. Они бесшумно движутся на меня, на мой город. Тут главный страх в том, что все происходит бесшумно. Это начало всеобщей гибели, и прежде всего в мире умер звук. Никто и ничто не издает ни единого звука... И то, что должно петь,— не поет; и то, что должно звенеть,— не звенит, и даже то, что должно шептаться,— не шепчется... Все безмолвно, все происходит в уже мертвой тишине.

Безмолвно летят громадные серебристые сигары-дирижабли, безмолвно падают бомбы, не свистя, не урча, как раньше.

И вот я вижу — высоко в небе, совершенно безмолвно, надо мной поднимается огромный розовый дом. Я лежу навзничь, я смотрю на очень синее небо и вижу, как он там бесшумно разламывается пополам и розовые его стены начинают падать на меня. Гибель

происходит в полной тишине. И если я даже крикну или попытаюсь застонать — меня никто не услышит: звук в мире уже не рождается. Планета глуха и нема. И вот когда уже кажется, что гибель неотвратима, — вдруг взрывается звук, и я слышу, какой-то голос властно и четко приказывает мне:

— Встань! Это — сон!

И я просыпаюсь и несколько минут лежу в глубоком изнеможении, бессильная, как-то бессильно радуясь, что это был сон, и с отвращением вспоминаю его. Я знаю, что у Родины моей достаточно сил, чтобы этот сон никогда не стал для нее явью. Но я не хочу даже видеть таких снов, я хочу, чтоб никто, нигде их не видел. Я хочу просыпаться с ощущением, что за окном — огромный, дружный, работающий мир. Мир, где нет ничейной земли ни между союзниками, ни между противниками. Нет ничейной земли, но есть земля цветов и злаков, земля деревьев и зверей, земля труда и любви — человеческая Земля. Мир, звучащий миллионами звуков. Нет, он совсем не нем — он может сказать все, что хочет, он вовсе не глух — он услышит каждое слово добра и правды. И то, что должно говорить, — говорит, и что должно петь, — поет, и что должно звенеть, — звенит, и даже то, что должно шептаться, — шепчется... Мне хочется проснуться и подойти к окну, открытому в такой мир, и сказать так, чтобы это услышали народы и каждый человек в отдельности:

— Доброе утро, люди!

1960

**ОТРЫВКИ И ГЛАВЫ  
ИЗ НЕЗАКОНЧЕННОЙ 2-Й ЧАСТИ  
«ДНЕВНЫХ ЗВЕЗД»**

**ДЕНЬ ШТУРМА**

*(Надпись на полях рабочей тетради)*

Я пришла домой и, хватая книги,  
перечла Гоголя, Пушкина и т. д.  
Цитаты. Укр. Ночь. Цезарь.  
Как прекрасно.  
О, за что, за что мне это дано!  
За что я одарена таким счастьем,



Как в юности, молюсь тебе сурово и знаю: свет и радость — это ты (и это была — молитва).

Молитва — серебряное ведро, которое опускает человек в свою глубину, чтоб почерпнуть в себе силы, в себе самом, которого он полагает как бога... Он думает, что это он богу молится, — нет, он взывает к собственным силам.

Теперь твой час настал. Молись.

И я молилась. Все глубже и глубже опускалось серебряное ведро...

### БЛОКАДНАЯ БАНЯ

Это было весной 1942 года, в Ленинграде. Я вошла в баню. Было тихо. И глаза у женщин были тихие, не выражавшие ни горя, ни отчаяния, а какую-то застывшую мысль, тяжкую и безнадежную, выражающие долгий-долгий безмолвный упрек, но и упрек этот был не кричащим, не страстным, а застывшим, постоянным. Знаменитые глаза ленинградец — пустые, тяжелые и сосредоточенные; взглянул человек на что-то ужасное, так оно у него там и осталось. Они тихо передвигались по бане — усталость чувствовалась во всех их движениях. И они не прилагали усилий к тому, чтобы сделать свои движения более бодрыми — к чему? Так далеко уже зашла усталость. Они наливали тазики менее чем до половины — больше никто не мог приподнять. Потихоньку, движениями, похожими на движения в немом кино, терли друг другу спины. Какая-то особая вежливость царила в бане: никто не лаялся, уступали друг другу место, делились мылом, — и было в этой вежливости нечто болезненное и опять же усталое. Так, примерно, вежливы люди друг с другом при панихиде. Да, то была дистрофическая вежливость. И еще это было оттого, что слишком отвыкли мы от такого явления, как баня, и место это, раньше бытовое и обычное, казалось каким-то небывалым — пришли куда-то туда, где еще не известно, как вести себя. И вода лилась тощей струйкой и была чуть тепленькая, тоже дистрофическая вода, даже вода в этом городе была дистрофической. О печаль, печаль! Я сначала чувствовала в себе это страшное рыдание по человечеству, а потом, как и все, так же только уста-

лость. Я люблю воду, но вода не радовала меня, а как-то раздражала, до ощущения детских бессильных слез — так хнычет поправляющийся очень слабый ребенок, который не в силах удержаться в руках старую любимую игрушку, или завести ее, или там что. В общем, сделать то, что он делал раньше с той же вещью. И это дает ему ощущение своей противной слабости и причиняет глубокую боль утраты так же, как все, что было «до». Я, закрыв глаза, плескалась в тазу, в чуть тепловатой воде. Но она не принесла мне радости. Я только вспомнила факты, почувствовав, что море «было», и ничего не ощутила в связи с этим прозрением, чисто головным...

Потом я посмотрела на женщин... Темные, обтянутые шершавой кожей тела женщин — нет, даже не женщин — на женщин они походить перестали — груди у них исчезли, животы ввалились, багровые и синие пятна цинги ползли по коже. У некоторых же животы были безобразно вспучены, — над тонкими ножками, — ножки без икр, где самая толстая часть — щиколотка. Эти черные или иссиня-бледные тени, не похожие на женщин, на отвратительных тонких ногах, у которых была отнята вся женская прелесть, вся женская сущность — женщина, на которую человечество молилось и любовалось, лучшее его наслаждение, мадонна, его мать, его любовница, женская красота, что с нею случилось?! До какого же ужаса, и отчаяния, и позора докатилось человечество, если его женщины стали такими, если оно допустило так исказить женщину! Повторяю — оторванные руки и ноги — ничто в сравнении с этими костлявыми телами: ведь отсутствие рук не уродует Венеру. Здесь же все было на месте и ничего не было. Следовало бы рыдать, глядя на множество этих женщин, следовало изумляться, как решились они обнажить в свете дня столь поруганное, истощенное, темное и пятнистое тело.

О, сын человеческий, сын человеческий! Что ты сделал со своей матерью, сестрой, дочкой, любовницей? Как посмел ты допустить, чтоб стояла она здесь попанная, не стыдясь поругания самого чистого своего богатства — своего тела.

И вдруг вошла молодая женщина. Она была гладкая, белая, поблескивающая золотыми волосками. Кожа ее светилась, гладкая и блестящая. Груды были

крепкие, круглые, почти стоячие, с нагло розовыми сосками. Округлый живот, упругие овальные линии, плечи без единой косточки, пушистые волосы, а главное — этот жемчужно-молочный, кустодиевский цвет кожи — нестерпимый на фоне коричневых, синих и пятнистых тел. Мы не испугались бы более, если бы в баню вошел скелет, но вздох прокатился по бане, когда она вошла. О, как она была страшна — страшна своей нормальной, пышущей здоровьем, вечной женской плотью. Как это могло сохраниться? Она была не просто страшнее всех нас. Она была тошнотворна, противна и отвратительна — своими круглыми грудями, созданными для того, чтобы мужчина мял их и тискал, задыхаясь от желания, своими ляжками — всем этим предназначенным для постели, для совокупления, для зачатья, — для всего того, чего теперь не могло и не должно было быть, что было естественным, а стало постыдным, так как стало невозможным, запретным. Да как она смела — такая — войти сюда, в это страшное помещение, где были выставлены самые чудовищные унижения и ужасы войны, как она осмелилась, сволочь, оскорбить все это своим прекрасным здоровым телом?

Женщины, ошалелые от этого кощунства, шептали за ее спиной:

— Здоровая!

— Румяная!

— Толстая!

К ней неслось тихое шипение отвращения, презрения, негодования, чуть не каждая женщина, взглянув на нее, шептала: — Б...б...б...

Не должно ее было быть здесь.

— Спала с каким-нибудь заведующим столовой, а он воровал, — говорили женщины.

— Наверное, сама воровала, крала.

— Детей, нас обворовывала.

И страшная костлявая женщина, подойдя к ней, легонько хлопнула по ее заду и сказала шутя:

— Эй, красотка, не ходи сюда — съедим.

Раздался короткий тихий смех:

— Как раз... У нас недолго...

А ведь, может быть, она приехала на помощь Ленинграду...



Ее сторонились, ею брезговали, здоровой и цветущей, больные и тощие бессильные люди — брезговали ею как заразной больной, как прокаженной, не желая прикасаться к атласной ее светящейся коже.

Так она была отвратительна — видение обыкновенной здоровой человеческой жизни, явление божественной плоти человека — венца создания — в том виде, как ему быть надлежит, явление чудотворной женской красоты, созданной для любви, материнства и деятельности.

Она вскрикнула, зарыдала, бросила таз и выбежала из помещения.

Потом был еще один случай. Я вынула голову из таза, она у меня кружилась. Я сидела, тяжело дыша, раскисшая, уставшая еще больше, равнодушная. Всклипывающий влажный шепот, в котором слышались какие-то остатки страсти, привлек мое внимание. Это одна женщина рядом со мной так шептала. Глаза ее были устремлены на что-то впереди, и я поглядела туда же. Я увидала там старушоночку, блюзгавшуюся в мелком тазике. Даже при том уродстве, которое мы все собой представляли, эта старушоночка была исключительным явлением — до того мало человеческого в ней было. Она была как бы нарочно придуманная. Не темное, не коричневое, но как бы обугленное личико ее было составлено из хорошо видных костяшек, она была совершенно лысая, очень круглый выпирающий живот ее держался на паучьих ножках, да еще кила висела под животом — в общем, она была похожа на паука, но отнюдь не на человека, даже не на обезьяну, а именно на паука. Она была живая, явно живая! В глубоко-глубоко сидящих под черепом глазках ее что-то светилось, — она блюзгалась, даже не блюзгалась, а смачивала маленькими нечеловеческими ладошками свой лысый череп. И если непонятно было, откуда пришла та, жалкая, бесстыжая, румяная, то эта, эта-то откуда выползла? Тварь! Неужели же у нас в страшном голодном городе есть место, где водятся такие старушоночки?

А соседка моя глядела на нее, как зачарованная, и шептала:

— Мой помер, молодой, красивый, а такая живет... — погиб, а такая живет... Вдруг только такие и

останутся у нас на земле? За что же он погиб? За таких, за таких, за таких...

Старушоночка сидела на краю лавки, одиноко. Щедрый, широкий, мягко сияющий луч солнца лился на нее. Из трубы, проходившей возле лысой головы старушонки, брызгала, распыляясь на мельчайший веерок, струйка воды, и в этом водяном веерке плясала отчетливая семицветная радуга — прямо над лысой, черной головкой старухи, которую она смачивала паучьими своими лапками, — вся коричневая, согнутая колесом, скелетоподобная, с гнусной киллой внизу живота. Все наше поруганное сконцентрировалось в ней. Она сидела в добром луче солнца, с семицветным сиянием над головой, — она сидела, как сама Смерть, сама Война...

Я подумала:

— Да, вот так и выглядит сама война, она не в образе солдата, одетого в железное, не в образе гориллы в каске, не в образе танка, — а в образе этой бесильной, лысой, еле живой — но живущей уродливой старушонки со случайной радугой над головой...

*Ленинград. Апрель 1962 г.*

## БЛОКНОТ ЗА НЕДЕЛЮ

23/VI.

Вчера в четыре часа утра на рассвете началась война: Гитлер бросился на нашу страну — на всех нас вместе и как бы на каждого из нас в отдельности.

У Достоевского Ипполиту снится «одно ужасное животное, даже чудовище... пресмыкающийся гад... оно вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее, и именно тем, что таких животных в природе нет и что оно нарочно явилось... Оно коричневое и скорлупчатое».

Вот это омерзительное, противоестественное, «нарочно явившееся» на свет «коричневое и скорлупчатое», скрежеща и лязгая, ползет теперь на нас.

Это — Гитлер, фашизм.

Скорлупчатая гадина свирепа, сильна, ее ненависть к нам безмерна, ее просто пучит от ненависти к нам, она бросит на нас все, что у нее есть. Обрушит все страдания, которые сможет выдумать, все горе, все испытания. Но мы уничтожим ее. В победе не сомневается никто, нигде, ни один человек.

...По дороге на «Электросилу» я наблюдала за ленинградцами: за несколько часов люди изменились неузнаваемо, у всех глаза как бы глядящие внутрь, в собственное сердце, лица сосредоточенные, суровая, торжественная дума светится в них. Никто сегодня не бранился друг с другом в трамвае, уступали друг другу место, извинялись за толчки, кондуктор говорил негромко и очень почтительно: «Попросил бы граждан пройти вперед...» Правда, досужие паникеры уже закупили про запас пачки соли, соды, брали сушеные грибы, крупу, бежали вынимать вклады, но таких явное меньшинство, о них говорят с презрением и брезгливостью: «сволочь свой «энтузиазм» проявляет...»

На «Электросиле» воскресенье было рабочим днем, в час дня по цехам начались митинги.

Пятнадцатый цех — преимущественно женский. Женщины стояли крепко сжав на груди руки, и такая тишина была! Некоторые плакали, но негромко, даже не всхлипывая. Они очень за этот час с речи Молотова изменились, такие строгие стали, сжавшиеся, как бы стиснувшие сердца руками.

Митинг открыла Хмырова — начальник цеха — женщина. Красивое, умное лицо как бы летело вперед, она произносила слова знакомые, но по-новому проникающие, — она говорила: «На плечи женщин-работниц ложатся теперь огромные задачи». Это повторяла стахановка Левченко. Потом очень звенящим голосом говорила худенькая, взволнованная Дмитриева, напряжение все росло, и вдруг, в середине речи Дмитриевой, старая работница Костыгова (ее все зовут тетя Груша) закричала из толпы басом, удивленно, точно только что догадалась о самом главном:

— Женщины, не бойтесь, зря своих слез не лейте, что вы, женщины! Мы Гитлеру, гаду паршивому, хребет переломим, ничего, женщины!

Она кричала громко, весело, как у себя во дворе, — оборачивалась к соседкам, разводила руками, дергала концы головного платка.

— Да уж ли ж нам с ним не справиться, женщины? Мы ж сильнее его насколько, сильнее, мы ж тут такую работу развернем!..

И женщины улыгнулись ей, перевели дыхание.

Электросиловцы в воскресенье удивительно работали. Так во всем Ленинграде работали, на всех заводах — собранные, напряженные, как говорят у нас — «стиснув зубы, с железной решимостью». О, сколько уже раз так приходилось работать и жить, «стиснув зубы, с железной решимостью»... Так теперь надо жить и работать.

24/VI.

Объявлена мобилизация. По Литейному идут мобилизованные.

И вновь Литейный — зона фронтовая.  
Идут войска, идут — в который раз

Туда, где Ленин, руку простирая,  
На грозный подвиг призывает нас...

Они идут, колонна за колонной,  
Еще в гражданском, тащат узелки.  
Невидимые верные знамена  
Сопровождают верные полки,  
И крылья мечевидные расправив,  
Откинув кудри буйные с виска,  
Летит над ними бронзовая слава,  
Держа венки в протянутых руках.

С нашего завода тоже уходят на фронт.

Много рабочих идет на фронт добровольно.

Почти что первыми подали заявления о зачислении их в ряды Красной Армии испанцы-комсомольцы, сварщики цеха. Когда они четыре года назад приехали к нам из Бильбао, им было по 13—14 лет. Они уезжали под бомбардировкой германских и итальянских самолетов, многие были уже сиротами. Мне рассказывали, что когда в одном испанском детдоме первый раз подали к обеду макароны, ребята побросали тарелки с пищей наземь: макароны — для них итальянская еда. За четыре года у нас они возмужали, они стали совсем своими, встали на ноги, начали самостоятельно жить и работать.

Теперь германские фашисты напали на их новую родину, — так же, как тогда в Испании, бомбят мирные советские города...

«Вот потому мы сразу же решили защищать нашу новую родину с оружием в руках! Я подал заявление о зачислении меня добровольцем в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, и вместе со мной это сделали мои товарищи по цеху — Франциско Хусто, Хесце Саласар, Хозе Басконес. Из товарищей, приехавших со мной в Советский Союз и живущих в нашем общежитии, 212 человек тоже подали заявление о зачислении их добровольцами».

Хозе Ортесу сейчас семнадцать лет, он сильный, высокий, жарко-черный парень; он боится только одного — вдруг его по молодости не возьмут на фронт?

Испанцы каждый день ходят в комитет и райком комсомола после работы — узнают, когда же их отправят драться с фашистами.

Среди добровольцев — участник боев с белофиннами мастер Плакидин и другие лучшие люди нашего

завода. На фронт уходят отличные работники, стахановцы, в первый день ушел, например, Николай Богданов, прекрасный фрезеровщик, один из тех рабочих, которые живут радостями и горестями завода, как своими личными радостями и горестями. И много таких труженников уходит, чтоб стать воинами. Оставшиеся торопятся заменить их,— стать именно на их временно опустевшее место,— пусть оно не пустует ни одного дня,— работать так же, как работали бы они, если б были здесь,— нет, работать еще лучше, чем они, потому что все это теперь помощь им, сражающимся на фронтах. В самозабвенную работу вкладывают люди всю любовь свою к ушедшим, оттого-то и силы становятся как бы вдвое больше.

Несколько лет назад токаря Константина Васильевича Родионова выдвинули в нормировщики. Эта работа спокойнее, физически легче, чем работа у станка, тем более что Родионов уже пожилой человек. Но 23 июня ушел в армию сын Родионова, Анатолий, тоже токарь. Константин Васильевич в тот же день попросил поставить его к сыновьему токарному станку, чтоб заменить сына и его молодых товарищей.

А комсомолец Антонов написал письмо и отдал его в заводскую многотиражку. Он написал:

«Я — слесарь-лекальщик, рождения 1923 года, в армию еще не призывался и специальность свою очень люблю и менять ее не собираюсь. Несмотря на это, сейчас, когда идет война с фашистами, я решил приобрести вторую профессию — карусельщика, и после своей основной работы я во вторую смену стал к станку, занял место карусельщика Бобунова, призванного в Красную Армию.

С новой специальностью я осваиваюсь быстро и надеюсь в ближайшие дни обслуживать три станка, так, как это делал тов. Бобунов.

Товарищи слесари! Приобретайте вторую профессию, во вторую смену становитесь к станкам! Заменяйте товарищей, ушедших на фронт!»

Несколько женщин, служащие того же цеха,— Изотова, Курдеева, Локалова, Бохман, Колотилова, Соколова, Филиппова, после своей работы тоже остаются в цеху, заменяя слесарей и обмотчиков, воюющих с кровавым Гитлером. Так же поступили двое служащих литейной мастерской и в других цехах тоже.

Отдать все силы свои, каждую минуту дыхания своего правому делу Великой Отечественной войны,— этим могучим стремлением исполнен каждый честный труженик «Электросилы». Да разве же одной «Электросилы»? Ведь это везде, во всем Ленинграде, во всем Советском Союзе,— а он громаден!

Гитлер будет раздавлен этой яростной лавиной труда, вставшего на свою защиту.

\* \* \*

Вечером была в районном комитете «Красного Креста».

Перед кабинетиком председателя райкома в полутемном «кулуаре» сидели и стояли девушки. Они почти все с завивкой «перманент», страшно серьезные, рыженькие и русые, черноголовые, иные в беретиках на ухе, они все прекрасные! Они стремились в кабинетик к председателю райкома товарищу Будилкиной и взволнованно шушукались.

У Будилкиной спокойное простое лицо типичной старой работницы. Волосы стриженные и висят как дощечки, гладко. Она полная и невысокая, на ней синее платье в горошинку, на груди — медаль «За трудовую доблесть», сбоку противогаз, который очень мешает ей сидеть. Серые глаза и голос у нее добрые, женские, она несуетлива, смотрит пристально и говорит очень обстоятельно, мягко, как человек, который привык всегда что-то объяснять и растолковывать и сам это любит.

— Ну, так чем могу служить, дорогой товарищ? — спрашивает она меня.

— Я от газеты, товарищ Будилкина.

Но дверь с шумом раскрывается, две голубоглазые, русые и молодые девчухи врываются к Будилкиной. Щеки их залиты сияющим румянцем, они бурно дышат, они говорят как дети, не слушая и перебивая друг друга, вместе:

— Товарищ Будилкина,— вот... мы так торопились! Это наш секретарь комитета комсомола — она нас прислала... Тут заявления желающих пойти на фронт! И это все значкисты ГСО, даже есть которые и второй ступени. Это наша скороходовская дружина... И мы принесли это! И хотим узнать,— когда же нас

отправят на фронт, товарищ Будилкина! Ведь мы уж просимся, просимся!

Какой отважной, нетерпеливой юностью веяло от них, с какой любовью глядела на них пожилая Будилкина, — что сердце сжималось.

— Девушки, зачем это вы торопитесь? Раз вас туда еще не зовут, значит, там медицинских сил хватает, значит, жертвы наши еще не так велики. Это — радоваться надо, а вы...

— А мы поскорей хотим, мы помогать же им хотим, — как вы не понимаете...

— Понимаю, все понимаю, боевые мои товарищи! Это — вот вам понять надо. Вы меня послушайте, вы взрослые девушки, умненькие... Вот вы поймите, — вы на фабрике работаете, а разве это не для родины? Это для родины, девушки, для нашей дорогой армии...

Она втолковывала им это обстоятельно, терпеливо, как речь говорила; они кивали русыми подвитыми головами и в тревоге переглядывались.

— Товарищ Будилкина, мы все это понимаем, мы по своей воле с воскресенья с фабрики почти не уходим, но ведь мы уж так давно на фронт просимся...

— Давно? Да у нас всего три дня как война!

— А все-таки давно! И с нашей фабрики еще ни одной дружины не отправлено...

— Да ниоткуда же еще не отправлено!

— Верно? Значит, нас первых? В первую очередь? Да?

— В первую! Обязательно — скороходовок — в первую! Как только будет распоряжение...

— Ну, пожалуйста, товарищ Будилкина, уж мы надеемся...

Уходят — сияющие, отважные; одну звали Кудрявцева, другую — Дианова.

— Вот видите, — говорит Будилкина, — и так без конца, без конца, с воскресенья, с двух часов идут, просятся; вот смотрите — сколько заявлений, уже на сегодня более восьмисот, и все — на фронт... И старушка тут, и школьницы, и мамы с дочерьми, и некоторые — смешно даже — плачут, понимаете, плачут, чтоб на фронт...

И вдруг, глотнув воздух, она заплакала сама, улыбнулась, вытащила из стола марлевый бинт, конец его



приложила к глазам, укоризненно покачивая головой, плакала и, отирая бинтом слезы, говорила:

— Вы извините, это я от нервов... Я терпеливая и спокойная, жизнь меня все-таки научила... Я это оттого, что кругом такое чувство... Так болеют за родину... просто такое чувство, что вдруг заплачешь,— я не знаю, от волнения, что ли... Видите, сколько заявлений!..

«...Я хочу оказать первую помощь Красной Армии, нашим любимым бойцам, и обязуюсь отдать все свои силы до последней капли крови, а там, где понадобится, буду отдавать и жизнь...— В. Лебедева.»

«...Я хочу помогать любимым бойцам, которые бьют озверелых фашистских гадов, я хочу идти вместе рука об руку с нашими прекрасными воинами.— Н. Иванова.»

«...Клянусь, что буду работать честно, и даже под пулеметным огнем буду оказывать помощь пострадавшим...— И. Белоусова.»

«...с винтовкой я знакома и хочу поскорей принести пользу государству. Я постараюсь заслужить доверие нашего народа. У меня есть сын, Митя, 11 лет, я его определила к своей маме, теперь я свободная, могу спокойно идти на защиту своей родины. Прошу не отказать мою просьбу, я уже готова.— А. Регозе-Клюканова.»

К третьему дню войны в ленинградский «Красный крест» таких заявлений поступило более трех тысяч. Когда-нибудь с трепетом, с благоговением будут люди брать в руки эти небольшие клочки бумаги. От каждого листка поднимается бетховенская песня Клерхен.

— Как вы долго задержали Будилкину,— с возмущением бросились на меня девушки, когда я вышла с нею из комнаты,— нам же некогда!

— Да почему же вам некогда-то?

— Да ведь мы же на фронт торопимся! Говорят, каких-то дружинниц уже послали, а мы все еще тут сидим!

Они кинулись к Будилкиной, облепили ее.

В уголке на стуле скромно сидел мужчина.

— А вы тоже в красные сестры? — пошутила я.

— Да! Именно! — охотно ответил он, вообразив, наверное, что я какое-нибудь РОККовское начальство.— Понимаете, я невоеннообязанный, болен я... Да-

же вот у папаша в деревне отдыхал. Третьего дня приехал в Ленинград, ну и тут такое, я стал проситься на фронт — не берут! А как же будешь сидеть, все идут... Но я долго работал официантом, я привык обожать людей, у меня с ними есть обращение, и вот прошусь у товарища Будилкиной в госпиталь, к людям, ухаживать за ними. Сперва хоть в тыловой, а уж оттуда то я как-нибудь на фронт проберусь, помогать армии...

...Во втором этаже, в трех больших комнатах занимались с врачами и сестрами дружинницы, — скороходовки, победовки, электросиловки, — молодые работницы Московской заставы. Они приходят сюда после напряженной, иногда полуторасменной работы, добровольно находясь на казарменном положении. Некоторые прямо из райкома уходят на работу. Учатся останавливать кровь, делать перевязки, переносить раненых — и так быстро усваивают все, так ловко, тщательно все выполняют! По первому слову идут на земляные работы — рыть щели, носить песок и доски, готовить бомбоубежища, посменно дружинами круглые сутки дежурят в райкоме РОКК, они готовы все, все сделать, чтобы только «поскорее помочь нашим любимым бойцам»!

Мы выходим с Будилкиной в одну из комнат, где занимаются дружинницы. Они готовно, отменно быстро вскакивают, встают навтыжку. Начальник дружины рапортует:

— Товарищ начальник, на занятиях присутствует шестьдесят восемь человек дружинниц...

— Здравствуйте, товарищи, — строго, официально говорит Будилкина и поправляет мешающий ей противогаз.

— Здравсь... — по-армейски отвечают дружинницы.

— Ну, не устали? — уже по-своему, по-женски спрашивает Будилкина.

— Нет, не устали... Мы в боевой готовности... Не устали ничуть, — тоже по-домашнему кричат девушки.

— Девушки, боевые мои товарищи, кто устал, я очень того прошу: не надрывайтесь, не расходуйте все свои молодые силы в первые дни. Подите поспите, покушайте... Нам сил много надо, девушки, надолго, — смотрите, быстро не устаньте!

— Не устанем, товарищ Будилкина, нет!  
Она широко всем усталым лицом улыбается:  
— Ну и хорошо! Не устанем — тем лучше!

Я тоже думаю, что женщины не устанут, не дадут себе устать до самого конца войны, до победы. Они знают, что им-то уж устать — нельзя!

26/VI.

А один наш цех уже получил первое письмо из Действующей армии. Его прислал рабочий этого цеха стахановец Николай Богданов, и письмо вслух читали в цеху в обеденный перерыв и очень волновались, стащили его даже в многотиражку, а потом друзья Богданова написали ему ответы.

Редакция заводской многотиражки тотчас же сделала из этих писем боевой листок — красиво оформленный, бюллетень в двух экземплярах, бюллетень повесили в цеху и у проходной. Его читали жадно.

Потом «взяли на плакат» комсомолку Нину Коринову, которая еще во время войны с белофиннами освоила вторую мужскую специальность шлифовщика и теперь заменила ушедшего на фронт товарища. Портрет Нины, ее письмо (короткое) и подпись: «Следуй ее примеру».

Уже на третий день войны редакция «Электросила» силами заводских художников и поэтов стала выпускать «комментарии к сообщениям Информбюро» — сатирические плакаты по незабвенному образцу прекрасных «Окон Роста».

Вот плакат — «комментарий» к сообщению об успешных действиях наших войск на реке Прут: отвратительные фашисты, преследующий их красноармейский штык и самолет, эпиграфом — цитата из сообщения и подпись:

«Фашистов с Прута быстро прут  
Они бегут за реку Прут».

Или еще — Финляндия предоставляет фашистам территорию — наши летчики громят фашистские аэродромы в Финляндии. Подпись: «Предоставили территорию — угодили в историю».

Италия объявила Советскому Союзу войну. Плакат, соответствующим образом изображающий уже достаточно измородованную Италию. Подпись: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней».

Красноармеец Романов уничтожил фашистского разведчика-мотоциклиста. Картинка к теме и — использованная старая песенка:

Мотоцикл цыкал-цыкал,  
Цыкал-цыкал мотоцикл,  
Недоцыкал до конца —  
Пристрелили молодца!

И много еще на разные сегодняшние темы — потешные или романтические, очень яркие. Очень молодой и страшно волосатый художник не жалеет сурика и охры, редактор Фукс — тихий человек в больших очках — вместе с сотрудниками сочиняет стиховые подписи, плакаты вывешиваются у проходной, в многолюдных цехах, и ведь люди, как говорится, «смеются и даже улыбаются»... А смех над врагом, а веселая улыбка — верные помощники в напряженной войне против скорлупчатой гадины.

27/VI.

Сегодня вечером дежурила возле нашего дома. Проверяла, не светит ли где случайно окно, — нет, все в порядке. И вдруг, когда оглядывала дом, так и схватило сердце горячей нежностью к нему, как к живому существу. Не отдам! Дом — нелепый, не особенно удобный, недаром его прозвали «слезой», — но будь он еще в десять раз неудобней, все равно не отдам.

Мгновенно вспомнила, как мы въезжали в этот дом — почти никто не был знаком друг с другом, но все — еще до въезда, — решили «жить коммунальщицами» и «раскрепоститься от кухонь», поэтому ни в одной квартире кухни не выстроили, некоторые энтузиасты даже всю посуду отдали в коллективную кухню и столовую, и я была среди этих энтузиастов и заставила маму отдать на кухню все ее тарелки с какими-то кудрявыми королями и королевами...

Потом сообразили, что перегнули, — смешно, а ведь как хорошо! Как хорошо, как содержательно, как интенсивно жил каждый из жильцов этого дома... Теперь я как-то по-новому осознаю, насколько прекрасно мы

жили,— так как по-новому вижу в эти дни Ленинград, и даже этот дом, на счет которого столько приходилось ворчать, теперь понятно — напрасно ворчать! Эти балкончики всегда казались мне дурацкими, но теперь я вижу, что это замечательные балкончики, они устроены с заботой о жильцах,— пусть вылезет и подышит воздухом. Будет замечательно! После войны я обязательно поставлю на своем балкончике ящик с цветами...

Нет, не отдам ни моего дома, ни новых, «не моих», взаправду превосходных домов на Международном проспекте, ни прошедшей — «довоенной» — жизни своей со всеми ее невзгодами и счастьем, ни жизни — которая есть и трижды — которая будет!»! Ничего нашего не отдам.

У других домов на нашей улице дежурили домохозяйки, или дворники, или граждане, вернувшиеся с работы, и знаю — думали так же.

А в 12 часов ночи в квартиры по нашему коридору стучался мальчик с противогазом. Он был довольно высокого роста, угловатый, с острыми плечиками, с удивительно ясными, доверчивыми синими глазами, с остреньким чистым лицом. Его сопровождало еще двое ребят, лет десяти — двенадцати, низкорослых, с веснушчатыми русскими рожицами, и тоже с противогазами, не по росту большими для них, занимающими чуть ли не треть их тела.

Ребята стучались в квартиры настойчиво, пока им не отпирали, и ясноглазый мальчик очень вежливо говорил:

— Мы по поручению управхоза... Пожалуйста, в порядке трудовой повинности — на Фонтанку идти баржу разгружать.

— Баржу разгружать... Управхоз велел... — возбужденно бормотали его адъютанты, перебивая друг друга.

В городе пахло молодой листвой и влагой, ночь была молочно-теплой и тихой, и люди у реки передавали друг другу увесистые плашки с той неистовой сосредоточенной силой, которая внезапно рождается в человеке, когда он знает, куда ее девать.

К трем часам утра аэростаты воздушного заражения заблестели розовым, плавая в небе, как огром-

ные рыбы. Отчетливо стали видны готические бумажные переплеты на окнах. Мы отправились по домам.

— Я вас отметил, что вы работали,— сказал ясноглазый мальчик Гарик.

— Он отметил, отметил,— пробормотали адъютанты.

Они шагали рядом со мной, немного побледневшие и чумазые после работы,— они тоже работали, хоть их никто и не просил — наоборот...

— Ну, спасибо, что отметил,— сказала я.— Ты что же, нашим бригадиром был?

Он улыбнулся смущенной и счастливой улыбкой. Чумазые адъютанты торжествующе переглянулись.

— Да нет... Я, знаете, комендант нашего дома... Меня управхоз назначил.

Я удержала жест изумления.

— Ну, это хорошо, что у нас комендант комсомолец.

— Да нет, не комсомолец... Видите ли, штука в том, что мне до комсомола еще лет не хватает... Мне четырнадцатый, то есть почти четырнадцать, а ведь в комсомол берут с пятнадцати. Но сейчас время такое, все так заняты, многие на фронте, вот управхоз и назначил меня, хоть я и беспартийный... Надеюсь справиться,— у меня такая куча работы!

Он заглядывал мне в лицо доверчиво и тревожно,— не засмеюсь ли. Он говорил серьезно, одушевленно и, слегка склонив голову набок, как птица, помаргивал глазами.

— Ужасно много работы! Вот они мне помогают,— он кивнул на низкорослых своих адъютантов,— они связисты. По распоряжению управхоза оповещают о чем нужно жильцов, дежурят в штабе... Скоро придет Пивин, ему уже тринадцать лет, вот его мобилизую. Завтра еще нужно организовать при доме пункт первой помощи — управхоз дал задание, обещал дать все, что надо... Надо еще активистов привлечь в противопожарное звено, в сандружину... Я вас... в сандружину запишу? Ладно? Отлично! Мне сегодня везет — пятого человека привлекаю... Очень много работы,— повторил он с сокрушением и радостью.

— Гарик, ну а как же мама твоя, не сердится?

Он помотал головой.

— Гм... Сначала-то, конечно, был конфликт. Она говорила: «Ну и живи в своем штабе и домой не приходи...» У меня, знаете, штаб в чуланчике в вашем коридоре. А потом атмосфера разрядилась,— мама поняла, конечно... Я же не в игрушки играю, надо же все в доме устроить — правда ведь?

На другой день я видела, как Гарик и его адъютанты приколачивали в швейцарской в углу занавеску, отгораживая пункт первой помощи от остального помещения.

Адъютанты прилаживали к стене карниз для занавески, ожесточенно стучали по стене молотком; противогазы, болтаясь, били их по коленкам. Гарик руководил.

— Ну, вы потише, поосторожнее колотите,— не бомбардировкой же занимаетесь,— говорил он весело, и остренькое лицо его с чудесными синими глазами было озабочено и деловито.

Он не играет. Он, как и все, как рабочие на «Электросиле», как женщины в «Красном Кресте», готовит нашу победу, потому что он наш сын, наше будущее, наша жизнь.

\* \* \*

Книга называлась «Безумству храбрых поем мы песню!», она была неудобного формата, продолговатая, тонкая, название было написано острыми красными буквами. В книге в алфавитном порядке были помещены короткие биографии комсомольцев, погибших на фронтах в гражданской войне. Биографии шли тесно одна за другой, столбиком, при некоторых были маленькие портреты, большей частью штриховые, неумелые, портреты первых комсомольцев в кожанках, огромных папах и отцовских кепках.

Как мы завидовали им, мальчики и девочки, вступившие в комсомол в 1925 году.

Нам казалось, что мы «опоздали родиться», что «пропустили самое замечательное, самое главное», мы даже стихи об этом сочиняли.

Мы росли. Мы трудились и жили в необыкновенной своей стране, наша благородная и смешная зависть к комсомольцам первого призыва уступала место гордости своим временем, а теперь, в эти дни, как

никогда, нам понятно, что самого главного — мы не пропустили.

Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!

Нам будет очень и очень трудно, у многих из нас будут утраты, мы постареем, быть может, сильно устанем. Но мы увидим гибель фашизма, увидим позор и бесчестье врага человечества — Гитлера, увидим великое, не виданное миром торжество коммунистической России.

Мы увидим это, потому что мы хотим этого, и каждый делает все, что может, чтоб так было.

*1941 г.*





ное, умное человеческое существование, которое именуется «миром», и нам показалось, что и победа, и мир придут очень скоро — ну, просто на днях!

Поэтому мы, голодные и слабые, были горды и счастливы и ощущали чудотворный прилив сил.

— А ведь все-таки, наверно, доживем, а? — воскликнул Яша Бабушкин. — Знаете, дико хочется дожить и посмотреть, как все это будет? Верно?

Он смущенно засмеялся, быстро взглянул на нас, блестя большими светлыми глазами, и во взгляде его была такая нетерпеливая, жадная просьба, что мы поспешно проговорили:

— Конечно, доживем, Яша, обязательно! Все доживем!

А мы отчетливо видели, что он очень плох, почти «не в форме». Он давно отек, позеленел, уже с трудом поднимался по лестнице; он очень мало спал и очень много работал, и, главное, — мы понимали, что изменить это невозможно (он тащил на себе столько работы и столько людей, один оркестр чего стоил!), мы знали, что он не умеет и не будет беречь себя, что мы лишены возможности хоть чем-нибудь помочь ему, и, наверно, потому мы поспешили ответить, что доживем, доживем, все доживем.

Он счастливо улыбнулся, помолчал, как бы прислушиваясь к ответу, и медленно опустил веки. Они были воспаленные, темные, тяжелые. И, как всегда, когда Бабушкин закрывал глаза, мальчишеское лицо его сразу постарело, стало измученным и необратимо большим. Мы только переглянулись, а он вдруг, не открывая глаз, медленно, тихо проговорил:

Вот он,  
    большелобый  
                                тихий химик,  
перед опытом наморщил лоб,  
Книга —  
    «Вся земля» —  
                                выискиваем имя.

Век двадцатый.  
                                Воскресить кого б?

Потом помолчал и с нарастающей силой продолжил:

Маяковский вот...  
                                Поищем ярче лица,—  
недостаточно поэт красив.—

Крикну я  
вот с этой,  
с нынешней страницы:  
— Не листай страницы!  
Воскреси!

— Мы включим в книгу «Говорит Ленинград» и передачи с его стихами,— с увлечением сказал Бабушкин, оживляясь, широко открывая глаза и вновь молодея.— Ведь они совершенно особо звучат в наших условиях!.. Конечно же, и его стихами говорит Ленинград.

В ту ночь мы набрасывали план книги, в которой должны были быть и стихи, и рассказы, и очерки, и сатира, и документы, и целые программы, передававшиеся по радио, и, главное,— выступления самих ленинградцев: солдат и матросов, рабочих и ученых, артистов и писателей.

Все это мы предполагали расположить хронологически, начиная с первых дней войны и кончая прорывом блокады, которая, как нам казалось в ту восторженную ночь, должна быть прорвана очень скоро. А прорыв блокады тогда почему-то сливался в нашем воображении с понятием полной победы. Но до прорыва блокады было еще больше года, до ее ликвидации — больше двух, а до победы — более трех лет... Но, веря в близкую Победу, не предугадывая того невероятного, бедственного, что нам придется вынести, мы не были тогда ни слепы, ни наивны, ни легкомысленны; повторяю, оглянувшись в ту ночь на краткий, столь трагический и все же по духу своему победоносный, мужественный путь нашего города, мы просто всей душой ощутили общенародную, а значит, и нашу, ленинградскую непобедимость. Вечная слава, вечное уважение мгновениям, подобным той ночи!

Нигде не значило радио так много, как в нашем городе во время войны.

В августе сорок первого года, когда последние пути, ведущие из Ленинграда в страну, были перерезаны и заняты немцами, когда кольцо блокады плотно сдавило город, радио было почти единственным средством общения города со страной.

Прежде всего по радио узнавали ленинградцы, что делается на фронтах России,— газеты с Большой Зем-

ли уже с трудом доходили до нас, — только по радио узнавала Россия, что делается в Ленинграде. Она должна была знать о нем правду! Ведь немцы, бешено штурмуя город, ежедневно на весь мир кричали о том, что с минуты на минуту Ленинград будет взят; ведь в занятых уже районах Ленинградской области немецкие газеты печатали обширные извещения о «падении Ленинграда», помещали — разумеется, смонтированные — снимки: эсэсовец стоит на посту у Гостиного двора; ведь немецкое командование громогласно назначило сроки торжественного парада на Дворцовой площади и офицерского банкета в «Астории». У них ведь, как известно, даже билеты на этот банкет были приготовлены...

Вот в эти дни, ежедневно, в разные часы, чтоб не так уж мог забывать немец, по указанию Центрального Комитета Коммунистической партии Ленинград стал говорить со страной голосами своих защитников — рабочих, бойцов, партийных работников, матросов, поэтов, композиторов, ученых.

Москва принимала нас и транслировала по всему Советскому Союзу, и народ наш знал: вот и сегодня Ленинград не сдался, вот и сегодня он еще держится. Вспомните, что это было в дни отчаянного положения, когда немцы шли вперед неудержимо, когда ежедневно нашим армиям приходилось оставлять город за городом... И вдруг Ленинград остановил немцев! Ленинград держался, Ленинград живыми голосами клялся, что не сдастся ни сегодня, ни завтра — никогда, и на другой день советские люди снова слышали его голос! Стоит. Дерется. Полон сил, уверенности, гнева и деловитости.

Эти передачи проводились, несмотря ни на какую обстановку внутри города, — был ли обстрел, была ли бомбежка, было ли то и другое вместе. Передачи происходили ежедневно и начинались словами: «Слушай нас, родная страна! Говорит город Ленина. Говорит Ленинград».

Композитор Дмитрий Шостакович выступал «на эфир» в передаче «Говорит Ленинград» в тот день, когда «Ленинградская правда» вышла с передовой под заглавием «Враг у ворот». «Над городом нависла непосредственная угроза вторжения подлого и злобно-го врага, — говорилось в передовой. — Ленинград стал

фронтом». Об этом же говорили расклеенные на стенах города воззвания Военного совета — «Враг у ворот». Когда композитор ехал на машине в радиокомитет, началась воздушная тревога. Но страна, жадно ловившая голос Ленинграда, не знала, что Шостакович говорит под гул зенитных орудий и разрывы бомб.

К счастью, «накладки» не было, бомбы ложились не вблизи радиокомитета. Композитор говорил с большим внутренним волнением, голос его звучал чуть глуховато, но был четок и внешне спокоен.

«Час тому назад я закончил вторую часть своего нового симфонического произведения, — так начал свое слово Дмитрий Дмитриевич. — Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение Седьмой симфонией... Несмотря на военное время, несмотря на опасность, грозящую Ленинграду, я в довольно быстрый срок написал две части симфонии. Для чего я сообщаю об этом? Я сообщаю об этом для того, чтобы радиослушатели, которые сейчас слушают меня, знали, что жизнь нашего города идет нормально... Все мы сейчас несем свою боевую вахту. И работники культуры так же честно и самоотверженно выполняют свой долг, как и все другие граждане Ленинграда...»

..Двадцать два года прошло с тех пор, как я первый раз держала в руках эти два невзрачных, вырванных из блокнота листка, исписанных нервным, мелким почерком, почти без помарок, и сейчас, так же как тогда, пронзают они мое сердце безграничной своей гражданской горделивостью и целомудрием скромности. Редактор передачи дал их мне, чтобы «посмотреть, не слишком ли это спокойно».

— Нет, — сказала я, — тут нечего править и нельзя добавить ни одной пафосной строки. Но я прошу вас, подарите мне этот черновик.

— Да сделайте одолжение, — рассмеялся он, — только разрешите, я перепишу с оборота кое-что. Тут у меня небольшой план очередных оперативных передач на город...

И вот хранится у меня этот черновик речи Шоста-

ковича, на обороте которого написан — рукой тоже торопившейся — план очередных передач на город:

1. Организация отрядов.
2. Связь на улице.
3. Строительство баррикад.
4. Бои с зажигательными бутылками.
5. Оборона дома.
6. Особо подчеркивать, что бои сейчас ведутся на ближних подступах...

Эти передачи-инструкции уже готовились и должны были передаваться сегодня-завтра. А Шостакович негромко говорил в это время:

— Советские музыканты, дорогие мои и многочисленные соратники по оружию, мои друзья! Помните, что нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно работать...

О, они работали на оборону — музыканты единственного оставшегося в Ленинграде оркестра — оркестра радиокомитета. Да, в Ленинграде в те дни не раздавалось по радио ни одной песни, ни одной мелодии — кто-то решил, что «сейчас для этого не время», но оркестр жил, он давал концерты для Англии и Швеции — необходимо было, чтоб и там знали, что мы живы и не только сопротивляемся и боремся, но даже играем Чайковского и Бетховена. А кроме того, почти все оркестранты несли службу ПВО и работали на оборонительных сооружениях. Скрипач А. Прессер был командиром пожарного звена радиокомитета; самую первую зажигательную бомбу, упавшую на крышу здания, потушил концертмейстер группы альтов артист И. Ясинявский; артисты Е. Шах и А. Сафонов рыли рвы и траншеи вокруг города как раз в тот день, когда выступал Шостакович... Им и в голову не приходило, что когда-нибудь они будут играть ту симфонию, о которой говорил композитор.

— До свидания, товарищи,— заканчивал он свою коротенькую речь,— через некоторое время я закончу свою Седьмую симфонию. Мысль моя ясна, и творческая энергия неудержимо заставляет меня двигать мое сочинение к окончанию. И тогда я снова выступлю в эфире со своим новым произведением и с волнением буду ждать вашей строгой, дружественной оценки. Завещаю вас от имени всех ленинградцев, работников куль-

туры и искусства, что мы непобедимы и что мы всегда стоим на своем посту...

«Заверяю вас, что мы непобедимы...» Так говорил Шостакович, один из славных сыновей Ленинграда, гордость его, говорил вместе со всеми ленинградцами. И Родина, с гордостью, с болью и тревогой ловившая каждое слово колыбели Революции, верила Ленинграду.

Уже поздней осенью, когда первые партизаны Ленинградской области через линию фронта пришли в Ленинград и, конечно, явились к нам, в радиокомитет, чтобы под вымышленными именами или под какой-нибудь одной буквой выступить перед ленинградцами, — они рассказывали о том, что значили для них передачи из Ленинграда.

— Немцы изо дня в день печатали в своих газетах, что Ленинград сдан и Балтийский флот уничтожен, — говорил командир Лужского отряда Н. А. Панов (тогда товарищ П.). — Население подавлено известием, у нас в отряде настроение тяжелое... Как быть? Собираем партийную группу отряда, на повестке дня один вопрос — сдан Ленинград или нет? Постановили — не сдан! Да, да, постановили: считать Ленинград несданным... Но сердце болит!.. И вот идем лесом и натываемся на ордежских партизан. Первые слова, конечно: «Не слышали, как Ленинград?» А у них рация... А вот, говорят, попробуем, послушаем... И надо же — такая удача, — не прошло и часа — ловим: «Слушай нас, родная страна... говорит Ленинград... говорит Ленинград... Говорит крейсер «Киров!» Ну! Что тут с нами было — мне не рассказать! Жив и Ленинград, и флот! Значит, правильно партсобрание решило. Мы тотчас же наших агитаторов в села — рассказывать, что не сдан Ленинград и не сдается. Это нам очень помогало.

Голос Ленинграда доходил до самых отдаленных углов страны, он возникал порой в самое нужное время... Об этом рассказывали нам в Севастополе в 1944 году севастопольские домохозяйки и ученый-хранитель Херсонесского музея Александр Кузьмич Тахтай. Ленинград и Севастополь, Ленинград и Киев, Ленинград и Одесса начали свою перекличку осенью сорок первого года, когда все четыре города подвергались

вражескому штурму. Горькой, героической и, увы, недолгой была эта переключка... Дольше всего говорили мы с Севастополем, уже тогда, когда оба города были в осаде, вплоть до дня взятия Севастополя.

— Мы ловили голос Ленинграда с особым трепетом, — рассказывал Тахтай, — это был голос собрата по судьбе... Голос старшего брата. Спокойствие и уверенность, с которыми говорили ленинградцы, поражали и воодушевляли нас. Ведь мы-то лучше других знали, что означает это «несмотря на бешеные наскоки врага с земли и воздуха...». Но особенно поразило уже потом, когда мы узнали, что вы в это время — зимой и весной сорок второго года — испытывали, кроме так называемых «бешеных наскоков».

Нет, мы никого не обманывали, мы просто говорили самую важную правду, самое для всех главное: что держимся и будем держаться.

Разговаривая между собой в городе, мы разрешали себе больше...

Я помню, как 19 сентября 1941 года, в день неистойвой бомбежки, которую помнят все ленинградцы, со Стремянной улицы в Дом радио пришла женщина, гражданка Московская, у которой только что под развалинами дома погибло двое детей. Она никогда не выступала по радио, но она пришла и сказала:

— Пустите меня к радио... я хочу говорить!

И она рассказала о том, что час назад случилось с ее детьми... И нам запомнились не столько ее слова, сколько ее дыхание. Трудное дыхание человека, который все время удерживает вопль и подавляет рыдание, дыхание, схваченное микрофоном и усиленное уличными рупорами. И весь Ленинград и бойцы на ближних подступах, на окраинах Ленинграда, слушали рассказ матери о том, как на Стремянной улице погибли у нее сын и дочка, и слушали ее дыхание — дыхание самого горя, самого мужества, и запомнили все это. Это помогало держаться.

Выступая с радиотрибуны, люди города, где личное и общее слились воедино, поддерживали друг друга, воодушевляли, сплывались все неразделимой.

Как писатель я испытываю особую гордость оттого, что голоса ленинградских писателей звучали в эти дни в полную силу. Но искусство вошло на общегородскую небывалую трибуну не только за тем, чтобы ми-



тинговать, агитировать, призывать — нет, кроме этого, оно еще и беседовало с согражданами — беседовало негромко, в полном смысле слова по душам, оно размышляло вслух над самыми острыми вопросами жизни, оно советовало, утешало, горевало и радовалось вместе с теми, кто ему внимал, проникая в их души тем путем, который известен лишь искусству.

Но если говорить о стиле митинговом, призывном, то ленинградец, живший в городе в дни блокады, никогда не забудет страстных выступлений по радио Всеволода Вишневского. Именно радио, стихия которого — звук, голос, тембр, целиком доносило до всех его неповторимую интонацию балтийского матроса времен «Авроры», времен взятия Зимнего, гражданской войны, ту интонацию, ту манеру, которая сама по себе была уже живой связью с революционной историей Питера — Ленинграда. И ведь эта манера — эта балтийская удаль, эта беззаветность «братишки» — уже однажды великолепно оправдала себя в дни Октябрьской революции, в войну гражданскую, и вот она вновь звучит, живая, подлинная, дорогая сердцу! Только балтийский «братишка» теперь очень возмужал, посуровел, и его страстные, порой сбивчивые речи так обнадеживали и так нужны были тогда, именно осенью сорок первого года, в отчаянные дни штурма, и именно городу, который не просто хранит традиции, а живет ими...

Недаром же почти каждое воззвание старых питерских рабочих к согражданам своим, к ополченцам, к армейцам заканчивалось клятвой: «Умрём, но не отдадим родного Ленинграда!»

Почти такой же клятвой, как в 1917—1918 годах, что была написана на знаменах тех, кто шел защищать Петроград от Корнилова, от Керенского, от Юденича: «Умрёмъ, но не отдадимъ Красный Питеръ!»

И это не было цитатой, это было живым криком души, и также истинно живыми, современными, а не «цитатными» были пламенные выступления Всеволода Вишневского с его неповторимой манерой балтийского революционного матроса.

Мне неоднократно выпадало счастье вместе с Всеволодом Витальевичем выступать на различных вечерах, или полднях, или утренниках в Ленинграде — в военных частях, на заводах и на радио. Слушать его

было наслаждение и труд. Да, труд! Потому что в это время в тебе усиленно начинали трудиться сердце, мозг, и руки невольно сжимались в кулаки. Надо было слышать, ну, например, его выступление в дни 24-й Октябрьской годовщины:

— ...Предоктябрьская ночь: вечерний сумрак, привычный, ко всему готовый город на замерзшей Неве... город-фронт живет, в нем по-прежнему бьется сердце революции. По-русски, по-ленински спокойный, уверенный. Репродукторы передают очерк Льва Толстого «Севастополь зимой 1854 года». Толпа стоит как зачарованная. Это рассказ о сегодняшних днях! — Толстовский «Четвертый бастион» — это сегодняшний Ленинград. Все, все у Толстого абсолютно точно, верно, как у нас сегодня. Спокойный русский героизм, скромный, чистый. И затемненный трамвай номер девять идет на передний край, на четвертый бастион... Великий город живет Октябрем, знает свою судьбу и себя. Он уверен в ней. Это труд, жертвы, верность, мужество, победа...

А его знаменитая речь в труднейшие дни, когда враг подходил к самой Москве, когда мы, ленинградцы, говорили: «Линия обороны Москвы проходит через сердце каждого ленинградца», — его речь «Слушай, родная Москва!»:

— Москва! Мы, ленинградцы, балтийцы, плечом к плечу с тобою, родная Белокаменная! Ты, Москва, ходила во многие бои, твой голос слушает весь мир; твои труды и праздники — откровение и завтрашняя перспектива человечества... Москва, двигай сейчас, не медля, все живое, боевое, честное — в бой... Никаких сбоев, никакой дрожи, никаких срывов... Умиравшие балтийские матросы могут показать пример... И в преддверии смерти эти люди могли видеть и видели победу. Грядущую победу. Она придет! Она за зимними выюгами, она там, дальше!..

Нет, цитировать кусочками это нельзя. Как хорошо, что почти вся эта речь сохранилась в магнитофонной записи.

И вспоминается мне еще одно выступление в передаче «Говорит Ленинград» — в конце сентября 1941 года, в дни жесточайших артиллерийских и воздушных налетов, выступление Анны Андреевны Ахматовой. Мы записывали ее не в студии, а в писательском доме, так

называемом «недоскребе», в квартире М. М. Зощенко. Как назло, был сильнейший артобстрел, мы нервничали, запись долго не налаживалась. Я записала под диктовку Анны Андреевны ее небольшое выступление, которое она потом сама выправила, и этот — тоже уже пожелтевший — листок я тоже до сих пор храню бережно, как черновичок выступления Шостаковича. И если до сих пор, через два десятка лет, звучит во мне глуховатый и мудро-спокойный голос Шостаковича и почти клокочущий, то высокий, то страстно-низкий голос Вишневого, то не забыть мне и того, как через несколько часов после записи понесся над вечерним, темно-золотым, на минуту стихшим Ленинградом глубокий, трагический и гордый голос «музы плача». Но она писала и выступала в те дни совсем не как муза плача, а как истинная и отважная дочь России и Ленинграда.

Она говорила:

— Мои дорогие согражданки, матери, жены и сестры Ленинграда. Вот уже больше месяца, как враг грозит нашему городу пленом, наносит ему тяжелые раны. Городу Петра, городу Ленина, городу Пушкина, Достоевского и Блока, городу великой культуры и труда враг грозит смертью и позором. Я, как и все ленинградцы, замираю при одной мысли о том, что наш город, мой город может быть растоптан. Вся жизнь моя связана с Ленинградом — в Ленинграде я стала поэтом, Ленинград стал для моих стихов их дыханием... Я, как и все вы сейчас, живу одной непоколебимой верой в то, что Ленинград никогда не будет фашистским. Эта вера крепнет во мне, когда я вижу ленинградских женщин, которые просто и мужественно защищают Ленинград и поддерживают его обычную, человеческую жизнь... Наши потомки отдадут должное каждой матери эпохи Отечественной войны, но с особой силой взоры их прикует ленинградская женщина, стоявшая во время бомбежки на крыше с багром и щипцами в руках, чтобы защитить город от огня; ленинградская дружинница, оказывающая помощь раненым среди еще горящих обломков здания... Нет, город, возраставший таких женщин, не может быть побежден. Мы, ленинградцы, переживаем тяжелые дни, но мы знаем, что вместе с нами — вся наша земля, все ее люди. Мы чувствуем их тревогу за нас, их любовь и помощь. Мы

благодарны им, и мы обещаем, что мы будем все время стойки и мужественны...

Тут я сообразила, что не сказала, что передачи на эфир одновременно слушал и Ленинград, и вот почему Анна Ахматова обращалась и к ленинградцам. Но прежде всего это были передачи для Родины, и не только для нее — эти передачи мог слушать весь мир, — ведь они же шли в эфир. Было очень важно, чтоб наряду с голосами рядовых защитников города звучали голоса и тех людей, которых знала вся земля. Слушали, конечно, и фашисты. Слушали и записывали, как потом выяснилось, фамилии выступавших, мечтая, что рассчитаются с ними. Как известно из истории, этим параноидальным вожделяниям не суждено было сбыться, и отрадно и гордо знать, что никто, решительно никто из ленинградских писателей никогда не отказывался выступать в этих передачах — наоборот, считали за большую честь. Много раз как на город, так и на эфир с мужественными своими стихами, поэмами и очерками выступали Николай Тихонов, Александр Прокофьев, Виссарион Саянов, выступал дважды прилетавший в Ленинград весной 1942 года Александр Фадеев. У меня сохранился текст сердечного обращения к ленинградцам, переданного по нашему радио, Михаила Шолохова:

**«Родные товарищи ленинградцы!**

Мы знаем, как тяжело вам жить, работать, сражаться во вражеском окружении. О вас постоянно вспоминают на всех фронтах и всюду в тылу. И сталевар на далеком Урале, глядя на раскаленный поток металла, думает о вас и трудится не покладая рук, чтобы ускорить час вашего освобождения, и боец, разящий немецких захватчиков в Донбассе, бьет их не только за свою поруганную Украину, но и за те великие страдания, которые причинили враги вам — ленинградцам.

Мы жадно ждем тот час, когда кольцо блокады будет разорвано и великая Советская страна прижмет к груди исстрадавшихся героических сынов и дочерей овечьного вечной славой Ленинграда».

Почти все ленинградские писатели выступали по радио — одни чаще, другие реже, третьи почти непрерывно, причем в самых разных жанрах. Отлично, можно сказать вдохновенно, работал Владимир Волженин, причем в самом ходовом жанре — стихотворный фель-

етон, частушки, басни, высмеивавшие гитлеровцев, короткие сценки. У нас ведь еще была ежедневная особая передача, так называемая «Радиохроника». В ней сообщались последние новости с Ленинградского фронта, помещался очерк из жизни города, обязательно стихи и — как это ни странно может показаться теперешнему читателю — обязательно побольше... юмористического, вернее, сатирического, материала. Да, да, мы смеялись в то страшное время, и это отнюдь не был «юмор висельников»! Если хотите, в какой-то мере мы стремились следовать «грозному смеху» Маяковского. Мы высмеивали паникеров, болтунов, лодырей — всех, кто как редкие, но отвратительные инородные тела появлялись в суровом и чистом ленинградском коллективе. И, уж конечно, опрокидывали на проклятых фашистов целые ниагары сарказмов, иронии, поношений и издевательств — то есть всего того, чего они были достойны, не считая, разумеется, священной и раскаленной ненависти нашей, отвращения и презрения.

Кроме Волженина, хорошо, с огоньком работали в «Радиохронике» писатели М. Зошенко, Е. Шварц, И. Меттер, другие товарищи. «Радиохроника» нравилась горожанам и бойцам, нередко из военных частей к нам приходили за материалом, который понравился в передаче, для выступлений в агитбригадах. В декабре, когда Политуправление Балтфлота поручило мне составить маленький сборник «Балтфлот смеется», я воспользовалась некоторыми произведениями из нашей «Радиохроники», в частности прелестными «Сказками о черте» Евгения Шварца... Да, это было в декабре 1941 года, в уже обмершем, потухшем городе...

Уже в конце ноября появились на улицах города первые гробы, которые двигались не так, как подобает гробу, — важно, высоко над мостовой, а ползли на санках по самому снегу. Один район за другим погружался во тьму, подобную полярной ночи, — иссякала энергия, уходил из города свет, замирало движение. А люди слабели все больше и больше. Уже многие не могли делать длинных переходов пешком и целыми днями неподвижно лежали по грудой одежд и одеял в темных ледяных квартирах. Так, ослабевший ленинградец, оторванный от предприятия, от коллектива, оказывал

ся как бы еще раз обведенным вражеским кольцом — гитлеровец блокировал уже каждого в отдельности, гитлеровец делал ставку на распадение человеческого коллектива. И сплошь и рядом оказывалось, что у такого ослабевшего, полуумирающего ленинградца существует только одна форма связи с внешним миром: это — «тарелка» радио. Отсюда, из этого черного круга на стене, доходили до человека людские голоса — значит, он еще не один! Значит, где-то за стенами его дома живут люди, живет город, страна — они борются, они сопротивляются... Даже если радио не говорило, а только стучал метроном — и то было легче, это означало, что город жив, что сердце его бьется.

Только одно радио в те дни утоляло неумиряющую потребность людей в искусстве. Ведь в городе не работал ни один театр, ни одно кино. Ни концертов, ни музыки — ничего не было. Множеству ленинградцев даже читать у себя дома было не под силу... Правда, по радио тоже очень долго не передавалось ни музыки, ни пения, но были зато обширные и ежедневные литературные передачи — и особенно много передавалось стихов... Поэзия в те дни в Ленинграде приняла на себя благородное бремя почти всего искусства.

Я думаю, что никогда больше не будут люди слушать стихи так, как слушали стихи ленинградских поэтов в ту зиму голодные, опухшие, еле живые ленинградцы. Мы знаем это потому, что они находили в себе силы даже писать об этом в радиокomitee, даже приходить сюда за тем или иным запомнившимся им стихотворением; это были самые разные люди — студенты, домохозяйки, военные. Бессмертным свидетельством величия духа ленинградцев останется эта деталь первой блокадной зимы — способность в таком кошмаре, среди таких физических и нравственных терзаний отзываться на поэзию, на искусство.

Письма, которые получила я зимой 1941/42 года на свои передачи, в частности на передачу под Новый, 1942 год, останутся для меня на всю жизнь самой высокой наградой.

В радиокomitee приходили также заявки на чтение классической и советской литературы. В январе были особые передачи — «Чтения с продолжением». Был прочитан ряд отрывков из «Илиады» Гомера, а артист М. Янкевский читал несколько дней подряд «Педаго-

гическую поэму». Янкевский был очень плох, он почернел, еле дышал, но Макаренко был когда-то его учителем, и артисту страстно хотелось дочитать цикл.

Однажды он пришел в таком состоянии, что Бабушкин шепнул:

— Боюсь, что он не дочитает сегодня...— И вместе с ним — на всякий случай — пошел в студию.

Но Янкевский дочитал цикл, он живет и работает до сих пор. А как много (и как хорошо!) читала по радио любимица маленьких радиослушателей Маша Петрова — ныне заслуженная артистка республики!

Из этих передач — «Чтения с продолжением» — постепенно родился «Театр у микрофона». У микрофона артисты радиокомитета стали разыгрывать целые пьесы, преодолевая голод, слабость, быструю утомляемость. Репетировали по частям печатавшуюся в «Правде» пьесу А. Корнейчука «Фронт», затем исполнили ее перед микрофоном, затем, некоторое время спустя, перенесли на сцену. Так, к концу сорок второго года из артистов радиокомитетского «Театра у микрофона» и артистов 1-й фронтовой агитбригады в осажденном городе родился под вой и свист снарядов и бомб (без всякого метафорического преувеличения — увы!) новый театр, где все, от режиссера В. Мойжковского, артиста М. Янкевского до рабочих сцены, были самыми подлинными и рядовыми защитниками Ленинграда. Театр успешно работал, в 1962 году он отметил свое двадцатилетие — он называется теперь театром имени Комиссаржевской, он популярен и любим не только в Ленинграде, но и в стране, по городам которой ежегодно дает он гастроли с неизменным успехом. Я счастлива, что вот уже третий год в репертуаре этого театра есть и моя пьеса — о самых суровых днях блокады, о ее героической и трагической зиме 1941/42 года, что в одном эпизоде звучит мой голос — пленка сохранившегося чудом выступления перед новым, 1942 годом. Пьеса называется «Рождены в Ленинграде». На премьеру ее все артисты и работники театра, не сговариваясь, и — что самое удивительное и трогательное — множество зрителей пришли с медалями «За оборону Ленинграда». Не ради пустого хвастовства говорю я это, но для того, чтоб лишний раз подчеркнуть, как умеет хранить город-герой свои революционные и боевые традиции — хранить не ум-

ственно, а всем сердцем. А на юбилее «блокадного театра» в октябре 1962 года многих и многих пришлось помянуть нам добрым словом и вставанием, и все с глубоким душевным трепетом вспоминали славные дни «Театра у микрофона»...

В великом сопротивлении Ленинграда, которое требовало прежде всего единения коллектива, Ленинградское радио сыграло роль огромнейшую.

Ведь мы и начали-то рассуждать о книге «Говорит Ленинград» и оглянулись на немыслимый путь, сделанный городом, на историю его Главной Трибуны — радиокомитета — потому, что в тот вечер — третий вечер почти полного безмолвия в Ленинграде — в радиокомитет начали приходиться люди из заснеженных недр города, страшные люди в тряпичных масках... Их было много, и все они пришли с одним тревожным вопросом: почему замолчало радио? Скоро ли оно заговорит опять? Нельзя ли, чтоб это было сейчас же, немедленно — иначе совсем уже невозможно жить.

— Нет уж... знаете! — сказал один старик с палочкой в каждой руке, пришедший откуда-то с Васильевского острова, — если что-нибудь еще надо... в смысле стойкости... пожалуйста... еще... и даже с прибавкой можно ждать. Но радио пусть говорит. Без него страшно! Без него лежишь как в могиле. Совсем как в могиле.

И вот все это — сентябрьскую речь 1941 года Д. Д. Шостаковича, и выступление матери, потерявшей под развалинами детей, и жгучие речи Вишневского, и строгие военные стихи Н. Тихонова, и боевые частушки Волженина, и отдельные целые передачи на эфир, и «Радиохроника», и рассказы партизан о том, как помогал им голос Ленинграда, — предполагали мы внести в первую часть книги «Говорит Ленинград».

...И наши зимние передачи («Говорит Ленинград», «Радиохроника» даже и в эти дни — жили!) с репортажем с оборонного завода, где голодные комсомольцы ремонтировали танки и называли их то «Смерть Гитлеру», то «Победа», со стихами Маяковского «...Но шепот громче голода — он кроет капель спад: „Через четыре года здесь будет город-сад!..“», с речами, стихами и выступлениями ленинградских писателей, с «Театром у микрофона» и письмами радиослушателей, с описа-



нием фантастического быта работников радиокомитета (дни празднования пятидесятой и сотой «Радиоэлектроники» чего стоят!) мы тоже включили в план книги «Говорит Ленинград».

И здесь я хочу сделать одно небольшое, но очень важное дополнение. Тогда, в лихорадочно-вдохновенную ночь 10 января 1942 года, мы включали в план книги, еще не зная очень и очень многого, вернее, не предвидя его. Так, мы включали рассказ и выступление Шостаковича о том, как он пишет Седьмую симфонию, не зная о том, что уже в марте этого же, 1942 года она будет исполнена в Москве и будет названа и самим композитором, и всей землей — «Ленинградской симфонией», и даже будет исполнена в этом же году у нас, в осажденном городе — и кем?! — нашим же радиокомитетским оркестром! Наши оркестранты почти не играли зимой — не хватало сил, не хватало дыхания, особенно духовым — «диафрагме не на что было опереться». Оркестр таял. Некоторые ушли в армию, другие умерли от голода. Трудно забыть мне серые, зимние рассветы, когда совершенно уже свинцово отекший Яша Бабушкин диктовал машинистке очередное донесение о состоянии оркестра.

— Первая скрипка умирает, барабан умер по дороге на работу, валторна при смерти, — отчужденным, внутренне отчаянным голосом диктовал он.

И все же те, кто оставался, — главным образом на казарменном положении при радиокомитете, — помимо службы ПВО, не оставляли и своей основной работы. Самоотверженно работал, репетировал с ними в обледеневших студиях какие-то наиболее доступные им по физическим силам произведения Карл Ильич Элиасберг. А когда пришла весть об исполнении Седьмой — «Ленинградской симфонии», а затем самолет доставил в радиокомитет ее партитуру, почти несбыточным желанием загорелся оркестр — исполнить ее здесь, на ее родине, в осажденном, полуумирающем, но не сдававшемся и не сдающемся городе! Но с первого же взгляда на партитуру Элиасберг понял, что это практически невозможно: гениальная, могучая партитура требовала удвоенного оркестра, — почти сто человек, а в радиокомитете осталось к весне всего пятнадцать живых музыкантов. И все же вместе с художественным руководителем радиокомитета Бабушкиным, вме-

сте с тогдашним исполняющим обязанности председателя радиокomiteта Виктором Антоновичем Ходоренко было решено: Седьмую — исполнить в Ленинграде.

На помощь пришел городской комитет партии: во-первых, он выделил оркестрантам дополнительную ежедневную кашу без выреза — кажется, к тому времени это составляло уже целых сорок граммов крупы или соевых бобов. По Ленинграду был через радио объявлен призыв ко всем музыкантам, находящимся в городе, — явиться в радиокomiteт для работы в оркестре. Музыканты не могли не откликнуться на этот призыв. Пришел истощенный, но, как всегда, строгий и собранный орденосец Заветновский, концертмейстер, первая скрипка Филармонии. Пришел семидесятилетний старейший артист Ленинграда валторнист Нагорнюк — он играл еще в тех оркестрах, которыми дирижировали Римский-Корсаков, Направник, Глазунов. Сын Нагорнюка, красноармеец, демобилизованный после тяжелого ранения, эвакуировался из города и умолял отца поехать с ним, но спокойно отказался старый музыкант от эвакуации. Разве мог он не играть в Седьмой симфонии?!

И все-таки музыкантов не хватало. Тогда Политуправление фронта и Пубалт отдали распоряжение прикомандировать к сводному городскому оркестру лучших музыкантов из армейских и флотских оркестров! Так защитники Ленинграда начали поднимать свою симфонию...

И вот 9 августа 1942 года после долгого запустения ярко, празднично озарился белоколонный зал Филармонии и до отказа наполнился ленинградцами. С фронта, откуда можно было прийти или приехать на трамвае (они вновь стали ходить весной на наших улицах), с прифронтовых заводов подходили и подходили рабочие, сооружающие оружие обороны и наступления Ленинграда; архитекторы, уже проектирующие его возрождение; учителя, диктовавшие детям диктанты в бомбоубежищах; писатели и поэты, не складывавшие пера в самое лютое время недавно миновавшей зимы; солдаты, офицеры, советский и партийный актив города Ленина.

На сцену вышли музыканты. Огромная эстрада Филармонии была тесно заполнена — за пультами сидел сводный городской оркестр. Здесь было ядро

его — музыканты радиокомитета артисты И. Ясинявский, потушивший первую «зажигалку» на крыше радиокомитета, начальник пожарного звена скрипач А. Прессер, музыканты А. Сафонов и Е. Шах, рывшие окопы близ Пулкова; здесь сидели музыканты в армейских гимнастерках и флотских бушлатах — здесь сидели защитники Ленинграда, готовые, как и в предыдущие дни, в любое мгновение отдать жизнь за родной город, за Родину, за народ.

За дирижерский пульт встал Карл Ильич Элиасберг, — он был во фраке, в самом настоящем фраке, как и полагается дирижеру, и фрак висел на нем, как на вешалке, — так исхудал он за зиму... Мгновение полной тишины, и вот — началась музыка. И мы с первых тактов узнали в ней себя и весь свой путь, всю уже тогда легендарную эпопею Ленинграда: и наступающую на нас страшную, беспощадную, враждебную силу, и наше вызывающее сопротивление ей, и нашу скорбь, и мечту о светлом мире, и нашу несомненную грядущую победу. И мы, не плакавшие над погибающими близкими людьми зимой, сейчас не могли и не хотели сдерживать отрадных, беззвучных, горячих слез, и мы не стыдились их... А нам, радиорobotникам, сквозь изумительную эту музыку еще все время звучал и негромкий, спокойный и мудрый голос ее создателя Дмитрия Шостаковича, доносящийся из сентября 1941 года, когда враг рвался в город Ленина:

«Заверяю вас, товарищи, от имени всех ленинградцев, что мы непобедимы и всегда стоим на своем боевом посту...»

...Мы записали в ту ночь — 10 января 1942 года — в плане: «Прорыв блокады», хотя не знали еще, как это будет. Повторяю, нам казалось тогда, что это будет очень скоро, но прошел целый неимоверно трудный год, весь 1942-й, прежде чем была прорвана блокада.

Все, что происходило тогда в здании радиокомитета, происходило стихийно, без плана, без подготовки — музыка, стихи, написанные тут же, речи, — все это шло сплошным ликующим потоком, и нас слышали соединившийся с нами Волховский фронт, вся страна, весь мир. И для нас, работников радио, самой лучшей наградой было то, что в эту праздничную, счастливую ночь со всех сторон шли и бежали ленинградцы к

нам — в радиокомитет, к любимой своей, к истинно народной трибуне!

Одна старушка шла из Новой Деревни всю ночь, а когда милиционеры спрашивали у нее ночной пропуск, она отвечала:

— Я на радио, милый, проздравить ленинградцев.

И милиционеры пропускали ее. Она пришла под утро и «проздрравила».

Другая женщина, домохозяйка, рассказывала мне:

— Услыхала в «Последний час», что блокада прорвана, заплакала, бегаю по комнате, ищу — кого бы обнять, за кого бы схватиться, да никого, кроме меня, в квартире-то нет... Думаю — надо к вам на радио бежать... Да боюсь квартиру оставить. Уж я около «тарелки» встала и до утра слушала — все не одна.

И хотя после прорыва блокада длилась еще целый год с изнурительнейшими обстрелами, с бомбежками, с новыми испытаниями, хотя только через год настал праздник полной и блистательной ликвидации блокады — ленинградцы вспоминают ночь с 18 на 19 января как ночь наивысшей радости, как ночь, когда все сердца предельно были открыты друг другу. И в воспоминание об этой светлой ночи обязательно вплетается радио, которое пело и говорило первый раз до самой зари, и весь мир слышал, как говорит Ленинград...

Книга «Говорит Ленинград» не была составлена. Вместо нее к годовщине разгрома немцев под Ленинградом в 1945 году был создан радиofilm «Девятьсот дней» — фильм, где нет изображения, но есть только звук, и звук этот достигает временами почти зрительной силы... Этот фильм — художественный, своеобразный монтаж документальных радиозаписей, начиная с первых дней войны и кончая разгромом немцев под Ленинградом. Вы слышите в нем живые голоса ленинградцев, их выступления, начиная с июня 1941 года; слышите свист снарядов и грохот разрывов, и слезы матери над раненым ребенком на улице Рубинштейна, 26, и гудок первого поезда, пришедшего с Большой Земли в феврале 1943 года, и речь Вишневого, и много-много другого — уже отгремевшего, отговорившего, отзвучавшего навсегда.

Этот фильм создан совместным трудом работников радиокомитета, всю войну работавших здесь,— глав-

ного инженера Н. Свиридова, военных корреспондентов радиокомитета Л. Маграчева и Г. Макогоненко, оператора Любви Спектор, тонмейстера Н. Рогова. Если бы был жив Бабушкин, он обязательно принимал бы участие в создании этого фильма. Но Яша Бабушкин погиб. Мы боялись, что он не выдержит тягот блокады, умрет от голода. Но он выстоял, выжил, голоду не удалось сломить его. Он погиб как рядовой солдат под Нарвой, в боях за окончательную ликвидацию блокады, в феврале 1944 года.

...Я сказала, что радиопфильм «Девятьсот дней» создан вместо книги «Говорит Ленинград», — я неправильно сказала. Такая книга нужна, и она еще будет. А я вспомнила о ней и о той далекой ночи, потому что мой сборник «Говорит Ленинград» составлен целиком из моих радиовыступлений, начиная с декабря 1941 года по июнь 1945-го, и каждое из них предварялось словами: «Говорит Ленинград...» Эта статья — широко дополненное вступление к сборнику, который первый раз вышел в 1946 году.

Я работала в радиокомитете с начала войны, и в мою книжку «Говорит Ленинград», разумеется, отображено лишь небольшое из того, что я писала для вещания (я писала почти ежедневно и для всех отделов), а сама книжка — только малая часть той небывалой сердечной беседы людей одной судьбы, которую они вели между собою по радио целые годы — в дни штурма, в дни голода, в дни наступления, в первые дни победы. Я счастлива, что и мне выпала честь принять участие в этой неповторимой непрерывной, честнейшей беседе воинов и тружеников Ленинграда, что очень многие мои стихи были написаны для радио — для Большой Земли на эфир, для моих сограждан. Даже «Февральский дневник» писала я в феврале сорок второго года для радио ко Дню Красной Армии, потому-то и построен он как лирический разговор с ленинградцами.

Работа в Ленинградском радиокомитете во время блокады дала мне безмерно много и оставила неизгладимый след в жизни моей. Всегда с чувством глубочайшей благодарности, уважения и любви буду вспоминать я эти нелегкие годы и весь трудолюбивый, скромный, поистине героический коллектив Ленинградского радиокомитета...

...Я знаю, слишком знаю это зданье.  
И каждый раз, когда иду сюда,  
все кажется, что вышла на свиданье  
сама с собой, такой же, как тогда.

Но это больше чем воспоминанье.  
Я не боюсь самой себя — вчерашней.  
На все отвечу, если уж пришла,—  
вот этой серой, беспощадной, страшной,  
глядящей из блокадного угла.

Я той боюсь, которая однажды  
на Мамисоне  
искрящимся днем  
глядела в мир с неукротимой жаждой  
и верила во всем ему, во всем...  
Но это больше чем воспоминанье —  
я не о ней.  
Я о гранитном зданье.

Здесь, как в бреду, все было смещено:  
здесь умирали, стряпали и ели,  
а те, кто мог еще  
вставать с постелей,  
пораньше утром,  
растемнив окно,  
в кружок усевшись,  
перьями скрипели.  
Отсюда передачи шли на город —  
стихи, и сводки,  
и о хлебе весть.  
Здесь жили доктора и репортеры,  
поэт, артистки... всех не перечеть.

Они давно покинули жилища  
там, где-то в недрах города,  
вдали;  
они одни из первых на кладбища  
последних родственников отвезли  
и, спаяны сильнее, чем кровью рода,  
родней, чем дети одного отца,  
сюда зимой сорок второго года  
сошлись — сопротивляться до конца.

Здесь, на походной койке-раскладушке,  
у каменки, блокадного божка,  
я новую почувствовала душу,  
самой мне непонятную пока.

Я здесь стихи горчайшие писала,  
спеша, чтоб свет использовать дневной...  
Сюда, в тот день,  
когда я в снег упала,  
ты и привел бездомную — д о м о й.

...Я посвятила свою книжку «Говорит Ленинград» прекрасной памяти Якова Бабушкина, погибшего под Нарвой в боях по ликвидации блокады; памяти работников радиокомитета Николая Верховского, Всеволода Римского-Корсакова, Леши Мартынова, поэта Владимира Волженина, умерших от голода в феврале сорок второго года; памяти нашей военной радиокорреспондентки Ани Васильевой, убитой на фронте в командировке, — памяти всех работников и сотрудников Ленинградского радиокомитета, отдавших свои жизни за наш город.

Они были настоящими солдатами и людьми. Они любили Ленинград, труд, искусство, жизнь. Они сделали для победы все, что могли... Им так хотелось увидеть ее! Недаром в самые черные дни так часто и взволнованно, думая о сегодняшнем времени, твердил Яша Бабушкин:

Крикну я  
вот с этой,  
с нынешней страницы:  
— Не листай страницы!  
Воскреси!

1946—1967

#### «ЖИВЫ, ВЫДЕРЖИМ, ПОБЕДИМ!»

Дорогие товарищи!

Послезавтра мы будем встречать Новый год. Год тысяча девятьсот сорок второй.

Еще никогда не было в Ленинграде такой новогодней ночи, как нынешняя. Мне незачем рассказывать вам, как она. Каждый ленинградец знает об этом сам, каждый чувствует сейчас, вот в эту минуту, ее небывалое дыхание... И все-таки, вопреки всему, да будет в суровых наших жилищах праздник!

Ведь мы встречаем тысяча девятьсот сорок второй в своем Ленинграде — наша армия и мы вместе с ней не отдали ее немцу, не дали ему вторгнуться в город. Наш город в кольце, но не в плену, не в рабстве.

Это уже безмерно много.

Да, нам сейчас трудно... Вот уже пятый месяц враг пытается убить в нас волю к жизни, сломить наш дух, отнять веру в победу. Но мы верим... нет, не верим — знаем — она будет! Ведь немцев уже отогнали от Москвы, ведь наши войска отбили обратно Тихвин. Побе-

да придет, мы добьемся ее, и будет вновь в Ленинграде и тепло, и светло, и даже... весело... И, может быть, товарищи, мы увидим наш сегодняшний хлебный паек, этот бедный, черный кусочек хлеба, в витрине какого-нибудь музея... И мы вспомним тогда наши сегодняшние — декабрьские — дни с удивлением, с уважением, с законной гордостью.

Позвольте же мне, дорогие товарищи, перед наступающим Новым годом прочитать вам два стихотворения. Они называются «Письма на Каму». Первое «Письмо на Каму» написано в сентябре этого года, в дни, когда враг пытался штурмом овладеть нашим городом.

Я знаю — далеко на Каме  
тревожится, тоскует мать.  
Что написать далекой маме?  
Как успокоить? Как солгать?

Она в открытках каждой строчкой,  
страшась и всей душой любя,  
все время молит:

«Дочка, дочка,  
прошу, побереги себя...»

О, я любой ценою рада  
тревогу матери унять.  
Я напишу ей только правду.  
Пусть не боится за меня.

«Я берегу себя, родная.  
Не бойся, очень берегу:  
я город наш обороняю  
со всеми вместе, как могу.  
Я берегу себя от плена,  
позорнейшего на земле.  
Мне кровь твоя, чернея в венах,  
диктует: гибель, но не плен!  
Не бойся, мама, я не струшу,  
не отступлю, не побегу.  
Вращенную тобою душу  
непобежденной сберегу.  
Не бойся, нет во мне смятенья,  
еще надолго хватит сил:  
победоносному терпенью  
недаром Ленин нас учил.  
Не бойся, мама,— я с друзьями,  
а ты люби моих друзей...»

...Так я пишу далекой маме.  
Я написала правду ей.



Я не пишу — и так вернее,—  
Что старый дом разрушен наш,  
что ранен брат, что я старею,  
что мало хлеба, мало сна.  
И главная, быть может, правда  
в том, что не все узнает мать.  
Ведь мы залечим эти раны,  
мы всё вернем себе опять.  
И сон — спокойный, долгий, теплый,  
и песни с самого утра,  
и будет в доме, в ясных стеклах  
заря вечерняя играть...

И я кричу знакомым людям:  
— Пишите правду матерям.  
Пишите им о том, что будет.  
Не жалуйтесь, что трудно нам...

И второе письмо на Каму, написанное теперь, в декабре:

...Вот я снова пишу на далекую Каму.  
Ставлю дату: двадцатое декабря.  
Как я счастлива, что горячо и упрямо  
штемпеля Ленинграда на конверте горят.  
Штемпеля Ленинграда! Это надо понять.  
Все защитники города понимают меня.

Ленинградец, товарищ, оглянись-ка назад,  
в полугодые войны, изумляясь себе:  
мы ведь смерти самой поглядели в глаза.  
Мы готовились к самой последней борьбе.

Ленинград в сентябре, Ленинград в сентябре...  
Златосумрачный, царственный листопад,  
скрежет первых бомбежек, рыданье сирен,  
темно-ржавые контуры баррикад.

Только все, что тогда я на Каму писала,  
все, о чем я так скупо теперь говорю,—  
ленинградец, ты знаешь,— было только началом,  
было только вступленьем к твоему декабрю.

Ленинград в декабре, Ленинград в декабре!  
О, как ставенки стонут на темной заре,  
как угрюмо твое ледяное жильё,  
как врагами изранено тело твое...

Мама, Родина светлая, из-за кольца  
ты твердишь:

«Ежечасно гордимся тобой».  
Да, мы вновь не отводим от смерти лица,  
принимаем голодный и медленный бой.

Ленинградец, мой спутник,  
мой испытанный друг,

нам декабрьские дни сентября тяжелей.  
Все равно не разнимем  
слабеющих рук:  
мы и это, и это должны одолеть.

Он придет, ленинградский торжественный полдень,  
тишины, и покоя, и хлеба душистого полный.  
О, какая отрада,  
какая великая гордость  
знать, что в будущем каждому скажешь в ответ:  
— Я жила в Ленинграде  
в декабре сорок первого года,  
вместе с ним принимала  
известия первых побед.  
...Нет, не вышло второе письмо  
на далекую Каму.  
Это гимн ленинградцам — опухшим, упрямым,  
родным.  
Я отправлю от имени их за кольцо  
телеграмму:  
«Живы. Выдержим. Победим!»

*29 декабря 1941*

## ЛЕНИНГРАДЦЫ ЗА КОЛЬЦОМ

Я хочу рассказать вам, товарищи, о ленинградцах за кольцом.

Недавно я летала в Москву, в командировку, и на днях вернулась оттуда.

Мы вылетели из Ленинграда ранним утром первого марта, и наш самолет шел на бреющем полете над толпами маленьких елок, над игрушечными деревнями, над озером — сплошной, ровной снежной равниной.

«Здесь проходит наша Дорога жизни», — думала я и не видела ее из окна самолета. Ни дороги, ни одного человека, ни малейшего признака жизни незаметно сверху — где ж тут кольцо, где ж война? Леса и поляны, захватывающий дыхание огоромный простор — Родина. Какая она огромная, о, какая огромная, какая красивая, печальная и — тихая-тихая. Но я знаю — она воюет, воюет каждая ее пядь. А за елками, за снегом, за озером, в кольце — Ленинград. Города не было видно, но все пассажиры самолета смотрели в его сторону. Одни из них покидали Ленинград надолго, быть может, навсегда, другие — временно, но все мы были исполнены одним чувством: это чувство какой-то

новой, личной ответственности и глубокой тревоги за оставленный Ленинград; это острая тоска о нем, возникающая сразу же, как только от него оторвешься.

А мне все вспоминались стихи Маяковского, тоже по-новому, по-ленинградски звучащие теперь для нас:

Землю,  
      где воздух  
                          как сладкий морс,  
бросишь  
      и мчишь, колеса,—  
но землю,  
                          с которую  
                                  вместе мерз,  
вовек  
      разлюбить нельзя.

...Через три дня по приезде в Москву в комнату ко мне постучался незнакомый человек.

— Простите,— сказал он,— я случайно услышал, что вы прилетели из Ленинграда. Я тоже ленинградец! Ну, пожалуйста, поскорее расскажите. Ну как он? Что там?

Я стала рассказывать ему о февральском Ленинграде. Вы все знаете, какой он был. Я рассказала ему все.

— Ох, как я хочу поскорее обратно! — воскликнул он, окончив жадные и тревожные расспросы.— Меня вызвали сюда в конце января. Вы понимаете, вот эта гостиница, тепло, свет — это все отлично, и работы у меня много, но как я тоскую о Ленинграде. Вы понимаете? Ведь там — жизнь... Я не могу яснее выразиться. И голод и смерть, но такая жизнь!

Я вздрогнула, услышав эти слова. Я тоже не могу яснее выразиться, но я вдруг сердцем поняла, как правильно сказал он о нашем Ленинграде: да, да, жизнь, особая, высокая Жизнь!

Это был директор одного ленинградского оборонного завода. Я забыла спросить его имя и фамилию — для меня важнее всего было, что он ленинградец! Его вызвали в Москву для того, чтобы он внедрил на заводе Москвы ленинградский опыт работы. Вы слышите, товарищи: оказывается, в блокаде, в тягчайших бытовых и производственных условиях, наши рабочие и инженеры научились работать с такой экономией, быстротой и изобретательностью, что у них учатся теперь

самые передовые предприятия за кольцом! Это наша великая гордость, гордость тружеников.

А если бы вы слышали только, товарищи, с каким восторгом говорят за кольцом о наших кировцах. Вы помните, в октябре они были награждены правительством за выпуск мощных танков. Вы знаете, что часть Кировского завода переведена в глубь страны для того, чтобы в более спокойных условиях продолжать свою работу. Надо было обосноваться на совершенно новом месте и начать выпуск движущихся крепостей немедленно — ведь война не ждет. И наши кировцы выполнили свою тяжелую задачу с тем новым, ленинградским упорством и энтузиазмом, которые рождены были в их сердцах здесь в сентябрьские — октябрьские дни 1941 года.

Я слышала это от работников Наркомата танковой промышленности у писателя Михаила Шолохова. Михаил Александрович только что приехал на несколько дней в Москву с Южного фронта. В тот вечер у него были доваторцы — командиры казачьих частей генерала Доватора, одного из славнейших защитников Москвы, были инженеры, писатели. Шолохов передал мне небольшое письмо и просил его прочесть вам по возвращении в Ленинград.

Вот что написал Михаил Шолохов:

«Родные товарищи ленинградцы! Мы знаем, как тяжело вам жить, работать, сражаться во вражеском окружении. О вас постоянно вспоминают на всех фронтах и всюду в тылу. И сталевар на далеком Урале, глядя на расплавленный поток металла, думает о вас и трудится не покладая рук, чтобы ускорить час вашего освобождения. И боец, разящий немецких захватчиков в Донбассе, бьет их не только за свою поруганную Украину, но и за те великие страдания, которые причинили враги вам, ленинградцам. Мы жадно ждем того часа, когда кольцо блокады будет разорвано и великая страна прижмет к груди исстрадавшихся героических сынов и дочерей овеянного вечной славой Ленинграда».

...Со словами писателя Михаила Шолохова перекликается письмо, переданное мне для ленинградских женщин работницами одного московского завода.

Я выступала на этом заводе в обеденные перерывы с рассказами и стихами о Ленинграде.

Начиная беседу в первом цехе, я сказала: «Товарищи, к сожалению, я сумею рассказать вам немного — у нас мало времени...»

Несколько голосов почти возмущенно перебило меня:

— Рассказывайте, рассказывайте! Мы окончим работу позже.

И не отпускали, с огромной любовью расспрашивая о ленинградцах, о ленинградском быте, заводах, фронте. Они задавали самые разнообразные вопросы... Например, спросили: «Правда ли, что в Ленинграде была норма по двести пятьдесят граммов хлеба в день?» Я ответила, что было даже и сто двадцать пять граммов.

Спрашивали: неужели же враг так близко, что стреляет из дальнобойных орудий по центру города и что обстрел может начаться в любую минуту? Правда ли, что воду берут ведрами прямо из Невы?.. Расспрашивали: как же работают во время обстрелов на заводах?.. И столько заботы, столько тревоги было в их вопросах, иногда для нас наивных, что становилось теплее на сердце.

А в цехе, где работают исключительно женщины, многие даже не пошли обедать, узнав, что будет беседа о Ленинграде, сбегали в другие цеха и привели товарок. Надо было видеть, какими строгими становились лица женщин, когда слушали они о ленинградских работниках, матерях и домохозяйках. И они даже не рукоплескали, когда я кончила, понимая, что рукоплесканиями не выразить чувства сострадания к ленинградцам, чувства гордости ими.

Вот их письмо, письмо москвичек, где за коротеньким текстом из двух страниц теснятся десятки подписей:

«Женщины-ленинградки! Мы, работницы московского завода, шлем вам теплый, дружеский привет. Слушая выступление одного из ленинградских товарищей, мы восхищались вашей стойкостью, вашим мужеством, дорогие женщины.

Мы верим, что недалек тот день, когда вы вздохнете свободно и лица ваши озарятся улыбкой. Вы в вашей борьбе не одни. За кольцом блокады о вас думают,

вам помогают тысячи, миллионы людей. Мужайтесь, товарищи! Победа над врагом искупит все ваши страдания.

*Аня Кузьмич, Фролова, Плешакова, Платонова...»*

И много, много других подписей, и все — разборчивые, старательно выведенные, — пусть знают ленинградки имена своих верных подруг.

Они пишут — «победа искупит ваши страдания...» Верно. Но уже сейчас — и за кольцом это особенно ясно — видно, что не было и нет у нас в Ленинграде никаких испытаний, неоправданных жертв и ненужного мужества. Нет такого. Все, что мы пережили и вынесли, все, что мы утратили, уже сейчас оправдано тем, что придает людям страны новые силы в борьбе с врагом.

...Ленинградца, только что приехавшего за кольцо, можно узнать сразу: блокада наложила на облик каждого из нас свои сумрачные краски. И взгляд у ленинградца особый — горький и какой-то всезнающий, — и руки, сколько ни мой, всё остаются темными, как и лицо... Но не каким-то «несчастеньким» приезжает за кольцо ленинградец: нет, он приезжает трудиться там, он выступает не с жалобами на ленинградский быт, а как влюбленный сын, хозяин и защитник Ленинграда.

Наш поэт Николай Тихонов, приехавший в Москву в феврале, работал непрерывно: он писал и печатал статьи о Ленинграде, стихи, рассказы, очерки; страстно выступал на митингах — молдаванском, всеславянском, и с остановившимся дыханием слушали слова ленинградца представители борющихся с гитлеровскими захватчиками народов.

А 29 марта в Москве впервые исполнялась Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.

Седьмую симфонию Шостакович писал в Ленинграде и в один из сентябрьских дней рассказывал нам об этом по радио. Ведь мы помним, какие вечера, какие дни были у нас в сентябре сорок первого года!

А Шостакович тогда говорил:

— Час тому назад я закончил партитуру второй части моего нового большого симфонического сочинения. Итак, мною уже написаны две части. Работаю я над ними с июля месяца тысяча девятьсот сорок первого года. Несмотря на военное время, несмотря на опас-

ность, угрожающую Ленинграду, я в довольно быстрый срок написал две части симфонии. Я работаю сейчас быстро и легко. Мысль моя ясна, и творческая энергия неудержимо заставляет меня двигать мое сочинение к окончанию...

И вот 29 марта 1942 года объединенный оркестр Большого театра и Всесоюзного радиокомитета исполнил Седьмую симфонию, которую композитор посвятил Ленинграду, назвал Ленинградской.

В Колонный зал Дома союзов пришли известные всей стране летчики, писатели, стахановцы. Тут было много фронтовиков — с Западного фронта, с Южного, с Северного, — они приехали в Москву по делам, на несколько дней, с тем чтобы завтра вновь отправиться на поля сражения, и все же вырвали время прийти послушать Седьмую — Ленинградскую — симфонию. Они надели все свои ордена, пожалованные им Республикой, и все были в лучших своих платьях, праздничные, красивые, нарядные. А в Колонном зале было очень тепло, все были без пальто, горело электричество, и даже пахло духами.

Первые звуки Седьмой симфонии чисты и отрадны. Их слушаешь жадно и удивленно — так вот как мы когда-то жили, до войны, как мы счастливы-то были, как свободны, сколько простора и тишины было вокруг. Эту мудрую, сладостную музыку мира хочется слушать без конца. Но внезапно и очень тихо раздается сухое потрескивание, сухая дробь барабана — шепот барабана. Это еще шепот, но он все неотступнее, все назойливее. Короткой музыкальной фразой — печальной, монотонной и вместе с тем какой-то вызывающе веселой — начинают перекликаться инструменты оркестра. Сухая дробь барабана громче. Война. Барабаны уже гремят. Короткая, монотонная и тревожная музыкальная фраза овладевает всем оркестром и становится страшной. Музыка бушует так, что трудно дышать. От нее никуда не деться... Это враг наступает на Ленинград. Он грозит гибелью, трубы рычат и свищут. Гибель? Ну что же — не боимся, не отступим, не отдадим себя в плен врагу. Музыка бушует неистово... Товарищи, это о нас, это о сентябрьских днях Ленинграда, полных гнева и вызова. Яростно гремит оркестр — все в той же монотонной фразе звенят фанфары и неудержимо несут душу навстречу смертельному

бою... И когда уже нечем дышать от грома и рева оркестра, вдруг все обрывается, и в величественный реквием переходит тема войны. Одинокий фагот, покрывая бушующий оркестр, поднимает ввысь свой низкий, трагический голос. И потом поет один, один в наступившей тишине...

«Я не знаю, как охарактеризовать эту музыку,— говорит сам композитор,— может быть, в ней слезы матери или даже чувство, когда скорбь так велика, что слез уже не остается».

Товарищи, это про нас, это наша великая бесслезная скорбь о наших родных и близких — защитниках Ленинграда, погибших в битвах на подступах к городу, упавших на его улицах, умерших в его полуслепых домах...

Мы давно не плачем, потому что горе наше больше слез. Но, убив облегчающие душу слезы, горе не убило в нас жизни. И Седьмая симфония рассказывает об этом. Ее вторая и третья части, тоже написанные в Ленинграде,— это прозрачная, радостная музыка, полная упоения жизнью и преклонения перед природой. И это тоже о нас, о людях, научившихся по-новому любить и ценить жизнь! И понятно, почему третья часть сливается с четвертой: в четвертой части тема войны, взволнованно и вызывающе повторенная, отважно переходит в тему грядущей победы, и музыка свободно бушует опять, и немислимой силы достигает ее торжественное, грозное, почти жестокое ликование, физически сотрясающее своды здания.

Мы победим немцев.

Товарищи, мы обязательно победим их!

Мы готовы на все испытания, которые еще ожидают нас, готовы во имя торжества жизни. Об этом торжестве свидетельствует «Ленинградская симфония», произведение мирового звучания, созданное в нашем осажденном, голодающем, лишенном света и тепла городе,— в городе, сражающемся за счастье и свободу всего человечества.

И народ, пришедший слушать «Ленинградскую симфонию», встал и стоя рукоплескал композитору, сыну и защитнику Ленинграда. А я глядела на него, маленького, хрупкого, в больших очках и думала:

«Этот человек сильнее Гитлера...»

...Недавно, с группой других ленинградцев, бывших



за кольцом, я вернулась обратно. Было ясное апрельское утро, когда мы приземлились в Ленинграде.

— Ну вот и дома,— говорил один майор и все время топал ногой по плотной земле аэродрома.—Ну вот и дома. Здорово-то как, а? Ух, рад, что вернулся! (Он засмеялся.) Уж конечно, с сегодняшнего вечера опять поясок придется потуже затянуть... Ну ничего, ничего... зато — дома. Живем!

Скоро мы выехали с аэродрома и, когда попали в город, часть пути прошли пешком — нарочно, чтоб лучше разглядеть все после разлуки. И мы шли и с торжеством переглядывались, без слов понимая друг друга. Чисто-то как! Очень чисто на улицах и пахнет, как всегда в весеннем Ленинграде,— свежей, ледяной водой. Хорошо! Хорошо, что опять асфальт и рельсы. И даже девятка идет по Литейному, как раньше.

А по радио передают музыку и песни — и много, мы идем уже целых пятнадцать минут, а музыка все еще играет.

Мы с болью отмечали новые развалины, появившиеся в городе за этот месяц, печальные, острые лица подростков, сидевших у стен на солнечной стороне улиц,— зимой их почти не видно было, а вот теперь вышли на солнышко,— как вымотала их за зиму проклятая блокада! И все-таки — город ожил! На тех же самых темных зимних лицах теперь брезжит свет улыбки, и все друзья—«в форме», за работой деятельные, упрямые...

Как хорошо вернуться к ним, к труду и борьбе за Ленинград, за его победу!

Враги думали, что после всех мук, которым они подвергли и еще подвергают наш город, мы будем страшиться Ленинграда; но нам ли бояться тебя, родной город, закаливший нас, подаривший нам новые силы, новую дерзость, новую мудрость...

Нам от тебя теперь не оторваться.  
Одною небывалою борьбой,  
одной неповторимой судьбой  
мы все отмечены. Мы — ленинградцы.

Нам от тебя теперь не оторваться.  
Куда бы нас ни повела война —  
душа твою жизнью полна,  
и мы везде и всюду — ленинградцы.

Нас по морщинам узнают надменным  
у бледных губ, у сдвинутых бровей.

По острым, несогнувшимся коленам.  
по пальцам, почерневшим от углей.

Нас по улыбке узнают! Не частой,  
но дружелюбной, ясной и простой.  
По вере в жизнь. По страшной жажде счастья,  
по доблестной привычке трудовой.

Мы не кичимся буднями своими.  
Наш путь угрюм и ноша нелегка,  
но знаем, что завоевали имя,  
которое останется в веках.

Да будет наше сумрачное братство  
отрадой мира лучшею навек,  
чтоб даже в будущем по ленинградцам  
равнялся самый смелый человек.

Да будет сердце счастьем озаряться  
у каждого, кому проговорят:  
— Ты любишь так, как любят ленинградцы.  
Да будет мерой чести Ленинград.

Да будет он любви бездонной мерой  
и силы человеческой живой,  
чтоб в миг сомнения, как символ веры,  
твердили имя горькое его.

Нам от него теперь не оторваться.  
Куда бы нас ни повела война —  
его величием душа полна,  
и мы везде и всюду — ленинградцы.

*2 мая 1942*

## ЛЕНИНГРАД — ФРОНТ

Я расскажу вам, товарищи, о нашем, Ленинградском фронте.

С неделю назад я была на одном из ближних подступов к Ленинграду, в полку, которому Военный совет вручал в тот день гвардейское знамя.

Мы ехали по весеннему утреннему Ленинграду. Он весь был озарен теплым солнцем, он был, к счастью, очень тихий, совсем безлюдный и неизменно красивый.

У моста, рядом с большим недымившим заводом, наши документы попросил первый пикет. Пока красноармейцы проверяли документы моих товарищей, я разглядывала высокий заводской забор: он был кое-где пробит осколками снарядов и весь сплошь покрыт пла-

катами, воззваниями и листовками. Мне подумалось, что, может быть, уже сейчас этот забор надо бережно, так, весь целиком, и перенести в музей, а люди будущего с благоговением будут останавливаться перед ним, как перед вечно живым куском истории.

Наши стены шепчут, бормочут, кричат: да, прямо на стенах пишется то, что должны знать граждане, в чем нужно их предупредить, чему нужно научить их.

Повсюду натрафаречены некрупными буквами правила, как уберечься от гриппа; стены Невского проспекта советуют: «Держите ноги в тепле и сухими...», «При повышенной температуре немедленно идите к врачу...»

Но больше всего надписей о том, как надо обращаться с огнем, о борьбе с пожарами, о предотвращении их. Уже по одним только надписям этим человек, приехавший в Ленинград, может понять, как грозен был огонь городу в эти годы. Наверное, когда-нибудь эти надписи будут не очень понятны приезжим, наверное, когда-нибудь мы сами удивимся, увидев, что на Литейном, на доме, где когда-то жил Некрасов, начертано: «Не ходите по лестницам с горящей лучиной, с бумажными жгутами и тряпками».

Одна кирпичная стена на Международном огромными буквами кричит почти гексаграммом:

«Не оставляйте детей возле горящих коптилок!»

Сколько бедствий сразу встает за этими строчками, начертанными прямо на стенах огромного цивилизованного, прекрасного современного города!

А частные объявления на деревянных укрытиях?

Довольно долго на щите, закрывающем витрину одного когда-то богатого магазина на площади Льва Толстого, висело такое объявление:

«Всем гражданам! Отвожу ихних покойников на саночках до кладбища и другие бытовые перевозки...»

«За ненадобностью продается легкий гроб...»

Целая драматическая, необычная повесть кроется за этим бытовым объявлением.

Да, стены наших домов — это как бы открытый каменный дневник — дневник всего города, дневник каждого из нас, ленинградцев. Мы, конечно, еще не в состоянии оценить и даже просто прочесть его. Но давайте прочтем хотя бы две его страницы.

Подойди к стене своего дома, товарищ, где рядом

наклеены прошлогодние и сегодняшние листовки и плакаты,— пробеги их глазами, и сколько чувств заговорит в тебе!

Ты непременно увидишь на стене своего дома уже слегка пожелтевшее от осенних дождей, покоробленное от зимних морозов воззвание. Женщины и подростки торопливо расклеивали его в сентябре 1941 года. Суровые, трепетные слова на этом желтом листе:

«Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!

Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть в Ленинград.. Ленинград стал фронтом. Враг у ворот».

А рядом с этим возванием — другие, наклеенные с неделю назад: «Ленинградцы — на огороды!», «Ленинградец, помни: если ты обработаешь и засеешь 15 сотых га, ты получишь капусту, ты получишь редиску, лук, морковь... Этого вполне хватит, чтобы обеспечить свою семью овощами на весь год».

Вот две страницы твоего дневника, ленинградец. Между ними год войны, из них десять месяцев блокады.

И первая страница — первое воззвание — напомним о том, какими были мы все в августе — сентябре 1941 года, когда враги бешено рвались в Ленинград.

Мы жили тогда напряженной, почти неистовой жизнью. Кто мог поручиться, что будет с ним завтра, что будет со всем городом? Быть может, завтра, быть может, через час придется драться с врагом на этих самых улицах, возле этого плаката — «Враг у ворот»; быть может, придется пасть под ним. И мы жили только этим. Никто не думал о своем завтрашнем дне, никто не заглядывал в будущее. Все силы были отданы тому, чтоб сегодня, сейчас остановить врага, не пустить его в город.

И враг был остановлен.

Рядом с этим пожелтевшим возванием — вторая страница дневника — листовка об огородничестве. Она говорит о том, что ты не боишься близкого и свирепого врага. Выстояв в сентябре, теперь-то ты наверняка знаешь, что никогда немцы города не возьмут. И ты живешь будущим. Ты работаешь не только для сегодняшнего дня, но и впрок. Ты стал другим: увереннее, выносливее, храбрее. А главное — ты заново научился

жить обычной человеческой жизнью в городе, который десять месяцев назад стал фронтом и по сей день остается фронтом.

...В то утро, когда мы ехали на передний край Ленинградского фронта, наши командировки первая военная застава проверяла у ворот большого завода еще в черте города. Это был «мой» завод. Я проработала здесь в комитете комсомола несколько лет подряд. Глядя на знакомые корпуса и здания, я вдруг совсем по-новому вспомнила молодость, горячие дни первой пятилетки. Товарищи, помните, ведь мы всё тогда называли по-военному. Заводские ночи, исполненные мирного созидательного труда, мы почему-то называли «штурмовыми ночами»; комсомольские группы, торопившие заказ, именовали «боевыми постами» и непрерывно повторяли:

— Мы боремся на ф р о н т е индустриализации... Наш завод — форпост ф р о н т а социалистического строительства.

Отсюда начинается теперь настоящий фронт.

«И вечный бой! Покой нам только снится,— сквозь мглу и пыль...»

А сразу от завода по обе стороны шоссе под просторным небом возвышаются высокие новые дома. Они красивы, огромны, они соединены арками, их украшают стройные колонны и статуи на крышах. Каменщики и штукатуры, возводившие их, говорили о себе:

— Мы боремся на ф р о н т е жилищного строительства.

— Ф р о н т быта,— называли мы эти арки, эти широкие, мирные дворы с фонтанами и клумбами.— Ф р о н т культуры.

Теперь от дома к дому, пересекая улицу, возведены баррикады, надолбы, ежи, завалы. Вторая застава проверяет наши командировки.

Да. Этот завод, эти недостроенные дома, этот садик в августе прошлого года стали фронтом не в переносном, как в мирное время, а в буквальном — в грозном, бедственном и мужественном — значении этого слова. Это все еще город, городские улицы — и это уже фронт. Мы ехали менее часа, и вот мы почти на передовой линии фронта, в полку, которому будут вручать сейчас гвардейское знамя, завоеванное им здесь, на этом фронте, этой зимой.

Тяжелое, огромное испытание стояло перед полком, и он с честью вышел из него. Он не пустил врага в Ленинград, удержал свои рубежи.

Суровую зиму перенесли все ленинградцы и, так же как гвардейцы, с честью вышли из испытания, потому что удержали все свои рубежи. Это особые рубежи. Это рубежи жизни.

И когда наступила весна, всей стране, всему миру и, главное, нам самим стало ясно, что Ленинград, коченевший от стужи, жаждавший, голодавший, видевший на улицах своих бесчисленные гробы, город, где объявления о перевозках трупов на саночках — быт, — этот Ленинград — город неугасимой, торжествующей жизни.

Разве не торжество жизни, что именно в Ленинграде только одно ремесленное училище обучило этой зимой и отправило за кольцо на предприятия страны более пятисот молодых умелых мастеров? Пожалуй, лишь мы сами сумеем вполне оценить то, как учились работать голодающие, зябнувшие ребята, в то время как руки их примерзали к металлу и зубы шатались во рту, как у стариков... Но они выучились мастерству за зиму, и этой весной Ленинград снова дал стране питерские, ленинградские кадры рабочего класса.

А одна табачная фабрика освоила за зиму четырнадцать совершенно различных и не свойственных ей производств, и в том числе научилась изготавливать превосходный сульфидин, красный и белый стрептоцид...

Да, смерть глядела этой зимой в самые наши зрачки, глядела долго и неотрывно. Но она не смогла загипнотизировать нас, как гипнотизирует удав намеченную жертву, обезволивая ее и покоряя. Фашисты, заслывшие к нам смерть, опять просчитались. Мы люди, а не кролики. Мы гордые люди, люди, любящие жизнь, мы не уступали смерти без боя ни одной пяди: вот в разгар ее безумия мы даже изобретали лекарства, мы лечились и лечили друг друга и отвоевали тысячи и тысячи людей, уже обреченных на гибель.

И это есть торжество жизни, хотя жертвы наши и очень велики.

А разве не торжество жизни, что Публичная библиотека наша — одно из величайших книгохранилищ мира — работала в Ленинграде всю эту зиму?!

Да, в библиотеке на абонементе было всего два фо-

наря «летучая мышь», и от книг веяло смертным холодом. Но в этой тьме работники библиотеки подбирали книги для госпиталей и библиотек-передвижек. В библиотеку приходили запросы на узбекские книги, на грузинские, татарские — для бойцов грузин, татар и узбеков, для бойцов многих других национальностей, которые защищают Ленинград.

Какие только запросы не приходили в Публичную библиотеку!

Ведь в осаде стали проблемой простейшие вещи — например, добывание огня. Раньше спички привозили к нам из области, а теперь... И вот в Публичную библиотеку поступает запрос: как организовать производство кремешков для зажигалок? Как наладить производство спичек? Свечей? Белковых дрожжей? И множество, множество таких же необходимейших для обороны, для жизни города вещей... И сотрудники библиотеки тщательно, по-военному оперативно подбирали литературу — по спичкам, по свечам, по дрожжам... Сплошь и рядом оказывалось, что новейшие пособия не годятся для Ленинграда — просто нет возможности поставить производство в блокаде по-современному. Тогда подыскивались старинные книги, книги XVIII века, обучавшие примитивному изготовлению хотя бы тех же свечей — «как катать свечи», — и это-то как раз и подходило к нашим блокадным условиям и немедленно применялось. Что ж, лучше XVIII век, чем каменный! Оказывалось, например, что такая вещь, как современная спичка, требует для своего изготовления до семидесяти одной различной химикалии. Нет такого количества химикалий в осаде! Тогда разыскивалась старая литература, литература эпохи рождения самой первой спички, и производство ставилось по ней; мы знаем наши спички — зажигаются они, конечно, с применением физического труда, но уж лучше такие, чем совсем никаких. А на книжечке с такими спичками нарисовано даже здание Адмиралтейства и напечатаны стихи!

Так мирное книгохранилище участвовало в обороне города, в защите основ цивилизации, ни на один день не прекращая главной своей работы.

За эту зиму много частных библиотек осталось без хозяев, осиротело... Казалось бы, не до книг в городе, терпящем такое бедствие. Но работники Публичной

библиотеки не дали погибнуть осиротевшим, оставшимся без защиты книгам: на саночках, а весной на детских мальпостах, совершая огромные концы пешком, качаясь от слабости и тяжелого груза, возили они выморочные библиотеки в свой фонд и спасли для будущих поколений сотни, тысячи книг, рукописей, архивов...

Ленинградцы мыслили, творили, дерзали, то есть дрались за жизнь на всех ее рубежах.

Это было очень тяжело, но ни с единого рубежа жизни мы не отступили. Мы совсем по-новому поняли, что жизнь — это деятельность и что, как говорят у нас, «раньше смерти помрешь», если перестанешь трудиться.

И в те же дни, когда гвардейцы принимали знамя, тысячи ленинградцев, подобно им, принимали из рук Родины награды, которые мы вправе считать наградами фронтовыми...

Полк принимал знамя в бою.

Гвардейцы стояли на маленькой поляне среди бедных, еще почти не одетых травой бугров, под холодным северным ветром, а за ними, в синеватой дымке, виднелись нежные контуры Ленинграда.

Каким отсюда строгим и спокойным

казался он! Покой и тишина...

— Что в городе? — спросил меня полковник.

И я ему ответила: — Война!

И вот командир полка берет из рук члена Военного совета багряное гвардейское знамя. Командир высоко поднимает его над головой и показывает всему полку — смотрите, гвардейское знамя в наших руках; это знамя — знак великого доверия Родины. И командир опускается перед знаменем на колени и благоговейно целует край его.

Вместе с ним преклоняет колена весь полк.

— Мы клянемся, — говорит командир.

И гвардейцы одним голосом повторяют за ним:

— Клянемся!..

Гвардейцы клянутся своему знамени и стоящему за ними Ленинграду в незыблемой верности, в священной ненависти к врагу. Немцы еще у ворот Ленинграда. Но они не войдут в город. В этом клянутся гвардейцы, и клятву их подтверждает оружейный салют; это не простой салют, а огневой залп по заранее раз-



веданной цели — по вражеским батареям. Еще несколько варварских батарей, швыряющих снаряды в наш город, уничтожены этим гвардейским салютом.

Много нового труда пришло с весной.

Тысячи ленинградцев трудятся на огородах, возделывают и засеивают землю, ждут от нее благодарного и обильного урожая и знают, что этот урожай они обязательно снимут — это будет осенью, в августе — сентябре 1942 года. Этот урожай поможет нам также справиться с цингой. Надо думать, к осени мы добьем цингу.

Оркестр радиокомитета начал репетировать Седьмую симфонию Шостаковича. Через месяц-полтора в открытом дневнике города, на его стенах, появится новая страница — афиша, извещающая о первом исполнении Седьмой симфонии в Ленинграде. Эта афиша будет висеть рядом с пожелтевшим прошлогодним воззванием «Враг у ворот»... Прошлогодним? Нет, сегодняшним! Ведь враг все еще у ворот — враг на улице Стачек, рядом! Больше того — мы знаем, что он не оставил своей бредовой идеи взять Ленинград... Мы должны быть готовы к тому, что, может быть, нам предстанут новые тяжелые испытания...

Поэтому с той же силой звучат слова прошлогоднего воззвания: «Пусть каждый ленинградец ясно осознает, что от него самого, от его поведения, от его работы, от его готовности жертвовать собою, от его мужества зависит во многом судьба города — наша судьба. Враг у ворот! Ленинград стал фронтом!»

Мы шли на фронт по улицам знакомым,  
припоминали каждую, как сон:  
вот палисад отеческого дома,  
здесь жил, шумя, огромный добрый клен.

Он с форточки тянулся к нам весной,  
прохладный, глянцевитый поутру...  
Но этой темной ледяной зимою  
и ты погиб, зеленый, шумный друг.

Зияют окна вымершего дома.  
Гнездо мое, что сделали с тобой!  
Разбиты стены старого райкома,  
его крылечко с кимовской звездой.

Я шла на фронт сквозь детство —  
той дорогой,  
которой в школу бегала давно.  
Я шла сквозь юность, сквозь ее тревогу,  
сквозь счастье свое перед войной.

Я шла сквозь хмурое людское горе —  
пожарища,  
развалины,  
гробы...

Сквозь новый,  
только возникавший город,  
где здания прекрасны и грубы.  
Я шла сквозь жизнь, сводя до боли пальцы.  
Твердил мне путь, давнишний и прямой:  
— Иди. Не береги себя. Не жалься,  
не плачь, не умиляйся над собой.

И вот — река,  
лачуги,  
ветер жесткий,  
челны рыбацьи, дымный горизонт,  
землянка у газетного киоска, —  
наш,  
ленинградский,  
неприступный фронт.

Да. Знаю. Все, что с детства в нас горело,  
все, что в душе болит, поет, живет, —  
все шло к тебе,  
торжественная зрелость,  
на этот фронт у городских ворот.

Ты нелегка — я это тоже знаю.  
Но все равно — пути другого нет.  
Благодарю ж тебя, благословляю,  
жестокий мой,  
короткий мой расцвет, —  
за то, что я сильнее, и спокойней,  
и терпеливей стала во сто крат  
и всю жизнь защищать достойна  
Великий Город Жизни — Ленинград.

3 июня 1942

## СЕНТЯБРЬ СОРОК ВТОРОГО ГОДА...

В Ленинграде осень, сентябрь...

Говоря «сентябрь», мы вспоминаем сентябрь прошлого года, тысяча девятьсот сорок первого. Тот сентябрь, когда первые артиллерийские снаряды и первые фугасные бомбы ворвались в наш город с незна-

комым, еще пугающим свистом и ревом; тот сентябрь, когда фашисты штурмовали Ленинград, а мы строили на улицах баррикады, собирали по домохозяйствам бутылки и заряжали их горячим, готовясь, если понадобится, драться у каждого дома, у каждой калитки.

И вот — снова сентябрь, сентябрь сорок второго года...

Как и в прошлом году, Ленинград — наш, советский, русский город, не взятый, не покоренный, не умерщвленный Гитлером.

Но, как и в прошлом году, Ленинград — это фронт, и, как в прошлом году, немцы не оставили мысли взять город штурмом. Но с еще большей, чем в прошлом году, решимостью и бесстрашием готовы мы встретить врага, и отразить его, и выстоять.

Мы знаем, что знамена тех городов, с которыми еще недавно вели мы боевую переключку, как бы перешли теперь к нам... Мы не уроним их. Мы будем стоять насмерть — за себя и за Одессу. За себя и за Севастополь. За себя и за всю Россию.

Новая сила родилась в нас в жестокие дни зимы, в трудные месяцы нынешней весны и лета. И эта новая сила питается болью и тревогой за Россию: смертельная опасность грозит России сейчас, в сентябре сорок второго года, как никогда...

Ежедневно в шесть часов утра мы просыпаемся, как от толчка, жадно слушаем сводку Информбюро... Уже третий месяц подряд сообщает нам сводка вести, от которых сердце обливается кровью и дыхание становится горячим. Сегодня сводка сообщила, что, несмотря на огромные потери, гитлеровцы рвутся к Грозному, что идут бои на окраинах Сталинграда...

Никто из нас не думает сейчас о своих, блокадных трудностях; мы живем так, как будто бы нет расстояния между Ленинградом и Сталинградом, как будто бы Нева и Терек текут рядом.

Мы живем, исполненные единой жаждой — всем, чем можно, помочь стране. И, несмотря ни на что, мы живем уверенностью, что Россия выстоит, что мы остановим повсюду захватчиков и даже погоним их вон из пределов нашего отечества. И мы из своего кольца, из осады громко говорим всем защитникам России: товарищи, крепитесь, бейте немцев, останови-

те, задержите их — это можно, можно, клянемся вам ленинградским сентябрем сорок первого года!

Немыслимо трудные дни переживаем сейчас мы все..

Печаль войны все тяжелей, все глубже.

Все горестней в моем родном краю...

Бывает, спросишь собственную душу:

— Ну, как ты, что? —

И слышишь: — Устаю...—

Но не вини за горькое признание души своей — и не смущайся, нет!

Она такое приняла страданье

за этот год, что хватит на сто лет.

Такое испытанье ей досталось,

что, будь она не русскою душой, —

ее давно бы насмерть искромсало

отчаяньем, неверием, тоской...

Но только вспомни — вспомни сорок первый:

свирепо, страшно двигался фашист,

а разве — хоть на миг — ослабла вера

не на словах, а в глубине души?

Нет! Боль и стыд неожиданных поражений

твоя душа сполна перенесла

и на путях печальных отступлений

невиданную твердость обрела.

...И вот — опять...

О, сводки с юга утром!

Как будто бы клещами сердце рвут...

Почти с молитвой смотришь в репродуктор:

— Скажи, что Грозного не отдадут!

Скажи, скажи, что снова стала нашей

Кубань, Ростов и пламенный Донбасс!

Скажи, что англичане от Ла-Манша

рванулись на Германию сейчас! —

Но, как полынью, горем сводки дышат.

Встань и скажи себе, с трудом дыша:

— Ты, может быть, еще не то услышишь,

и все должна перенести душа.

Ты устаешь? Ты вся в рубцах и ранах?

Все так! Но вот сейчас, наедине,

не людям — мне клянись, что не устанешь,

пока твое Отечество в огне.

Ты русская — дыханьем, кровью, думой.

В тебе соединились не вчера

мужицкое терпенье Аввакума

и царская неистовость Петра.

Так не желай и не проси пощады

и все прими, что будет, не забыв

ни зимнего терзанья Ленинграда,

ни горькой севастопольской судьбы.

Такая, отграненная упорством,

твоя душа нужна твоей земле..

Единоборство?  
Пусть единоборство!  
Мужайся, стой, крепись и — одолей!

И еще я прочту стихотворение о русской девушке  
Ольге Селезневой, угнанной немцами в Германию...

Я хочу говорить с тобою  
о тяжелой нашей вине,  
так, чтоб больше не знать покоя  
ни тебе, товарищ, ни мне.

Я хочу говорить недолго:  
мне мерещится все больней  
Ольга, русская девушка Ольга...  
Ты, наверное, знаешь о ней.

На немецкой земле на проклятой  
в подлом рабстве томится она.  
Это наша вина, солдаты,  
это наша с вами вина.

Точно образ моей отчизны,  
иссеченной, усталой, больной,  
вся — страдание, вся — укоризна, —  
так встает она предо мной.

Ты ли пела, певучая? Ты ли  
проходила, светлее луча?  
Только слезы теперь застыли  
в помутневших твоих очах.

Я гляжу на нее, немея,  
но молчать уже не могу.  
Что мы сделали? Как мы смели  
пол-России отдать врагу?

Как мы смели ее оставить  
на грабеж и позор — одну?!  
Нет, товарищ, молчи о славе,  
если сестры твой в плену.

Я затем говорю с тобою  
о тяжелой такой вине,  
чтоб не знать ни минуты покоя  
ни тебе, товарищ, ни мне.

Чтобы стыдно было и больно,  
чтоб забыть о себе — пока  
плачет русская девушка Ольга  
у германского кулака.

*20 сентября 1942*

Дорогие товарищи,  
послезавтра мы будем встречать новый, тысяча девятьсот сорок третий год.

Второй Новый год встречаем мы в блокаде.

Воспоминание о той, прошлогодней встрече, то есть о ленинградском декабре сорок первого года, это воспоминание еще так жгуче болит, что к нему тяжело и страшно прикасаться. Не надо же сегодня вспоминать сумрачные подробности тех дней. Вспомним, товарищи, только одну подробность: вспомним, что мы, несмотря ни на что, и тот Новый год встречали с поднятой головой, не хныча и не ноя и, главное, ни на минуту не теряя веры в нашу победу.

И вот прошел год. Не просто год времени, а год Отечественной войны, год тысяча девятьсот сорок второй, а для нас еще триста шестьдесят пять дней блокады.

Но совсем по-иному встречаем мы этот новый, 1943 год.

Наш быт, конечно, очень суров и беден, полон походных лишений и тягот. Но разве можно сравнить его с бытом декабря прошлого года? В декабре прошлого года на улицах наших замерло всякое движение, исчез в городе свет, иссякла вода, да... много чего исчезло и много чего появилось тогда на наших улицах...

А сейчас все-таки ходят трамваи — целых пять маршрутов! Сейчас поет и говорит радио, в два наши театра и в кино не пробьешься, целых три тысячи ленинградских квартир получили электрический свет. И, несмотря на то, что нашему городу за этот год нанесено много новых ран, весь облик его совсем иной, чем в прошлом году, — несравненно оживленнее, бодрее. Это живой, напряженно трудящийся и даже веселящийся в часы отдыха город, а ведь блокада-то все еще та же, что и в прошлом году, враг все так же близок, мы по-прежнему в кольце, в окружении.

Да, за год изнурительной блокады наш город и все мы вместе с ним не ослабли духом, не изверились, а стали сильнее и уверенней в себе.

С точки зрения наших врагов, произошла вещь абсолютно невероятная, невозможная, и причины этого они понять не в состоянии.

Еще 30 января 1942 года, то есть почти год назад, выступая перед своей шайкой, Гитлер заявил: «Ленинград мы не штурмуем сейчас сознательно. Ленинград выжрет самого себя». В новогоднем своем приказе, к 1 января 1942 года, в приказе по войскам, блокирующим Ленинград, он «благодарил своих солдат за создание невиданной в истории человечества блокады» и нагло заявлял, что не позднее, чем через три-четыре недели, «Ленинград, как спелое яблоко, упадет к нашим ногам...».

Подвергая город страшнейшим лишениям и пыткам, враг рассчитывал, что пробудит в нас самые низменные, животные инстинкты. Враг рассчитывал, что голодающие, мерзнущие, жаждущие люди вцепятся друг другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят друг друга, начнут роптать, перестанут работать — в конце концов сдадут город, — «Ленинград выжрет самого себя». Но мы не только выдержали все эти пытки — мы окрепли морально. Они не понимают, что мы, русские люди, мужавшие при Советской власти, люди, уважающие и любящие труд. За двадцать четыре года Советской власти мы накопили огромный опыт коллективной жизни и коллективного труда. Этот творческий коллективный труд называем мы строительством социализма. И весь наш народ, от детей до стариков, был одержим одной мечтой, был захвачен строительством социализма, и мы работали, отдавая ему все свои силы; да, мы ошибались, мы перегибали иногда, но как прекрасен и велик был этот наш труд и как в процессе его рос и хорошел человек! И вот в Ленинграде, в тяжелейших условиях блокады, под пытками фашистских палачей, русский, советский человек не утратил своих навыков и черт, а наоборот, эти черты, черты социалистического человека, труженика, стали еще четче, окрепли, как бы вычеканились на благородном металле.

Нередко приходится слышать жалобы: «Ох, ну и народ у нас стал — черствый, жадный, злой». Неправда. Это неправда! Конечно, не все выдержали испытание; конечно, есть люди очерстневшие, впавшие в мелкий, себялюбивый эгоизм, но их ничтожное меньшинство. Если б их было много, мы бы просто не выдержали, расчеты врага оправдались бы.

Взгляни себе в сердце, товарищ, посмотри попри-

стальной на своих друзей и знакомых, и ты увидишь, что и ты и твои друзья за трудный год лишений и блокады стали сердечнее, человеколюбивее, проще. Вспомни хотя бы то, сколько раз ты сам делился последним своим куском с другим, и сколько раз делились с тобой, и как вовремя приходила эта дружеская поддержка.

Вот в январе этого года одна ленинградка, Зинаида Епифановна Карякина, слегла. Соседка по квартире зашла к ней в комнату, поглядела на нее и сказала:

— А ведь ты умираешь, Зинаида Епифановна.

— Умираю,— согласилась Карякина.— И знаешь, Аннушка, чего мне хочется, так хочется — предсмертное желание, наверное, последнее: сахарного песочку мне хочется. Даже смешно, так ужасно хочется.

Соседка постояла над Зинаидой Епифановной, подумала, вышла и вернулась через пять минут с маленьким стаканчиком сахарного песку.

— На, Зинаида Епифановна,— сказала она.— Раз твое такое последнее желание перед смертью — нельзя тебе отказать. Это когда нам по шестьсот граммов давали, так я сберегла. На, скушай.

Зинаида Епифановна только глазами поблагодарила соседку и медленно, с наслаждением стала есть. Съела, закрыла глаза, сказала: «Вот и полегче на душе», и уснула. Проснулась утром и... встала.

Верно, еле-еле ходила, но ходила.

А на другой день вечером вдруг раздался в дверь стук.

— Кто там?— спросила Карякина.

— Свои,— сказал за дверью чужой голос.— Свои, откройте.

Она открыла. Перед ней стоял совсем незнакомый летчик с пакетом в руках.

— Возьмите,— сказал он и сунул пакет ей в руки.— Вот, возьмите, пожалуйста.

— Да что это? От кого? Вам кого надо, товарищ?

Лицо у летчика было страшное, и говорил он с трудом.

— Ну, что тут объяснять... Ну, приехал к родным, к семье, привез вот, а их уже нет никого... Они уже... они умерли! Я стучался тут в доме в разные квартиры — не отпирает никто, пусто там, что ли,— наверное,



тоже... как мои... Вот вы открыли. Возьмите. Мне не надо, я обратно на фронт...

В пакете была мука, хлеб, банка консервов. Огромное богатство свалилось в руки Зинаиды Епифановны. На неделю хватит одной, на целую неделю!.. Но подумала она: съесть это одной — нехорошо. Жалко, конечно, муки, но нехорошо есть одной, грех. Вот именно грех — по-новому, как-то впервые прозвучало для нее это почти забытое слово. И позвала она Анну Федоровну, и мальчика из другой комнаты, сироту, и еще одну старушку, ютившуюся в той же квартире, и устроили они целый пир — суп, лепешки и хлеб. Всем хватило, на один раз, правда, но порядочно на каждого. И так бодро себя все после этого ужина почувствовали.

— А ведь я не умру,— сказала Зинаида Епифановна.— Зря твой песок съела, уж ты извини, Анна Федоровна.

— Ну и живи! Живи! — сказала соседка.— Чего ты... извиняешься? Может, это мой песок тебя на ноги и поставил. Полезный он: сладкий.

И выжили и Зинаида Епифановна, и Анна Федоровна, и мальчик. Всю зиму делились — и все выжили.

Я могу рассказывать о таких случаях еще и еще и знаю, что и мне могут долго рассказывать об этом, и мы наберем тысячи примеров братской поддержки людей. И каждый, я знаю, насчитает в своей жизни не один такой пример.

Мы поняли — выжить мы сможем, только держась друг за друга, только помогая друг другу. И вот в чернейшие месяцы блокады в Ленинграде по инициативе комсомолок Приморского района рождается благороднейшее, человеколюбивейшее движение, которое скромно именуется «бытовым движением»: тысячи комсомолок совершенно бескорыстно идут по квартирам к наиболее ослабевшим людям с посильной помощью и возвращают к жизни десятки тысяч женщин, детей, стариков, уже обреченных врагом на гибель.

Ты знаешь их, товарищ, этих бесстрашных, простых, великодушных девушек, быть может, и тебе они помогли, как множеству других... Но об этом прекрасном подвиге нужно говорить особо и много...

Я сказала, что мы стали человеколюбивее. Но это вовсе не значит, что стали мы этакими добренькими,

сладенькими, всепрощающими. Сурово и взыскательно ленинградское человеколюбие.

Этим летом на Невском я видела такую картину: лежит на панели, закрыв лицо шапкой, подросток и навзрыд плачет. А рядом стоят две женщины. У одной из них он хотел стащить карточки, но вторая заметила его и вот сейчас, стоя над ним, стыдит его:

— Ты что же, зверь, хотел сделать? Ты ее хотел жизни лишить! Ты о себе подумал, а о ней? Нет, как ты смел об одном себе думать!

— Отстань ты! — корчась от стыда, кричит из-под шапки парнишка. — Я вот пойду под трамвай брошусь; умру...

— Ну и умирай! — крикнула ему женщина, — Умирай, если ты один жить хочешь!

Так, вопреки попыткам врага посредством страшных испытаний разобщить нас, поссорить, бросить друг на друга, мы, наоборот, сплотились, стали единым трудовым коллективом, единой семьей. Потому-то и встречаем мы этот Новый год в тепле и при свете, потому-то и смотрим в будущее уверенно и трезво.

Враг стремился пробудить в нас зверей, разжечь в нас животную жадность к существованию, и в то же самое время хотел убить в нас любовь к жизни, волю к ней.

Но, оставшись людьми, мы не разлюбили, а еще больше полюбили жизнь. Мы полюбили ее до высшего предела этой любви, до презрения к смерти.

В городе, обстреливаемом и бомбардируемом, во вражеском окружении мы научились любить и ценить каждую минуту жизни, каждую ее, даже самую простую, радость. О, как оценили мы, что значит домашнее гнездо, что значат уют и тепло, как мы стремимся к нему, как, несмотря ни на какие разрушения, хозяйственно и основательно переселялись и устраивались в эту осень ленинградцы — даже вставляли стекла, даже оклеивали комнаты новыми обоями! Но в то же время сознание ленинградца свободно от жалкого страха за свои вещи; над ленинградцем нет деспотической власти вещей, и с пренебрежением говорит он о людях, трясущихся над своим добром. Был бы жив город, был бы трудоспособен и боеспособен весь его коллектив, а отдельный человек в этом хорошем, дружном коллективе найдет себе место. Остаться бы

человеком, достойным города; хорошо, если бы повезло и не покалечило снарядам, а вещи — дело наживное.

Враг думал, что у нас опустятся руки, что мы перестанем трудиться — и все развалится и рухнет. Но у нас появилась какая-то невиданная неутомимость в труде. Ведь это же факт, что почти каждый ленинградец, кроме основной своей профессии, освоил еще и ряд других — не только на производстве, но и в быту. Тысячи и тысячи из нас стали квалифицированными огородниками, печниками, стекольщиками, лесорубами, водопроводчиками, трубочистами — не гнушаясь никаким трудом, раз это нужно для жизни.

А главное — во всем этом наша огромная победа над врагом, наше торжество над человеконенавистниками, стяжателями, палачами фашистами.

Мы победили их, победили морально — мы, осажденные ими!

Потому и подходим мы к встрече сорок третьего года более сильными, чем в прошлом году. А радостные вести об ударах, которые наносит наша славная армия немецким захватчикам, гоня их от Сталинграда, наполняют сердца счастьем, и легче становится переносить нам наши трудности, и легче работается, и так хочется самому, физически, своими руками помочь далеким от нас армиям скорее вернуть многострадальной нашей родине мир и покой.

Дорогие товарищи, послезавтра мы будем встречать Новый, 1943 год.

Многих из тех, кто встречал с нами прошлый Новый год, родных и близких нам людей, не будет с нами на этой встрече. Священен для нас их облик, незабвенна прекрасная их память. И все же давайте сядем за наш небогатый праздничный стол со светлым сердцем, радостно поздравим друг друга с Новым годом и пожелаем друг другу нового счастья — счастья полной победы над проклятым Гитлером... А я прочту вам стихи о Ленинграде, о Новом годе, о счастье жить:

В еще невиданном уборе  
завьюженный огромный дот —  
так Ленинград, гвардеец город,  
встречает этот Новый год.  
Как беден стол, как меркнут свечи.  
Но я клянусь — мы никогда  
правдивей и теплее встречи  
не знали в прежние года.

Мы, испытавшие блокаду,  
все муки ратного труда,  
друг другу счастья и отрады  
желаем так, как никогда.  
С безмерным мужеством и страстью  
ведущие неравный бой,  
мы знаем, что такое счастье,  
что значит верность и любовь.  
Так выше головы и чаши  
с глотком вина! Мы пьем его  
за человеческое наше  
незыблемое торжество.  
За Армию — красу и гордость  
планеты страждущей земной.  
За наш угрюмый, темный город,  
втройне любимый и родной.  
Мы в чайные тепла и света  
глядим в грядущее в упор...  
За горе, гибель и позор  
врага!

За жизнь!

За власть Советов!

Этот тост был написан к встрече того, сорок второго года... И второе стихотворение, написанное теперь, к сорок третьему, называется «Новоселье»:

И вновь зима. Летят, летят метели.  
Враг все еще у городских ворот.  
Но я зову тебя на новоселье.  
Мы новосельем встретим Новый год.

Еще враги свирепый и бесцельный  
ведут обстрел по городу со зла,  
и слышен хруст стены и плач стекла...  
Но я тебя зову на новоселье.

Смотри — вот новое мое жилище...  
Где старые хозяева его?  
Одни в земле, других нигде не сыщешь,  
нет ни следа, ни вести — ничего...

И властно воцарялось запустенье  
в когда-то светлом, радостном дому.  
Дышала смерть на городские стены,  
твердя: «Быть пусту дому твоему...»

Здесь холодом несло из каждой щели.  
Отсюда человек ушел...

Но вот  
зову тебя сюда на новоселье,  
под этим кровом встретить Новый год.

Смотри — я содрала с померкших стекол  
унылые бумажные кресты.

Зажгла огонь — очаг лучист и тепел,  
сюда вернулись люди: я и ты.

О, строгие взыскательные тени  
былых хозяев дома моего,  
благословите наше поселенье,  
покой и долголетие его.

И мы тепло надышим в дом, который  
был занят смертью, погружен во тьму...  
Здесь будет жизнь!  
Ты жив, ты бьешься, город,—  
не быть же пусто дому твоему.

*29 декабря 1942*

## ЗДРАВСТВУЙ, БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ!

Ленинградцы, дорогие соратники, товарищи,  
друзья!

Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет. Мы были уверены в этом в самые черные месяцы Ленинграда — в январе и феврале прошлого года. Наши погибшие в те дни родные и друзья, те, кого нет с нами в эти торжественные минуты, умирая, упрямо шептали: «Мы победим». Они отдали свои жизни за честь, за жизнь, за победу Ленинграда. И мы сами, каменея от горя, не в силах даже облегчить свою душу слезами, хороня в мерзлой земле их без всяких почестей, в братских могилах, вместо прощального слова клялись им: «Блокада будет прорвана. Мы победим!» Мы чернели и опухали от голода, валились от слабости с ног на истерзанных врагом улицах, и только вера в то, что день освобождения придет, поддерживала нас. И каждый из нас, глядя в лицо смерти, трудился во имя обороны, во имя жизни нашего города, и каждый знал, что день расплаты настанет, что наша армия прорвет мучительную блокаду.

Так думали мы тогда. И этот час наступил — ночь с 18 на 19 января 1943 года.

Мы знаем, нам еще многое надо пережить, многое выдержать. Мы выдержим все. Уж теперь-то выдержим, теперь-то мы хорошо почувствовали свою силу.

Мы знаем, что сейчас с восторгом, с гордостью, со счастливыми слезами слушает сообщение о прорыве

блокады вся Россия — вся Большая Земля. Здравствуй, здравствуй, Большая Земля! Приветствуем тебя из освобождающегося Ленинграда! Спасибо тебе, Большая Земля, за твою помощь! Клянемся тебе, что мы будем бороться, не жалея никаких сил, за полное уничтожение блокады, за полное освобождение всей советской земли.

О, дорогая, дальняя, ты слышишь?  
Разорвано проклятое кольцо!  
Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,  
в сияющих слезах твое лицо.

Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,  
и не стыдимся слез своих: теплей  
в сердцах у нас, бесслезных и упрямых,  
не плакавших в прошедшем феврале.

Пусть эти слезы сердце успокоят...  
А на врагов — расплавленным свинцом  
пускай падут они в минуты боя  
за все, за всех, задушенных кольцом.

За девочек, по-старчески печальных,  
у булочных стоявших, у дверей,  
за трупы их в пикейных одеяльцах,  
за страшное молчанье матерей...

О, наша месть — она еще в начале,  
мы длинный счет врагам приберегли:  
мы отомстим за все, о чем молчали,  
за все, что скрыли от Большой Земли!

Нет, мама, не сейчас, но в близкий вечер  
я расскажу подробно обо всем,  
когда вернешься в ленинградский дом,  
когда я выбегу тебе навстречу.

О, как мы встретим наших ленинградцев,  
не забывавших колыбель свою!  
Нам только надо в городе прибраться:  
он пострадал, он потемнел в бою.

Но мы залечим все его увечья,  
следы ожогов злых, пороховых.  
Мы в новых платях

выйдем к вам навстречу,  
к «Стреле»,  
пришедшей прямо из Москвы.

Я не мечтаю — это так и будет.  
Минута долгожданная близка.  
Но тяжкий рев разгневанных орудий  
еще мы слышим: мы в бою пока.

Еще не до конца снята блокада...  
Родная, до свидания!

Иду  
к обычному и грозному труду  
во имя новой жизни Ленинграда.

*Ночь с 18 на 19 января 1943*

## КРЕПИТЬ БОЕВУЮ ДРУЖБУ!

Товарищи!

Перед Новым годом я выступала по радио на тему о новых человеческих отношениях, родившихся в Ленинграде за время блокады. Я приводила примеры высокого, рожденного в дни испытаний человеколюбия ленинградцев, примеры взаимопомощи, примеры великого трудолюбия.

В ответ на свое выступление я получила много устных и письменных откликов, и вот мне хочется сегодня ответить на письма, на те, которые, по-моему, имеют общий интерес для всех нас. И особенно мне хочется поговорить о них именно сейчас, когда мы вступили в новый этап своей жизни — после прорыва блокады.

Я с радостью и гордостью хочу сказать вам, товарищи, что большинство моих корреспондентов целиком поддержало утверждение, что за тяжкое время блокады ленинградцы стали сердечнее, дружнее, трудолюбивее.

Но некоторые не согласны с этим.

Вот одна корреспондентка, подписавшая свое письмо «Одинокая мать», упрекает меня в «наивности». Она видит причины этой «наивности» в том, что я якобы «окружена другими людьми, нежели мы, одинокие, и вам, писателю, показывают лишь лицевую сторону медали». Корреспондентка поэтому предупреждает, что меня ожидает горькое разочарование. Что в критический момент своей жизни, протянув руку за помощью, я получу «камень в руку», ибо люди черствы.

«Одинокая мать» убедилась в этом на своем горьком личном опыте. Она пишет:

«В январе прошлого года я едва бродила, пораженная цингой и дистрофией. Я с улицы привела замерзающего мужчину, после этого еще одну девушку и подростка. Всех их я поила горячим чаем, оттирала

им руки и ноги вазелином; они придут в себя, поблагодарят — только на словах, иначе я не допускала. Больше ни поест, ни дать им что-либо я не имела возможности... Так можете себе представить, жильцы моего дома стали подозревать меня, будто я обворовываю их... И я сдала в своем порыве, так как была убита морально... Поэтому очень прошу вас — уверьтесь, оденьтесь попроще и спуститесь на две-три ступеньки пониже...»

Отвечаю «Одинокой матери» и всем, кто мыслит одинаково с ней, а таких, я знаю, немало. Дорогой мой несправедливо обиженный товарищ! Во-первых, нам, ленинградским писателям, никто ничего не «показывает», ни лицевой, ни оборотной стороны. Мы не согладатаи в своем городе, не интуристы. Мы пережили все то же самое, что и вы: тот же голод, холод, потерю близких. Поэтому-то и имеем мы право говорить с вами полным голосом, спокойно и прямо.

И мне любой дороже славы,  
что я ценой моей зимы  
владею счастьем и правом  
в стихах поставить «я» как «мы».

А примеров людской черствости, неблагодарности и равнодушия я могла бы привести больше вашего. Но ведь не этим же жив Ленинград, не этим же держимся все мы! А я говорила, и говорю, и буду говорить о том, что людей держит, о том, что им помогает жить. Это в первую очередь надо замечать и любить. Да вы же сами, товарищ Одинокая мать,— вашим же примером, тем, что помогали людям, подтверждаете мое утверждение. Вы прекрасно поступали, как настоящая ленинградка, а вот то, что, получив вместо признания и благодарности подозрения и даже клевету, вы «сдали в своем порыве», то есть перестали помогать людям,— вот это очень горько и обидно и, по-моему, глубоко неправильно.

Разве же мы помогаем друг другу, держимся, не смотря ни на что, работаем иногда из последних сил, сверх своих возможностей для того, чтобы кто-то нас признал, наградил, поблагодарил? Разве комсомолки, бойцы бытовых отрядов, свершали свой подвиг ради славы? Да мы просто не можем иначе, мы этим живем! Мы сами себя спасаем своей заботой о других,



любовью к ним. А тот, кто отказывается помогать другим, тот, кто «сдает в порыве»,— тот сам неизбежно обрекает себя на одиночество.

Я сказала, что мы держимся и помогаем друг другу не во имя награды или похвалы, но больше того — даже не затем, чтоб восхищаться самим собой: «Ах, какой я хороший!» Мы оказываем друг другу боевую поддержку точно так же, как один боец выручает другого во время боя. А разве может, разве имеет право «сдать в своем порыве» боец, выручая своего товарища, сохраняя его жизнь? Вот и мы должны поступать так же, ибо каждый из нас сейчас — солдат своей родины. Больше даже: каждый из нас — носитель и защитник всего лучшего и благородного, что есть у человечества и что враг хочет навек умертвить,— сострадания, бескорыстия, самоотверженности. Да, мы, мы держим сейчас в мире зная человечности, каждый из нас, кто бы он ни был!

...Дорогой товарищ, подписавшая свое письмо «Одинокая мать», я не хочу ни обидеть, ни поучать вас. Вас действительно оскорбили, вы много пережили, много перенесли. Вы не правы только в том, что «сдали в порыве» и что частный случай недоверия лично к вам возвели до обобщения, стали по своему опыту судить обо всех.

Но вот есть у нас и другие люди, в нашем же городе. И их не так уж мало. Я говорю о тех, которые жалуются на человеческую «черствость» потому, что хотят, чтоб другие за них работали, потому, что хотят пройти сквозь жестокое наше общее испытание за счет других.

Эти моральные дистрофики находят тысячи правдоподобных причин, чтобы увильнуть от общих работ, тысячи поводов, чтобы что-нибудь лишнее сорвать, они бесконечно канючат, клянчат, жалуются и обвиняют в «нечуткости» всех, кроме себя.

Но если эти жалобы вызывают раздражение и неприязнь, то жалобы на одиночество рождают в сердце горечь и тревогу. Да, очень и очень многие, особенно у нас, в Ленинграде, стали одинокими, растеряли свои семьи, своих близких людей — это дело рук нашего врага, это трагический результат вражеской блокады... Но тут я сначала скажу несколько слов о прорыве

блокады — тоже в связи с темой нашего сегодняшнего разговора.

Да. Великая радость совершилась в ночь с 18 на 19 января: линия немецкой обороны была прорвана. И вот многие ленинградцы восприняли это как конец испытаний, а у некоторых даже появились типично иждивенческие настроения по отношению к стране: мол, дороги теперь будут, страна должна нас прямо-таки завалить продуктами, а мы можем и отдохнуть... Нет, товарищи, это не так! От нас потребуется еще очень и очень много терпения и мужества, может быть, даже больше, чем до прорыва блокады. Никто не имеет права «сдавать в порыве». Пусть ленинградское трудолюбие станет еще вдохновенней. Никто не должен питать никаких иждивенческих настроений — стране и так трудно, и так она дает нам все, что может. Пусть каждый мобилизует в себе все лучшее, все самое сильное, что родилось в его душе за время великой освободительной войны, мобилизует во имя окончательной победы над врагом...

*8 февраля 1943*

#### ХОЗЯЙКА ЛЕНИНГРАДА

Дорогие ленинградки!

Сегодня — наш женский день. Мы отмечаем свой праздник особо: в дни, когда каждый вечер жадно ловим голос Москвы, сообщающий сводку последнего часа, и бросаемся затем к нашим картам (в какой ленинградской квартире нет теперь карты?), чтобы отыскать название того русского городка, который снова стал нашим.

Мы встречаем 8 марта 1943 года как матери, жены, сестры и невесты победоносной Армии, которая в упорных и тяжелых боях идет по русской земле к западным ее границам.

Они идут вперед, милые наши, давно ушедшие из дому, давно не виданные сыновья, мужья, братья. Им трудно, они пробиваются сквозь ржевскую пургу, сквозь весеннюю распутицу и ветры украинских степей, идут по железобетонной земле около Ленинграда; да будет с ними вся наша любовь — они идут вперед.

В эти дни отраднo знать, что мы, ленинградские женщины, являемся активными бойцами, уже имеющими огромный воинский опыт. Наши руки, наше сознание, наши сердца приобрели этот опыт в небывалом бою за свой родной город.

А ведь еще недавно немцы, штурмуя Ленинград, подвергая его ужасам блокады и воображая, что все это заставит ленинградцев сдаться,—осмеливались прежде всего рассчитывать на нас, женщин! Они ведь даже особые листовки писали и сбрасывали их в город—специально для ленинградских женщин. Да, да, двуногий скот, вообще не считающий женщину за человека, а тем более — русскую женщину, воображал, что мы окажемся слабее, боязливее мужчин и дрогнем первыми и, в страхе за себя и своих детей, откроем ему ворота города. Немец так и писал: «Женщины! Требуйте хлеба и объявления Ленинграда открытым городом. Саботируйте работы на оборону. Она несет вам гибель...» Но не страхом, а презрением к врагу исполнились сердца ленинградок, утроив, удесятерив их силы — физические и моральные, и женщина вместе с Армией спасла свой город, сохранила ему жизнь.

Благодарная память народа навсегда сохранит рядом с образом комсомолки Веры Чертиловой, поднявшей в атаку роту моряков, образ любой безымянной ленинградки, ведущей под руку ослабевшего мужчину по зимним улицам Ленинграда. Ведь эта женщина тоже шла в атаку. Ведь ленинградка была бойцом везде — и в ледяной комнате у печурки за стряпней обеда, и на огородах, и на крыше своего города. Все, что делала и делает ленинградка, есть невиданное еще в мире сражение за самые основы человеческой жизни.

Всеобщее, извечное, священнейшее чувство на земле — чувство материнской любви — ленинградка обогатила новым смыслом и глубиной. Специальные пытки придумывал немец для ленинградских матерей, чтобы заставить их сдаться: он пытал их жалостью к своим детям и близким. Ведь женщине всего тяжелей не свои собственные страдания и лишения, а страдания ее детей и близких. И сколько было в Ленинграде таких дней, когда мы ничем не могли помочь своим детям, ничем, как бы мы ни хотели. А палач-немец рычал в это время: «Сдавайся, женщина, покорись, пере-

стань защищаться, и дети и близкие твои останутся живы...»

Но наша материнская любовь — это не слепая, животная привязанность к своим детенышам. Мы любим своих детей так страстно, что хотим, чтобы они были не только живы, но и свободны, чтоб они гордились собой, а не влачили существование забитыми батраками у немецких лавочников. И во имя этого мы вместе со своими детьми шли на все и даже на смерть, если необходимо.

Я получила в июле прошлого года письмо от одной ленинградки-фронтовички, Елены Чижовой. Она писала в этом письме:

«Я потеряла сына, убитого на фронте, куда мы ушли вместе по призыву товарища Сталина. Я горда тем, что сын погиб, спасая друга, сражаясь за Родину...»

Только мы, женщины, знаем, что это значит — потерять свое дитя. Так какое же величие души надо иметь, как надо любить своего сына, чтобы так переносить его гибель!

Немец ждал, что утраты сломят нас духовно, заставят бессильно опустить руки. Нет! Женщины приняли на себя труд еще больший — в память погибших, во имя живущих.

Ленинградка Слатвинская пишет из далекого колхоза Кировской области, где она работает сейчас председателем правления колхоза:

«...И у меня в январе погибло в Ленинграде самое дорогое для меня существо, которому нет забвения и замены. Но жизнь во имя его, жизнь ради мести за него, ради спасения тысячи таких же, как он, помогает мне превозмочь боль и работать, работать, работать, выращивая ваш хлеб насущный ленинградский...»

Мы так любим своих детей и близких, что даже можем жить после их гибели с удвоенной силой — за себя и за них, ради таких, как они.

Немец разорил дом ленинградки, разметал ее семью, многих женщин оставил без семьи совсем. Но, хозяйка и семьянинка, ленинградка создала новую семью, огромную, такую, где подчас не все члены ее знают в лицо друг друга. Она превратила в одну большую семью весь Ленинград. Так чувство материнства расширило свои права безгранично.

Ленинградка Качановская пишет:

«Для нас, матерей, все дети — и аши дети,— пусть это будет трехлетний ребенок или двадцатилетний юноша. А мать — это само трудолюбие, выносливость, это ненасытность в изобретениях для любимого детища...»

Мысль Качановской подтверждается письмом другой ленинградки — Веры Ч. (она просила меня не называть ее фамилии):

«Я тоже жила в большой и дружной семье. Все это отняла у меня война. Но я ни одного дня не чувствовала себя одинокой. Я работала в госпитале, помогала, чем могла, знакомым. Одну приятельницу сестры мне удалось в январе прошлого года вырвать из когтей смерти. И, несмотря на большие трудности, я черпала в заботе о других силу и энергию для тяжелой борьбы. А вот теперь у меня завязалась интересная переписка с бойцами Ленинградского фронта. Я решила поздравить по радио своих друзей-фронтовиков с Новым годом. И вот после этого я стала получать массу писем от совершенно незнакомых мне бойцов. В большинстве это бойцы, у которых родные остались в фашистском плену и им никто не пишет. Со многими у меня завязалась самая теплая и дружеская переписка. И я счастлива, что мои несколько строк могут поднять дух бойца и звать его к новым победам.»

Так оставшиеся без семьи Вера и бойцы создали новую, необычную семью. Общее горе и общая борьба породнили их крепче, чем может роднить кровь.

В Ленинграде, как и во всей стране, женщины заменили ушедших на фронт мужчин решительно во всех областях труда. Больше того — женщины встали рядом с мужчинами, как равные, и в армии, и на флоте. Но самое главное в том, что прежде всего везде и всюду они остались женщинами — матерями, сестрами, дочерьми, подругами: ведь без женской заботы, любви и ласки народ не может ни жить, ни — тем более — воевать... Ведь мы-то сами, товарищи женщины, знаем, что нас заменить некому и некем...

И вот вечные, незаменимые женские качества — выносливость, самоотреченность, любовь — особенно ярко засияли в ленинградках, в женщинах того города, на долю которого досталось столько горя. Вспомним хотя бы, что в бытовых комсомольских отрядах,

спасших жизнь десяткам тысяч ленинградцев, были только одни девушки и женщины.

Много тяжелого вынесла ленинградка в борьбе за свой город. Но она не прокляла его, а полюбила с обновленной силой: так любит мать свое дитя, рожденное ею в муке.

«Я счастлива тем, что я ленинградка,— пишет Нина Алексеевна Ситникова, пожарник Ленэнерго,— что небольшая доля и моей работы вложена в оборону нашего красавца города. Своей кровью, будучи донором, я также стараюсь принести пользу нашим доблестным воинам».

В своем приказе к двадцатипятилетию Красной Армии Верховный Главнокомандующий говорит: борьба с немецкими захватчиками еще не кончена, она только разгорается. Эта борьба потребует времени, жертв, напряжения сил и мобилизации всех наших возможностей.

Так говорит Верховный Главнокомандующий, обращаясь к Армии, призывая ее к окончательной победе.

Но мы знаем, что этим приказом Сталин обращается не только к Армии, но и к нам, женщинам.

Мы знаем также, что означают для нас слова: «жертвы», «напряжение сил», «мобилизация всех возможностей»... Уж очень много приняло и вынесло женское сердце за время войны, и тебе, хозяйка города-фронта, ленинградка, известно это лучше других. Но, все израненное и обожженное, сердце твое готово принять все, что предстоит, во имя полной победы...

Еще тебе такие песни сложат,  
так воспоют твой облик и дела,  
что ты, наверно, скажешь: — Не похоже.  
Я проще, я угрюмее была.

Мне часто было страшно и тоскливо,  
меня томил войны кровавый путь,  
я не мечтала даже стать счастливой,  
мне одного хотелось — отдохнуть...

Да, отдохнуть ото всего на свете:  
от поисков тепла, жилья, еды,  
от жалости к моим исчахшим детям,  
от вечного предчувствия беды,  
от страха за того, кто мне не пишет  
(увиджу ли его когда-нибудь?).

от свиста бомб над беззащитной крышей,  
от мужества и гнева отдохнуть.

Но я в печальном городе осталась  
хозяйкой и служанкой — для того,  
чтобы сберечь тепло и жизнь его.  
И я жила, преодолев усталость.

Я даже пела иногда. Трудилась.  
С людьми делилась солью и водой.  
Я плакала, когда могла. Бранилась  
с моей соседкой. Бредила едой.

И день за днем лицо мое темнело,  
седины появились на висках.  
Зато, привычная уже к любому делу,  
почти железной сделалась рука.

Смотри — как цепки пальцы и грубы!  
Я рвы на ближних подступах копала,  
сколачивала жесткие гробы  
и малым детям раны бинтовала.

И не проходят даром эти дни,  
нейстребим свинцовый их осадок:  
сама печаль, сама война глядит  
познавшими глазами ленинградок.

Зачем же ты меня изобразил  
такой отважной и такой прекрасной,  
как женщину в расцвете лучших сил,  
с улыбкой горделивою и ясной?

Но не приняв суровых укоризн,  
художник скажет с гордостью, с отрадой:  
— Затем, что ты — сама Любовь и Жизнь,  
Бесстрашие и Слава Ленинграда!

*8 марта 1943*

## ЛЕТО СОРОК ТРЕТЬЕГО ГОДА

*(Письмо за кольцо)*

В конце августа Ленинград отметит два года своего сопротивления, два года жизни во вражеской осаде.

Для нас, ленинградцев, не покидавших город с начала войны, это не просто два года: каждый месяц из этих двух лет разительно не похож на другой. Больше того — начало и конец ноября сорок первого года — это два совершенно разных периода в жизни города;

за три месяца зимы сорок первого — сорок второго года каждый из нас пережил, перечувствовал и познал столько, сколько не смог бы пережить за всю свою жизнь. Весна сорок второго и весна этого года лежат как бы в разных эпохах.

Мы встретили весну сорок второго года с удивлением и недоверием: как, неужели в нашем городе вновь появятся листья и трава, вновь будет светло и тепло? До конца мая из подъездов промерзших насквозь домов несло смертным холодом. Еще и в июне многие из нас ходили в шубах и теплых шапках — мы всё не могли согреться. На первом — после той страшной зимы — концерте, пятого апреля сорок второго года, у людей, совершенно переставших плакать даже над самыми горькими утратами, впервые появились слезы на глазах при виде музыкантов не в ватниках, а в пиджаках, со скрипками в руках.

Так было весной прошлого, сорок второго года.

Весну этого года мы встретили с радостью, но без удивления.

Мы вовремя сменили шубы на демисезонные пальто. Уже никто, как то случалось в прошлом году, не съел тут же, в магазине, семян репы или моркови, выданных для посевов. На солнечной стороне Невского, на ступеньках подъездов и ящиках с песком не сидели цинготники, грея опухшие ноги с черными пятнами на коже: цинга была побеждена почти совсем. Никто не аплодировал проходящему трамваю, никто не плакал от счастья перед афишей с репертуаром театров и кино: все это и многое-многое другое, даже электричество в жилых домах, даже прохладительные напитки в киосках, вновь стало делом обыденным.

Быть может, никто, кроме нас самих, не поймет, какая это огромная победа и что она означает. Ведь враг все так же близок, как два года назад, и еще ожесточеннее стремится убить жизнь города.

Поэтому любая деятельность в Ленинграде есть деятельность военная, есть сражение.

Я в Ленинграде с начала войны; я, как и девяносто процентов ленинградцев, ни разу не видела «живого немца». Тем не менее я, как и все другие, нахожусь в состоянии ежедневной борьбы с ним.

Это безмолвная, ожесточенная, изнурительная борьба. Она изнурительна особенно потому, что это



борьба с врагом - невидимкой. Невидимый мне, в сотни раз более сильный, чем я, женщина и горожанка, враг ежедневно посылает в город сотни, а то и тысячи снарядов, стремясь лишить меня дома, кровля которого и без того уже пробита десятками осколков, а стекла в окнах выбиты. Враг-невидимка ежедневно разрушает трамвайные пути, заставляя меня делать длинные концы пешком; он портит осветительную и телефонную сети, разъединяет меня с внешним миром, оставляет во мраке. Печь моя начинает внезапно дымить, потому что в трубу попал осколок; вместо того чтобы просто повернуть водопроводный кран, мне нужно идти за водой с ведром в соседний двор и тащить ее к себе на пятый этаж. Я иду в магазин, но враг-невидимка перед самым моим носом захлопывает дверь магазина: началась воздушная тревога. Когда она кончится? Будет ли цел мой дом, или, вернувшись из лавки, вместо него я увижу груды развалин? Вечером я сажусь за мой письменный стол: назойливо, уныло свистят снаряды, мешая сосредоточиться, и я слышу, как хрустят стены города — враг ломает мой прекрасный город, увечит его. Нет ничего печальнее и душевраздирающее этих звуков.

И все это ежедневно, и все это — уже третий год.

Один известный ленинградский врач говорил мне, что этой весной в Ленинграде зарегистрирована новая, специфическая для города болезнь, дающая довольно большое количество смертельных исходов — по крайней мере каждый третий из умирающих в Ленинграде умирает именно от этой болезни. Врачи называют эту болезнь «последствием замедленной бомбежки». Это особого рода гипертония — повышенное кровяное давление, которое образуется от непрерывного нервного напряжения — результата непрерывных обстрелов и бомбежек.

Человек внешне может почти совершенно не реагировать на обстрел и бомбежки, он может отлично «держаться в руках», но нервы его живут независимо от его духа, и больше того: чем лучше человек «держит себя в руках», чем напряженней и спокойнее трудится он, тем больше шансов у его нервов и кровеносных сосудов прийти в негодность. Мужество ленинградцев, восхищающее весь мир, полнокровная трудовая и интеллектуальная жизнь города не обходятся даром. Це-

на этого — здоровье горожан. Цена обороны города — его кровь.

Эти весна и лето ознаменованы особенно свирепыми артиллерийскими обстрелами. Трагичен был для нас день Первого мая. Немец бил по городу с утра, и варварский этот обстрел был, видимо, продуман. Враг направлял в течение пяти-шести минут ураганный огонь по самым оживленным участкам и затем на час, на сорок пять минут затихал. Полная тишина, люди понемногу начинали приходить в себя, и вдруг снова шквальный огонь, десятки снарядов, и опять тишина — минут на сорок пять, и снова залпы — и так весь день. Я была свидетельницей того, как на углу Невского и Садовой на трамвайных остановках упало пять фугасных снарядов и, как подкошенные, свалились десятки людей — женщины, дети, старики. Одна девочка запомнилась мне особенно: она бегала вдоль тротуара, скользя по крови, и переворачивала упавших ничком с криком: «Мама! Мама!» Она искала мать. Пять минут назад, нарядная и веселая, она шла с мамой в кино.

Вечером мы шли по тому же самому тротуару в здание Публичной библиотеки, в гости к друзьям, и было страшно ступать по асфальту, несколько часов назад багровому от человеческой крови. У всех нас, собравшихся провести вместе праздничный вечер, было тяжелое настроение. Мы выпили выданное к празднику вино, попросили приятельницу сыграть «Ирландскую застольную» Бетховена, спели эту песню, любимую в Ленинграде, так же как и на многих других фронтах. Но ни вино, ни музыка не смогли в тот вечер заглушить терзающее чувство скорби о погибших согражданах.

Тем не менее в городе, который ежедневно несет жертвы, никто не чувствует себя смертником, ни у кого нет чувства обреченности. Стремление к самым обычным удобствам и радостям характерно для нас. Так, какой-то обновленной любовью полюбили мы свои жилища — не потому ли, что враг все время стремится отнять их у нас? Этой весной ленинградцы особенно рьяно благоустраивали свои квартиры. Зима сорок первого — сорок второго года заставила многих покинуть свои дома и собраться в общежития в своих уч-

реждениях. Но этой весной мы стали возвращаться в свои квартиры.

Мы состязались друг с другом в стремлении сделать наши жилища как можно удобнее, красивей и уютнее. Неважно, надолго ли это... Конечно, все приходилось делать своими руками, но это никого не смущало.

Мы не только обороняем наш город — мы заботливо бережем красоту его, конечно, насколько возможно.

Этим летом в саду напротив Адмиралтейства вновь забил любимый ленинградцами фонтан. Хотя статуи вокруг него изранены: пробита осколком щека бронзового Лермонтова, изувечена шея Пржевальского, — но фонтан сверкает и журчит, радуя глаз так же, как цветы в Екатерининском садике и в саду Дворца пионеров.

Между тем каждый свободный клочок городской земли используется под грядки: гряды на Марсовом поле, возле исторических могил Жертв Революции; гряды на склонах Лебязьей канавки; гряды прямо на улицах, даже во дворах.

Почти каждый житель города стал теперь земледельцем; на рынках уже появились молодой картофель, капуста, морковь. Надо сказать, что ленинградские рынки — особые: здесь не столько торгуют и покупают, сколько обмениваются продуктами. По-прежнему хлеб является основным эквивалентом всех ценностей, и на хлеб обменивается все остальное.

Вы спрашиваете, сколько стоит картофель, — вам отвечают: «грамм за грамм» или «сто за пятьдесят». Это значит, что за один грамм хлеба вы можете получить столько же картошки или свеклы или сто граммов капусты за пятьдесят граммов хлеба. Никто не ответит вам: «килограмм за килограмм» — в осажденном городе счет продуктам ведется все еще на граммы.

Но у ворот рынка, где всегда стоят несколько старух с букетами полевых цветов, та же женщина, которая только что отдала часть своего хлеба за молоко для детей, останавливается и совсем уже за крошечный ломтик покупает большой букет ромашки или колокольчиков и несет его, нередко под обстрелом, к себе домой, чтобы украсить свою комнату. Эти цветы собраны где-то на окраинах города, на передней линии фронта; они напоминают осажденному горожани-

ну о том, что уже третий год отнято у него,— о русских полевых просторах, лугах и лесах, о простой, неспешной мирной жизни. Напоминают и обещают, что она когда-нибудь вернется... А без веры в это нельзя жить и бороться, особенно в Ленинграде...

*Август 1943*

## НАШ КОМСОМОЛ

Сегодня хороший день, товарищи,— день рождения комсомола.

Двадцать пять лет, целые четверть века стукнуло нашему комсомолу— моему и вашему комсомолу! Я ревниво не хочу уступать этот праздник только той молодежи, которая состоит в комсомоле сейчас. Нет, это не только ее праздник— это наш праздник, общий, праздник всего народа. Потому что— ну кто же из нас, товарищи, не был в комсомоле? Если крикнуть сейчас: «Воспитанники комсомола, встаньте!»— встанут миллионы людей, и кого только среди них не будет: будут боевые генералы, матери больших семейств, известнейшие изобретатели, директора, артисты, рядовые бойцы... Иные расстались с комсомольским билетом уже давно, другие— как, например, я и мои сверстники— недавно, года два-три назад.

Я прошу извинить меня за это хвастовство, но именно сегодня мне очень хочется похвастаться, что я недавно была в комсомоле. Не будем скрывать, что многие из нас, бывших комсомольцев, стали не в переносном, а в буквальном смысле слова старыми комсомольцами, то есть седыми, почтенными людьми, отцами и матерями взрослых детей, а некоторые, может быть, даже уже и... дедушками и бабушками. Ну, внуки у них, наверное, еще маленькие, но все же... Ничего не поделаешь, товарищи старые комсомольцы, как уже установлено— время идет...

И все-таки праздник комсомола, его юбилей— это и наш праздник. Мы сдали свои комсомольские билеты, мы стали совсем зрелыми и взрослыми людьми, а наша молодость, наша комсомольская пылкая молодость осталась с нами, в нас. Да, да, я говорю правильно. Я имею в виду молодость как нечто неистреби-

мо комсомольское, то, что называют обычно «комсомольской закваской». И она-то осталась в нас, во всех бывших комсомольцах. Эта чудесная закваска бродит в нас, не дает нам стареть душой, и вот поэтому-то мы сегодня не вспоминаем молодость, а празднуем ее вместе со всеми сегодняшними комсомольцами.

У нас нет никакой старческой зависти к нашей молодежи, никакого разрыва с ней, никакого непонимания, как то обычно было между отцами и детьми раньше, хотя сегодняшняя молодежь во многом не похожа на нас.

У нас все время, все двадцать шесть лет, один путь, одни идеалы. И именно поэтому завоевания и победы комсомола близки нам как свои собственные, и ощущение, что комсомол — наша организация, не покидало нас никогда, и никогда не оставляло чувство заботы и иногда даже тревоги за судьбы и пути комсомольской организации.

Так, незадолго до войны мне, как и многим из вас, казалось, что нынешние комсомольцы слишком просто относятся к комсомолу, к своему членству в нем... Очень уж легко доставался им наш комсомол по сравнению со старшим поколением комсомольцев — эпохи гражданской войны — и даже нами — комсомольцами первой пятилетки. Очень уж просто и беззаботно жили наши предвоенные комсомольцы. Страна, уверенно идущая к богатству, с материнской, подчас чрезмерной щедростью баловала своих детей и юношество: все так и плыло им в руки — и образование, общее и профессиональное, и заработки, и широчайший выбор работы и искусства, дворцы, стадионы, театры, великолепный отдых — да, все, все! Это было отлично, но в этом таилась и некоторая опасность, что юношество наше изнежится и в жестокий час испытаний эта изнеженность даст знать о себе.

Но когда наступила война, когда встал вопрос о жизни и смерти народа — с облика комсомола быстро исчез налет «довоенного» благодушия, кажущейся безопасности. И юноши и девушки, носящие звание члена Коммунистического Союза Молодежи, проявили себя так, что мы имеем право гордиться ими перед лицом всего мира. И особенно имеем право гордиться ими мы — все бывшие комсомольцы. В тятчайшей и спра-

ведливейшей войне нашей комсомол не только не по-срамил знамен, переданных ему всеми предшествующими поколениями комсомольцев, не только не растерял славных традиций, но покрыл комсомольские знамена новой нетленной славой, умножил прекрасные комсомольские традиции.

Незабвенен облик комсомольцев эпохи гражданской войны, облик комсомольцев — строителей пятилеток. Все эти поколения делали свои вклады в общий облик и понятие «комсомолец», все они оставили свою долю вечной молодости — «комсомольской закваски», но, мне кажется, не было еще вклада более крупного и ценного, чем тот, который сделали комсомольцы в дни Великой Отечественной войны. В кровавых боях, на грани жизни и смерти, в тяжком, порой почти непосильном для молодых труде, в жгучих раздумьях возникают черты нового человека в наших комсомольцах, до сияния кристаллизуюсь и концентрируюсь в отдельных лучших людях комсомола.

Комсомольцы за время войны дали десятки имен, которые стали драгоценными всему народу, имен, пронося которые, мы как бы называем ими лучшие человеческие свойства. Мы произносим коротенькое имя Зоя — и оно звучит для нас как «Верность». Мы говорим: Полина Догадаева — и имя комсомолки, создавшей первый бытовой отряд в страждущем зимой сорок первого года Ленинграде, звучит для нас как символ воинствующего милосердия и великодушия.

Мы говорим: Александр Матросов — и имя комсомольца, закрывшего своей грудью амбразуру вражеского дзота, звучит для нас как «Самопожертвование»... Мы говорим: Феодосий Смолячков — и имя снайпера-истребителя равносильно понятию самой деятельной ненависти.

Преданная Родине до самопожертвования — вот какова наша молодежь, вот каковы наши комсомольцы.

...Среди различных документов я особенно бережно храню один — письмо комсомольца-балтийца Евгения Червонного к своей жене Наташе. Это предсмертное письмо. Евгений Червонный писал его, зная, что скоро погибнет. Но вы не найдете в нем ни страха смерти, ни нот обреченности. Оно полно света и свободы. Это письмо человека, страстно любящего жизнь, оце-

нившего ее во время войны по-новому, зрело и глубоко. Он пишет: «Нам пришлось узнать правду жизни, горькую и твердую, раньше срока, который положен по возрасту. Но тем дороже становится жизнь. Познаешь действительную цену ее, и каждый день или час ее представляется уже не мелочью». Да, он очень любил и ценил жизнь и с презрением говорил о тех, кто недостойно играет ею. И тем не менее по доброй воле он пошел на самую опасную военную работу, имея возможность быть на менее опасной. И сделал он это потому, что, как писал, «здесь можно найти полное применение себе и принести максимум пользы». Проще — это было желание отдать все, что имеешь.

Отдать все, что имеешь, и отдать не потому, что так велит долг, а больше потому, что это потребность сердца, — вот самая величественная, самая лучшая человеческая черта, завоеванная для людей комсомольцами Отечественной войны. Какая в этом безграничная свобода и какая богатая, щедрая, полная жизнь! Ведь самой полной жизнью живешь именно тогда, когда с радостью свободно отдаешь все, что имеешь, благородному общему делу. Тысячи защитников родины являются людьми грядущего. Был таким человеком и Червонный.

...Евгений очень любил свою жену Наташу. Так любил, что, заканчивая письмо, писал: «Я знаю, что тебе трудно будет смириться с мыслью об утрате своего Женьки. Но прошу тебя, не давай никаких обетов. Постарайся быстро рассеять все мрачное. Устраивай свою жизнь счастливо, так, чтобы могла пожить и за меня».

Он дрался, жил и умирал за жизнь, за живых людей. Он хотел, чтобы они были счастливы. Он не говорит никаких выпренних слов о бессмертии, не претендует на него, но, когда пишет жене: «Будь счастлива, поживи и за меня», он бессмертен. Для него нет смерти. Для него есть только жизнь. И он знает: если он умрет, за него будет жить та, во имя которой он жил, дрался и умер.

Ты чувствуешь или нет, товарищ, какой прекрасный человек, рожденный в дни справедливой войны, встает за строками этого письма?

Вот какие они, лучшие наши комсомольцы, наш сегодняшний комсомол!

Какая честь, товарищ, что ты, и я, и миллионы наших друзей принадлежали и до сих пор душой принадлежим к такой организации, к нашему комсомолу! Какая радость, что живет в нас, живет комсомольская закваска! Какая гордость для всех нас, для всего народа, что есть у нас наш комсомол, славное двадцатипятилетие которого всем сердцем празднуем мы сегодня! И как хорошо получилось, что этот праздник выпал на дни, когда наша армия гонит постылого врага из России!

Мы никогда, никогда, даже в самые черные дни, не сомневались в том, что одолеем врага, что добьемся победы. Сейчас мы уже отчетливо видим ее контуры. Потому-то так торжественно отмечает весь народ, ведущий тяжелейшую битву, праздник своего комсомола, своих юных детей, которые так беззаветно отдают свою молодость достижению этой — уже недалекой — победы.

Будет вечер — тихо и сурово  
о военной юности своей  
ты расскажешь  
комсомольцам новым —  
сыновьям и детям сыновей.

С жадностью засмотрятся ребята  
на твое солдатское лицо —  
так же, как и ты смотрел когда-то  
на седых буденновских бойцов.

И с прекрасной завистью, с порывом,  
с тем, которым юные живут,  
назовут они тебя счастливым,  
сотни раз героем назовут...

И, окинув памятью ревнивой  
не часы, а весь поток борьбы,  
ты ответишь:  
— Да, я был счастливым.  
Я героем в молодости был.

Наша молодость была не длинной,  
покрывалась ранней сединой.  
Нашу молодость рвало на минах,  
заливало таллинской волной.

Наша молодость неслась тараном —  
сокрушить фашистский самолет.  
Чтоб огонь ослабить ураганный,  
падала на вражий пулемет.



Прямо сердцем дуло прикрывая,  
падала, чтоб Армия прошла...  
Страшная, неистовая, злая —  
вот такая молодость была.

А любовь — любовь зимою адской,  
той зимой, в осаде на Неве,  
где невесты наши ленинградские  
были не похожи на невест...

Лица их — темней свинцовой пыли...  
Руки — тоньше, суше, чем тростник...  
Как мы их жалели, как любили,  
как, тоскуя, пели мы о них!

Это их сердца неугасимые  
нам светили в холоде, во мгле.  
Не было невест еще любимее,  
не было красивей на земле!

...И под старость, юность вспоминая,  
— Возвратись ко мне,— проговорю,—  
возвратись ко мне опять такая,  
я такую трижды повторю.

Повторю со всем страданьем нашим,  
с той зимою, с тою сединой,—  
яростную, горькую, бесстрашную  
молодость, крещенную войной.

*29 октября 1943*

## МОЙ РУБЕЖ

*(Письмо за кольцо)*

Я хочу рассказать сегодня о некоторых рубежах, на которых жители Ленинграда ведут свой многодневный и сложный бой с осаждающими их немцами: я хочу рассказать о наших домах и квартирах.

Если когда-то (неужели это было менее двух лет назад?!) выражения «мой угол», «моя квартира», «мой дом — моя крепость» были неразрывно связаны с представлением о чем-то глубоко мирном и уютном, то сейчас эти слова звучат для нас так же, как для каждого солдата слова «окоп», «блиндаж» или «рубеж», и дома наши стали крепостями, и не в переносном, а в самом буквальном и довольно страшном смысле.

Да, дом № 7 по улице Рубинштейна, где я мирно жила целых одиннадцать лет, с июня 1941 года пере-

стал быть просто домом, а стал объектом вооруженного нападения со стороны врага и объектом вооруженной защиты с моей стороны. С тех пор мы так и называем наши дома: «жилые объекты». И все части наших домов утратили теперь свое прежнее, мирное значение и названия: окна — это «световые проемы», потолки и полы — «перекрытия», крыши — «наблюдательные посты». И более того: редкий дом в Ленинграде не имеет бойниц и пулеметных гнезд, редкий угловой дом не превращен в долговременную огневую точку. Это было сделано тогда, когда мы думали, что, может быть, придется драться с немцами у порогов своих жилищ,—осенью сорок первого года — и готовились к этому.

В квартире № 2 моего дома, в угловой комнате, где жил Костя О., тоже устроили долговременную огневую точку. Одна бойница смотрит на улицу Рубинштейна, другая — на Пролетарский переулок. Я до сих пор, хотя прошло уже полтора года, не могу отделаться от чувства шемящего недоумения, проходя мимо этой огневой точки; мне все вспоминается, как в этой самой комнате Костя, страстный филателист, показывал нам тысячи редчайших марок всех стран света, с красивейшими пейзажами, с цветами и зверьми, с изображениями целых событий, городов, стран... Где же теперь мир этот, разнообразный и увлекательный, красивый и манящий, запечатлевшийся на марках, где он, что сделали с ним? В тот день, когда комната, где мы разглядывали тысячи маленьких изображений мира, была превращена в дот, для того чтобы стрелять отсюда по немцу, который мог, на самом деле мог, подойти сюда, к нашему Пролетарскому переулку,— я ощутила с необычайной остротой, что действительно в мире произошло что-то непоправимое, и это надолго. Он надолго отнят от нас, и это есть война.

Наши войска не допустили немца в город, мы не дрались с ним в домах и на улицах. Поэтому нам, горожанам, пришлось и приходится сейчас сражаться с немцем иначе, чем мы думали вначале: наше сражение с немцем заключается в том, что немец всеми мерами стремится к тому, чтобы уничтожить самые основы, самые возможности существования людей в Ленинграде — хочет выжить нас из нашего города, а мы не даем ему это осуществить.

Мой дом, жилой объект № 7 по улице Рубинштейна, до сих пор не пострадал ни от бомбы, ни от снарядов. В нем целы даже все стекла: инженеры уверяют, будто бы это оттого, что дом, когда вблизи падает снаряд или бомба, не трясется, а «вибрирует». И вот он «провибрировал» до сих пор, до ноября сорок третьего года, не потеряв ни одного стекла. Но в декабре сорок первого года, когда из-за вражеской блокады в городе не стало топлива, дом перестали топить — и от мороза в нем лопнули трубы парового отопления, водопроводные и канализационные трубы. В доме не стало ни света, ни воды, ни тепла — как почти во всех домах Ленинграда. Жилец нашего дома из квартиры № 10, Вл. Кнюх, замерз в своей квартире, у себя на кровати, как в степи. Жить в нашем доме стало невозможно. И многие, как Кнюх, погибли в своих квартирах. Но большинство жильцов ушло из дома и сгрудилось в общежитиях, при своих учреждениях и предприятиях, в то время как другие приютились у друзей и знакомых, которые сумели обзавестись примитивной жестяной печкой.

Быть может, никто острее ленинградцев не испытал печаль бездомничества: мы бездомничали в своем родном городе, возле своих домов.

Я тоже покинула свою квартиру, где черная, вылившаяся из радиаторов вода замерзла, покрыв льдом весь пол: я перешла жить в общежитие при Доме радио. Я приходила на свою квартиру очень редко, только затем, чтобы взять какую-нибудь нужную мне вещь. Приходя, я замечала, как холодная пыль наслаивается на всех вещах моего бывшего жилища, и мне казалось невероятным, что когда-нибудь я вновь буду жить не в «казенном» углу, а в «своей квартире». Это страшило после первой блокадной зимы. Слишком много ужасного испытали мы все именно в своих квартирах, и казалось, что с возвращением в них все повторится вновь.

И, однако, это произошло быстрее, чем мы все ожидали. Одной из деталей той огромной моральной победы, которую одержали осажденные ленинградцы над немцами, было их возвращение в свои дома, было создание на своих «жилых объектах» настоящего домашнего очага, преодоление бивуачной психологии, ощу-

щения, что можно жить «пока», «где-нибудь» и «как-нибудь».

Нет, мы решили жить как люди: в своих домах, в своих квартирах, и даже с бытом и уютом!

Никто из нас, жильцов дома № 7 по улице Рубинштейна, не вернулся в этот дом ни осенью сорок второго года, ни даже весной сорок третьего; бедный дом пока что совершенно непригоден для жизни. Он стоит совсем целый, как я уже писала,— даже со стеклами. Но бумажные кресты на стеклах свидетельствуют о том, что дом брошен: в жилых квартирах теперь нет этих крестов. Их с отвращением содрали вернувшиеся в свои жилища...

Но мы не можем вернуться в свой дом, мы временно или постоянно получили комнаты или квартиры в других домах... Ведь в Ленинграде теперь так много пустых квартир!..

Мы возвращались на старые свои квартиры или занимали новые так же, как занимают солдаты рубежи, с которых врагу временно удалось их выбить. Мы понимали, что нам следует очень сильно укрепить эти свои жизненные рубежи: война продолжается, осада все еще длится, а мы будем воевать до победы. Мне пришлось укреплять свой рубеж, то есть приводить в порядок свою новую квартиру, очень долго, так как я получила, как и многие другие, квартиру, хозяева которой погибли во время зимы сорок первого—сорок второго года, оставив свое жилище малопригодным для жизни...

Стекла в комнате, выходящей на улицу, были выбиты воздушной волной от снаряда, разорвавшегося в соседнем доме. Но мы ненавидим «зафанеренные», то есть забитые фанерой, окна — за время тяжелой блокадной зимы мы так полюбили свет. И мне хотелось обязательно «застеклиться». Я понимаю, что в наших условиях стекла могут вылететь снова через час после того, как их вставишь... Но все равно!.. А оконного стекла в Ленинграде нет... Но в магазине художественных изделий продавались застекленные портреты... Мы купили несколько десятков таких портретов и, расстелив их, вставили стекла в окна. На окна моего кабинета пошло шесть Пушкиных и три Гоголя. А маленькая печка с плитой у меня в столовой сложена из кирпичей ближайшего разбомбленного дома. Там же нашли

мы конфорки и решетку для нее, а в развалинах на Моховой улице было обретоено настоящее сокровище— несколько целых кафельных кирпичей,— они пошли на облицовку развалившейся плиты в кухне.

А перекладывал мне плиту, стеклил окна, попутно обучая этому меня, мой друг Всеволод Марин, заместитель директора Публичной библиотеки. Книжник и библиотекарь, этот человек стал во время войны настоящим и знающим универсалом в области жилищного хозяйства: он кровельщик, монтер, печник, стекольщик. Хочется похвастаться, что я тоже умею чистить дымоходы, могу, при соответствующей консультации, стеклить окна, сумею прочистить трубу в раковине на кухне... Нет, теперь немцу не выбить меня из моего жилища. Только снаряд может заставить меня переселиться в другое место, но и на новом месте я стану обосновываться так же основательно и прочно, как здесь, не думая о том, сколько времени удастся мне прожить здесь до нового снаряда.

Недавно мой знакомый артиллерист, гвардии капитан, зашел ко мне.

— Хорошее у вас помещение,— сказал он,— но мало накатов.

— Да,— ответила я.— Всего один накат. Ваше дело, капитан, сохранить мне мое помещение.

— Мы стараемся,— улыбнулся он.— Мы стараемся для всего города.

Капитан Резников служит в гвардейском артиллерийском полку, ведущем контрбатареиную борьбу с немцами. Наши усилия слиты: он защищает наши жилища огнем своих орудий, мы бережем их как домашний очаг.

...Сейчас на Невском, напротив полусгоревшего Гостиного двора, открыта выставка. Эта выставка — наглядное пособие по подготовке к третьей блокадной зиме. Здесь горожане могут перенять лучшую систему утепления водопроводной сети, лучшую систему печного отопления. Здесь представлено множество систем печек, а наиболее совершенная из них — это печка «Ленинградка». Она выложена белыми изразцами, высокая, в нее вмазан котел, который может обогревать целых три батареи при минимальном потреблении топлива.

Недаром же дали этой печке имя «Ленинградка»—

она действительно, подобно ленинградской женщине, щедра на тепло, требуя для себя лишь самый минимум.

А рядом с «Ленинградкой», рядом с усовершенствованной системой простейшего утепления водопровода стоят немецкие бомбы и снаряды всех калибров. Некоторые, как, например, бомба в тысячу килограммов, — невзорвавшаяся, но большинство — наполовину, на три четверти взорвавшиеся. Это снаряды и бомбы, принесенные сюда с ленинградских улиц, подобранные среди развалин. Они уже разрушили чьи-то, с таким трудом оборудованные жилища, уже убили кого-то из ленинградцев. Это снаряды-убийцы, снаряды — грабители и разбойники. Над ними нет никаких агитационных надписей, они выставлены просто так, для обозрения. Но это молчаливое сопоставление красноречивее всего: на небольшой выставочной площадке противопоставлены два мира: мир злобного разбойничьего разрушения и мир воинствующего трудолюбия и созидания. Мир, в котором люди заботливо и упрямо берегут на своих «жилых объектах» свои домашние очаги — вопреки всему. Этот мир не может не победить мира зла и хищничества.

*Ноябрь 1943*

### **Артиллерийский обстрел продолжается**

*(Письмо за кольцо)*

С осени 1943 года на моем доме, как и на тысячах других домов Ленинграда, появилась новая надпись — белые буквы на синем квадрате: «Граждане, при артиллерийском обстреле эта сторона улицы наиболее опасна...»

Да, нам уже точно известно, какая сторона улицы наиболее опасна, какие улицы наиболее простреливаются, на каких трамвайных остановках или площадях чаще всего ложатся снаряды, — так долго живем мы под непрерывным обстрелом. Более двух с половиной лет не сводят мушки немцы и финны с нашего города, а значит — с каждого из нас.

...Вот и сейчас — не успела я написать два первых абзаца, как слышу характерный свист снаряда (это тяжелый фугасный)... и взрыв и долгий гул (да, это

тяжелый, калибр не менее двухсот миллиметров — взрыв сильный, и гул обвала продолжительный). Сейчас — ночь, ноль часов восемнадцать минут... Вот еще свист и взрыв, ближе... Надо уйти из комнаты: она выходит на ту сторону улицы, которая «наиболее опасна при обстреле». А эта, куда я перешла и где продолжаю писать, выходит окнами во двор, в противоположную сторону. (Еще взрыв — ноль часов двадцать три минуты.) Здесь... «безопаснее»! Здесь мне угрожает только прямое попадание снаряда через крышу, прямо в эту комнату. Если же снаряд попадет в кабинет, из которого я ушла, — может быть, капитальная стенка между ним и этой комнатой выдержит, и я останусь жива. Еще три взрыва — один за другим. (Я так и думала, — что это в наш район. Вот диктор объявил обстрел... «Населению — немедленно укрыться», — сказал он.) Сейчас — ночь, ноль часов двадцать шесть минут. В течение восьми минут, пока я писала эту страницу, убиты десятки ленинградцев, разорены десятки квартир. В нескольких минутах ходьбы от меня, в темноте и холоде, льется кровь, рыдают дети, и санитары и дружинницы, освещая ручными фонарями то, что совсем недавно было мирным спящим домом, а теперь — очаг поражения, уносят мертвых и раненых и «складывают людей»... Это термин у нас такой есть — «сложить человека», то есть собрать его растерзанные части в одну кучку.

Диктор повторяет: «Артиллерийский обстрел района продолжается». Я уже не фиксирую взрывов.

Последнее время немцы начали часто применять ночные обстрелы. Но это только один из многочисленных приемов обстрела города. За два с половиной года неустанно, с дьявольской изощренностью изобретают враги способы уничтожения горожан. Они до пятидесяти раз меняли тактику обстрелов. Цель одна: как можно больше убить людей.

Иногда обстрел носит характер бешеного огневого налета — сначала по одному району, затем по другому, потом по третьему и т. д. Иногда до восьмидесяти батарей бьют по всем районам города сразу. Иногда дается сильный залп одновременно из нескольких орудий и затем продолжительный интервал — минут на двадцать — тридцать. Это делается с расчетом, что минут через двадцать тишины укрывшиеся люди вновь

выйдут на улицу, и тут-то вновь можно дать по ним новый залп. Обстрелы такого рода ведутся обычно по нескольким районам сразу и длятся иногда, как в начале декабря, до десяти и более часов подряд. Этим летом были обстрелы, длившиеся по двадцать шесть часов подряд.

Враг бьет по городу утром и вечером, учитывая, что в эти часы люди идут на работу или возвращаются с нее.

В это время он бьет главным образом шрапнелью, чтобы убивать людей. Шрапнель применяется также часто по воскресеньям и праздникам, когда люди выходят на улицы отдохнуть.

Но сейчас, когда я пишу, он посылает нам не шрапнель, а тяжелые снаряды. Ведь прежде чем убить спящего человека, нужно ворваться к нему в дом... Ночью немцы бьют главным образом по самым населенным частям города, где больше всего спит людей. Они стреляют по сонным, не одетым даже, по беззащитным. Так «воюют» немцы!

Пленные, как один, показывают: гитлеровцы давно уже утратили надежду взять Ленинград. Они вымещают теперь свой позор под Ленинградом на его гражданах — женщинах, стариках и детях...

Есть у нас мальчик (увы, один из многих) десяти лет, Петя Дьяконов. Во время одного артобстрела ему оторвало обе ручки. Мальчик долго лежал в больнице, его выхаживали врачи, мать приходила к нему так часто, как ей позволяла работа. Мальчик вылез, пришел домой. Вместо рук у него были два обрубка. Как лелеяла его мать, как старалась скрасить его жизнь — инвалиду Отечественной войны десяти лет. Восьмого декабря мальчик был на улице — мама вела его в кино. Немец начал стрелять по городу. Мальчику оторвало левую ногу, и на глазах его убило мать.

Вот новая «победа» генерал-полковника Линдемана!

Мальчик лежит в больнице. Он рассказывает сухим, деревянным голоском, подробно, бесстрастно. Закончив рассказ, он сказал: «Теперь я остался один» — и отвернулся от людей к стене, не плача.

Иван Карамазов говорил когда-то: «Не хочу я будущей гармонии, если хоть одна слезинка замученного ребенка останется неоправданной». Судите сами,



чем же должна оправдать Россия кровь и слезы хотя бы одних ленинградских детей, хотя бы отсутствие слез у десятилетнего инвалида Пети Дьяконова.

Немцы и финны стреляют по Ленинграду только потому, что Ленинград не может быть взят ими, потому, что Ленинград живет. Он живет, я сказала бы, ожесточенно, вопреки всему, — «стиснув зубы, с железной решимостью», как говорили раньше.

Этой осенью, в те же дни, когда на наших домах появилась надпись: «Эта сторона наиболее опасна во время артострелов», открылось в Ленинграде художественное училище. Задачи училища — готовить мастеров внутренней отделки домов Ленинграда: специалистов по художественной лепке, окраске, по работе с мрамором и драгоценным деревом. Да, да, мы готовим мастеров украшения ленинградских жилищ! В начале декабря юные ученики разгружали подошедшую к зданию машину. Машина привезла скульптуры и гипс — пособия для занятий. Первым снарядом она была раздроблена в щепу, и из двадцати шести учеников, разгружавших ее, только три остались невредимы. Остальные были или убиты, или ранены. Двое из них, Иосиф Короп и Вася Реутов, лежат рядом, в одной палате. Васе только недавно вынули из груди осколок. Они оба тяжело ранены, но оба надеются вернуться в свое училище, чтобы снова учиться художественной отделке зданий и сразу, как это только можно будет, начать украшать свой город.

Мария Ивановна Егорова шестого декабря шла с мужем по улице. Мария Егорова была на последнем месяце беременности. Внезапно начался огневой налет. Супруги прижались к стене, муж закрыл своим телом жену. Он был убит четвертым снарядом. Жену ранило в руку. «Скорая помощь» повезла ее прямо в родильный дом. Она рожала в то время, когда ей перевязывали раны, и родила сына. Она назвала его Александром, как звали ее погибшего мужа...

Диктор опять сказал: «Внимание, внимание! Артиллерийский обстрел района продолжается». Один час тридцать минут ночи.

Уже принято восхищаться мужеством ленинградцев... Однако мало кто понимает, что это значит. Многие думают, что это равнодушие к лежащим рядом снарядам... Одна москвичка сказала мне даже: «Да

ведь вы же просто привыкли к обстрелам». Это ерунда! Мы — обыкновенные, живые люди. Ни привыкнуть, ни быть равнодушным к смерти, даже если она грозит тебе ежеминутно два с половиной года подряд, нельзя.

Одна моя знакомая, журналистка Калинина, рассказывала мне: «Однажды я попала под сосредоточенный огонь на Аничковом мосту. Не помню, как я осталась жива, — почти все, кто был в эту минуту на мосту, погибли. Я еле перебежала мост и нырнула в подъезд... Теперь, даже в часы абсолютной тишины, мне надо делать над собой страшные усилия для того, чтобы перейти Аничков мост». — «Но ведь вы же можете ходить окольным путем», — возразила я. «Да, но по Аничкову мне ближе... Но как я боюсь его...»

Калинина не только по воспоминанию боится моста — она знает, что ее здесь может в любую минуту убить. Но она идет по нему, делая над собой усилие, и имя этому усилию — мужество.

Воля к жизни, к деятельности сильнее, она не убита, она заставляет нас делать усилия над собой и жить и работать в полную силу в нашем городе.

Нет, под снарядами мы не ходим с гордо поднятой головой — это просто глупо. У нас целая система хождения по улицам во время затяжных обстрелов. Так, пятого декабря, в день, когда обстрел длился одиннадцать часов, совсем по-особому шли люди в городской лекторий. Они двигались по «наименее опасной стороне», прижимаясь к стенам, прячась в подъездах, когда вблизи свистели снаряды, перебегая из подворотни в подворотню, а когда надо — ложась на снег. Никто не стыдился этого, никто никого не осуждал — они шли на лекцию типично фронтовыми перебежками.

...А враг все еще кладет снаряды в наш район. Диктор говорит через равные промежутки времени: «Артиллерийский обстрел района продолжается...»

Я солгала бы, если бы сказала, что мне сейчас страшно. Я солгала бы, если бы сказала, что мне безразлично. Нет, какая-то тоска, похожая на чувство глубокого одиночества, сжимает сердце и словно тянет его вниз... Это, наверно, тоска человека в нечеловеческих условиях. Это сильнее и страшнее страха. Минутами хочется лечь прямо на пол, лицом в ладони, и застонать от этой глубокой, тянущей сердце тоски, от боли



залось, что силы у нас неисчерпаемы: встречаем в осаде третий Новый год, правда, совсем иначе, чем два года назад, но все же... Но уж четвертый Новый год мы таким образом встречать не будем! Довольно, хватит! И уж теперь это не просто вера в победу, а спокойное знание ее сроков...

Сорок третий год мы встречали в те дни, когда армия наша наступала, когда немцев окружали под Сталинградом. Сорок третий год расцвел для нас ночью с восемнадцатого на девятнадцатое января, ночью прорыва блокады. Нельзя без душевного волнения вспоминать эту ночь. А через четырнадцать дней, второго февраля, мы узнали о полном и блистательном разгроме гитлеровских армий, окруженных под Сталинградом.

Мы никогда не жили и не живем только своими, узко ленинградскими радостями и печальями. Всем сердцем переживаем мы все, чем живет наша мать-родина. Эту высокую, в войне обретенную гражданственность нам нужно сберечь навсегда. В самом деле, вспомним, как мы страдали за Сталинград, когда враг пытался сломить его. А когда, зажатые нашими войсками, остатки немецкой армии вынуждены были сдаться — как радовались мы этой легендарной победе!

Так начался сорок третий год.

Завтра мы встретим сорок четвертый год — год наших новых побед. А что это значит? Это значит, что, может быть, очень скоро мы вновь придем в наш Пушкин, в наш Петергоф, в нашу Гатчину... Они выжжены, разрушены, истерзаны. Наверное, мы даже не узнаем их, когда придем туда... Об этом даже говорить больно... Но ведь это уже реально, что мы придем туда и будем бережно восстанавливать их... Мы, начавшие сорок третий год с прорыва блокады, встречаем сорок четвертый год с твердой уверенностью, что в этом году блокада будет снята полностью, что сорок пятый год мы встретим в освобожденной Ленинградской области.

Дыхание несомненной грядущей победы чувствуется во всей нашей жизни. Уже сейчас, в то время как мы еще находимся в осаде, в то время как враг еще обстреливает наш город, — уже сейчас упрямо начали мы строить наше мирное будущее. Оглянитесь сами: еще рушатся стены ленинградских домов, но художе-

ственное училище готовит мастеров, которые будут украшать наши здания; еще корабли наши стоят на Неве, но мы уже готовим кадры строителей тех кораблей, которым будут открыты все моря мира. Еще каждого из нас может изувечить снаряд, но физкультурный техникум уже открыл прием студентов — будущих мастеров спорта.

Так, в разгаре войны, в осаде, на фронте, под разрушительным огнем противника мы закладываем наше близкое мирное, созидательное будущее. Мы хотим встретить победу во всеоружии. Мы сможем сказать будущему миру: «Еще в гуде войны мы вынырчили тебя».

Нет, наверное, мы не будем просто восстанавливать разрушенное. Наверное, мы будем заново рождать наш город, наш быт, весь наш мир. Они будут почти такими же, как раньше, и в то же время не совсем прежними. Я, как и вы, думаю — лучше. Но я также думаю, что мы тоже уже никогда-никогда не будем такими, как были до войны. Что-то умерло в нас, может быть, даже хорошее, что-то новое родилось — сильное, дерзкое, упрямое, что помогает нам преодолевать усталость, неизбежную при нашем быте...

Дыханием несомненной грядущей победы овевана встреча сорок четвертого года. Но победа требовательна. Она уйдет от нас, если мы ослабим свои усилия для ее достижения. Только мы сами знаем, какого отдыха мы все уже заслужили, но враг еще не добит, и мы должны напрячь все силы, чтобы добить его. Мы добьем врага. Мы верим в самих себя, и с этой верой в свои силы каждый из нас встречает новый, сорок четвертый год.

Новогодняя полночь снова  
в осажденный город пришла,  
как посланница края родного,  
хороша, строга и светла.

Снег на шлеме ее синеет,  
на тулупе — звездный узор,  
и клубится и блещет за нею  
невозможный российский простор —

тот простор без конца, без огляда,  
неразгаданный, сказочный, свой,  
тот, который давно в Ленинграде  
называют Большою Землей.



не жалея, включи фонарик,  
встань и посвети.  
Если можешь, даже руку  
протяни ему.  
Помоги в дороге другу,  
другу своему.  
и скажи: «Спокойной ночи,  
доброй ночи вам...»  
Это правильные очень,  
нужные слова.  
Ведь еще в любой квартире  
может лечь снаряд.  
и бушует горе в мире  
третий год подряд.  
Ночь и ветер, веет вьюга,  
смерть стоит кругом.  
Не пройди же мимо друга,  
не забудь о нем...

## ЖЕЛАНИЕ

Я давно живу с такой надеждой:  
вот вернется город Пушкин к нам —  
я пешком пойду к нему, как прежде  
пилигримы шли к святым местам.

Не забытый мною, дальний-дальний,  
как бы сквозь войну, обратный путь.  
Путь на Пушкин, выжженный, печальный,  
путь к тому, чего нельзя вернуть.

Милый дом с крутой зеленой крышей,  
рядом липы круглые стоят.  
Дочка здесь жила моя, Ириша,  
рыжеватая была, как я.

Все дорожки помню, угол всякий  
в пушкинских таинственных садах.  
С тем, кто мной доныне не оплакан,  
часто приходила я сюда...

Я пешком пойду в далекий Пушкин,  
сразу — как узнаю — возвращен.  
Я на черной парковой опушке  
положу ему земной поклон.

Кланяюсь всему, что здесь любила, —  
сердце, не прощай, не позабудь,  
кланяюсь всему, что возвратила,  
трижды тем — кого нельзя вернуть.

*31 декабря 1943*

Час тому назад мы вернулись в Ленинград из Пушкина.

Мы приехали в город через несколько часов после его освобождения и были едва ли не первыми «гражданскими» ленинградцами в Пушкине. Нас ездило семь человек на «репортажке» Ленинградского радиокомитета — четверо сотрудников радиокомитета, артист Ю. Калганов, пушкинист В. Мануйлов и я. Машину вел главный инженер радиокомитета Свиридов, вызвавшись заменить шофера, потому что уже с вечера двадцать четвертого января, сразу после Приказа, «репортажку» осаждали десятки людей, жаждущих попасть в Пушкин. Нам завидовали отчаянно, и мы понимали это: для ленинградцев нет места, любимого более нежно, чем Пушкин. У редкого ленинградца не связано с этим зеленым, уютным, милым городком самых светлых личных воспоминаний. Странно сейчас говорить об этом, но мы приезжали сюда только затем, чтобы любоваться всей этой гармонической, неповторимой красотой царственных дубрав и чертогов, всем, что было здесь в течение веков трудолюбиво и любовно создано для человеческой радости, для наслаждения... И все это было неразрывно и прекрасно слито со светозарной поэзией Пушкина, с вечной его юностью...

Мы выехали на рассвете, опасаясь, что придется подолгу стоять на дороге. Но наши войска ушли уже за ночь далеко вперед, дорога была свободна. Наша машина на возможной скорости шла по Московскому шоссе мимо циклопических баррикад, мимо огромных бетонных надолб и железных ежей, мимо глубоких противотанковых рвов и траншей, вырытых нами осенью сорок первого года. Еще всего шесть дней назад это были ближние подступы к Ленинграду, фронт, а сегодня уже были сняты военные заставы вплоть до Пулкова: фронт отодвинулся от Московской заставы, от города. И город, первым в Европе остановивший немцев у самых своих стен, с каждым часом отбрасывал их все дальше и дальше с неумолимой силой до отказа сдавленной и теперь отпущенной пружины.

От самых Пулковских высот земля носила следы только что отгремевшего боя: несмотря на январь месяц, земля была бесснежна, вся вывернута, вся взор-



вана, взрыта и не похожа ни на что: ни на пашню, по которой прошелся исполинский пахарь с исполинским плугом, ни на разрытую землю для грандиозного строительства — ни на что не похожа, кроме поля боя. Да, это здесь, в этой земле, вцепившись, впившись в нее, как кровососы, два с половиной года сидели немцы. Их надо было вырвать отсюда вместе с землей, поднять вместе с землей, иначе они не ушли бы. Да, это сюда, на эту землю возле Пушкина, обрушился тот незабываемый, долгий, многочасовой гром, который мы услышали в городе утром пятнадцатого января и, переглянувшись, передохнув, сказали друг другу: «Началось!»

Чем ближе подъезжали мы к Пушкину, тем чаще попадались разбитые в щепу немецкие землянки, дзоты, перепаханные траншеи, опрокинутые козлы с колючей проволокой, разметанные части орудий. Потом пошли срезанные, обугленные, расщепленные деревья, остовы каменных зданий, фундаменты взорванных домов... Темная масса деревьев неслась на нас с конца дороги — и вдруг мы остановились перед монументальными колоннами ворот: мы были в Пушкине! Мы стояли перед Орловскими воротами.

Они целы. Они такие же, как тогда, до войны. Возле них «Руина» — увы, даже и она сильно покалечена, но мы сразу узнали ее. Мы медленно ехали вдоль парка в центр города и, жадно глядя в окно, узнавали все, все узнавали — ведь это же был наш, наш Пушкин, который невозможно было разлюбить или позабыть, который остался в сознании как обитель радости, красоты и света.

Мы узнавали все. Вот Турецкая баня — стена ее зияет пробоиной, она вся ободрана, вся в каких-то грязных пятнах, но башенка цела, и баню можно узнать. Чесменская колонна стоит посреди застывшего озера, покрытого налетом золы и гари. Арсенал цел, только у одной башенки обвалились зубцы. Вон сквозь ветки парка видна Камеронова галерея — господи, неужели же сейчас мы войдем под ее своды? Конечно, войдем: мы в Пушкине, в нашем Пушкине, ничего не забыто нами — он снова наш.

Но ни одного человека не попалось нам навстречу, пока мы очень медленно подъезжали к воротам «Любезным моим сослуживцам». Здесь машине при-

шлоось остановиться — оба моста через речку взорваны немцами. Цепляясь за обвалившуюся землю и камни, мы перебрались на ту сторону и увидели в конце улицы купола дворцовой церкви и арку Лицея.

...Я не могу назвать чувство, охватившее меня с момента вступления на пушкинскую землю, даже радостью. Это чувство было сложнее, щедрее, массивнее, чем радость, и совсем непохожее на нее. В нем смешивалась не испытанная еще, распирающая, какая-то озлобленная гордость и пронзающая душу боль.

А больно было оттого, что Пушкин лежал в развалинах и ни одного человека, ни одного не встретили мы на своем пути. Немцы не оставили в Пушкине русских людей. Кого замучили и убили, кто умер от голода, кого угнали в Германию. Никому из пушкинцев не пришлось дожидаться дня освобождения в своем городе. Неживая тишина и полное, трагическое, угрюмое безлюдье царили на улицах, среди обугленных, полувзорванных или сожженных домов и молчаливых черных парков. О, хоть бы один человек, хоть бы старуха какая-нибудь выползла из подвала и попалась навстречу — потому что нестерпимо хотелось встретить здесь долгожданного, родного, своего, обнять его, поплакать вместе с ним слезами радости, погоревать над разорением, среди которого произошла наша встреча, и, улыбнувшись, сказать друг другу: «Ничего. Обстроимся, наладимся. Главное — вместе, на своей земле».

Но никого, никого не встретили мы, двигаясь к Лицею, ни одного живого существа.

Видимо, все находившиеся в городе — несколько патрулей, несколько саперов — ощущали это давящее безлюдье, невыносимое для общительной души русского человека, да еще охваченного радостью победы. И удивительно ласково, бережно как-то обращались немногие пришедшие в город люди друг с другом: встретясь, тотчас же вступали в дружеский разговор, предупреждали о минной опасности, улыбались друг другу: о да, необходимо было человеческое тепло, рукопожатие, речь — среди этих горьких развалин, на вновь обретенной своей земле. Что она — без человека?

У Екатерининского дворца встретил нас патруль;

начальник козырнул, представился, любовно поглядел на наше гражданское платье.

— Из Ленинграда? Разрешите, пожалуйста, командировочки.

Мы охотно представились, каждый назвал себя по профессии и по имени, — сказали, что вот только что приехали в Пушкин.

— А мы уже со вчерашнего дня тут, — улыбнулся начальник патруля и, помолчав, добавил: — Вошли — и ни одного гражданского, ни одного... А вы, дорогие товарищи, осторожно тут ходите, только по тропочкам, только по нашим следочкам — тут повсюду заминировано. Опасно.

Мы шли по чьей-то бесстрашной тропочке вдоль Екатерининского дворца (со стороны парка, по чьим-то широким следам — несомненно, следам русских валенок), подошли к главному его подъезду, остановились. Жгучая обида рванула сердце: я вспомнила вдруг, как тогда, до войны, мы, хозяйева, входили в этот дворец, надев войлочные туфли... Мы боялись царапину на полу оставить, мы лелеяли его... Товарищи, наш чудесный дворец разбит, разрушен! Чужеземцы, пришельцы, захватчики осквернили и разорили его. Только стены остались от него, а внутри все обвалилось, сквозь дыры окон видны кирпичи, скрученные балки, разбитые камни. Почти ничего не уцелело внутри дворца. Из дверей большой анфилады с их неповторимой позолоченной резьбой немцы устраивали потолки в своих землянках, настилали их вместо пола. Мы видели это сами. В одной из комнат дворцового подвала, где жила испанская «Голубая дивизия», мы видели обломки драгоценной резьбы. Видимо, здесь жил какой-то «любитель изящного». Сюда было затащено пианино, а на крышке пианино лежал срубленный с карниза золотой купидон.

Здесь же, во дворце, куда мы входили с таким благоговением и радостью, в комнатах нижнего этажа были устроены отхожие места для солдат и стойла для лошадей — мы видели в конюшнях свежее сено и конский навоз; лошадей угнали отсюда только вчера.

Враг уходил из Пушкина, трясясь от страха и отчаянно спеша, и все же успел разбить прикладами зеркала, растоптать старинные статуэтки, изрубить все, что было еще цело в церкви. Больше того — даже

ущелешные стены дворца, которые гордо и вызывающе, несмотря ни на что, хранят изящный свой и величественный контур, даже стены эти решили уничтожить бегущие немцы. Они нашли время для того, чтобы в наиболее сохранившуюся часть дворца затащить огромные авиационные бомбы замедленного действия и минами всех образцов набить все углы дворца. Врага выбросили отсюда, но гнусное его дыхание еще змеится по всем углам, смерть оставлена им здесь — невидимая, бессмысленная, подстерегающая на каждом шагу.

Мы узнали об этом от сапера, которого встретили уже возле Камероновой галереи.

— Вы... вы дворец осматривали? — почти весело и очень удивленно воскликнул он. — Да он же заминирован весь! Нет, уж вы поосторожнее...

Но тотчас же, указывая на Камеронову галерею, прибавил:

— А вот в этом дворце целых четыре штуки заложил. Здоровые! Пойдемте покажу... Наши их там сейчас обезвреживают. Вам интересно будет... Пойдемте, пойдемте!

Надо признаться, что мы отправились наблюдать обезвреживание трехтонных бомб без особого восторга, но... положение бесстрашных ленинградцев обязывало!

Я рада сказать, что Камеронова галерея хорошо сохранилась, хотя сильно изранена; в галерее нет ни одного бюста, а могучие статуи Геркулеса и Флоры украдены немцами. Но галерея все та же — легкая и строгая, полная воздуха и света.

У самой лестницы стоял грузовик, и несколько возбужденных, очень довольных саперов уже грузили на него трофейные бочки с бензином. Худошавый, высокий, весь закопченный военный немедленно и дружелюбно представился нам.

— Старший лейтенант Сальников, — сказал он, козыряя. — А вы — комиссия?

Мы опять поспешно и обрадованно назвали себя, сказали, кто мы и зачем здесь, и особое внимание обратили на В. А. Мануйлова как знатока города. Услышав это, старший лейтенант Сальников схватил с земли тонкие зеленые и красные провода и стремительно сунул их чуть ли не в самое лицо Мануйлову...

— Вот,— торжественно закричал он,— только что перерезали! Это шло к авиабомбам замедленного действия. Мы их сию минуту обезвредили. Буквально одну минуту назад! Все четыре. Можете убедиться.

Он подвел нас ко всем четырем бомбам по очереди — громадным, трехтонным бомбам, собственно говоря — торпедам, опутанным зелеными и красными проводами, как какими-то мерзкими червями.

— О, тут бы все в прах превратилось, если б они взорвались,— говорил Сальников.— Тут был расчет на одно лишь неосторожное движение — и все бы на воздух... И просто смешно, что это могло случиться буквально минуту назад!.. Но вы теперь не волнуйтесь, товарищ профессор,— обратился он к Мануйлову,— и вы, товарищ артист, и вы, товарищ писатель, тоже: этот дворец спасен. Ну, и мы заодно... И мы его опять отделаем по-прежнему... До войны я был инженером-строителем. Я вам ручаюсь, что это можно восстановить в прежней красоте. Верьте слову строителя... А теперь прощайте, мы едем вслед за нашими частями, нам надо поспеть в Гатчину... Вот в Павловске немцу удалось поджечь и взорвать дворец, и сейчас он горит, но здесь все, что уцелело, будет спасено, как эта галерея. Верьте слову строителя и сапера. До свиданья, товарищи, не волнуйтесь и ходите только по тропинкам. Только по тропинкам!..

Они шумно погрузились в грузовик, мы пожали им руки, и они помчались вслед за своей частью, уже дерущейся в это время на окраинах Гатчины, а мы пошли дальше, по городу.

Возле полуразрушенного домика Китаевой нам вновь встретился патруль, и вдруг В. А. Мануйлов не удержался и начал рассказывать им и нам о домике, около которого мы стояли. Он говорил минут двадцать — двадцать пять, почти целых академических полчаса; солдаты слушали жадно и внимательно и все с большим уважением поглядывали на разбитый деревянный домик, около которого торчали дощечки с надписями: «Минен, минен!» И вокруг было очень тихо, совершенно безлюдно и очень грустно... «Спасибо, товарищ профессор,— сказал патруль, когда Мануйлов кончил краткую свою лекцию,— теперь будем знать, какой это знаменитый домик...»

В Лицее нет ни одной рамы, но Лицей все же цел,

и лицейская церковь цела — и это просто удивительно! Мемориальные доски на Лицее на месте, и даже дощечка с надписью на русском языке, дощечка, висящая у Лицея еще с мирного времени: «Автобус № 3, Пушкин — Ленинград» — непостижимым образом осталась цела. Она скоро опять пригодится нам — ведь путь от Пушкина до Ленинграда вновь свободен! Но в ограде — пустой гранитный постамент: статуи юноши Пушкина, мечтавшего на скамье десятки лет, — нет. Постамент пуст и похож на надгробье.

А на воротах, ведущих во двор Екатерининского дворца, на фанере натрафареченная надпись на немецком и русском языках: «Стой. Запретная зона. За нахождение в зоне — расстрел. Комендант города Пушкин».

И у ворот Александровского парка — две фанерные дощечки, тоже на русском и немецком языках. На одной надпись: «Вход в парк строго воспрещен. За нарушение — расстрел». На другой: «Гражданским лицам даже в сопровождении немецких солдат вход воспрещен». (Я привожу надпись со всеми особенностями орфографии.) Мы сняли эти доски и взяли с собой. Потом мы вошли в наш парк, за вход в который еще вчера русскому человеку грозил расстрел.

Александровский дворец сохранился лучше, чем Екатерининский, хотя правое его крыло внутри совсем обрушилось и правый подъезд, у колоннады, совершенно уничтожен. Статуя играющего в свайку — «юноша, полный красоты, напряженья, усилия чуждый», — сохранилась. Юноша, играющий в бабки, валяется в снегу около своего постамента, и его рука, та самая, которой он «о колено бодро оперся», — искалечена.

А перед колоннадой дворца немцы водрузили довольно высокий гранитный постамент. На нем сверху — огромная свастика. На цоколе — изображение железного креста. Перед постаментом, между израненной колоннадой, ровные ряды тесно стоящих березовых крестов. Их около сотни. На каждом — дощечка с изображением железного креста и именем, званием и т. д. похороненного. Здесь похоронены немцы, убитые в срок первом году. Это кладбище. Кладбищ в парках несколько.

А Китайский театр сожжен дотла... Белая башня неисправимо повреждена. В городе нет ни одного дома,

пригодного для жилья. Обугленные, искалеченные, изломанные деревья похожи на раненых солдат... Ходишь по городу, и не верится: неужели здесь когда-нибудь смогут жить люди?

Но люди придут сюда, скоро придут. Ведь мы были в Пушкине всего через несколько часов после его освобождения. И ведь самое главное: он взят нами, возвращен, он опять наш. И я не променяю эти милые сердцу развалины ни на один самый цветущий уголок в других странах света. И старший лейтенант Сальников прав: мы восстановим его в прежней красоте — она бессмертна, потому что она в нас, в нашей воле. Это кажется сейчас пустыми словами, может быть — официальным заклинанием, — потому что, конечно, это будет чудо, если все восстановить, как раньше. Но осенью сорок первого года мы говорили: «Враг найдет под Ленинградом свою могилу», и это тоже тогда казалось чудом, но ведь сбылось же оно? И если свершилось чудо полной ленинградской победы, свершится и чудо возрождения — возрождения всего, что захватчики превратили в развалины, пустыню и прах...

Вошли — и сердце дрогнуло... Жестоко  
зияла смерть, безлюдье, пустота...  
Где лебеди? Где музы? Где потоки?  
С младенчества родная красота?

Где наши люди — наши садоводы,  
лелеявшие мирные сады,  
где их благословенные труды  
на счастье человека и природы?

И где мы сами — прежние, простые,  
доверчиво глядевшие на свет?  
Как страшно здесь... Печальней и пустыней  
селения, наверно, в мире нет.

...И вдруг в душе, в ее немых глубинах,  
опять звучит надменно и светло:  
«Все те же мы: нам целый мир чужбина,  
Отечество нам Царское Село»...

*25 января 1944*

## **В ЛЕНИНГРАДЕ ТИХО**

В Ленинграде тихо. Это так удивительно, так хорошо, что минутами не верится даже... А когда подумаешь, что это не та коварная, зловещая тишина, которая

устанавливалась между обстрелами и не радовала, а томила, то хочется смеяться и плакать от радости и обязательно сделать что-нибудь очень хорошее.

Ведь так недавно, в ночь на 23 января, на улицы города еще ложились снаряды. Вслушавшись, мы определили: огонь ведет одно орудие; оно било с продолжительными интервалами в двенадцать — пятнадцать минут, било в один и тот же квадрат и, конечно, тяжелыми снарядами. По ночам гитлеровцы вообще употребляли только тяжелые фугасные: люди спали за толстыми стенами своих домов; для того чтобы убить их, надо было вломиться к ним в дом. Почти до утра слышны были через каждые четверть часа тяжкие взрывы и скрежещущий шум обвала. И слышать это было особенно больно: ведь уже были взяты нашими войсками Красное Село, Ропша, Стрельна, Урицк, Дудергоф — места, откуда враг особенно интенсивно обстреливал Ленинград, и мы знали — наши войска идут дальше, они ведут бои уже под Пушкином и Гатчиной! Мы знали — врага громят, гонят, считанные минуты остались для него под Ленинградом, но еще где-то во мраке ночи стояла его последняя пушка, достающая до центра города, и какие-то завтрашние мертвецы злобно, тупо, торопливо пытаются навредить побеждающему городу и вырвать у него еще несколько жертв.

Немецкое орудие било по Ленинграду еще в ночь с 22 на 23 января, а утром 25 января мы с несколькими товарищами из радиокомитета вели радиорепортаж из города Пушкина — вблизи той самой площади, на которой это последнее орудие стояло.

В Ленинграде тихо. По солнечной стороне Невского, «наиболее опасной стороне», гуляют детишки. Дети в нашем городе могут теперь спокойно гулять по солнечной стороне! И можно спокойно жить в комнатах, выходящих на солнечную сторону. И даже можно спокойно, крепко спать ночью, зная, что тебя не убьют, и проснуться на тихой-тихой заре живым и здоровым.

...Мы испытываем необычайное, ни с чем не сравнимое чувство возвращения к нормальной человеческой жизни. Каждая мелочь этого возвращения радует и окрыляет нас, каждая говорит о победе.

Трамвайные остановки, перенесенные из-за обстрелов, возвращены на старые места. Как будто бы ме-



лочь, но ведь это значит, что сюда, на эту пристрелянную остановку, никогда не упадет больше смертоносный снаряд, это значит — нет под Ленинградом врага, нет блокады! Я слышала, как на углу Невского и Садовой один пожилой мужчина с упреком сказал двум гражданкам, бранившимся при посадке в тройку:

— Гражданочки, гражданочки! Что вы? На старой остановке в трамвай садитесь, а ругаетесь. Стыдно!

Мы еще недавно пробирались в кинотеатр «Октябрь» (тот, что на солнечной стороне Невского) откуда-то сбоку, по темным дворовым закоулкам, похожим на траншеи, а теперь гордо входим в него с парадного входа, с Невского. А на афишах наших театров появилась новая строчка: «Верхнее платье снимать обязательно!» Как это великолепно, что в театрах можно раздеваться. Это значит, что обстрела не будет, что зрителям и артистам не придется спешно рассредоточиваться, прервав спектакль. Хорошо!

Быть может, только теперь, когда в городе стало тихо, начинаем мы понимать, какой жизнью жили мы все эти тридцать месяцев... Но с особенной силой предстал перед нами самими весь наш путь в день 27 января, незабываемый день ленинградского салюта.

Это был пятый день торжествующей, полной, непривычной тишины в городе. Смутный и радостный слух носился среди горожан: «Говорят, сегодня вечером и мы будем салютовать». А на Невском и Литейном девушки из команд ПВО весь день разбирали безобразные ящики с землей, закрывающие витрины, на которых уже успели вырасти за эти годы трава и лебеда, похожая на деревья. К восьми часам вечера все, кто мог, вышли на улицу. Как только голос диктора объявил: «Слушайте важное сообщение из Ленинграда», у репродукторов столпились люди. Нетерпеливо спрашивали друг у друга, сколько минут осталось ждать, говорили вполголоса, жадно прислушиваясь к рупорам. А когда диктор, отчеканивая каждое слово, начал читать приказ, некоторые догадливые вагоножатые остановили трамваи, и пассажиры высыпали на улицу слушать. Слушали в благоговейном молчании, и около нашего репродуктора, где я стояла, никто не зашумел и не закричал, когда кончилось чтение, только женщина одна крикнула: «Ура, товарищи!..» Она крикнула это голосом, сдавленным от волнения и

счастья. И тотчас же грянули все триста двадцать четыре орудия, и тотчас же в мглистое январское небо взвились тысячи разноцветных ракет, и вдруг Ленинград весь как бы взмыл из мрака и весь предстал перед нами!

Первый раз за долгие два с половиной года мы увидели свой город вечером! Мы увидели его ослепительным, озаренным вплоть до последней трещины на стенах, весь в пробоинах, весь в слепых, зафанеренных окнах, — наш израненный, грозный, великолепный Ленинград, — мы увидели, что он все так же прекрасен, несмотря ни на какие раны, и мы налюбоваться им не могли, нашим красавцем, одновременно суровым и трогательным в праздничных голубых, розовых, зеленых и белых огнях, в орудийном громе, и чувствовали, что нет нам ничего дороже этого города, где столько муки пришлось принять и испытать. Незнакомые люди обнимали друг друга, и у всех в глазах светились слезы.

Я запомнила старуху в плюшевой шубе, которая теребила за рукав то одного, то другого соседа и ревниво спрашивала:

— Ну, а на Большой-то Земле все это слышат? В России-то, на Большой Земле, слышно им сейчас?

— Слышно, -мамаша! — прокричал сквозь грохот салюта один парень. — Слышно... Только ты учти, что мы теперь сами — Большая Земля.

О, мы знали, на Большой Земле слышат и радуются так же, как горевали вместе с нами в дни наших бедствий.

А одна девушка, возле которой остановился незнакомый ей военный, плача трясла ему руку и восклицала:

— Спасибо! Спасибо вам, спасибо!

Он ответил негромко и строго:

— Вам спасибо. Населению...

С чувством великой благодарности говорят ленинградцы о своих армиях, которые сейчас уже далеко от Ленинграда. Наверное, нет ни одного города в Советском Союзе, где бы так сроднились население и армия. Ведь два с половиной года наши армии, непоколебимо держа оборону, находились вместе с нами и вместе с нами переносили все мучения блокады.

Многие, многие ленинградцы помнят, как в страш-

ную первую блокадную зиму сотни солдат и матросов делились скудным своим пайком то с голодными детишками, то с изнемогающими женщинами. Мы знаем, как приходилось нашим армиям держать оборону, рвать в январе 1943 года блокаду. Мы знаем, чего стоила им теперешняя победа,— она досталась ценой городской крови наших воинов...

И вот сразу же, как только стали прибывать в Ленинград первые раненые, в госпитали явились тысячи ленинградских работниц и домохозяек — ухаживать за победителями. Они приходили в госпитали после дня тяжелой работы, оставив свои дома и семьи, и не было сестер и сиделок нежнее и заботливее, чем они. И каждая из них приходила с какими-нибудь гостинцами. Одна несла полотенце, другая — наволочку или салфетку, третья — чашку или мыльницу,— кто что мог, но все несли просто, от сердца. И не лишнее из дома несли, а все необходимое самим, но ничего не было жаль для тех, кто освободил Ленинград от кошмара блокады.

А армии Ленинградского фронта уходят от Ленинграда все дальше и дальше, гоня и уничтожая врага. И нет у бойцов и офицеров ленинградских войск большей радости, чем сознание, что наконец-то город вздохнул полной грудью.

Первый вопрос, который задают человеку, приехавшему на передовые из Ленинграда, такой:

— Ну как там наши ленинградцы? Радуются, а?

— Конечно, радуются!

— Нет, уж вы подробненько, подробненько — как они радуются? Уж вы все точно расскажите!

И десятки раз заставляют рассказывать одно и то же — о том, что трамваи останавливаются на старых местах, что с домов стирают надписи: «Граждане, эта сторона при артобстреле наиболее опасна». И требуют мельчайших подробностей ленинградского салюта, и счастливо смеются от радости: «Свободен Ленинград!»

А немецкие солдаты? Почти каждый из них, захваченный в плен, прежде всего кричал:

— Я не стрелял по Ленинграду!

В Дудергофе, при захвате одного орудийного расчета, командир расчета, немецкий капитан, плененный нашими бойцами, неистово вопил:

— Нет, нет! Прежде чем вы меня куда-нибудь поведете, я требую акта!

— Какого акта?

— Я требую заактировать, что орудия, при которых я нахожусь, не могли бить по Ленинграду! Позовите вашего офицера! Пусть он засвидетельствует, что я не мог вести огонь по Ленинграду!

А в Красном Селе пленные пехотинцы, трясая от страха, клялись, что они «всегда были против обстрелов Ленинграда»:

— Мы даже ссорились с нашими артиллеристами. Мы умоляли их не бить по Ленинграду...

Странный для фрицев гуманизм! В чем же дело?

Они рассказывают дальше:

— Ах, мы так просили их не стрелять по городу! Во-первых, каждый раз на наш огонь отвечали ленинградские батареи, и у нас было много жертв... Кроме того, наши артиллеристы очень часто били по городу просто так: пьянствуют ночью, пьянствуют, потом офицеры говорят: «А ну, пойдем поднимем ленинградских девочек...» И начинали обстрел из тяжелых орудий. О, мы умоляли их! Мы говорили: «Ленинград нам этого не простит...»

Вот в этом они не ошиблись: не простит им этого Ленинград...

...Передо мною немецкий солдатский календарь на 1944 год. Он имеет форму блокнота довольно большого формата. На обложке — карта Ленинградской области, где все названия на немецком языке. Карта изображена как бы водяными знаками. Посредине карты — картинка: силуэты Исаакия, Петропавловского собора, и рядом с ними — фигура немецкого солдата в каске и с автоматом. Над солдатом в белом волнистом квадрате, похожем на пузырь,— стихи. Вот их смысл:

«О чем может мечтать солдат у Волхова и под Ленинградом? В болоте, в более чем завшивевшей землянке?.. Он думает о родине, мечтает о том, что когда-то было, и знает... что все равно придет победоносный Новый год...»

Это, так сказать, общая программа. Дальше она конкретизируется. Вот, например, январь 1944 года.

О чем было предложено мечтать немецкому солдату в течение января? Картинка над табелем говорит

об этом: лежит немецкий солдат в замерзшем болоте, а над головой у него — в пузыре — «мечта»: Нарвские ворота в Ленинграде, и под ними бодро марширует колонна гитлеровских солдат — они с триумфом вступают в Ленинград.

Но вот уж поистине «все врут календари», а особенно немецкие. В январе 1944 года немцы, правда, проходили мимо Нарвских ворот, но только под конвоем, в качестве пленных.

Календарь, кроме того, врал в самом главном: не было вовсе в январе 1944 года у немцев, сидевших под Ленинградом, такой мечты — войти в Ленинград победителями. Эту «мечту» навязывала им тупая их пропаганда, а из показаний пленных выясняется совсем другое: чем дольше длилась осада, тем больше и больше боялись они осажденного города. Их страх возрастал с каждым месяцем осады, с каждой новой победой наших войск вдали от Ленинграда. Они чуяли: Ленинград осажден, но он и вся страна — неразрывны. Они чуяли: мера ленинградского возмездия с каждым месяцем нарастает. И они уже беспокойно ерзали в своих «более чем завшивевших землянках». «Ленинград нам не простит», — бормотали они. Им мерещились не Нарвские ворота, а совсем другое. Пленные показывают: «Мы боялись, что здесь нам предстоит второй Сталинград...»

Легендарная стойкость города, обреченного Гитлером на «самопожирание», невозможность никакими силами отрезать этот город от всей страны — все это подточило дух гитлеровских армий, сидевших под Ленинградом, и, конечно, дало себя знать при нашем наступлении.

Когда я думаю об этом, мне вспоминается одна фраза из письма рабочих Кировского завода, с которым они обратились ко всем ленинградцам в сентябре срок первого года. Они писали: «Скорее смерть испугает нас, чем мы смерти...»

В сентябре сорок первого года, когда немцы, взяв Стрельну, рвались уже к самому «Красному путиловцу», эта фраза звучала как торжественная клятва. Но теперь ясно, что она была пророчеством: Ленинград не испугался смерти. И смерть испугалась Ленинграда!

*3 февраля 1944*

**ДОРОГА.** И вот — Ленинград позади.

«Красная стрела», нарядная, свежая, уже миновала черно-багровые остовы Ижорского завода, прошла мимо срезанных, расщепленных и обугленных стволов, которые были когда-то лесом, где уместна была бы надпись: «Здесь была природа». Осталась позади и вся изъязвленная воронками, молчаливо угрюмая, обожженная земля, которую люди называют ничейной. Она действительно ничья: ни зверья, ни людская, ни птичья — просто ничья. Мы едем теперь мимо сотен развороченных земляных нор, мимо взорванных блиндажей, раздробленных бревен и раскрошенного бетона — мимо всего, что только полгода назад было вражеским кольцом, блокадой...

Так вот оно какое, немецкое кольцо, душившее нас два с половиной года! Мы называли его «железным», — оказывается, оно земляное, значит, страшнее железного, потому что крепче и неподвижней земли нет ничего на свете.

Странное чувство охватывает вас, когда вы смотрите на сотни этих земляных нор, составляющих целые поселки, на зияющие черные ходы, уводящие далеко и глубоко под землю: веет на вас от всего этого чем-то пещерным, доисторическим, мрачно-одичалым, точно нет и не было на свете многоэтажных, стройных, красивых городов, точно кончилась здесь вся человеческая цивилизация... Да, да, именно дикари, пещерные люди, темная орда с воем и скрежетом пришла сюда из какой-то дикой страшной страны, врылась, вкопалась, вгрызлась в землю и решила уничтожить прекрасный, наш умный и светлый город.

Отсюда, из этих подземных нор, двинулись на Ленинград великая тьма, средневековый мор и доисторический ледниковый холод; отсюда двуногие пещерные существа охотились за нами, за людьми, живущими в городе, стреляли в нас из своих орудий, предназначенных для человекоубийства и уничтожения цивилизации, а значит — тоже как бы пещерных. Проезжая, мы видели огромные расщепленные стволы пушек с готической надписью: «Берта». Мы видели проложенную полукругом железнодорожную колею и на ней — уже ржавый, разбитый бронетранспортер с батареей... Мы

вспомнили первые снаряды в центре города, на Глазовой и Ивановской улицах в сентябре сорок первого года: они не столько испугали, сколько изумили горожан; никто не хотел верить, что немец уже так близко, на расстоянии пушечного выстрела. Некоторые говорили, что это просто один какой-то поезд, который «подскакивает» к Ленинграду, другие не верили даже в этот поезд... Но такой «поезд» действительно был. Вот он целых девятьсот дней раскатывал по этому огромному полукругу и при каждом повороте колес «подскакивал» то к одному, то к другому дому Ленинграда — с огнем, горем и смертью. Он и сейчас, разбитый, стоит со стволом пушки, вытянутым по направлению к Ленинграду. Могучая, светлая человеческая ярость была обрушена полгода назад на эти пещерные постройки, на эту свирепую человекоубийственную технику, на все это страшное, мертвенное кольцо, отрезавшее нас от России. Оно превращено в прах, в воспоминание. Впереди — свободный путь на Москву, на Харьков, Симферополь, Севастополь. Впереди — Большая Земля.

Как мы тосковали о ней в дни осады, каким прекрасным видением вставала она перед нами, грея и поддерживая душу...

И вот она разворачивается наяву — большая-большая земля, Россия, родина; она опять вся наша, и можно мчаться из свободного Ленинграда в свободный Севастополь и молча глядеть, глядеть, глядеть на нее, как глядят в лицо любимого человека после очень долгой и опасной разлуки...

Уже осень в России — золотая, тихая, левитановская осень. Неизбежно родным, милым с детства веет от рыжих опушек, от голубоватых мягких холмов, от печально желтых пажитей, от всего пустынного простора страны. Она полна какого-то особого, важного, мудрого и задумчивого покоя... да, это не только извечная русская осенняя тишина, это еще тишина после боя. Следы боев — всюду: на тишайших левитановских опушках — черно-ржавые остовы сгоревших батарей; над синей водой рек — обвалы взорванных мостов; на нежно-зеленой озими — обугленные скелеты танков. Подъезжаешь к нагим торчащим печам и трубам, к зубцам стен, к огромной груде камней, а на них дощечки с надписями: «Курск», «Орел», «Харьков»,

«Белгород»... И так на всем пути от Ленинграда до самого Севастополя — по всей тихой осенней России...

Но среди развалин станций, на расчищенных площадках под брезентом лежат холмы смуглого зерна, огромные кучи бураков и ярко-желтые кочны кукурузы — это урожай нынешнего года, собранный на освобожденной земле. На каждой станции, как муравьи, копошатся люди в ватниках и лаптях, и на каждой хоть что-нибудь уже восстановлено: склад, барак или просто будка. И перед каждым свеженьким, восстановленным зданием обязательно сооружена клумба, и вместо цветов на ней аккуратно камешками выложена надпись: «Смерть фашизму». И буквально везде, на всех станционных развалинах, на камнях городов и поселков, размашисто и крупно начертано:

«Да здравствует наша прекрасная Родина!»

...Вообще различных надписей на стенах городов, на станциях, на развалинах — неисчислимое множество. Мы удивились, мы думали, что это только у нас в Ленинграде пишут все самое нужное прямо на стенах, — оказывается, так делают везде. Надписи эти, конечно, есть некое новое средство общения между людскими массами, движущимися по российским путям. Газеты не могут догнать их, радио есть не везде — надписи на развалинах городов заменяют газеты и радио. Камни к тому же хранят слово и крепко и долго, значит, множество людей узнает его. Здесь вы увидите призывы стремительных дней наступления: «Вперед за полное освобождение Крыма», «Клянемся отомстить захватчикам Кубани»... Рядом с ними прочтете обеты граждан, вернувшихся на родные пепелища: «Клянемся, что восстановим родной освобожденный Орел», «Все силы — возрождению Родины». Здесь строки, прославляющие имена победителей, здесь краткая и страстная информация — «Крым свободен», «Севастополь снова наш».

А в пустой, взорванной немцами Евпатории, где шагам идущего гулко отзывается эхо, где по вечерам ходят с факелами, как в древнем Риме, — там, в номерах гостиницы «Крым», тысячи надписей совсем других и особых.

«Партия старокрымцев 2 февраля 44 года отправляется отсюда в Румынию. Прощай, родная земля...», «Двадцать человек бахчисарайцев едут в Будапешт,



а может, и дальше. 19/II 44», «Меня, мамочку и тетю угоняют в Австрию. Дорогие товарищи, если увидите папу, передайте! Надя из Симферополя, с улицы Жуковского, 24...» И еще и еще писали новоросийцы, сева-стопольцы, кубанцы, одесситы — тысячи имен, ты-сячи торопливых, косых, отчаянных карандашных строк тесно лепятся друг к другу. Здесь, в этой гости-нице, был последний этап. Отсюда по морю немцы гнали на чужбину русских людей, и они торопились оставить хоть имя свое, хоть последний возглас горя на последних камнях родной земли.

...На симферопольском базаре слепой гармонист поет длинную и горькую песню о девушке Насте, уг-нанной на чужбину:

Эту смертельную муку врагу  
я ни простить, ни забыть не могу.  
Крутится, вертится шар голубой,  
Настенька, Настенька, что же с тобой?

Стоят вокруг слепца большим, плотным кольцом женщины, слушают его песню и плачут: у каждой из них такая же непрощенная мука, такое же горе, как в песне слепого. Они слушают жадно и доверчиво и суют слепому певцу рубли и трешки, а он поет долго и проникновенно и заканчивает свою песню словами:

Крутится, вертится шар голубой,  
Настенька, Настенька, встречусь с тобой...

И женщины робко думают: «Что ж, ведь, может быть, и встретимся! Ведь может быть!»

А невдалеке сидит человек с морской свинкой: свинка за пятерку из узкого ящика вытаскивает пред-сказания «вашего ближайшего будущего» — малень-кие сложенные записочки.

Вот женщина в старом беретике, смущенно усмеха-ясь, развернула записочку. «Ваш друг в скором време-ни вернется», — написано в «счастье». «Не падайте духом — вам скоро будет счастливое известие», — ска-зано в другой. «Ваше заветное желание скоро испол-нится», — написано в третьей. «Имущество ваше не-пременно в ближайшие дни отыщется», — в четвертой, и т. д., и т. д. Негромкий смех раздается среди жаж-дущих узнать будущее, когда разворачивается пятая записка: никто, конечно, не верит предсказаниям мор-

ской свинки, но всем приятно и немного смешно, что она предсказывает только одно хорошее и обязательно «в скором времени»... Ведь горькие песни слепцов, завершающиеся словами надежды, и наивные, но светлые «предсказания» гадателей так совпадают с огромной всенародной жадью покоя и счастья, с непоколебимой верой в него. Оно будет — не может не быть: недаром пролито за него столько драгоценной народной крови.

И по-новому, необычно чтят теперь эту кровь люди: они погребают павших освободителей не на городских окраинах, не на отдельных кладбищах, а прямо среди своих домов, в центре освобожденного города...

В Симферополе, в центральном городском сквере, на высоком постаменте стоит танк. Его массивное серое тело пробито и обожжено — это один из первых советских танков, ворвавшихся в Крым весной этого — сорок четвертого — года; он поставлен ныне как памятник над братской могилой героев танкового краснознаменного корпуса.

И в Севастополе десятки могил расположены тоже в центре города, на знаменитом Историческом бульваре, вокруг памятника Тотлебену. Тотлебен виден издалека, он четко чернеет на фоне неба, среди развалин; он стоит, воинственно вытянувшийся, с прямыми развернутыми плечами, а над плечами — только узкий кусочек воротника: голова генерала начисто срезана снарядом. А вокруг пьедестала у ног обезглавленной, гордо выпрямившейся фигуры толпятся бронзовые матросы; и у них тоже — у кого оторвана рука, у кого разворочено осколком бедро или разбита голова. Но ни один из них не изменил позы неистового сопротивления: безрукие, с дырами на груди, они подносят к пушкам ядра, строят бастионы, сжимают ружья. Смотришь и видишь: да ведь они не бронзовые, они живые, они современники наши, а этот памятник, такой, каков он сейчас, принадлежит не только героям пятьдесят четвертого — пятьдесят пятого годов, но и тем, чьи свежие могилы расположены у его подножия.

И живущих не смущает близость могил, а мертвых не оскорбляют суэта и шум возрождающейся вокруг них жизни — наоборот, великий подвиг освобождения Родины венчается подвигом ее возрождения.

**СЕВАСТОПОЛЬ.** В нескольких километрах от Севастополя расположен город Херсонес, по-русски Корсунь. Это город, возникший в глубочайшей древности, город, где крестился в христианскую веру князь Владимир, откуда берет свои истоки русская письменность. Он разрушен набегом татар полтысячи лет тому назад.

Затем, полтысячи лет подряд, остатки города заносила земля, разрушало время, ветры, зной и холод. И вот все, что было когда-то выстроено человеком, вновь превратилось в природу — в камни. Правда, археологи установили даже расположение улиц, доказали, что вот эти, особым образом сложенные, камни были когда-то монетным двором, а эти — баней, а эти — храмом, но они были этим много-много веков назад, а сейчас — только мертвые камни, обломки исчезнувшего мира, музейная ценность.

И вот сегодняшний Севастополь — это не что иное, как крупнейший Херсонес, нео-Херсонес.

— Какое пиршество для очей археолога, — сказал о Севастополе ученый хранитель херсонесского городища и музея А. К. Тахтай, — какое грустное пиршество!..

Да, Севастополь, что по-русски значит «Город славы», представляет собой сплошную колоссальную руину, огромным амфитеатром поднимающуюся над прекрасными голубыми бухтами и заливами. И так же, как в Херсонесе, здания его, развалившиеся, сброшившие штукатурку, лепку, превратились в одичавшие, нагие камни, в природу, — и так же, как в Херсонесе, веет от этих камней многими-многими веками. Ощущение времени минутами исчезает — нет, это не мы, это Эллада, это тысячелетия назад стоял здесь неизвестный прекрасный город, чьи белые развалины высятся сейчас над морем.

Мы видели много развалин. Одни из них вызывают чувство щемящей печали, как, например, развалины Пушкина, другие — чувство страха, даже отвращения, третьи — угнетают до предела. Развалины целого города, Севастополя, застывшие в порыве сопротивления, вызывают чувство гордости. Велик народ, который мог так сопротивляться, который ничего не щадил во имя свободы: ни городов своих, ни памятников прошлого своего, ни самого себя. Он не может

не победить, если есть у него такие развалины, как Севастополь! Не плачь же над ними, русский человек, — гордись: это ты так дрался за свою землю.

Отсюда, из Севастополя, мы по-новому увидели наш город — Ленинград — и по-новому ощутили кровную связь ленинградского подвига с подвигом всего народа. Мы с особой силой и отрадой убедились в этом родстве, когда ближе узнали многих севастопольцев и жизнь их в дни обороны, в дни оккупации и теперь, в дни начавшегося возрождения.

Севастополь освобожден всего четыре месяца назад, а живет в нем уже больше семидесяти тысяч человек, а рвется в город еще больше народу — и правдами, и неправдами прибывают ежедневно.

Приедут, увидят — ахнут, обнажат голову, постоят минуту в безмолвии, потом с трудом среди камней и завалов отыщут свою улицу, на которой жили десятки лет, по каким-то еле уловимым признакам опознают ее, даже камни бывшего дома своего опознают, поплачут над ними, вздохнут и скажут:

— Ну, слава богу, вернулись!

И не жалеют, что вернулись из края, где жили под крышей... Какую власть имеет над русским человеком родное место!.. А севастопольцы, кроме того, влюблены в свой город так же, как мы, ленинградцы, — в свой. Их не останавливают руины, не пугает тяжелый, странный быт, во многом напоминающий первый год нашей блокады.

В Севастополе, где до войны было больше одиннадцать тысяч жилых домов, ко дню его освобождения не осталось ни одного целого дома, остались только «частично уцелевшие»: пять домов, уцелевших на восемьдесят процентов, сто восемьдесят три дома, уцелевших на пятьдесят процентов (то есть разрушенных «только» наполовину), и на окраинах — всего восемьсот двадцать маленьких частных домиков, тоже... наполовину или больше разрушенных. Идешь по улицам и не понимаешь — как же, где же живут здесь семьдесят тысяч человек?

Но вот перед вами, на уступе, руина пятиэтажного дома, с вырванной серединой, с рухнувшими стенами, без кровли, и вдруг где-то, примерно на третьем этаже этой руины, вы обнаруживаете... два окошка, застекленные светлым стеклом, да еще с тюлевыми бе-

лоснежными занавесками. Окна открыты, ветер выносит занавеси из помещения, как пена клубятся они под обгоревшими обломками лестницы, и эхо развалины грубым голосом вторит веселой песенке, несущейся из этих окон с пластинки патефона... Случайно из всего огромного дома уцелела одна комната, и вот кто-то уже украсил ее, обжил и бесстрашно лазит туда по остаткам лестницы.

Вот здание, от которого остались только подъезд и нависший над ним лестничный пролет. Но к подъезду приделана фанерная дверца, а на ней надпись: «Маникюр здесь». Подъезд превращен в парикмахерскую; прямо на тротуаре, рядом с фанерной дверцей, кипит самовар — в «парикмахерской» так тесно, что самовар там уже не умещается.

Вот удивительно гладкий фундамент, по бокам его — две-три полуобвалившиеся колонны, груда камней сбоку, а к ним прилажена дощечка: «Кино «Красный луч». Кино помещается в подвале, глубоко под развалинами, а расчищенный фундамент по вечерам приспособливается под танцевальную площадку. Да, да, по вечерам здесь танцуют, да еще как: под духовой оркестр, осветив руину прожекторами.... Блещут надраенные пуговицы морских кителей, ярко белеют в синем воздухе обломки колонн, лукаво смеются девушки, крысы время от времени деловито шмыгают под ногами танцующих; крыс в городе несметное количество, и людей они пока что совсем не боятся.

Вот еще одна грандиозная «развалка», где уцелел только угол нижнего этажа, но этот угол уже приспособлен под хлебный магазин... Вообще для Севастополя выражение «приспособить здание» пока что гораздо точнее, чем «восстановить». Еще когда-то его, здание, восстановят, а приспособить можно уже сейчас. Но возрождение Севастополя началось с первого дня его освобождения; уже около пяти месяцев люди отвоевывают у развалин шаг за шагом, метр за метром, властно и кропотливо поднимая город из праха, и одичавшие, как бы древние камни вновь обращают в современные жилища, в больницы, в школы. Так, к октябрю у камней было отвоевано уже свыше пятидесяти тысяч квадратных метров площади, пригодной для того, чтобы на ней жил человек. Городу возвращена пресная вода — пущен весь водопровод, так что

теперь воды хватает и кораблям, и людям, а ведь при немцах был один колодец на весь город — совсем такой, как в Херсонесе, так же облицованный камнями, такой же формы. У города есть теперь электрическая энергия, есть свет...

И вот, когда ночь опускается на Севастополь, густая южная ночь, — вдруг происходит чудо: в безлунном мраке исчезают развалины, совсем исчезают, и вспыхивают сотни огней. Горят отличительные огни на рейде, на катерах и тральщиках, зеленые и красные огни, дробясь и отражаясь в тихой воде бухты; горят огоньки на Корабельной стороне, на Северной, светятся там и сям по уступам, на идущих вверх улицах города, — мерцают, мигают, искрятся огни везде, где только приспособились жить люди. И перед вами не мертвый, не разрушенный, а живой, довоенный Севастополь, веселый, милый город рыбацек, матросов и путешественников. О да, он жив, он подает голос то склянками, то боцманской дудкой — снизу, с воды, с палубы, то рокотом невидимой в темноте гитары, — он здесь, он весь обозначен огнями. Город Славы, столица Черноморья. Он жив, лежащий в развалинах, подобный древнему Херсонесу, потому что жива его страстная черноморская душа, неистовая в труде и в битве. И как вызов, как клятва звучит размашистая надпись, начертанная на огромном, пересекшем улицу обломке стены:

«Да здравствует наш прекрасный город-герой Севастополь!»

**ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ.** «Клянусь Зевсом, Землею, Солнцем, Девою, богами и богинями Олимпийскими и героями, кои владеют городом... я не предаю ни Херсонеса, ни Керкинитиды, ни Прекрасной гавани, ни прочих укреплений — ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов...»

Так начиналась присяга граждан древнего города Херсонеса — присяга в верности своему городу и его демократии. Более двух тысяч лет тому назад она была высечена на мраморной стеле (плите) и установлена в центре цветущего тогда Херсонеса, пятьдесят шесть лет назад она были извлечена из херсонесской археологической целины и вплоть до осени сорок первого года хранилась в херсонесском музее как его

гордость, как одна из величайших исторических ценностей всего мира.

«Буду врагом злоумышляющему и предающему Херсонес, или Керкинитиду, или Прекрасную гавань... не открою ни эллину, ни варвару ничего тайного, что может повредить городу; не дам и не приму дара ко вреду города и сограждан... Не вступлю в заговор ни против херсонеситов, ни против кого-либо из сограждан, кто не объявлен врагом народа. Если же я с кем-либо вступил в заговор... да не приносит мне плода ни земля, ни море, женщины да не рожают прекрасных детей...»

Когда началась осада Севастополя, когда до шести тысяч бомб ежедневно стали сбрасывать враги на Севастополь и Прекрасную гавань и окрестности их — мраморная стела с присягой и самые ценнейшие экспонаты были вывезены в глубь страны. Но десятки тысяч других редкостных музейных экспонатов, но сами развалины Херсонеса, но его еще не вся разведанная, таинственная и щедрая археологическая целина оставались здесь, в нескольких километрах от Севастополя. Ученый хранитель музея и старый археолог Александр Кузьмич Тахтай тщательно на большой лист ватманской бумаги переписал текст древнейшей человеческой присяги родному городу, повесил его над столом в своем рабочем кабинетике и один остался в Херсонесе.

— В каждом аду должен быть свой цербер, — рассказывал он нам. — Я остался таким цербером около этих священных камней, повторяя мою присягу: «Ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов...»

«Клянусь стоять насмерть, — написал своей кровью на клочке газеты с портретом Сталина черноморский моряк лейтенант Калюжный, — клянусь стоять насмерть за родной Севастополь».

Он пришил этот клочок газеты к обломку стены, который защищал в одиночку; уже все его товарищи были мертвы, и когда к нему подросла подмога, он тоже был смертельно ранен. Но пришедшие сюда моряки поставили подписи свои вслед за его подписью на том же газетном листе, и тысячи защитников Севастополя подхватили эту клятву и подтвердили ее словом, делом и кровью.

Вот в эти дни группа пожилых женщин, домохозяйек Центрального района, объявила себя бригадой «В помощь фронту». Все женщины знали друг друга давно, они составляли одну депутатскую группу, объединенную вокруг депутатов, которых сами же выбрали в Советы: одну, Марию Павловну Ежову, — в городской Совет, другую, Наталью Тихоновну Тяпкину, — в свой, районный Совет. Наталья Тихоновна и до войны была душой депутатской группы: она была самая подвижная, самая предприимчивая в делах, самая образованная из домохозяек — бывшая машинистка, «пишбарышня»; она и с виду-то походит именно на машинистку — тоненькая, аккуратенькая, всегда подвитая, с подкрашенными губами, с большими, изумительно синими глазами. Муж ее, офицер, с первых дней войны ушел на фронт и не подавал о себе вестей. Наталья Тихоновна жила с семилетней дочкой Людой в маленьком домике на тихой, поднимающейся вверх улице Двадцать лет РККА, а в домике еще жили: кудлатая собачонка, два кролика, белый и дымчатый, очень пестрый котенок и в клетке на окне — щегол. Вот этот-то домик и стал штабом бригады «В помощь фронту», а Наталья Тихоновна, депутатка райсовета, — ее бригадиром. Она была моложе всех в бригаде, женщины называли ее Наташей, потому что всем им было уже за пятьдесят и больше, у всех были взрослые дети, у некоторых — внуки. В дни севастопольской обороны женщины эти не твердили как собственные высокие слова древней присяги своему городу — они не знали ее; они не писали кровью своей: «клянемся стоять насмерть» — слишком будничной была их работа. Но тем же раскаленным иступлением, тем же духом всеобщей присяги на верность была пронизана вся их работа.

Что же они делали?

Они стирали белье.

Да, белье из севастопольских госпиталей, которое ежедневно привозили к ним на улицу Двадцать лет РККА целыми грузовиками, и, прежде чем стирать, его надо было отжать от крови. От этого белья мгновенно багровела вода в корытах, и руки прачек становились красными выше локтя, и мыльная пена падала наземь ярко-розовыми хлопьями.

Много крови лилось за Севастополь, много, очень



много белья ежедневно нужно было госпиталям, и женщины тяпкинской бригады стирали, сушили, чинили белье круглыми сутками. Они не считались ни с временем, ни с усталостью, оставили все домашние заботы — ведь у всех мужа и сыновья проливали кровь, дрались где-нибудь с немцем. Только Наталья Тихоновна Тяпкина не знала, где ее муж, а Наталья Игоряева знала, что сын ее где-то здесь близко — может, на Сапун-горе, может, уже ближе, но повидаться с ним не могла. Она даже завидовала Марии Павловне Ежовой, у которой младший сын Валя был еще школьник, а старший, восемнадцатилетний Петя, не мог служить, потому что страдал тяжелой формой эпилепсии.

Но мальчик он был серьезный, ласковый, старался женщинам помочь, ездил несколько раз на передний край за водой, охотно и старательно выполнял их поручения; они любили и жалели его и про себя называли блаженненьким.

А немец все сатанел и сатанел, все свирепее кидался на город.

Женщины стирали сначала в подвалах и там же пытались сушить белье, но на воле оно сохло быстрее, и они стали стирать во дворах своих домиков, а последнее время часто сходились во дворик Натальи Тяпкиной и стирали здесь. Вместе было не так страшно бомбежек. Уже не было в городе ни капли пресной воды, воду прачкам привозили с переднего края, и они оставляли для питья по стакану в сутки на человека, а остальное все шло на стирку.

Июнь был знойным, душным, дымным, а над городом в синем горячем небе тучей висели немецкие самолеты и «бомбы сыпались, как семечки, как семечки из мешка», и не одна прачка погибла в те дни возле своего корыта с розовой пеной. Убитых не носили на кладбище — «далеко было, страшно», а хоронили тут же, во дворах их полуразрушенных домиков. Похоронят, постоят минуту в молчании и снова стирают — уже около могилы.

Все кровавее становилось госпитальное белье — живого места не было, все больше белья требовали госпитали... По восемьдесят, по девяносто простынь в день приходилось на каждую женщину. Семидесяти-восьмилетняя Ефимия Лобода выстирала за дни штур-

ма более восьми тысяч простыней и пар белья. А семилетняя Людочка Тяпкина собирала в это время посуду для госпиталей, белье и деньги для сирот и во множестве — бутылки. Наполнив горючим, моряки бросали их на вражеские танки. Людочка бомбежки совсем не боялась. Маленькая, тоненькая, со смуглым лицом, с острыми локтями и коленками, похожая на кузнечика, с темными, очень серьезными «отцовскими» глазами, она прыгала через обвалившиеся камни, через воронки, неутомимо обходя район, и не просила, а требовала стаканов, денег, бутылок, белья. Она собрала за дни штурма полторы тысячи бутылок и шестьдесят стаканов для «маленького госпиталя». Этот госпиталь еще зимой был организован той же тяпкинской бригадой, и женщины находили время заботиться еще и о нем!

Госпитали были теперь в Севастополе всюду. Даже в древнем Херсонесе, в коридорах музея, в соборе, прямо в городище были расположены легкораненые и выздоравливающие.

— Я должен признаться, что затрепетал, когда они явились сюда, — сказал Александр Кузьмич, повествуя об этих днях. — Они явились измученные нравственно, воспаленные разрушением и кровью... Я только ходил от одной группы к другой и говорил: «Товарищи, эти камни священны... эти камни священны! Они еще пригодятся вам... Берегите их...» Я старался объяснить, что значат эти камни... Импровизированные лекции мои были неуместны, конечно, но, представьте, бойцы слушали их охотно и с видимым интересом. Я даже присягу мою читал им по вечерам, в минуты затишья, и объяснял им ее, и она доходила до сердец. В часы бомбежек они укрывались в некрополе, в древних могилах, прямо рядом со скелетами. Однажды, когда было особенно тяжело, я услышал, что некоторые выкапывают в крепостной стене пещеры и из обломков колонны византийской базилики складывают укрытие. Я прибежал, увидел, но... но я простил им это! Кругом было столько страдания, что я вдруг понял — преступно дрожать даже за эти камни, все они не стоят одной человеческой жизни. Но бойцы наши не причинили разрушений древнему городу. Напротив — они помогли мне укрыть глубоко в землю вот этот мозаичный пол греческой бани. Взгля-

ните, какие тонкие, какие живые тона и краски, сколько неги и роскоши в этих нагих женских фигурах... Нет, я жил с ними дружно... В роковой для нас день они вместе с отходящей армией ушли к мысу Херсонес...

Двадцать девятого июня сорок второго года тяпкинская бригада получила новую большую партию белья, выстирала и высушила, приготовила к завтрашнему дню, но завтра, тридцатого июня, сдать уже не смогла: немцы вошли в Севастополь...

Но депутатка Совета, бригадир женской бригады «В помощь фронту» Наталья Тяпкина спрятала белье в подвале своего дома. Женщина знала: наши вернуться, наши будут отбивать Севастополь, будет снова кровь — чистое белье понадобится. И в тот день, когда немцы заняли город, она бережно сложила в подвале белье, только что отстиранное от крови защитников Севастополя, приготовленное для крови его освободителей.

Через несколько дней немцы повели с Херсонесского мыса партию наших пленных... Среди них не было ни одного не раненого, и у всех из потрескавшихся губ струилась по подбородкам темная соленая кровь: ведь несколько дней, отчаянно сражаясь на кромке крутых херсонесских обрывов, над морской пучиной, они не пили, лишь смачивали губы морской водой.

Слух о том, что «немцы наших ведут с Херсонца», разнесся мгновенно, и немедленно женщины тяпкинской бригады вместе с другими севастопольчанками вышли навстречу им с сосудами пресной воды в руках. И когда под сильным немецким конвоем пошли мимо них наши пленные раненые, все — и Наташа Тяпкина, и Любочка, ее дочь, и Наталья Игоряева, и Ирина Михайловна Сидорова, и все, все женщины, сколько их было, — бросились к нашим, сквозь немецкий конвой, напоить, напоить последних защитников Севастополя! Немцы толкали женщин в грудь прикладами, били наотмашь по лицам, отбрасывали их...

— А мы все-таки лезли и лезли!.. Кричали, дрались с немцами, чтоб хоть глоток водички нашим-то дать, хоть губы их омочить, — рассказывала Анна Аникеева, — мы ведь бабы, что с нами поделать... Они нас пинают, а мы бежим и бежим рядом, не отстаем... Головные платки свои стали рвать, кофты на себе ста-

ли рвать — оторвем тряпочку, окунем в воду и бросаем нашим, чтобы хоть тряпочку мокрую поймали и пососали, ведь все же легче.

А ночью Наталья Игоряева пошла, как и множество севастопольских женщин, на мыс Херсонес — искать своего сына среди убитых. Меж пленных она его не заметила. Долго ходили женщины ночью по полю боя, переворачивая мертвых, глядели им в лица — своих не нашли.

Удушливо пахло глеющими трупами, лунное огромное море с воем плескалось в отвесные желтые обрывы. К самой кромке обрыва подошли женщины; на самой кромке, покрыв песок, лежали израсходованные гильзы — до последнего шага, за которым страшная бездна, пучина, смерть, до самого краешка земного дрались черноморцы.

Женщины встали на край обрыва, там, где кончалась земля, встали над морем и до рассвета смотрели вдаль, точно ожидая чего-то. Но только бескрайнее, лунное, пустое-пустое море шумело перед ними.

— И показалось нам, что свет кончился, — медленно, глуховато рассказывала Игоряева. — Пришли в город, несколько дней назад еще гремело все, а теперь тихо-тихо, как в могиле. Ни радио, ничего. Где теперь войска наши? Да и есть ли они? Немцы говорят — больше наших нигде нет. Не верим, а страшно. А вдруг? И день за днем тянется, как в могиле... И вдруг слышим в небе самолет, и кто-то на соседнем дворе как закричит: «Бабоньки! Наши! Наши бомбить пришли!» Ага, это наши прилетели бомбить. И как же мы обрадовались! Повеяло всем, обнимаемся, плачем, целуемся, как на пасху. Глядим вверх и бомбовичуть не боимся. Кричим, как будто услышать нас могут: «Миленькие! Родные! Хорошенько их!» Наши! Не забыли. Значит, есть где-то наше войско. Помнят нас. Придут.

...И в древний Херсонес тоже вошли немцы. Они выбросили Александра Кузьмича из его квартиры, расположились в залах музея... Они рассовывали по карманам драгоценные греческие терракоты, стеклянные сосудики для благовоний и вдовьих слез, они царапали на амфорах свастику, разводили на древних мраморных плитах варварские костры. Отчаяние владело старым ученым столь сильно, что делало его бес-

страшным. Он шел к немецкому офицеру, командующему частью, и кричал на него, и требовал унять солдат. Увидев в руках солдата какую-либо музейную вещь, Тахтай шел прямо на него и начинал мягко, но настойчиво отнимать эту вещь.

— Камрад, — говорил он, пытаюсь разжать цепкие пальцы грабителя, — камрад! Это нельзя. Это принадлежит прошлому. Это достояние человечества. Это не ваше...

И иногда солдат так изумлялся тому, что слабый, очень старый, морщинистый и седобородый старичок отнимает вещицу у него, вооруженного здоровяка, которому достаточно только дунуть, чтоб старичок покатился с ног, что, хохоча и изумляясь, отдавал украденную безделушку.

Да, он смешил их просто до колик, этот русский чу-дак, герр профессор, не понимающий, с какой опасностью для жизни отбирает эти совсем некрасивые, надбитые кувшинчики и флаконы...

Но Александр Кузьмич все понимал!

«Ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов», — упрямо твердил он присягу своего города — единственный херсонесит, единственный человек среди занявших Херсонес варваров.

В эти же дни у другого, северного моря, на другом конце России эти же варвары, окружив наш город пещерным кольцом, бомбили, обстреливали и разрушали его.

...А потом варвары разрыли участок еще не исследованной археологической целины и залили его бетоном. А ведь, может быть, именно под этим участком был храм Диониса — тот чудесный храм Диониса, открытия которого трепетно ждали археологи всего мира. Теперь он погиб еще раз и уже навсегда.

Потом Александр Кузьмич обнаружил, что немцы заготовили два ящика, а на ящиках написали: «Покорителю Крыма барону фон Манштейну». Эти ящики были приготовлены — один для плиты с грифоном II века до нашей эры, другой для мраморного аканфа IV века до нашей эры, драгоценностей музея. Немцы собирались украсть их у Херсонеса... Почти чудом удалось Александру Кузьмичу спасти драгоценные мраморы.

Под ежеминутной угрозой ареста, лагеря, смерти Тахтай берег и хранил музей, Наталья Тихоновна Тяпкина — госпитальное белье, и каждый из них был верен своей присяге.

Наталье Тихоновне не удалось сберечь белье до прихода наших. Какая-то тварь, из тех, кого народ заклеил кличкой «шоколадницы», выдала ее немцам. Ночью к Тяпкиной пришли трое, забрали белье, «заодно» дочиста ограбили всю ее квартиру, пинали маленькую женщину коваными своими сапогами. Потом таскали в гестапо, допрашивали, кто она такая, но так и не дознались, что она жена офицера и депутат районного Совета. Ни ее, ни Марию Павловну Ежову никто не выдал. Народ был верен своей власти. Народ оберегал своих избранников и казнил предателей.

Так был казнен севастопольскими женщинами предатель Жиго, и вот как это произошло.

Старший сын Марии Павловны Ежовой Петя, стоя однажды вечером у ворот своего домика, увидел идущего по улице бывшего своего учителя, некоего Жиго. Жиго года три назад уехал из Севастополя в Симферополь и вдруг почему-то опять оказался здесь.

— А, Петушок, — сказал Жиго, подходя, — какой ты большой стал, какой славный... Как живешь?

— А вы зайдите к нам, посидите, — ответил Петя, и Жиго вошел в тенистый дворик Ежовых и сел под виноградную лозу на лавочку.

— Ну что, Петушок, — сказал он, помолчав, — кончилась поганая большевистская власть, а?

Сердце у Пети похолодело от какого-то странного ужаса, когда он услышал эти слова от учителя своего, который учил его в советской школе географии и истории. Петя глядел на Жиго остановившимися глазами.

— Навсегда кончилась, — с удовольствием сказал Жиго, — кончилась и не вернется.

Петя почему-то встал. Его мелко трясло, он боялся, что с ним сейчас будет припадок, он сказал очень тихо и очень твердо:

— Она не кончилась и никогда не кончится, а вот ваша фашистская власть скоро кончится. И я жалею, что я вас во двор пустил. Вы уйдите отсюда. Пожалуйста, сию минуту уйдите, а то я с вами что-нибудь сделаю.

И было, наверно, в голосе и взоре больного юноши что-то такое, отчего Жиго сразу выскочил за калитку и оттуда на всю улицу крикнул:

— Ну погоди же, большевистский щенок, это тебе даром не пройдет.

И верно, через несколько дней Петю забрали в гестапо, и так и сгинул он там, как сотни других сева­стопольцев. Ясно было всем, что Петю выдал учитель Жиго.

— Какой он хоть из себя-то, подлец этот?—негромко спросила Марию Павловну забежавшая поплакать с ней Наталья Игоряева.

— Он заметный,— вздохнула Мария Павловна.— Рыжий такой... Весь рыжий...

Неизвестно чем, но чем-то не угодил изменник новым своим хозяевам, потому что, когда наступила зима (а зима была голодная, холодная, без огня и воды, почти такая, как у нас в Ленинграде), появился Жиго на улицах в лохмотьях, зеленый и опухший, дрожащий и жалкий, с протянутой рукой, вымаливая пищи и крова. А все уже знали, что этот рыжий — Жиго, тот самый, кто предал немцам эпилептика Петю, сына Ежовой. И вот, если стучался он в дом, просясь обогреться хоть на часик, ему отвечали:

— Проходи. У нас для тебя холодно. Замерзнешь.

И если просил он хоть глоток теплой воды, ему даже глотка воды не давали, а в Севастополе был в то время один колодец, с водой было очень плохо. И если просил хоть корочку хлеба, крошки не давали, одной креветки не давали, потому что знали, что это предатель. А Жиго становился все страшнее, он приходил на базар и, еле бродя по базару, все униженней просил людей покормить его. Но люди смотрели на него, прямо в лицо его — истощенное, одичавшее, смотрели и ничего не давали. И если кто-нибудь на базаре, еще не знающий, кто просит помощи, протягивал было руку с кусочком пищи, то обязательно стоящий рядом наклонялся к уху подающего и шептал несколько слов, и рука подающего отдергивалась, и, жестоко глядя в глаза умирающему от голода предателю, человек говорил:

— Проходи. У меня для тебя ничего нет.

Отовсюду глядели на Жиго осуждающие, приговаривающие его к смерти глаза. И даже когда подошел

он к маленькой Людочке Тяпкиной, которая несла в корзинке явно что-то съедобное, и попросил у нее хлеба, он и у маленькой девочки, похожей на кузнечика, увидел тот же приговаривающий его взгляд. И так он и сдох на базаре, казненный голодной смертью, к которой безмолвно приговаривал его народ за предательство и измену.

«Буду врагом злоумышляющему и предающему Херсонес, или Керкинитиду, или Прекрасную гавань... Не вступлю в заговор ни против херсонеситов, ни против кого-либо из сограждан, кто не объявлен врагом народа. Если же я с кем-либо вступил в заговор... да не приносит мне плода ни земля, ни море, женщины да не рожают прекрасных детей...»

Нет, севастопольские неохерсонеситки не знали этой присяги. Просто все самое лучшее, все самое верное, самое чистое, высокое и беззаветное, что тысячелетиями вырабатывало человечество, с обновленной силой жило в русских людях, защищающих любимую землю, как зная было поднято ими, как эстафета истории принято.

«Я, старшина Ревякин Василий, 1918 года рождения, член и руководитель КПОВТН — Коммунистической подпольной организации в тылу у немцев, — клянусь в беспредельной преданности Родине и своему народу и, полный ненависти к гитлеровским захватчикам, готов пойти на самопожертвование ради достижения той цели, во имя которой борется многомиллионный народ Советов, Красная Армия и ее союзники».

И такую же клятву, вслед за своим руководителем, дали все члены КПОВТН — севастопольские девушки, и юноши, и моряки, бежавшие из немецкого плена. КПОВТН была создана зимой сорок второго года; к Новому году на камнях города уже появилась первая ее листовка, а к весне даже стала выходить газета. Подпольщики непременно хотели назвать ее «Голос Москвы», но не нашли шрифта для этого заголовка и назвали ее «За Родину».

...Тянулись страшные дни германского плена...

По утрам Ирина Михайловна Сидорова, одна из прачек бывшей тяпкинской бригады, выходила, как и другие жители Севастополя, на базар. Среди дремучих руин, окруженный почти античными, полуобвалившимися колоннами, толпился жалкий базар, где го-



лодные, оборванные сева­сто­поль­цы чем-то друг с дру­гом об­ме­ни­ва­лись, чем-то «тор­го­ва­ли» — на­до же бы­ло как-ни­будь жить. Си­до­ро­ва сна­ча­ла за­гля­ды­ва­ла под сто­ли­ки — имен­но в эти ран­ние ча­сы под сто­ли­ка­ми ва­ля­лись ли­ст­ки. Се­ва­сто­поль­цы уже зна­ли, что это за ли­ст­ки, и, за­ви­дев ли­сток та­кой, Си­до­ро­ва де­ла­ла вид, что у нее раз­вя­за­лись ш­ну­р­ки на ба­рет­ках, на­кло­ня­лась «за­вя­зать» и бы­стро хва­та­ла ли­сток. Это бы­ли ли­стов­ки, а ино­гда да­же и га­зет­ка Ко­му­ни­сти­че­ской под­поль­ной ор­га­ни­за­ции в ты­лу у нем­цев — в них бы­ли ве­сти о Ро­дине, о дей­ствиях Крас­ной Ар­мии, сло­ва обо­дрения и на­де­жды, го­лос Мос­квы. Си­до­ро­ва пря­та­ла ли­сток и шла да­ль­ше, на­кло­ня­лась к лю­дям, что-то ме­няв­шим, чем-то тор­го­вав­шим, и од­ни­ми гу­ба­ми го­во­ри­ла:

— Для раненых...

И каж­дый тот­час же да­вал ей или де­нег, или ку­сочек са­ла, или ло­моть хле­ба, но ча­ще все­го — де­нег. На ба­за­ре, где го­лод­ной смер­тью был каз­нен пре­да­тель, ни­кто не от­ка­зы­вал при­зы­ву «для раненых». Все зна­ли, что же­н­щи­на со­би­рает для со­вет­ских раненых во­ен­но­плен­ных. Все зна­ли, что она ни­че­го не прис­во­ит се­бе, но все со­бран­ное от­даст тем, чьим и­ме­нем вз­ыва­ет к же­рт­ве. Да, имен­но к же­рт­ве, по­то­му что нем­цы фак­ти­че­ски об­ре­кли на­се­ле­ние Се­ва­сто­по­ля на вы­ми­ра­ние, ни­чем не снаб­жа­я его, и лю­ди вы­во­ра­чи­ва­лись са­ми, как мо­гли.

На де­нь­ги Си­до­ро­ва тут же на ба­за­ре по­ку­па­ла что мо­гла, прис­ое­ди­ня­ла к куп­лен­но­му со­бран­ное, до­ма ва­ри­ла по­хлеб­ку или пе­кла что-ни­будь, кипя­ти­ла во­ду и с кипя­че­ной во­дой, с пи­щей шла в «го­спиталь», к раненым со­вет­ским плен­ным.

Жен­щи­ны тяп­кин­ской бри­га­ды не со­би­ра­ли ка­ко­го-ли­бо спе­ци­аль­но­го со­бра­ния, не вы­но­си­ли ка­ких-ли­бо ре­ше­ний. Но все они, на­чи­ная с то­го зной­но­го июль­ско­го дня, ко­гда пар­тию на­ших плен­ных по­ве­ли с Хер­сонес­ско­го мы­са, а они вы­шли с во­дой и мо­кры­ми тря­поч­ка­ми, что­бы осве­жить плен­ным во­и­нам за­пе­к­шие­ся уста, все они с то­го дня, эти же­н­щи­ны — и На­та­ша Тяп­ки­на, и Ири­на Си­до­ро­ва, и На­та­лья И­го­ра­ева, и Ев­ге­ния Кузь­ми­ни­чна Ива­но­ва, и Ани­ке­ева, и Е­жо­ва, и вось­ми­лет­няя те­перь Лю­до­чка Тяп­ки­на — по­мо­га­ли со­вет­ским плен­ным, то­мяв­шимся в немец­ком аду. Нем­цы ведь поч­ти не кор­ми­ли их, не ле­чи­ли, не

принимали никаких мер против бушевавшей среди них дизентерии — даже большим кипяченой воды не давали... Антисанитария была чудовищная.

— Ведь им, бедным, раны черви точили,— рассказывала Аникеева.— Придешь, взглянешь — дух замерет. Как же тут было не ухаживать, не помогать? Уж мы на все увертки шли, на все хитрости... Мы же бабы.

— А одна хитрость общая у нас была,— досказала Ежова.— Это почта. По нашей улице, по соседним на работу партию пленных гоняли, которые поздоровее. Так они идут и записочки на землю кидают. А мы ребятешек посылали собирать. Вот Людочка Тяпкина хорошим почтальоном была — всякую записочку заметит, даже такую, которую в землю затопчут. Там называют свое имя-фамилию, просят помочь — к таким легче пробраться было, можно было за родственников их выдать: хоть и рискованней, да зато вернее... Одну помню записочку очень печальную, было в ней написано: «Сам встать уже не могу, посылаю это письмецо с товарищем, пусть бросит на Севастопольской улице. Которая женщина это письмецо найдет, пусть станет родной матерью, спасет мою молодую жизнь, погибаю в этом аду от туберкулеза». Наташа Игоряева призналась к нему матерью, да выходить не успела — поздно уже было, еще немножко пожил и погиб...

...Однажды, уже после смерти названного сына, Наталья Игоряева достала зерна, смолола его, напекла лепешек, накипятила воды и пошла в «госпиталь». Упитанный розовый немец-часовой, пропуская ее, потянул носом и весело сказал:

— Ой, мамо, что-то вкусное принесла, а?

— Я тебе не мама,— сквозь зубы процедила Игоряева.

Немец игриво подмигнул:

— Что, мамо, родственники у тебя тут, а?

— Да,— ответила женщина, уже не в силах сдерживаться,— тут все мои родственники — сыновья.

Она так и не знала, что с ее сыном, защищавшим Севастополь: трупа его она на Херсонце не нашла в июле сорок второго. Она вышла из «госпиталя», оглянулась — разбитый, одичавший город лежал вокруг

нее, безысходностью и тлением веяло от камней, сердце у нее обмерло от тоски, от страшного одиночества.

— Стою и плачу, и плачу... И вдруг кто-то сзади тихонько взял меня за плечо. Я обернулась — вижу, стоит вполне прилично одетый гражданин и так сердечно, тихонечко говорит: «Не плачьте, мамаша, мы скоро вернемся». Сказал и отошел — и как исчез в развалке... Я подумала: «А, это, наверно, из подпольщиков или из замурованных... Наверно, правду говорит...» И легче мне стало.

«Замурованными» в Севастополе называли советских пленных, бежавших из лагерей или с этапов и прятавшихся в развалках, главным образом в подвалах. Они тщательно маскировали, замуровывали входы в свои убежища — отсюда и название «замурованные». Жители узнавали их по бутылочкам, с которыми они подходили к единственному в городе колодцу — за водой. Откуда ж у них была бы другая посуда, да и как они пойдут с другой к себе, — а бутылку сунул в карман, и ничего не заметно... И когда к колодцу подходил человек с бутылочкой на веревке, по молчаливому сговору толпа пропускала его без очереди, а если было с собой у кого из женщин что из еды или денюги какие, обязательно совали замурованному в руку. Женщины помогали и замурованным! Так, Мария Павловна Ежова целый месяц содержала троих военных — старшего лейтенанта Милежникова и двоих его товарищей. А привел их в дом Валя, матери сказал, что вот встретил на улице, деться им некуда, надо спрятать и принять на прокорм... Только после освобождения Севастополя узнала Ежова, что сын ее, школьник Валя, был членом Коммунистической подпольной организации, а во время оккупации она не знала этого, сын умел молчать. Валя сам замуровал военных в подвале соседней с их домиком большой развалины, замуровал основательно, оставил только небольшое отверстие, чтобы опускать сквозь него в подвал воду и пищу, и так они там жили целый месяц.

Мария Павловна ничего никому не говорила о них, конечно, но женщины догадывались об этом, и иногда та или другая заходила к ней, как будто совсем по другим делам, а уходя, оставляла что-нибудь съестное, тихонько говоря:

— Для твоих.

И женщины тяпкинской бригады помогали раненым, пленным и замурованным, отрывая куски от себя, от малолетних детей и внучат, вплоть до того дня, когда Красная Армия овладела Севастополем.

«Привет освободителям Севастополя и Херсонеса», — написал Тахтай на воротах Херсонеса, мимо которых наши стремительно гнали немцев к мысу, чтобы сбросить их оттуда с желтых отвесных обрывов.

И вот уже на другой день после освобождения все тяпкинские женщины, все, как одна, вышли на восстановление родного многострадального города!

Это была самая первая черкасовская бригада в Севастополе, и бригадиром ее вновь была Наталья Тихоновна Тяпкина, депутатка Совета, жена офицера, который вошел в тот день вместе с Армией в Севастополь как один из его освободителей.

Офицер Тяпкин шел по улице Двадцать лет РККА, озирался и не мог понять, где он находится, потому что, за исключением трех-четырёх домиков, вся улица лежала в развалинах и кругом было вовсе не похоже на город. Он замедлял шаги, он боялся пойти к тому месту, где когда-то был его дом и семья, а в полтора шагах впереди от него вверх по улице шла его жена — собирать бригаду на восстановление Севастополя.

— И сама до сих пор понять не могу, почему я оглянулась, как за угол свернуть... Оглянулась и вижу — у нашей калитки военный стоит. Я о нем с самого начала войны не знала, а тут вдруг так спокойно, спокойно подумала: «Ну, вот и мой пришел. Это он...»

И прежде всего тяпкинская бригада получила задание — приспособить к приему больных и раненых больницу на улице Восстания. Женщины подошли к разбитому зданию и испугались: казалось, что оползни эти, камни эти и сотне здоровых мужчин не убрать, не то что старым, истощенным женщинам...

— Но мы ведь бабы, — говорит Аникеева, — мы упрямые... Мы их катом, боком, глядишь — и расчистили...

Много трудных, срочных, утомительных работ произвели женщины, но гордость бригады — это детские ясли на Ялтинской улице, начавшие работать в конце октября месяца.

— Мы взяли на себя смелость подыскать подхо-

дящее для восстановления здание,— степенно рассказывала М. П. Ежова,— и, конечно, нашли... Четыре стены были, правда, попорченные. Ну, а больше ничего, конечно, не было. Но мы рады были, что хоть часть стен имеется...

И вот голую, дикую почти, херсонесскую развалину женщины стали превращать в детские ясли. Они ни у кого не просили ни денег, ни материалов — деньги собрали сами, материалы доставали сами: дерево, железо, камни, даже гвозди отыскивали, откапывали из-под развалин, песок и известь выпрашивали «по соседству» — у более важных восстанавливающихся объектов. Женщины сами клали каменные стенки, настилали полы, штукатурили, белили. Даже лошадь, тощую белую клячу, раздобытую где-то, подковали на свои деньги; лошадь подвозила самые тяжелые материалы и, к полному удивлению бригады, не померла до окончания работ.

— Мы все смеялись,— говорила Тяпкина,— что в нашей женской бригаде даже конь — женщина: его Марусей звали.

И вот незадолго до Октябрьских праздников на Ялтинской открылись ясли на сорок человек; сорок матерей получили возможность пойти на работу, сорок уставших, изголодавшихся за время оккупации ребятишек — сердечный, хороший уход. Ведь яслей не было в Севастополе больше двух лет! Бригада Тяпкиной очень гордится своими яслями. А вы прошли бы в мирное время мимо этого бедного двухэтажного белого домика, совсем не заметив его. Но он стоит на улице, где вместо домов нагромождены одни камни, где зияют дырами и зубцами угрюмые развалины, где в каждом дворе — могилы убитых в дни обороны, и щебень, и бедствие вокруг, и потому этот бедный домик, детские ясли, кажется таким сияющим, таким радостным и добрым, каким не показался бы в мирное время и дворец, весь в мраморе и стекле...

И древний Херсонес тоже... восстанавливается: это значит, что Александр Кузьмич придает развалинам их прежний вид — вид развалин; он разбирает бомбовые укрытия, сделанные из обломков колонн византийских базилик, он вновь возвращает камням значение древних камней, дорогих всему культурному человечеству.

Перед праздниками, открыв свои ясли, женщины решили несколько дней «передохнуть», то есть заняться ремонтом своих полуразрушенных жилищ, и мы встретились с ними как раз в эти дни в домике М. П. Ежовой. Полы и стены этого домика сложены из коротких толстых бревен, как называет их Ежова — «французских люков». Это те самые бревна, из которых в 1855 году, во время той обороны Севастополя, были построены бастионы. Отец Марии Павловны, черноморский матрос, сражался на этих бастионах за родной город. Указывая на портрет чернобородого широкоплечего мужчины, висящий над комодом, Мария Павловна с уважением и достоинством сказала:

— Вот он, наш папаша... Тоже защищал Севастополь, в пятьдесят пятом... Выходит, что мы — потомственные севастопольские защитники...

Вот в этом-то домике, сложенном из остатков бастионов 1855 года, мы и проговорили с женщинами тяпкинской бригады почти до самого утра. Они сначала попросили нас рассказать поподробней о Ленинграде — ведь они, как и все другие севастопольцы, в дни, когда немец бешено штурмовал их, слышали голос северного брата: ведь два осажденных города перекликались по радио все время, вплоть до того дня, когда немцы вошли в Севастополь... Но даже в оккупации и народная молва, и время от времени листовки КПОВТН доносили весть, что блокированный Ленинград стоит непоколебимо. Они жаждали узнать — как же жил в это время город?

И мы рассказывали им о нашем городе, и женщины плакали и от всего сердца восхищались и гордились борьбой ленинградцев, а потом рассказывали нам о жизни своей в дни обороны, в дни оккупации, в дни возрождения Севастополя — о том, что совсем бегло пересказали здесь мы.

В тот вечер тут были самые активные женщины бригады — Аникеева, Ежова, Семенюшкина, Иванова, Сидорова, Игоряева, Ермалюк, Ренкевич, Дунчевская, Тяпкина, Вольнова, — и мы хотим, чтоб Ленинград знал имена своих соратниц и кровных сестер, потомственных севастопольских защитниц — героических прачек, самоотверженных сестер милосердия, мужественных строительниц — матерей народа.

*Ноябрь 1944*

## ЭТОТ ДЕНЬ БУДЕТ

Двадцать седьмого января сорок четвертого года, когда Ленинград салютовал своим доблестным войском, освободившим его от блокады,— эти войска, продолжая наступление, подходили к Луге.

Сегодня, когда Ленинград празднует первую годовщину своей великой победы, Красная Армия, взяв Познань, подошла к той части польско-германской границы, откуда до Берлина почти такое же расстояние, как от Ленинграда до Луги.

Я знаю, что пространство, оставшееся до Берлина, можно обозначить по-разному, и каждый русский исчисляет его по-своему, и каждый прав. Но сегодня, в этот для всей страны ленинградский день, пусть оставшиеся до Берлина километры будут исчислены ленинградской мерой! Ленинград имеет на это право — у него особые счета с гитлеровским Берлином.

...К годовщине освобождения Ленинграда в ленинградском радиокомитете закончена была замечательная работа: художественный радиofilm, смонтированный из документальных радиозаписей, из живых голосов защитников Ленинграда и радиорепортажей, начиная с июня сорок первого года.

Живой, человеческий голос прошлого, неповторимый шум времени слышен в этом фильме: здесь со свистом снарядов и бомб, с ладожской вьюгой, с Седьмой симфонией и «Варшавянкой» мешаются сотни голосов защитников Ленинграда — солдат, рабочих, матерей, писателей, Героев Советского Союза, ученых. Здесь сохранены живые голоса тех, кто давно уже погиб в битве за Ленинград; здесь есть голоса ленинградцев, известных теперь всему народу, и голоса не известных никому, порой даже не названных по имени. Но все они звучат с одинаковой силой — у павших и живых, у известных и безымянных одно общее, огромное имя: Ленинград. Это не метафора: действительно, в дни блокады ленинградец отвык говорить о себе «я»: он говорил «мы» или «Ленинград». «Ленинграду трудно...», «Ленинград не сдастся...», — говорил человек, гордясь Ленинградом, не думая о том, что это он сам.

...Осень сорок первого года, смешанный шум оборонных работ и очень звонкий, бодрый, пожалуй,

слишком бодрый для тех дней, голос женщины, восклицающей:

— Здравствуйте, товарищи ленинградцы! Как вы там поживаете, у себя в городе? А мы тут копаем землю... вовсю... Не пускаем врага в город! И мы скорей умрем, чем пустим его!

Это голос ленинградской работницы, ставшей землекопом, Ольги Новиковой. Это радиорепортаж с оборонной трассы осенью сорок первого года... Вместе с Новиковой выступал тогда еще один землекоп — товарищ Котов, а затем, уже в сорок четвертом, он же говорит:

— Товарищи, я только что прослушал с пленки свое выступление и выступление Ольги Новиковой. Хорошая она была женщина... Она умерла зимой от голода, товарищи... Она сдержала свое слово — умерла, но не допустила врага в город.

И вдруг мгновенно вы по-новому слышите и понимаете этот напряженный, вызывающе бодрый голос женщины, голос павшей в бою. Нет, это было не просто выступление, это была клятва, подтвержденная жизнью... Ни одного слова не сказал Ленинград всуе, каждое слово свое обеспечивал он всем достоянием своим — кровью и жизнью, и потому нет ни одного ленинградского слова, которое не сбылось бы сейчас.

...Сохранив голос, пленка не сохранила имени одного ленинградского рабочего, провожавшего на фронт отряд Народного ополчения. Отряд шел уже не под Лугу, а гораздо ближе, наверное, под Стрельну, это был сентябрь сорок первого года, а безымянный рабочий говорил им — отчетливо и строго:

— ...А вы, товарищи, помните — Ленинград не подведет, и деритесь как настоящие питерцы, и будьте уверены, что немца мы отсюда погоним и дойдем до Берлина...

Так говорил Ленинград еще в сорок первом году. Но так же говорила и вся Россия. Ленинград был только верным ее сыном. Он только, как сын, вобрал в себя лучшие черты своей матери, и самый великолепной чертой Ленинграда была его железная выдержка. Да, этим он был «весь в мать»... Потому что ведь и матери, на глазах которой пытаются любимого сына, надо иметь немыслимую выдержку, чтобы кричать: «Не сдавайся им...» Надо беспредельно любить своего сына —



его душу, его честь, его жизнь, чтобы так кричать ему. Мы слышали этот крик Родины, полный любви и страдания, мы чувствовали ее материнскую муку за нас. И Ленинград щадил ее; мы долго ничего не говорили ей о боли, которую испытывали, скрывали от нее свое изнеможение, преуменьшали свои пытки... Стоит перечесть сейчас хотя бы письма, которые мы отправляли за кольцо во время блокады. Нет, почти невозможно узнать об истинном положении в Ленинграде из этих скупых фраз: «испытываем трудности», «бывает шумно», «приходится недоедать...» И тон множества этих писем так же бодр, слишком бодр, как голос Ольги Новиковой с оборонной трассы. Но мы знаем, что стояло за этой бодростью... Да, мы щадили ее, Родину, зная, как она любит нас.

...И особенно радостно вспомнить сегодня, что во время осады ни на одну минуту не обрывалась наша связь с Большой Землей.

Все ленинградцы помнят, как весной сорок второго года вдруг возникла и молниеносно распространилась в городе, еле очнувшись от страшной зимы, странная «мода»: на груди почти каждого ленинградца появился неведомо откуда взявшийся жетон — маленькая жестяная ласточка с письмом в клюве. Эту ласточку все носили — мужчины и женщины, старики и дети. Она означала что-то вроде «жду хорошей вести», она тоже была — пусть наивным — вызовом блокаде и как-то символизировала жажду связи и даже самую нашу связь со страной: с величайшей опасностью и трудом можно было проскочить в наш осажденный город по ладожской нитке, и только птица могла бы свободно прилететь сюда... Но как раз птицы-то к нам в то время и не залетали!.. И все же откуда-то с дальнего фронта, с юга, вдруг пришло к сотрудникам Публичной библиотеки от когда-то знакомых их бойцов странное, толстое письмо: на большом листке бумаги плотно друг возле друга были нашиты тоненькие желтоватые закорючки, напоминая собой какую-то необычную вышивку, и только маленькая приписка, вложенная в письмо, объяснила его содержание: «Цензура, окажись сознательной, не вытаскивай из письма сушеный лук (витамин), который мы посылаем героическим ленинградцам».

Тоненькие закорючки сушеного лука, пришитые к

бумаге огрубевшими от огня, железа и стужи пальцами солдат, невозможно взвесить: любовь не имеет веса и меры.

И той же весной, в марте, в деревнях и селах Ленинградской области, оккупированных тогда немцами, партизаны собирали небывалый красный обоз: они приходили тайком, по ночам в полуразоренные колхозы и хаты и говорили только одно: «Питерцы с голоду умирают. Надо помочь». И каждый давал что мог: кто мог дать полпуда муки — давал полпуда, кто мог дать горсть — давал горсть, и так набралось более двух сотен подвод с пищей для Ленинграда. Воистину, как сказал великий поэт о великом народе:

Встали — не бужены,  
Вышли — не прошены,  
Жита по зернышку  
Горы nanoшены.

И вот в город, куда и самолету трудно было проскочить, куда и птицы не залетали, через линию фронта, через свирепое вражеское кольцо, по тайным, одному народу известным путям прошли партизаны с красным обозом в двести пятьдесят подвод, с даром крестьян пролетарской цитадели, с даром пленных голодающим, с даром непобежденных своему знаменосцу...

Птице трудно было пролететь к нам, но в декабре сорок первого года, когда для разгрома немцев под Москвою нужны были танки, рабочие одного ленинградского завода сумели отправить из блокированного Ленинграда за кольцо, на самолетах, тысячи деталей, необходимейших для этих танков, деталей, которых еще не мог в те дни в достаточном количестве дать Урал. Они подвозили эти детали к самолетам на отдаленный аэродром на себе, на тех же саночках, на которых возили мертвецов и воду. Они отдавали перевозке этих деталей последние силы... Но это нужно было Москве!

И сегодня, принимая из рук ее сияющую, самую высокую награду — орден Ленина, — внимая словам ее любви, восторга и благодарности, он отвечает:

— Я был только верен тебе — это все, что я сделал...

Втройне торжествен сегодняшний день для Ленинграда: он не только вспоминает свою великую победу

в прошлом году — он всем сердцем своим вместе с Родиной переживает ее сегодняшнюю победу, предвкушает ее завтрашнюю — окончательную победу.

Уже войска наши приблизились к Берлину на расстояние, равное расстоянию от Ленинграда до Луги. У Ленинграда особые счеты с Берлином.

Год, минувший с торжественного салюта, Ленинград посвятил своему возрождению. Но мы ничего не забыли за этот год, ничего. Мы своими руками уничтожаем в городе следы фашистских преступлений, мы сами покрываем свежей краской стены наших домов; но мы помним, что под этой краской — кровь наших сограждан. Ее не смыть, не закрасить, не уничтожить. Она впиталась в камни нашего города навеки. Быть может, еще не так скоро поставим мы памятник Безымянному Ленинградцу над военными могилами, которых не знала ни одна история, ни один город: над братскими траншеями ленинградцев, погибших от голода. Еще не поставлен над ними памятник, но мы помним, где эти траншеи тянутся...

И мы знаем единственных виновников всего этого — гитлеровцев. Их вожаки в Берлине. Вот почему мы мерим расстояние до Берлина своей, ленинградской мерой и исчисляем своим, ленинградским временем.

И чем ближе будут подходить наши войска к Берлину, тем страшнее будем исчислять мы, ленинградцы, остающееся до него расстояние. Мы будем говорить: «До Берлина — как от Ленинграда до Гатчины»; «До Берлина — как от Ленинграда до Пулкова». И наконец, мы войдем в Берлин...

Этот день будет. Мы знали об этом еще в сорок первом году, когда враг подошел к нашим стенам и посягнул на свободу города, — безымянные ленинградцы клялись этим днем, этот день недалек, к нему вместе со всей страной движется Ленинград.

...Сегодня праздник в городе.

Сегодня  
мы до утра, пожалуй, не уснем.  
Так пусть же будет как бы новогодней  
и эта ночь, и тосты за столом.

Позволь же мне по гулкому эфиру  
сквозь этот черный говорящий круг  
войти в твою вечернюю квартиру,  
мой ленинградский,

мой давнишний друг!



И верим: вновь пути укажет миру  
наш небывалый,

тяжкий,

дерзкий труд.

И будет время — к Северной Пальмире  
во множестве паломники придут.

Придут из мертвых городов Европы  
по неостывшим, еле стихшим тропам.

Придут, как в сказке, за живой водой,  
чтоб снова землю сделать молодой.

Так выше, друг, торжественную чашу  
за этот день,

за будущее наше,

за кровное народное родство,  
за тех,

кто не забудет ничего...

*27 января 1945*

## **БЕРЛИН ПАЛ**

Берлин пал.

Берлин взят войсками Красной Армии.

Берлина как столицы гитлеровской Германии — нет.

Миллионы людей — воинов, их матерей, их детей и сирот, их жен, вдов и невест, — миллионы людей миллионами уст во всех уголках земли твердят сегодня: «Берлин пал», твердят без усталости, с восторгом и счастьем.

Нет, Берлин был не просто столицей Германии.

Это гитлеровский Берлин источал из себя тьму, которая ползла по всему земному шару, из страны в страну, задергивая окна черным, гася вечерние огни, погружая города и села в ночь, оставляя лишь злоеший свет пожаров.

Это в Берлине — в рейхстаге его — кишели и клубились самые ядовитые, самые подлые и смертоносные замыслы против всего человечества.

Это из Берлина, из «штаб-квартиры фюрера», нагло, истошно, злорадно голосили фанфары, оповещая об очередном совершенном фашистами преступлении.

Фюрерские фанфары ревели при падении Парижа, при оккупации Норвегии, при уничтожении Варшавы, при взятии Минска, Киева, Смоленска. Они же, эти трижды проклятые фанфары, не один раз нагло про-

возглашали «несомненное падение Москвы и Ленинграда».

Берлинские фанфары ревели пронзительным, несытым, клокочущим ревом... Я помню это. Я никогда не забуду, как однажды слышала их. Это было в октябре сорок первого. Уже был взят в кольцо Ленинград. Уже к Москве, к самому сердцу Родины, прорывались фашисты, уже отборные эсэсовские дивизии стояли наготове, чтобы начать расправу над нашими городами — Москвой и Ленинградом. И вот в тот вечер мы — группа работников радиокомитета — услышали эти ревушие фанфары. Сначала они прорычали грубый, наглый, торжествующий марш. Затем женский голос произнес: «Сейчас будет говорить штаб-квартира фюрера...» Потом снова пять минут ревели фанфары. Мы стояли у приемника, сжав кулаки, стиснув зубы: уже более двух месяцев не было в Ленинграде ни музыки, ни песен, только метроном стучал в перерывах между краткими радиопередачами, только метроном стучал, как невидимый плотник, да свистели снаряды и бомбы... И вот фанфары проревели в шестой раз, и сытый, самодовольный голос почти лениво произнес, что якобы под Москвой окружено и уничтожено несметное количество наших войск, что якобы путь на Москву открыт, что «дни большевистской столицы сочтены», что «Ленинград тоже обречен»... И после этого сообщения вновь долго и грубо торжествующе ревели фанфары, и вдруг... сразу, без паузы, страшный этот дикий солдатский марш перешел в беспечный фокстрот. И тот же голос, который только что сообщал о «неминуемой гибели России», запел какие-то пошлые слова, что-то вроде «О моя кисанька, что ты думаешь об этом...»

...И танго следовало за танго, один фокстрот за другим, без остановки, пока в городе нашем стучал метроном — в голодающем, темном городе, отрезанном от всей страны. А фашистский Берлин — разбойничий притон — веселился! Берлин веселился, ликовал и отплясывал потому, что реки крови пенились в России. Берлин веселился потому, что горели тысячи русских деревень, гибли люди, потому, что в Ленинграде дети и женщины уже начинали пухнуть от голода, — Берлин захлебывался от восторга.

Мы слушали это людоедское ликование, и я пом-

ню, как начальник отдела Николай Верховский (через три месяца он погиб от голода) сквозь зубы сказал:

— Н-ну... будет время... у них метроном все-таки и двух месяцев не простучит.

Но метроном не стучал в Берлине и одного месяца. Они на весь мир провозглашали о «неминуемом падении Москвы» — и не взяли ее. Они четыре месяца обрушивали на Сталинград столько железа, огня и смерти, что этого хватило бы на тысячелетия, — и не взяли его. Они девятьсот дней осаждали Ленинград, подвергая его таким пыткам, о которых до сих пор не расскажешь, — и не взяли его.

Берлин взят. Нет, не тридцать месяцев и даже не четыре пришлось осаждать Берлин. Всего десять дней штурмовали его наши войска. И первый залп по Берлину был сделан ленинградскими артиллеристами — воинами города, который девятьсот дней подвергался обстрелам. Так вместе с москвичами, сталинградцами, севастопольцами подошел Ленинград к Берлину, ворвался в него и бросил его на колени.

Мы не злорадуем. Злорадство было бы недостойно нас самих, оно было бы ниже наших жертв, нашего самоотречения, нашего мужества. Мы справедливо торжествуем. Это торжество света над мраком, торжество человека над злобной и кровожадной гадиной, торжество великодушного народа над обидчиком человечества. Это торжество полно светлого предчувствия близкой, теперь уже очень близкой, окончательной победы!

Запомни эти дни.

Прислушайся немного,  
и ты — душой — услышишь в тот же час:  
она пришла и встала у порога,  
она готова в двери постучать.

Она стоит на лестничной площадке,  
на темной,  
на знакомой без конца,  
в солдатской, рваной, дымной плащ-палатке,  
кровавый пот не вытерла с лица.

Она к тебе спешила из похода  
столь тяжкого,  
что слов не обрести.

Она ведь знала: все четыре года  
ты ждал ее,  
ты знал ее пути.

Ты отдал все, что мог, ее дерзанию:  
всю жизнь свою,  
всю душу,  
радость,  
плач.

Ты в ней не усомнился  
в дни страдания,  
не возгордился праздно в дни удач.  
Ты с этой самой лестничной площадки  
подряд четыре года провожал  
тех — самых лучших,  
тех, кто без оглядки  
ушел к ее бессмертным рубежам.

И вот — она у твоего порога.  
Дыханье переводит и молчит.  
Ну день, ну два, еще совсем немного,  
ну через час — возьмет и постучит.

И в тот же миг серебряным звучаньем  
столицы позывные запоют.  
Знакомый голос вымолвит: «Вниманье...»,  
а после трубы грянут и салют,  
и хлынет свет,  
зальет твою квартиру,  
подобный свету радуг и зари,  
и всею правдой,  
всей отрадой мира  
твое существованье озарит.  
Запомни ж все.

Пушкой навеки память  
до мелочи, до капли сохранит  
все, чем ты жил, что говорил с друзьями,  
все, что видал,

что думал в эти дни.  
Запомни даже небо и погоду,  
все впитывай в себя,

всему внемли:  
ведь ты живешь весной такого года,  
который назовут — Весной Земли.

Запомни ж все! И в будничных тревогах  
на всем чистейший отблеск отмечай.  
Стоит Победа на твоём пороге.  
Сейчас она войдет к тебе.

Встречай!

3 мая 1945

## ВТОРОЙ ДЕНЬ

Товарищи, а ведь уже второй день мир! Мы уже два дня живем в то время, о котором еще только позавчера, во вторник, мечтали как о самом высшем



счастье. Ну, вот оно! Наши улицы с вечерними огнями, зазеленевшие деревья садов и парков, спокойное небо — это все победа, мир.

Вчера после десяти часов вечера, когда в городе начался салют и фейерверк, мы решили посмотреть его с крыши того дома, где в это время были. Это старинный высокий дом, с него хорошо и далеко виден город. И вот мы побежали на чердак, через слуховое окошко вылезли на деревянные мосточки и расположились на них около стеклянной будки. И вдруг на нас пахнуло чем-то таким, что показалось очень далеким, почти невероятным, неправдоподобным: ведь и эти мостки, и эта хрупкая стеклянная будочка со столиком и телефоном на нем — ведь это же был НП, все это было устроено для наблюдения во время воздушных и артиллерийских тревог.

Да, да, мы сами, те, кто сейчас взошел сюда, стояли на этой самой крыше, звонили по этому самому телефону в будочке, сообщая, куда ложатся снаряды и бомбы. Это было совсем недавно, но вчера, в первый день мира, окинув глазами все это военное хозяйство, один из товарищей удивленно произнес:

— Братцы... а ведь в самом деле когда-то были бомбежки...

И мы засмеялись от счастья: были, были, но нет и не будет. Мир!

— А это что такое? — спросил кто-то. На перильцах мостков висели огромные, с человеческий рост, щипцы.

— Да ведь это щипцы зажигалки хватать и сбрасывать...

— Вы с уважением ощупывайте их, как старое, но грозное оружие, — продекларировал кто-то с пафосом.

— Да разве мы ими пользовались? Мы ведь больше руками, ну — лопатой.

— А помните, один маленький мальчик рассказывал, как он зажигалку тушил? Плакал и шепеляво так говорил: «А я ее жа хвошт, жа хвошт и в пешок, в пешок...»

Мы засмеялись.

— А ведь это ужас! — воскликнул кто-то. — Ребенок, маленький, горящую бомбу руками, как кошку, за хвост!

— Не за хвост, а «жа хвошт».

И мы опять засмеялись. Какое счастье, что мы можем теперь вспоминать многое из прошлого не только с трепетом, болью и уважением, но даже с улыбкой, со смехом. Мы имеем право, именно мы, на эту улыбку, мы слишком мало улыбались тогда и слишком долго не смеялись...

А над Ленинградом рокотал салют — мы узнали по звуку, что это зенитки, — и миллионы разноцветных огней взлетали в небо и осыпались оттуда, и десятки прожекторов качались в его весенней синеве и то выхватывали из сумрака блестящую Адмиралтейскую иглу, то озаряли купола соборов, то пронизывали насквозь стеклянную вышку нашего объекта. Впрочем, это был уже не объект. Это снова был просто дом для людей, и полы и потолки вновь стали в нем полами и потолками, а не нижними и верхними перекрытиями, и окна стали снова окнами, полными уютного света, а не «световыми проемами», которые надлежало затемнять так тщательно, чтобы не только вражеский летчик света не заметил, но даже управхоз не придрался бы! Вновь вернулись к нам наши дома, наши жилища, наша обычная, простая человеческая жизнь, без бомб, снарядов, затемнения, — и это мир, это победа. Она всюду. Она и воздух, и жизнь, и сон, и улыбка — она все.

Мы вспоминали вчера так много, что и перечислить нельзя. Но главное — мы по-новому все вспоминали, новым смыслом наполнились для нас наши же недавние переживания, поступки, утраты, новым светом, светом сегодняшнего праздника, озарились они... И, как никогда, мы в эти дни понимаем, что все, решительно все, что мы делали, было непрерывным движением к победе.

Мне вспоминается, как во время второй блокадной зимы, в январе сорок третьего года, домохозяйки из нескольких домов на улице Рубинштейна пригласили меня к себе в красный уголок почитать стихи.

Мы собрались в первом этаже, в глубине помещения, потому что был обстрел и, кажется, одновременно и воздушная тревога с бомбами; мы называли такое «комбинашками». Женщины попросили почитать «Ленинградскую поэму», и я читала, а потом мы стали разговаривать обо всяких насущных бытовых делах, и так как я хорошо знала, как жила в первую,

страшную блокадную зиму эта улица и ее люди, я спросила политорганизатора:

— Ну, а как у вас этой зимой — были прошлогодние смерти или нет?

Она энергично покачала головой и ответила:

— Ну что вы, конечно нет. Ведь мы еще осенью собрали весь свой актив и постановили: прошлогоднюю смерть в наш жилой куст не допускать. Так и в протоколе записали. И добились.

Вот, товарищи, какие у нас с вами в жактах протоколы есть: не кого-нибудь, а самое смерть в жилой куст не допускать. И не допускали смерть, а ведь для этого нужно было проделать множество обыкновеннейших, черных, тяжелейших работ: отеплить водопровод, переселить жильцов послабее из верхних этажей в нижние, разносить дома на топливо и многое, многое другое... И все это было ради победы, все это вело к ней, и все это оправдало себя.

Война очень многое взяла от нас. Война разорила немало человеческих душ, опустошив их. И все же неизмеримо больше мы приобрели! Какая это драгоценность, какая правая и чистая гордость — сознание, что мы народ-победитель. Да, мы, вот каждый из вас, кто сейчас меня слышит, — победитель. А все вместе мы — н а р о д-победитель. Нет ничего отраднее и выше, как чувствовать себя неотрывной частицей той прекрасной семьи, которая именуется советским народом... За время войны мы, особенно мы, ленинградцы, привыкли и научились жить общими радостями, общими горестями, общей жизнью, мы обогатились нравственно, хотя обогащение это было трагически грозным, мы научились глубже понимать, любить, ценить друг друга.

И в дни мира мы должны быть достойны самих себя, победителей, таких, какими научились быть в дни войны. Великое братство связало нас за годы войны, когда у всех была как бы одна жизнь. Этой одной жизнью была борьба, горе, лишения войны и блокады. И братство это надо бережно хранить и укреплять и теперь, в дни мира, ведь и теперь у всех нас есть одна жизнь — это победа. Уже два дня, как мы живем ею, дышим ее воздухом, неотрывно глядим в ее дорогое, изрубцованное, гордое и светлое лицо, и все громкие, торжественные слова, с которыми мы хотим обратиться к ней, кажутся нам недостаточными и бед-

ными перед ее величием, и потому хочется говорить с ней очень тихо и очень просто...

— Здравствуй...

Сердцем, совестью, дыханьем,  
всею жизнью говорю тебе:

— Здравствуй, здравствуй.

Пробил час свиданья,  
светозарный час в людской судьбе.

Я четыре года самой гордой —  
русской верой — верила, любя,  
что дождусь — живую или мертвой,  
все равно, —

но я дождусь тебя.

Вот я дождалась тебя — живую...

— Здравствуй...

Что еще тебе сказать?

Губы мне свело священным зноем,  
слезы опаляют мне глаза.

Ты прекраснее, чем нам мечталось,  
свет безмерный,

слава,

сила сил.

Ты — как день, когда земля рождалась,  
вся в заре, в сверкании светил.

Ты цветением яблоневым белым  
осыпаешь землю с высоты.

Ты отрадней песни колыбельной,  
полная надежды и мечты.

Ты — такая... Ты пришла такая...

Тыдохнула в мир таким теплом...

Нет, я слова для тебя не знаю.

Ты — Победа. Ты превыше слов.

Счастье грозное твое изведав,

зная тернии твоих путей,

я клянусь тебе, клянусь, Победа,

за себя и всех своих друзей —

я клянусь, что в жизни нашей новой

мы не позабудем ничего:

ни народной драгоценной крови,

пролитой за это торжество,

ни твоих бессмертных ратных буден,

ни суровых праздников твоих,

ни твоих приказов не забудем,

но во всем достойны будем их.

Я клянусь так жить и так трудиться,  
чтобы Родине цвести, цвести...

Чтоб вовек теперь ее границы  
никаким врагам не перейти.

Пусть же твой огонь неугасимый  
в каждом сердце светит и живет  
ради счастья Родины любимой,  
ради гордости твоей, Народ.

*10 мая 1945*

## **ВОЗВРАЩЕНИЕ МИРА**

Они вернулись на свои места, на Аничков мост, теплой белой ночью второго июня.

Вместе с неубывавшей толпой горожан я стояла и смотрела, как поднимали одну из бронзовых групп на высокий гранитный, выщербленный осколками постамент: это была как раз та статуя, где над нами, поверженным наземь юношей высоко взвились тяжелые копыта разъяренного коня.

Мы стояли долго, мерцала белая ночь, статуя подымалась медленно и вдруг в какой-то момент так и врезалась в бледно-зеленоватое небо всем своим черным, бурным, трагическим силуэтом! И мы вздрогнули все, даже озноб пробежал по телу: так прекрасно явилась в небе скульптура, так пронзительно остро вспомнился сорок первый год и так остро еще раз ощутили мы мир.

Нет ничего страшнее и печальнее памятника, сошедшего с места. А ведь осенью сорок первого года этот поверженный бронзовый юноша лежал прямо на тротуаре и бешеные копыта его лошади висели над самыми головами прохожих. А на другой стороне моста юноша, уже усмиривший коня, тоже стоял на тротуаре, держа лошадь под уздцы; он был лишь немного выше человеческого роста, он как бы шел рядом со всеми, торопясь увести своего коня отсюда.

Сошедшие с высоких своих постаментов, стоящие прямо на земле, разбредаящиеся в разные стороны, они уже не скульптурой были, а живыми людьми, как мы, и наглядно олицетворяли собой бедствие, такое грозное, которое даже их, многопудовых, неподвижных, огромных, сдуло с многолетних мест.

Долго стояли в ту осень на тротуарах наши кони, медленно, уже слабеющими руками тащили их ленинградцы к саду Дворца пионеров, осторожно по-

тружали в ямы. Больше трех лет лежали они, спрятанные глубоко под землей, а появились — все четыре — за одну ночь! Овеянные новыми воспоминаниями, полные новым, особым смыслом, они стали вновь украшением города. И много дней подряд каждый ленинградец, проходя по Аничкову мосту, замедлял шаги, с волнением и любовью глядел на коней и думал:

«Стоят! На месте стоят, как в мирное время!»

И сразу радостно вздрагивало сердце: почему же «как», ведь и в самом деле — мир!

...В ту ночь, когда клодтовские кони возвращались на старые места, я шла к себе мимо дома, в котором жила много лет, пока блокада не выжила меня оттуда. Поворачивая с Фонтанки на Пролетарский переулок, где был мой старый дом, я еще раз оглянулась на силуэты коня и укротителя и вдруг снова вспомнила сорок первый.

Я вспомнила одну октябрьскую ночь, проведенную в кочегарке моего бывшего дома. Кочегарка была маленькая, тесная, вся в каких-то сплетениях труб в рычагах, с двумя черными котлами. Красноватая, воспаленная лампочка свешивалась с потолка, обливая все это сумрачным светом; широкий низкий чурбан, похожий на плаху, стоял перед котлами, и белая, тощая, как скелет, грязная кошка неподвижно сидела на этом чурбане и глядела безумными зелеными глазами; котлы были еле-еле теплыми — выходил уже последний уголь, было душно, пахло землей, углем и сырым камнем... Здесь у нас было что-то вроде КП нашей группы самозащиты и место отдыха для ее дежурных бойцов. Фашист в октябре бомбил нас непрерывно и особенно свирепо по ночам, и в ту ночь была уже чуть ли не пятая бомбежка. Я, нач группы самозащиты Н. Н. Фомин, инженер А. В. Смирнов и еще два товарища только что сменились с дежурства и приплелись сюда, измученные бессонницей, страхом и голодом, и сами не знали, что делать: то ли идти немного отдохнуть к себе по квартирам, то ли оставаться здесь.

— Давайте останемся здесь,— предложил Смирнов, которого мы за непомерно высокий рост и детские голубые глаза называли дядя Степа.— Все-таки здесь не так слышно: надо немножко побережь нервы...

Я раздвинула дачный шезлонг, принесенный сюда на предмет отдыха,— великолепный, отполированный

шезлонг, от которого так и вяло жарким летом, и солнечными бликами в тени и взморьем, Фомин сел на маленький круглый стульчик, закрыл глаза и обнял обеими руками чуть теплый котел. Дядя Степа растянул под самым потолком между двух котлов гамак, тоже чудесный, летний, напоминающий о даче... Но гамак был слишком короток для дяди Степы, так что ему пришлось сложиться вдвое, как деревянному аршину, чтобы лечь в гамак. Двое других товарищей бросили какой-то брезент на пол возле деревянной плахи и пристроились на полу, положив на плаху головы.

От усталости, от страшного напряжения (весь вечер и половину ночи мы видели с крыши, как горел и рушился кругом нас Ленинград) спать никто не мог, да к тому же все было слышно, даже вой самолета вверху, и свист бомб, и взрывы, и белая кошка начала тогда вопить нехорошим, не кошачьим голосом и, тараща зеленые глаза, царапала вытянутыми лапами землю. Надо признаться, тут было куда страшней, чем наверно, и еще тоскливее.

«Если есть ад,— думала я,— то он, конечно, такой, как эта кочегарка. Эти котлы, этот дьявольский кот-оборотень... и красноватый свет, и, главное, эта бесконечность страдания, бессрочность его. И не физического, а нравственного... Никакого конца, никогда — ни смерти, ни отдыха, ни жизни... Пытка страхом... И еще эта кошка чудовищная... Выбросить бы ее надо!»

— Бомба идет,— отметил Фомин, не открывая глаз, и плотнее обнял котел.

— Здесь же запрещено говорить о бомбах,— кротко сказал из своего гамака дядя Степа.— Давайте о другом, если не спится... Вы ведете дневник, Николай Никифорович?

— Вот еще,— пробурчал Фомин.— К чему это?

— А я веду,— сказал Смирнов медленно.— Сейчас, я слышал, почти все ленинградцы ведут дневники... Но, наверно, у меня самый страшный дневник... Я совсем не записываю в нем личных переживаний. Но зато я тщательно отмечаю различные исчезновения... Я записал день, когда зачехлили купол Исаакия и Адмиралтейскую иглу... И другое... И вот, наверно, никто в городе, кроме меня, не записал, что сегодня, на сто восьмой день войны, с Аничкова моста исчезли клотовские кони...

— И так и отсчитываете, на который день войны что исчезает? — заинтересовался один из товарищей, поднимая голову с плахи.— А зачем?

— Не знаю сам,— грустно ответил дядя Степа.— Я же сказал, что не анализирую и не записываю личных переживаний...— И, помолчав, добавил: — Может быть, я надеюсь, что удастся записать дни, когда это начнет возвращаться...

Клодтовские кони вернулись на свои места на четвертой неделе мира. И сегодня, когда я пишу об этом, идет уже третий месяц мира, сегодня его шестьдесят восьмой день.

Мы все до сих пор отсчитываем дни с 9 мая, как четыре года назад отсчитывали дни с 22 июня. Но ныне первыми днями победы мы датируем события, полные радости, потому что первые дни мира — это прежде всего дни великих возвращений. Возвращен мир, и вместе с ним начинает возвращаться все, чем он прекрасен.

На тридцать шестой день победы открылся Екатерининский парк в Пушкине. Еще Пушкин весь в развалинах, но люди давно вернулись сюда, а 17 июня десятки тысяч ленинградцев вновь приехали в любимые сады только затем, чтобы бродить по «таинственным долинам», лежать на траве, смотреть на могучие деревья и буйно разросшиеся за годы войны кустарники. Так деревья и земля вновь возвращаются к человеку — не затем, чтобы маскировать его, скрывать в траншеях и ямах, а для того, чтобы радовать и утешать, как когда-то... нет, еще любовней и заботливей, чем тогда: ведь мы так истосковались по природе за эти годы.

Еще закрыт Александровский парк — он не до конца разминирован, но в Екатерининском уже давно сровняли с землей немецкие кладбища, и юный бронзовый Пушкин вновь мечтает на своей скамье в Лицейском садике, и воспетая им Девушка с кувшином, извлеченная из земли, как прежде, склонясь, сидит на камне. Правда, куда-то пропала разбитая урна, и струя, изливавшаяся из нее, ныне иссякла; но ведь **это** назвал ее «вечной струей» — скоро она заблещет вновь, скоро и она вернется.

Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой...



На пятидесятый день мира в Ленинграде были подняты из земли статуи Летнего сада. Их мыли горячей водой, мочалкой и мылом, прежде чем расставить по местам, и они стоят теперь празднично белые, как-то особенно нарядные, облитые солнцем и золотыми бликами Летнего сада.

Вот идут по дорожке Летнего молодой лейтенант и девушка, и по тому, как прижимает он к себе ее руку, как доверчиво и преданно поднимает она лицо, глядя ему в глаза,— по всем безошибочным, одинаковым, вечным, как мир, признакам видно, что это влюбленные. Не разнимая рук, они ходят от одной статуи к другой, вместе наклоняются и читают надписи.

— Ро-мон-на,— медленно читает лейтенант и, хмурясь, пожимая плечами, говорит: — Не знаю, кто такая. Надо почитать...

Потом они глядят друг на друга и хохочут. У него на груди медаль «За оборону Ленинграда». Он, видимо, из тех, кто прибыл из недр России на защиту города, и защищал его, и защитил, и вот только теперь увидел вместе с любимой девушкой. Они откровенно, бесконечно, вызываяще счастливы. Они были бы счастливы, конечно, и шестьдесят восемь — семьдесят дней тому назад, если бы ходили так же, прижавшись друг к другу, по летней аллее прекрасного сада, но сейчас нет ничего такого, что, как тогда, могло бы искромсать это счастье: лейтенанта уже не убьют, не искалечат, она не станет вдовой, — ведь войны нет, она кончилась нашей победой, мир. И еще прошло только шестьдесят восемь дней мира, а впереди у них, этих счастливых, и у всех, всех нас сотни дней, годы мира. И уже скоро мы перестанем считать на дни и будем считать мир на годы, а он будет длиться и длиться...

Мне недаром, наверное, захотелось начать с кладовских коней. Вот так же, как поднимали на высокий пьедестал этого бронзового юношу, усмирившего дикого коня, — так же начали мы поднимать свою мирную жизнь, и будем поднимать ее бережно, с великим трудом и усердием, с большим напряжением сил, вершок за вершком, шаг за шагом, пока она вдруг, как бы внезапно, не заблещет со своей вершины на радость всем нам, ее поднимавшим.

И мы будем вспоминать тогда первые дни мира с таким же увлечением, изумлением и гордостью, как,

например, первые дни обороны Ленинграда, но без привкуса горечи, с которым невольно вспоминается та трагическая осень, а с чувством... с чувством, еще неизвестным нам, но, наверно, удивительно хорошим и светлым.

И примерно так же, как теперь мы говорим: «А помните, как мы строили баррикады? Как собирали бутылки в жактах — отражать танки? Как бомбили нас девятнадцатого сентября?» — так же будем говорить мы о тех днях, которые сейчас переживаем...

Мы скажем, наверное:

«А помните, в июне сорок пятого весь Невский был в лесах, и что удивительно — ведь работали-то одни женщины! И стены клали, и штукатурили, и стеклили, и красили — сплошь женщины. Это как в сорок первом на оборонных вокруг Ленинграда... Тоже ведь были больше всего женщины... Женщина Ленинград укреплениями обводила, женщина его и подняла!..»

И подобно тому, как вспоминают наши производственники о том, как в начале войны учились они производить специальные гранаты, разрывающие колючую проволоку, так будут вспоминать они, как переходили с гранат на мирное производство.

Мы жертвовали ради победы в течение многих-многих дней не только жизнью, но ежедневными, насущнейшими удобствами, без которых плохо и трудно жить. Мы обносились за время войны, устали от постоянных нехваток самого простого и мелкого. И так приятно знать, что с первых же дней мира ленинградские фабрики и заводы стали готовиться к тому, чтобы как можно больше и скорее дать людям вещей, необходимых для их обычной, мирной жизни, — тканей, обуви, утвари и много-много другого.

Возвращен мир, и с ним возвращается все, чем он хорош, и человек возвращается к человеку.

В первые дни мира, когда вновь взлетели клодтовские кони на свои постаменты, когда в дремучем Екатерининском парке вылавливали последние мины, а «Треугольник» изготовил первые соски, когда десятки тысяч новых деревьев были высажены в садах Ленинграда и первые люльки закачались на фасадах домов, — в эти дни начали прибывать в Ленинград первые эшелоны с детьми, эвакуированными в начале войны.

С восторгом возвращались маленькие ленинградцы в родной город, хотя многие из них уже не помнили его. С трепетом и любовью встречали их матери и родственники, хотя и не все узнавали своих детей сразу...

Я запомнила одну мать, которая, стоя перед группой ребятишек и глядя то на одного, то на другого, растерянно восклицала:

— Да где ж моя Ниночка? Ниночка-то моя где?

А длинноногая русая девочка удивленно и обиженно кричала:

— Мамочка, да вот я! Да вот же я! Это я, я!

Ниночку увозили из Ленинграда, когда ей было всего пять лет, а сейчас ей шел уже десятый, она уже перешла во второй класс, она умела читать. Но матери, прибежавшей на вокзал, она все еще представлялась до этой минуты маленькой, пухлой, совсем картавой, и мать не могла сразу узнать ее, ставшую сознательным человечком за годы войны и разлуки.

— Да ведь ты совсем большая,— говорила мать, плача и обнимая дочку,— да ведь ты совсем другая стала без меня.

И ей было немного грустно, что той Ниночки, которую она отправляла, которую так хорошо знала и любила, нет уже, она не встретила, не нашла ее, а есть другая, новая, взрослая девочка, милая, напоминающая прежнюю Ниночку,— и она уже привыкла к ней, и гордилась ею, и любила по-новому.

О, как долго не было слышно в нашем городе детских голосов. Всех приезжающих в Ленинград поражало это. Но вот они звенят под моими окнами, во дворе, они кричат: «Окружай его, окружай!» — они все еще играют в войну, в блокаду, кто-то вопит: «Артиллерийский обстрел продолжается!» — и громко хлопает крышкой мусорного ящика... Действительно, похоже! Недаром мгновенно я слышу плаксивый, громкий крик нашей дворничихи тети Пани:

— А ну, перестань хлопать! Чтоб не было мне этого! Наподдаю!..

И так же громко и горестно она объясняет кому-то:

— Я этих стуков слышать не могу! До чего удивительно — всю блокаду на посту в этой подворотне выстояла, ни бомбов, ни снарядов — ничего не боя-

лась. А теперь шина лопнет или стукнет вот так, кастрюлька в кухне упадет — прямо в дрожь кидает со страху! Так и чудится: обстрел! И что за чудеса со мной — понять не могу.

...А шесть дней назад, на шестидесятый день мира, мы встречали наших гвардейцев, проходивших через город.

Это были солдаты и офицеры дивизий, которые стояли вместе с нами в кольце всю блокаду, которые рвали блокаду в сорок третьем году, в огненном районе Шлиссельбурга, которые осенью сорок третьего заняли знаменитые Синявинские высотки, освободив тем самым от вражеского обстрела единственную железнодорожную нитку, связывавшую нас со страной. Это были те дивизии, которые ликвидировали проклятую блокаду в январе сорок четвертого, освобождали Ропшу, Красное Село, Петергоф, Дудергоф, Пушкин, Гатчину...

И рано утром восьмого июля в домах никого не осталось: все ленинградцы, от мала до стара, вышли на улицы. Все шли. И те, кто ожидал увидеть среди проходящих гвардейцев своих родных, близких и знакомых, и те, кто никого уже не ждал с войны, совсем никого.

...Вот стоит около Триумфальной арки на улице Стачек аккуратная старушка в пестром, «веселеньком» ситчике, в старинном кружевном шарфе на голове... В носовом платке у нее завернут гостинец — «маленькая», в руке серебряная стопочка — чарка...

— Ты кого, бабушка, встречаешь?

— Я? Я, милый, всех любя встречаю... Всех!

— А твои где же?

— А мои, милый, еще за революцию, в гражданскую на фронтах полегли...

...Стоит девочка лет восьми с огромным, любовно собранным букетом: в середине сияющие ромашки, они окружены синим кольцом васильков, потом идут малиновые, горящие, как огоньки, гвоздики, и какой-то свежей, нежной травкой обрамлен весь букет. И сама девочка похожа на ромашку — в белом платье, с ярко-золотистой головой, с солнечным бликом на самой макушке.

— Ты папе букет принесла, девочка, да? Сразу видно, что папе! Ну-ка, как его зовут?

Она поднимает круглые глаза и говорит негромко:

— Нет,.. Мой папа в первые дни войны убит...

И, видя, как пробегает по лицу взрослого смущение, тут же поясняет:

— Это я чужому папе отдам... Бойцу, как мой... чьему-нибудь папе, понимаете?

— Понимаем, дочка!

...И хотя многие-многие ленинградцы никого не ждали с этими дивизиями, и хотя не было среди ленинградцев ни одного, кто бы не утратил в этой войне близкого человека, я никого не заметила в трауре или нарочито темных одеждах — нет, все были в лучших своих светлых и пестрых платьях, и все — с цветами. Не было пышных цветов, роз или георгинов, в городе их еще не было, — были только полевые цветы, а у иных — только листья клена или дуба.

Мне казалось, что победители пойдут во всю ширину наших улиц, гулко печатая шаг, что отдавался он как гром, как обвал, — шаг победителей, пойдут в сверкании и блеске, в оглушающем гуле медных сияющих оркестров, стройными грозными рядами... Но так прошли они только по Дворцовой, где был парад, и через площади, где были митинги, а по улицам они шли совсем иначе, и прохождение было таким, которое остается в сердце до самой смерти.

Мне довелось встречать одну из гвардейских дивизий на Литейном, возле Невы, у моста.

Они не печатали шага, не шли во всю улицу — они шли по трамвайным путям, по трое, иногда даже по двое в ряд, а мы, сбжав с тротуаров, стояли так близко от них, что старухи гладили плечи проходящих гвардейцев, и мы пожимали им руки, кидали наши ромашки и шиповник, дубовые и кленовые листья прямо под пыльные сапоги их и вкладывали им прямо в ладони чистые, прохладные платки, и они тут же утирали ими разгоряченные свои лица, а мы совали им в руки эскимо, папиросы, шоколад, а женщины постарше — даже «маленькую» в карманы, и мы то неистово рукоплескали и что-то кричали, то молча обнимали и целовали их, и так все плакали!.. Как мы плакали в этот день...

А они шли мимо нас, очень усталые, в тяжелых пыльных касках; их лица, озаренные смущенной улыбкой, были темно-красными от загара; мокрые, потем-

невшие от пота гимнастерки пестрели нашивками за ранения и множеством орденов и медалей, и медали внятно и тихо звенели при каждом их шаге. Они не шли по улицам сомкнутым строем, одни — нет, многие из них шли под руку с женами, или невестами, или знакомыми, а то и незнакомыми, просто из толпы вышедшими девушками, иные несли на руках маленьких своих ребятишек, встретивших их, а ребята постарше — свои и чужие — семенили рядом или бежали целыми толпами между батальонами, и несметное количество мальчишек сидело на стволах огромных орудий, как птицы, и штатские с нашивками ранений бок о бок шли с гвардейцами, оживленно беседуя, — их боевые друзья.

И, глядя на усталые, обгоревшие лица гвардейцев, на их жен, детишек, девушек, друзей и матерей, шагающих рядом с ними, глядя на всех, кто тянул к бойцам руки с лаской, с цветком, с подарками, мы поняли, что это не только гвардейские дивизии, это — и армия возвращается с войны. Уставший после многолетних кровавых битв, победивший страшного и сильного врага, ликующий и ничего не забывший, в пыли, в поту, в ранах и великой славе — могучий, добрый, дружный русский народ возвращается с войны, справедливой и победоносной.

И было — ощущаемое всеми — особое величие в том, что этот народ, возвращаясь с войны, идет по улицам Ленинграда — города, принявшего несказанные ратные муки и труды, города необыкновенной красоты, где нет ни одной пяди асфальта, не политой кровью защитников, и где нет в этот день мертвых, но есть только живые: недаром же дети, и жены, и матери погибших вышли встречать живых, как родных, — вышли в праздничных платьях, с полевыми цветами и зелеными ветками в руках.

...Мир возвращается к нам, и мы — к миру. Уже шестьдесят восемь дней мира прожили мы. Это мало, и это много. Мы узнали за эти дни, что возвращение — иначе еще говорят: возрождение мира — это большой праздник и большой, несправадный труд. Мы знаем также, что ничто не вернется к нам точно таким, как было до войны: ни дети, ни чувства, ни даже неподвижные памятники. Мы живем еще как бы на рассвете, в раннем утре мира. Мы знаем, что победа будет раз-

гораться, как разгорается утро, переходя в полдень... Может быть, что-то из того, что придет к нам с нарастанием мирного времени, не будет узвано нами, но хочется верить и верится, что полдень мира будет еще светлее, еще щедрей, еще свободней, еще прекрасней, чем мы представляем его сейчас, в первые дни после победы.

*15 июля 1945*

## **ВЕЧНО ЮНЫЙ**

...Так что же мне сказать тебе и о тебе, Ленинград, в дни, когда отмечается твое величавое двухсотпятидесятилетие?

Нет, не праздно спрашиваю я себя и тебя об этом: мне надо говорить о тебе столь же много, как о жизни всей страны, столь же много, как о своей жизни, — ведь это неотделимо. И вот не знаешь, что же выбрать, что предпочесть из огромного потока событий, фактов, чувств для краткого слова о родном городе в день его праздника. И пусть простят меня, что слово это будет не слишком стройным, что «я» и «мы» будут постоянно заменять друг друга, — ведь не о себе же я хочу написать, а о нашем поколении, о сверстниках своих — ленинградцах, а мы все и есть Ленинград.

Мне думается, что, пожалуй, ни в одном городе так тесно не связана личная судьба человека с судьбой города, как в Ленинграде. Это, наверное, потому, что у Ленинграда, как и у человека, есть своя собственная судьба (наверное, ее можно назвать — история), не похожая на судьбу никакого другого города (а ведь есть же города с одинаковыми судьбами), интенсивная, трагедийная и героическая судьба, неповторимая, как его человеческая душа и особо вычеканенный профиль, как его природа. Я говорю о ленинградской природе, имея в виду не только белые ночи и северные сияния, возникающие иногда над ним, и не только Неву, и ветры с залива, и морские туманы. В Ленинграде природой, самой настоящей природой, как бы независимой уже от человека, когда-то создавшего ее, стали его здания, площади, ансамбли, памятники. Улица Зодчего Росси — ведь это уже природа, а не архитектура... Взгляни на Биржу и Ростральные колонны, на кото-

рых в честь двухсотпятидесятилетия зажглись в огромных чашах огня, переведи взгляд на строгий и нежный силуэт Петропавловки — разве все это не самая настоящая природа! А наши сады и парки, и старые, петербургские, и совсем молодые парки Победы, посаженные уже нашими руками, — это ведь не только природа, но и архитектура: они построены, наши парки, наши улицы-сады — Большой проспект Васильевского острова, Московский проспект... И природа, созданная человеком, благодарно, навечно хранит его душу, его судьбу.

История-судьба Ленинграда неповторима, в сособенности потому, что этим городом и в этом городе несколько раз решалась судьба всей нашей Родины.

Рождение города Петра, Санкт-Петербурга, знаменовало собой рождение новой эпохи в истории России. Здесь, в Петрограде, точнее — в Красном Питере, судьба России изменилась еще раз — здесь питерский пролетариат низвергнул самодержавие и, ведомый Лениным и ленинской партией большевиков, совершил Октябрьскую революцию и установил власть самих трудящихся — власть Советов. Мы — Ленинград — называемся колыбелью революции. Колыбелью социалистической революции. На постаменте памятника Ленину у Финляндского вокзала нанесены исторические слова из речи Ильича к питерцам, балтийцам и солдатам: «...И да здравствует социалистическая революция во всем мире!»

А во время блокады мы отмечали двухсотсорокалетие нашего города и, так как враг не в переносном, а в прямом смысле слова стоял у стен Ленинграда, к тому, что я уже сказала выше, мы добавляли: «И вновь судьба всей России в эти дни во многом зависит от нашего города: он является узловым пунктом обороны всей страны».

Мы встречали двухсотсорокалетие нашего города в бою — в тот день был свирепый артиллерийский обстрел города, и наши батареи вели контрбатарейный огонь.

Как пышно был украшен город в дни празднования двухсотпятидесятилетия и как суров был он в свой праздник в дни блокады, на третьем году своей обороны... Мы не украшали его в годы войны, не сажали новых деревьев, хотя тщательно хранили ста-



рые и, замерзая, не позволяли никому срубать ни одного дерева в наших парках и садах, чтобы обогреться. Но наши чудесные парки и сады были превращены тогда в огороды с неуклюжими грядками или отданы под военные нужды — главным образом зенитчикам. На Марсовом поле были сплошь огороды, в центре могил Жертв Революции стояла зенитная батарея, и даже землянки были сооружены около них, и огонек по вечерам мерцал в землянках. Тысячи маленьких голубых парусов украшали Невский в дни празднования двухсотпятидесятилетия, а в праздник в блокаду каждый угол здесь был беспощадно превращен в долговременную огневую точку — не были пощажены даже колонны углового флигеля Дворца пионеров, и даже в подъезде Филармонии была устроена пулеметная точка. Выходя с концерта или идя на него, мы каждый раз как бы проходили через участок переднего края обороны. В гранитных нишах на набережной Невы, в этих каменных излюбленных приютах ленинградских влюбленных, почти сплошь стояли зенитки. Напротив университета в одной из ниш на граните была надпись: «Отомстим за смерть родителей красноармейца Краснушкина!» Эту надпись сделали зенитчики, расположившиеся здесь... И пока ты ехал на трамвае или шел вдоль набережной, ты несколько раз попадал в зону ожесточенного боя, на передний край... Впрочем, все тогда в Ленинграде было зоной боя...

И если историю-судьбу Санкт-Петербурга — Петрограда мое поколение вбирает в свое сознание как нечто полуполюгендарное, то уж история-судьба Ленинграда — это наша жизнь. Все в Ленинграде — наша жизнь, включая ленинградские памятники. Говорят, памятники обращены к прошлому. Часто Ленинград называют городом-памятником или музеем под открытым небом. Некоторые из сверстников моих усматривают в этом нечто вроде как обижающее Ленинград. Нет! Памятник всегда обращен к будущему — к тем поколениям, которые придут. Чем больше сегодняшней человеческой души вобрал он в себя, тем больше обращен он к будущему, тем правдивее и бесстрашнее может он говорить с ним. И тем стремительней движется он к будущему. Так, Ленин на броневике, великий человек, чье имя носит наш город, чье изображение видим мы на медали «В память 250-летия Ленин-

града», — это памятник вечно движущийся, обращенный к потомкам.

...Осенью сорок первого года, когда гитлеровские банды начали свирепо бомбить и обстреливать Ленинград, памятник Ленину был бережно и надежно обложен мешками с песком и землею, плотно обшит досками.

Высокий, похожий на усеченную пирамиду холм скрыл в себе фигуру Ленина, и броневик, и бессмертные слова, горящие на нем. В страшную и героическую блокадную зиму его заносило снегом — огромный сугроб высился перед Финляндским вокзалом. Но мы знали, что в этом бесформенном снежном сугробе — Ленин на броневике. Он с нами, и рука его выброшена вперед, и он призывает нас к стойкости и победе. И каждый, кто покидал Ленинград, уезжая с Финляндского вокзала — на фронт ли или на Большую Землю (а эта железная дорога была единственной тоненькой ниточкой, ведущей к Дороге жизни, как-то связывавшей нас с Большой Землей), — каждый, прежде чем войти в вокзальное, изрубцованное снарядами здание, оборачивался к сугробу — зимой, к темному земляному холму — осенью, весной и летом, и долгим взглядом смотрел на него, и видел сквозь снег, песок, землю и доски — Ленина, вождя ленинградской обороны. И каждый прибывающий с Финляндского вокзала в Ленинград человек прежде всего поднимал глаза к этому высокому холму или сугробу...

Весной сорок четвертого года, после ликвидации вражеской блокады, когда на свои места и постаменты стали возвращаться ленинградские памятники, самым первым был освобожден из-под укрытия памятник Ленину на броневике. Как множеству ленинградцев, мне не забыть это утро. В то утро пришли сюда не только те, кому была поручена работа — освободить памятник от укрытия, — сотни ленинградцев, переживших блокаду, пришли сюда, чтобы помочь бригаде. И каждый стремился своими руками помочь отодрать — расшить — доски, оттащить, и обязательно подальше, мешки с песком и землею, расчистить и убрать площадку. Доска падала за доской, мешки исчезали с площади — их уносили в ближайшую развалину, и все больше народу толпилось вокруг. И вот он, наш Ильич, человек и гений, чьим именем назван наш город, пред-

стал перед нами в чистом весеннем небе — наверное, как тогда, в Семнадцатом, — на башне броневика, в распахнутом простеньком пальто, со скомканной, наспех засунутой в карман кепкой, с обнаженною головой, с рукою, вскинутой ввысь, — жест призыва и приветия победившим защитникам города. И когда вечно несущийся вперед броневик стал виден весь, на площади вдруг, внезапно, как залп, раздалась полная, торжественная тишина... Но уже через мгновение сменилась радостными возгласами, неистовыми рукоплесканиями, и светлыми слезами, и дружным гулом толпы. И в группе, где я стояла, чей-то голос упоенно запел, вернее — воскликнул, припев «Интернационала», и группа негромко, но дружно подхватила его:

Это есть наш последний  
И решительный бой!  
С Интернационалом  
Воспрянет

род  
людской!

Так вновь встречал у Финляндского вокзала своего вожда победивший город, с достоинством, как знамя, пронесший его имя сквозь муки небывалой в истории осады.

В те дни памятник Ленину стоял у вокзала — теперь броневик прорвался к самой Неве. Широкая, светлая, полная воздуха и влажного, нежного дыхания Невы, площадь расстилается вокруг постамента, новые чудесные здания окружают ее. Несколько десятков метров от самого вокзала к Неве — путь физически, в обычном измерении, небольшой, а исторически — гигантский...

...И вот уже четырнадцать лет прошло после «второй встречи» города с Лениным у Финляндского вокзала. И вот уже теперь приходят к ленинскому броневику не только ленинградцы, не только граждане, приезжающие со всех концов нашей Родины, но и все бывающие в нашем городе делегации стран народной демократии, вступивших на путь социализма, непременно приходят к этому памятнику с цветами в руках, с сердцем, полным любви к Человеку в простеньком пальто, со смятой кепкой в кармане, к вождю мирового пролетариата; приходят дети Болгарии, Чехословакии, Венгрии. Наконец, приходят граждане Герман-

ской Демократической Республики — не те немцы, от которых защищали этот памятник, а те, кто идет путем, проложенным на много столетий вперед ленинским броневиком — советским народом, и вместе с ним городом Ленинградом, моим родным городом...

...Так что же выбрать мне, по какому же месту, по какой окраине, по какой анфиладе пройти, чтобы написать о днях юбилея?! Невская застава? Арка Деламота — «Новая Голландия»? Университет? До чего ни дотронься — все твоя жизнь, рядового ленинградца, и кем бы ты ни был, ты прежде всего гражданин города Ленина, — все дорого, все неразделимо с давним днем прошлого, и с завтрашним, и с далеким будущим.

Вот Невская застава — страна детства... Здесь я помню еще Петроград, я помню, как горел полицейский участок и как на амбарах — целая улица из амбаров — было написано узкими белыми буквами: «Ум не терпит неволи», «Не трудящийся да не ест», «Охраняйте революцию», «Кто не с нами — тот против нас»...

Вот Васильевский остров, университет. Это юность. Это первая пятилетка: Это пронизанный прямыми лучами солнца университетский коридор, и первая настоящая любовь, и Маяковский, и ожесточенная работа на субботниках в порту, на погрузке баланса. Баланс — это не бухгалтерия, были просто такие аккуратные белые бревешки. Ужасно их много было — целые кварталы. Мы, студенты, таскали их на плечах без отказа, уж даже не вспомнить, по сколько часов. Но это нужно было для создания фундамента социализма! В чем мы могли отказать ему?! Одновременно с погрузкой баланса и так называемой академической учебой мы еще ликвидировали среди населения неграмотность и готовили «рабочую тысячу» в университет. В группе молодых рабочих, готовившихся в университет, у меня, в общем, все шло благополучно, но мой неграмотный грузчик был нерусский — я не помню, какой он был национальности, но он упорно не мог выговаривать, а значит, и писать букву «ф», и я из-за этого не могла считать его грамотным! Комсомольское поручение провалилось из-за буквы «ф»! Позор!

А Кировский завод — он тогда был «Красный путилец», — где я проходила первую практику в механосборочном цехе! Это было в 1929 году, в «Особом

квартале», и в начале тридцатого года, когда завод только что приступил к серийному выпуску советских тракторов «Фордзон-Путиловец».

Я была на практике в многотиражке механосборочного цеха, в так называемой «штурмовке». Наша многотиражка так и называлась: «На штурм 25 тысяч» — завод обязался дать стране ко второму большевистскому севу первые 25 000 тракторов. Кроме меня, в этой штурмовке работали писатель Михаил Чумандрин, поэты Александр Безыменский и Иосиф Уткин. Поэты были москвичами, но они приехали на «Путиловец», потому что глаза всей России были устремлены на него, на ленинградский революционный завод, который должен был дать поднимающейся к новой жизни деревне новое, небывалое в России орудие производства — трактор, как дал уже лучших своих коммунистов в армию двадцатипяти тысячников, организаторов и вожаков коллективизации.

Московские поэты, так же как и сотни тысяч трудящихся Советского Союза, стремились посылать помощь «Красному путиловцу»...

Наша писательская бригада не уходила из цеха, с завода целыми днями, а иногда ночами, а часто и сутками! Тот суровый подъем, то, как я знаю теперь, боевое ожесточение, с которым трудился коллектив завода над выпуском «Фордзон-Путиловцев», или, как их называли на заводе, — «Федор Петровичей», не мог не захватить, не мог не передаться нам, не мог не вызвать жажды отдать все силы на выполнение плана выпуска тракторов.

Не все удержала память из времени того, бурного, полного событий, за которым потом была еще целая жизнь. Но помню до сих пор, как секретарь партячейки механосборочного цеха болгарин Тодоров проводил беседу с рабочими.

— Ребята, — говорил он, — вы должны понять, ведь земля круглая! Она очень круглая, огромная, — он показывал руками, какая круглая земля, — и вот на этой огромной круглой земле скоро начинается сев. И по этой круглой земле должны пойти наши трактора, вы только поймите, что мы должны с вами сделать, как мы этой круглой земле должны помочь!

Его иссиня-черные глаза страстно блистали, и слова его о круглой земле никому не казались смешными

или хотя бы странными — наоборот, широкие, округлые движения его больших рук (он весь был большой, жгуче-черный, стремительный), его настойчивые повторы о круглой земле возбуждали у ребят смутное и волнующее представление о действительной сферичности и громадности нашей Родины, и неосознанно каждый чувствовал себя немножечко богатырем — великим русским пахарем Микулой Селяниновичем, способным перепахать целую планету...

Секретарь цехячейки заканчивал свою речь патетической укоризной, перефразированной, в силу неполного знания русского языка:

— Вот! А вы здесь яблоки околачиваете!

— Груши,— виноватым голосом поправляли его ребята.

— И груши тоже,— соглашался Тодоров.

Он был не прав: «ребята» — и молодые, и старые кадровики-путиловцы — всю душу отдавали созданию машины-богатыря; просто это ведь было внове, это первый раз за всю истории России налаживался массовый выпуск тракторов, было много неполадок, недоумений, брака, наконец, неумения просто — отсутствия опыта! Но «ребята» беззаветно, по суткам, по нескольку суток не выходили с завода, болели за страшный, доходивший до 90% брак новолитейной, которая от дедовских способов литья тоже перешла на конвейерный способ, азартно соревновались, устанавливали «боевые посты», «легкая кавалерия» непрерывно совершала рейды в глубокие тылы слабых участков.

Наша штурмовка, наши рабкоры не отставали от общего подъема. Наоборот, они опережали его и... инсгда, по молодости и свойственной ей беспощадности, перегибали. Однажды у нас возник план: остаться в цехе на ночь, выявить и затем заклеить злых лодырей, срывщиков плана. Мы так и сделали. Мы даже глубокой ночью, когда цех все так же напряженно гудел и звенел, прошли с фотоаппаратом в женскую уборную и обнаружили там спящих работниц. Неудобно приткнувшись на подоконнике, обхватив друг друга, склонив голову к голове, они спали. Спали в то время, когда нужно было подавать детали на сборку! Мы тотчас засняли лодыриц. То же было обнаружено и в мужской уборной, и там тоже был сделан снимок. Утром мы с торжеством показали Тодоро-

ву наши трофеи, уже стоявшие в полосе штурмовки, готовой для отправки в типографию. Он долго глядел на фото! Он упрекал «ребят» в том, что они околачивают груши и яблоки, он был не прав, и он знал об этом. Он сказал нам:

— Этих снимков помещать не надо, ребята.

Мы изумились.

— Почему?! Они спят, спят в то время, когда...

— Они очень устали, ребята,— тихо сказал Тодоров.— Они очень много работали и очень-очень устали. Нельзя обижать человека, уставшего после работы... Они устали. Порвите эти фотокарточки, товарищи писатели.

И не слова секретаря цехячейки (подумаешь, устали,— тоже «объективная причина»), а его интонация, по-особому глубокая, грустная и мудрая, внутренне убедила нас в его бесспорной правоте...

Были белые ночи, ночи второй большевистской весны...

О Ленинград, Ленинград, посылавший в эти ночи на поля страны первые свои тракторы и первых своих двадцатипяти тысячников, Ленинград первой пятилетки, когда каждый из нас как можно чаще старался произнести слова «тяжелая индустрия»! Она была воистину тяжелой, но каким светом осталась она в сердце! А потом в жизнь мою вошла Московская застава — завод «Электросила», готовивший первые в СССР сверхмощные генераторы для Днепрогэса, для Свири, электропривод для первого блюминга, электромоторы для Донбасса. Я в это время работала там редактором комсомольской страницы заводской многотиражки, агитатором и пропагандистом, историком завода... Вы думаете, что я похваляюсь жизнью моей?! Конечно, да! А что бы я была за ленинградка, если бы не хвалилась единой жизнью с городом? Мы все этим хвалимся.

В той Главной книге, которая все еще впереди, но которую я обязательно напишу, будет очень много Ленинграда, будет много «Электросилы», много ее людей. Я в таком долгу перед ними — но долг этот радостен и светел, и с сознанием его легче жить. Среди многих электросиловцев я должна, например, написать о дяде Леше — Алексее Семеновиче Федине, моем крестном отце по партии... Могучий, высокий плотный ста-

рик с пышными запорожскими усами, старый забастовщик и пикетчик, старый красногвардеец, создатель одного из первых ФЗУ в Ленинграде — таким я встретила его, когда впервые пришла на «Электросилу». Мы хорошо дружили, он много важного и ценного рассказал мне для истории завода. Я видела его последний раз на заводе в феврале 1942 года, в один из самых страшных месяцев блокады. Его замечательные запорожские усы обвисли, лицо стало прозрачно-одутловатым, с нехорошими зеленоватыми тенями у глаз и на висках. Но он бродил по полумертвому заводу, охраняя его, — он был на казарменном, в команде МПВО.

— Дядя Леша, — сказала я ему, — тебе бы ведь в стационар надо...

— Нет, — ответил он, тяжело отдуваясь и со свистом дыша. — Лучше, Ольга, умереть стоя, чем жить лежа. Я так полагаю.

И он умер стоя — на дежурстве в команде противовоздушной обороны, на защите родного завода.

...Я, наверное, так и не доберусь до юбилейных фраз. А ведь я еще не написала, например, о ленинградских станках, выпущенных в честь 250-летия города, станках-великанах, станках, рождающих станки. Не написала и о том, что наш город стоит у моря, а море в конце Большого проспекта Васильевского острова — до него можно доехать на трамвае. Это, конечно, всем известно, но не знаю, как кого, а меня это всегда удивляет и радует. Наш город — морской, наш город у моря, первая русская морская победа была одержана здесь, и Петр Первый в честь ее приказал выбить медаль с надписью: «Небываемое бывает». И так естественно, что Балтийский завод в честь 250-летия города построил новые корабли: ведь наш город — это город-кораблестроитель.

А сколько кораблей в эти дни стоит у причалов нашего порта! «Все флаги в гости будут к нам». Что же, добро пожаловать! Посмотрите на Ленинград — «музей под открытым небом», на колыбель революции, на город-герой. Смотрите на него и внимайте ему с открытым и чистым сердцем, с таким, как у него. Он ничего не утаил от мира. Все его радости, страдания, победы — у всех вас на виду. Он рад поделиться с людьми всем материальным и духовным богатством,



которое завоевал такой великой кровью, таким трудом и такой честностью.

У Ленинграда, города-героя, города-человека, города-коммуниста, прошлое, настоящее и будущее слиты и все обращено к будущему. Каким он будет, Ленинград будущего?— спрашивают меня. И я хочу ответить: прежде всего таким, как теперь,— с его историей, с его природой, с его характером, с его сыновней преданностью Родине. Он есть и будет прежде всего колыбелью революции, и это и есть будущее.

...Я часто бываю за Невской заставой, в стране детства, хотя уже и не живу там. Я была там недавно. Как она изменилась, как много новых домов там, где были болота и плавали гуси, какие высокие новые строения возникли там, где был отчий дом, разбитый снарядом, а потом просто пустырь...

Все сызнава — и все на пустыре,  
и все на той же розовой заре,  
незябнущей, огромной и дрожащей:  
и эти угловатые дома,  
и взлеты вдохновенья и ума,  
и роц нагих младенческие чаши...

И радостно, и почему-то в глубине сердца чуть-чуть грустно от этих изменений. Почему? Потому что у меня, человека, жизнь уже сокращается, а он, город, наоборот, идет к вечной юности, к расцвету. Вот так подумалось. Но тут же возникла другая мысль: да, но все мои радости, все горести, весь труд — и не только мои, а и дяди Леши, и Тодорова, и сотен тысяч других — ведь это же все останется в нем, как остались жизнь и труд предыдущих поколений и отдельных людей. Значит, ничто не исчезнет. Значит, пока стоит Ленинград, вечно будут живы те, кто его любил, кто вложил в него жизнь и веру...

*Июль 1957*

## **ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ**

*СКАЛА ЛЮБОВЬ.* И у меня, как у всех нас — у всех советских людей, есть «мой Ленин», и в разные периоды нашего неукротимого времени он предстает душе по-разному; это потому, что он давно уже стал

неотъемлемой частью сознания и входит в его непрерывное движение.

И у меня был почти сказочный, добрый и грозный Ленин детства; Ленин отрочества, самоотрекающего во имя Революции, романтической, еще сплошь возшедшей на поэзии; Ленин юности, когда казалось, что ты в силах воплотить эту Революцию — ленинские заветы — хоть завтра, и мы действительно, как умели, воплощали ее в бурные годы первой пятилетки; Ленин времен Великой Отечественной войны и трагедийно-победоносной ленинградской блокады; Ленин сегодняшнего дня...

О каждом «моем» Ленине я могла бы писать очень много. Кроме того, мне кажется, что не только душевное состояние человека определяется тем или иным его отношением к Ленину, тем или иным образом его, царящим в душе, но что и характер самого времени, точнее — того или иного периода нашей эпохи, тоже в значительной мере определяется отношением к Ленину, к его высоким заветам, к его нравственно-политическому кодексу. Но это особая, очень большая тема.

Я не знаю, как назвать свое отношение к Ленину... Любовью? Нет, пожалуй, это сложнее и значительнее любви, хотя она, разумеется, входит в непрерывно меняющееся, обогащающееся восприятие Ленина как незабываемая основа. Это — скала Любовь. Но раз я о ней заговорила, то должна хоть бегло рассказать эту полупоэтическую историю (в дальнейших веках она станет одной из любимейших легенд человечества — я уверена в этом!) — историю, все-таки существующую на самом деле, поразившую меня несколько лет назад и до сих пор все более пленяющую воображение как основа будущей поэмы. Она так и должна была называться — «Скала Любовь», и желание написать ее было одной из главных причин, заставивших меня в январе 1952 года отправиться в командировку на Волго-Дон, где ожидалось начало шествия Дона к Волге, а накануне поездки зайти к Глебу Максимилиановичу Кржижановскому.

Я писала уже о встрече и беседе с этим замечательным человеком, но встречи с такими удивительными людьми неисчерпаемы на долгие годы: кажется, вот уже все рассказал о них, но проходит время, и заново

их вспоминаешь и вдруг делаешь совершенно новое духовное извлечение для себя, для работы, для беседы с друзьями.

Так вот, я пришла к Глебу Максимилиановичу, на ту квартиру, где в дни гражданской войны и разрухи создавался план ГОЭЛРО, и после обмена первыми приветствиями сказала, что послезавтра еду на Волго-Дон.

— Понимаю,— воскликнул он с живостью,— вы зашли ко мне узнать о проектной мощности Волго-Дона, о его перспективах.

— Нет, Глеб Максимилианович,— ответила я,— я попросила бы вас рассказать мне о Ленине, потому что в будущей моей поэме я хочу много написать о нем.

Извинившись за свою несомненную беспомощность в области технической терминологии, я тут же вкратце изложила Кржижановскому суть поэмы.

— Дело в том,— сказала я,— что ведь до сих пор все гидростанции в мире строились на скальном основании, на материковой скале. На такой скале стоит и Днепровская гидростанция имени Ленина — Днепрогэс. С незапамятных времен скала эта носит имя Любовь. В сорок первом году, в дни горестного нашего отступления, нам пришлось демонтировать Днепрогэс. Несколько товарищей с «Электросилы» — среди них те, которые в свое время строили для Большого Днепра первые сверхмощные советские генераторы, — отправились на этот демонтаж, будем говорить прямо — на взрыв Днепрогэса. Они вернулись в состоянии такого ожесточения, при котором невозможны ни слезы, ни растерянность, но сердца их кровоточили: своими руками взорвать то, что с такой верой строили в молодости, — это надо пережить, а они «демонтировали» на совесть. Но скала Любовь не шелохнулась, ни одного каменного осколка не отлетело от скалы... Через два года, отступая, фашисты старались взорвать Днепрогэс так, чтоб не оставить камня на камне. Они тяжело, варварски разрушили станцию. Но скала Любовь не шелохнулась! Ведь это была материковая скала, ведь недаром на нее опиралась, была заложена в ней гидростанция имени Ленина. И вот теперь я узнала, что волжские гидростанции, впервые в мире, строятся не на скальном основании, а на мягких, полускальных грунтах, которые, однако, люди укрепляют так, что

они не уступают материковым скалам — основе земли. И я хочу написать о том, как наши люди — ленинцы — научились создавать скалу Любовь. Не в техническом смысле, конечно, не про то, как стальные шпунты в грунт вгоняли, а более широко — как души свои клали в скалу Любовь, в опору света и силы для всего мира,— вы понимаете, Глеб Максимилианович?

— Ну еще бы, еще бы! — воскликнул он и негромко, почти застенчиво прибавил: — Я ведь тоже стихи пишу...

— Ах, простите,— ахнула я, вдруг сообразив, что передо мной автор неувядающей «Варшавянки» — поэт. — Затмение нашло!

— Ничего, ничего,— ответил он.— Дело в другом: дело в том, что опыт создания скалы Любовь у нас давний. Ведь Свирская-то гидростанция не на скальном основании построена, а на этакой глиняной подушке — американцы за это не брались, пророчили, что все рухнет, но наши взялись, и вот, видите, Свирская до сих пор стоит. И вот тот опыт был действительно первый в мире, и вот это была, по существу, истинно ленинская, бесстрашная идея! А что касается Владимира Ильича... Я вам его сейчас покажу.— Он сосредоточенно, почти важно подошел к невысокому книжному шкафчику, бережно, в обе руки, взял небольшой, но, видимо, тяжелый бюст Ленина и, неся его на вытянутых руках, шаркая, мелкими шажками подошел к столу и поставил передо мной этот бюст.

— Вот он какой был,— промолвил он почти шепотом и очень строго.— Смотрите.

Я, к сожалению, не помню автора этой скульптуры. Но передо мной тоже был «мой» Ленин. Скульптура была из очень светлой, даже словно бы светящейся, но не блестящей бронзы, ее поверхность была неровна, шероховата, выполнена почти щипками — она явственно хранила следы лепки, неостывшего волнения, и это придавало ей особую живость, подлинную трогательность. Необычен был и облик Владимира Ильича, особенно для того времени: из бронзыглянуло на меня из-под небрежно надетой кепки, из поднятого воротника не непреклонное лицо вождя, а озаренное хитроватой, почти озорной улыбкой, подчеркнутое умнейшей прищуркой лицо русского мастерового, вечного труженика, неустанного умельца Револю-

ции, бесстрашного землепроходца, лицо хорошего, простого человека,— глянули, как писал о нем Горький, «глаза неутомимого охотника на ложь и горе жизни».

И пока мы с Глебом Максимилиановичем сидели за столом и почти до утра рассказывал он мне о Ленине — его изображение так и стояло перед нами, излучая теплый, живой свет, народный ум, добро и бесстрашие, и вот с таким Лениным в сердце я и приехала на Волго-Дон, а так как это было как раз в ленинские дни, то на Волго-Доне много пришлось говорить о Ленине — с рабочими, инженерами, строителями — не на собраниях, а просто беседуя. И я с радостью убеждалась, что и им светит такой же Ленин, как мне, что образ его, его заветы помогают им строить скалу Любовь, преодолевая все физические и моральные испытания. И я — в который раз! — с гордостью и отрадой думала, что самое драгоценное, что оставил нам Ленин, — это люди, составляющие его Партию, — коммунисты, большевики, люди, как он говорил, способные на «победоносное терпение» и на величайшее бесстрашие, люди его призыва. Я хочу кратко рассказать о некоторых из них, о тех, кого знаю лучше и ближе всех, — о людях города Ленина в дни его осады.

*Я ЗНАЮ ДОРОГУ.* Писать было неудобно: овчинный дворницкий полушубок, который вчера с торжеством преподнес мне мой приятель, совершенно не позволял рукам шевелиться, и все равно пальцы коченели. Карандаш был жесткий, и плохо писалось им по шершавой типографской бумаге, а чернилами писать было нельзя — чернила замерзли. И я решила, что здесь, дома, хоть как-нибудь карандашом набросаю эту рождественскую радиопередачу на противника, а уж в радиокомитете, где потеплее, перепишу ее начисто, а может быть, удастся сразу продиктовать ее машинистке.

«Ты встречаешь рождество Христово, немецкий солдат, корчась под Ленинградом от жестокой стужи, обмораживая себе конечности», — писала я и ежеминутно дышала на пальцы. В это время в дверь постучали.

— Войдите, — удивилась я, и вошел Иван Павлович, политработчик одной из ленинградских армий, той, что стояла за Невской заставой, на родине моей,

где я с группой артистов месяца полтора назад, накануне Октябрьских дней, выступала в концерте — читала стихи.

Он вошел, как входят в комнату, где лежит тяжелобольной, — почти на цыпочках и не сказал «здравствуйте», а просто сел напротив и уставился на меня молча. Я не подумала о том, что вид у меня, конечно, нелепый — в дворницком полушубке, в вязаной шапке, натянутой до самых ушей, а из-под полушубка виднеются еще ярко-красные лыжные штаны, — я просто удивилась, что он так сидит, смотрит и молчит. Я просто через несколько минут задала ему вопрос, который уже задавали друг другу ленинградцы в конце декабря сорок первого года:

— Вы что... не в форме, Иван Павлович?

Он отрицательно качнул головой, сделал судорожный глоток и, видимо справившись с собой, сказал с чрезмерным спокойствием потрясенного человека:

— Я просто не был в городе с конца октября. Я иду в Смольный. Я шел почти все время — от Лавры... Я... я видел все... Ну... и по пути зашел к вам... узнать — а вы-то живы?

Заход ко мне на улицу Рубинштейна был совсем не «по пути» к Смольному, но я поняла его.

— Мы были у вас в армии впятером, — сказала я. — Я жива, и певица тоже.

Мы помолчали и вдруг одновременно взглянули в глаза друг другу так, как смотрят люди, которые все до самого конца знают и понимают, что каждый из них знает все до конца.

И вот, взглянув так в глаза друг другу, мы заговорили о самом главном — выдержит ли город и что делать каждому из нас, коммунистов, чтоб он выдержал.

Это был разговор медленный, негромкий, как будто бы мороз, царивший в комнате, мешал ему быть взволнованным, — а вернее всего, это были раздумья вслух двоих людей, видящих друг друга второй раз в жизни, но доверяющих друг другу всецело, потому что они — члены одной партии, Коммунистической партии большевиков.

Он рассказывал среди другого о своем первом бое.

— ...Мы оказались прижатыми к земле этим ураганным огнем, — рассказывал он. — А надо во что бы то ни стало продвинуться вперед и занять намеченный

участок — иначе сорвется вся операция. А бойцы — первый раз под огнем... Я, понимаете, собственной кожей чувствую, как они жаждут уйти в землю, как они плотно прижались к ней — потому что ведь и я, я тоже прижался... И еще чувствую: еще немного — встанут и побегут назад. И знаю, что надо подняться, и что-то крикнуть, и повести, и — не могу подняться! Не могу. Ужас меня охватил: что же это я — я же коммунист. Если я не могу встать — то как же они? И вот от этого ужаса я приподнял голову и пополз к ближайшему бойцу. Тот синий лежит от страха. Огонь бушует. Я шепчу ему на ухо: «Что, товарищ боец, страшно?» — «Ой, страшно, мочи нет, товарищ политрук». — «Ничего, говорю, товарищ боец, мне тоже страшно, тоже, но ты видишь — я ведь лежу, не бегу. И ты не беги. Побежишь — убьют! Лежи пока». И так, от одного к другому, и удержал их. Перележали мы первый страх и поползли вперед.

— Но были минуты еще рискованной, — рассказывал он потом. — Часть наша дивизию при отходе прикрывала. И вдруг отсекали нас немцы от своих. И оказались мы в болоте, в диком месте, лесном, глухом. А почти все бойцы — народоополченцы, горожане, первый раз в жизни в такую прорву попали, местности никто не знает. Ну, почти паника началась — куда идти? Растерялись, кричат, разумеется: «В окружение попали!», «Пропадем!» Командир кричит: «Кто дорогу знает?» Никто дороги не знает! Еще больше паника. Нехорошо, некрасиво. И тут у меня сердце не выдержало, я выскочил вперед да как закричу: «Я знаю дорогу. Я здешний!»

Иван Павлович передохнул и устало улыбнулся.

— Я не знал дороги, как и они, и здешним не был. Но я не врал, не обманывал — нет. Я вдруг понял — в этот момент должен быть среди них человек, знающий дорогу, должен — он необходим был всем. И я назвался им. И они сразу поверили мне, сразу успокоились, подтянулись; и это полное людское доверие и собственная дерзость воодушевили меня, напрягли во мне все силы и способности, такие, о которых я сам не подозревал. Я вел их и вывел к своим.

«Я вел их и вывел к своим», — сказал Иван Павлович... И тут просит рассказа другая ленинградская история.

*ЕГО ПРИЗЫВ.* Когда Милютин и Славнов вынесли из комнаты восьмого человека, умершего за этот месяц, и остались только вдвоем, Славнов сказал:

— Милютин, а лучше бы нам с этой комнаты съехать, пока живы. Правда. Несознательно, конечно, но... чего-то бояться я ее стал...

— Это, конечно, несознательно,— ты прав. Это предрассудки, суеверие — понимаешь? — быстро заговорил Милютин, как всегда ошастливленный возможностью что-то кому-то разъяснить.— Говорят, на войне это бывает, но я лично поддаваться этому не намерен. И даже — хочешь — нарочно лягу на койку Смирнова.

Смирнов был тот рабочий, которого они вынесли сегодня; он умер, как и все предыдущие, на этой самой койке, стоявшей у печки.

— Ну-ну, зачем же это?— испугался Славнов.

— А просто чтоб ты не нервничал. Ведь это война — война нервов, ты понимаешь? В самом деле, я займу эту койку.

— Не надо,— угрюмо произнес Славнов.— Я... пошутил. Я понимаю, что это не от комнаты.

— Вот и хорошо, что понимаешь. И не от комнаты и не от койки! Знаешь, ведь главное — это понять, тогда ничего не страшно.

И костистое большеглазое лицо Милютина просветлело, как всегда, когда ему удавалось что-то разъяснить. А Славнов, исподлобья глядя на него, только покачал головой. Чем дольше жил он бок о бок с Милютиным, тем больше удивлялся этому человеку, который в свое время невольно, но глубоко огорчил и обидел его.

Они оба, еще до войны, работали на одном ленинградском заводе, Милютин — культпропом парткома, Славнов — мастером-обмотчиком в цеху. Ивану Ильичу Славнову было уже за пятьдесят, и жизнь его — и внешняя, и внутренняя, духовная, семейная, общественная — достигла к этому времени такого плавного и благополучного течения, что доставляла только одно удовольствие.

Его сын Вова заканчивал институт, миловидная и свежая Нюша — жена — вела дом «полную чашу», сам он был заслуженно и глубоко уважаем на заводе — о нем писали в газетах, всегда выбирали в президиумы торжественных общезаводских собраний; красивый,



очень подмоложенный портрет его висел и в заводском скверике на Доске почета, и, написанный настоящим художником, — в заводском Дворце культуры. И Иван Ильич был так доволен жизнью, своей работой и собой, что стал все чаще подумывать — не вступить ли ему в партию? Вступление во Всесоюзную Коммунистическую партию большевиков казалось ему каким-то завершающим, закругляющим — солидным и достойным поступком в его жизни. Мысленно он уже представлял, как его будут принимать в партию, что будут говорить, и улыбался.

Как раз в это время и подошел к нему Сергей Петрович Милютин — культпроп парткома, высокий, сухощавый черноволосый человек с удивительно доверчивыми большими глазами и с какой-то еле уловимой, но все же уловимой суетой в движениях, точно он все время куда-то спешил. Милютин поговорил с мастером о том, о сем и потом сказал:

— Иван Ильич, а как ты относительно вступления в партию? Мы думаем, что это хорошо было бы, а?

И вдруг Ивану Ильичу стало очень неприятно, что кто-то за него, солидного, самостоятельного, всюду уважаемого человека, уже поторопился обдумать этот важный для него вопрос, да и не только обдумал, но даже решил за него, как за мальчишку.

— Я подумаю об этом, товарищ Милютин, — ответил он очень сухо.

Через несколько дней Милютин снова подошел к Славнову.

— Ну как, Иван Ильич, надумал? — спросил он. — Дать анкетку?

— А что ты спешишь-то так? — уже не скрывая досады, сказал мастер. — Я человек самостоятельный... Я пятьдесят лет беспартийный и был не хуже других.

— Конечно, не хуже, — слегка растерялся Милютин и засуетился на месте. — Не хуже! Но все-таки...

— Что — «все-таки»?! — раздраженно перебил Славнов. — Все-таки не такой, не тот человек, что ли?

— Да, — уже совершенно твердо ответил Милютин. — Но ты извини, товарищ Славнов, если я чем-нибудь задел твое самолюбие. Мы, наверно, действительно поспешили.

О партии с Иваном Ильичом больше никто не заговаривал; старый мастер сердился на Милютина,

еще больше — на себя, думал, как же ему теперь быть,— а тут вдруг началась война. В одну из первых бомбежек прямым попаданием был разрушен дом, где жили Славновы, под развалинами дома погибла жена Славнова; сын Вова, добровольцем ушедший в армию, был убит под Стрельной, а поздней осенью Славнова, вместе с группой заводских рабочих, отправили с родного завода, из-за своей заставы, где он жил всю жизнь, в «тыл», на Выборгскую сторону, на чужой, небольшой завод. Свой завод остановился, на нем осталась лишь маленькая группа рабочих для его боевой охраны.

Гибель жены и сына и, вместе с ними, исчезновение с лица земли всей прошлой долголетней жизни, переезд на чужую окраину — образовали в душе Ивана Ильича сосущую темную пустоту, какое-то постоянное недоумение. Он работал, как всегда, добросовестно, не по специальности, конечно, и все не нравилось ему на новом месте, все тяжело томило его, а каждое напоминание о прошлом причиняло острую боль. И он даже сморщился, и точно само сердце сморщилось в нем, когда в комнате, где он жил при заводе вместе с одним «чужим» рабочим, на третьей койке поселился Милютин. Славнов не забывал тяжелого, неловкого разговора о партии: Милютин раздражал его, бередил, вызывал глухую, непреходящую неприязнь. Но чем дольше жили они бок о бок, сведенные блокадой, чем внимательнее приглядывался мастер к обидевшему его человеку, тем больше удивлялся ему.

Бедствия зимы нарастали. По самому себе Иван Ильич чувствовал, как люди — уже невольно — начинают все больше и больше беречь свои физические и душевные силы. А Милютин в это время, наоборот, как будто бы придумывал себе все новые заботы и обязанности — вот как сегодня хотя бы: утром в столовой ввязался в страшный женский скандал, последним в очереди не хватило хлеба, и Милютин уговаривал их, мирил, бегал за них браниться с работниками столовой, возил на себе хлеб и, вернувшись домой, усталый и страшный, только затем, чтобы успокоить нервы Славнова, решил занять ту самую проклятую третью койку, с которой, как ты там ни ссылайся на предрассудки, пока еще никто не вставал.

— Я удивляюсь тебе, товарищ Милютин,— все-та-

ки произнес вслух Славнов.— Почему ты такой неспокойный? Мало тебе твоих нагрузок? То мои нервы успокаиваешь, то в бабский скандал лезешь. Разве это все — твое дело?

— А как же?— удивился Милютин.— Ведь я же коммунист, так? Если не я — так кто же?

Бедствия зимы нарастали — наступил уже январь 1942 года. Цех за цехом, станок за станком останавливались и на этом заводе. Все меньше людей приходило на предприятие, но даже и им нечего было делать. Страшное чувство безысходности подкрадывалось к людям. На заводе работала только одна котельная, вернее — один котел в ней еле теплился, но и он готов был остановиться: замерз водопровод, иссяк уголь. И вот Милютин, собрав горсть регулярно ходивших на завод рабочих-кадровиков, горячим полупшепотом объяснил им, что никак нельзя дать остановиться котлу — никак нельзя! Котел подает пар — тепло в несколько комнат при заводууправлении, там можно поселиться всем, кто еще не находится на казарменном и живет далеко от завода, котел может дать тепло в один цех и даже привести в движение пару-другую станков, «а ведь мы можем получить срочные военные заказы — пусть небольшие», — нельзя дать потухнуть котлу, нельзя.

Так все, что было живого на заводе, как кровь к сердцу, прилило к этому единственному котлу. Руками из проруби на Неве люди носили в котел воду; разбирали, кололи и пилили все деревянное на дворе, чтобы питать котел топливом. И сердце завода билось — котел пыхтел, а люди жили около него, и жизнь их имела смысл и даже перспективу: хоть что-нибудь делали они («и ведь заказ могут дать!»), а горсточка ценнейших кадров сохранялась. И мастер Славнов с уважением подумал о том, что все это придумал и организовал суетливый Милютин, который вместе со всеми таскал в котел воду и колол деревянные модели.

А Милютин, кроме того, почти каждый день ходил в райком партии, а райком очень часто посылал его проводить беседы и доклады на разные объекты, иногда за несколько километров от завода. Трамваи давно не ходили, Милютин совершал свои походы пешком.

«Вот уж это зря,— думал Славнов, все больше тревожась за своего беспокойного товарища,— ну раз-

ве людям теперь до докладов? Зря только изводится».

— Ты упадешь в дороге,— сказал однажды Славнов Милютину.— Ты присаживайся хотя бы, отдыхай.

— Нет,— сказал Милютин.— Я тщательно избегаю делать это. Уж пошел — так иди. И, кстати, я еще очень прилично хожу.

А через несколько дней — это было в январские, в ленинские дни,— идучи куда-то, Иван Ильич увидел Милютину на набережной: Милютин сидел на ящике с песком, прислонившись спиной к стене дома; лицо его выражало крайнее изнеможение и самое откровенное страдание. И Славнов до оцепенения смутился, увидев Милютину таким, как бы поймав, как бы уличив его в чем-то постыдном, и растерянно остановился возле него, уверенный, что Милютин тоже ужасно смущен, готовый крикнуть: «Ничего, ничего! Это вижу только я!»

Но Милютин спокойно и доверчиво взглянул на старого мастера и сказал:

— Помоги мне подняться, Иван Ильич. Я сам не смогу.

Славнов помог ему подняться с ящика и пробормотал:

— Я пойду с тобой на твой доклад, мне все равно нечего делать.

Собрание происходило в подвале, в бомбоубежище, потому что район, куда пришли Славнов и Милютин, в это время подвергался артиллерийскому обстрелу. Народу было довольно много: в те дни, как ни странно, люди особенно охотно шли на всякие собрания, ища случая побыть вместе и надеясь услышать что-нибудь о перемене в своей участи и в войне — о хлебной прибавке или хотя бы о маленькой победе. Собравшиеся сидели на скамейках под низкими сводами, а своды были подперты множеством нетолстых белых бревен; люди сидели как бы в какой-то подземной безлиственной роще, еле озаренные дремучим светом единственной «летучей мыши». Их ввалившиеся глаза немедленно с надеждой и доверием обратились к докладчику, как только он вошел в подвал.

— Дорогие товарищи,— начал доклад Милютин.— Мы отмечаем восемнадцатую годовщину со дня смерти нашего великого вождя Владимира Ильича Ленина

в те дни, когда город наш переживает известные трудности...

И вздох — глубокий общий вздох, близкий к стону, — промчался по подземелью, по безлиственной роще столбов, и дрогнуло сердце старого мастера Славнова, когда он услышал это трижды знакомое до войны слово «трудности». Безграничное целомудрие мужества заключалось в том, что нечеловеческие муки, которые все переживали, Милютин назвал обыкновенным, довоенным, старым словом «трудности». И так как он сам был такой же, как все здесь, — страшный и голодный, он имел право на это слово, и все поняли и ощутили это — и в нем, и в себе, — оттого и вздохнули... Но главное было не в том, что Милютин принес эти обыкновенные слова сюда в разгар артобстрела, в подвал, что ленинские дни отмечались, как всегда. Нет! Самое главное было то, что в осажденном Ленинграде были люди, позаботившиеся об этом.

И глядя на исхудавшее лицо Милютина, мастер Славнов первый раз отчетливо понял, что вот на таких Милютиных и держится в городе жизнь: это они говорят сейчас о Ленине в темных подвалах, в обедневших учреждениях с людьми, жаждущими сойтись вместе. Это они собирают людей около котлов на остановившихся заводах, около кипятильников — в жактах. Это они не дают опускать людям руки, погрузиться в бездействие, то есть в смерть. И пока в городе есть эти люди — город не только выдержит все, но обязательно, обязательно победит.

Через два часа Славнов и Милютин возвращались обратно, к своему котлу. Мороз был таким свирепым, что трудно было говорить, но Ивану Ильичу не терпелось задать Милютину ряд вопросов.

— Сергей Петрович, — спросил он, — вот ты говорил в докладе: «Мы, большевики, в девятнадцатом году», — ты, что же, почти с самой революции в партии?

— Нет, я не с девятнадцатого, — ответил Милютин. — Я говорил «мы» в смысле «мы — партия». Ведь поскольку я член партии, я полагаю, что вся ее история — как бы и моя личная жизнь, и поэтому я...

— Милютин, — перебил его Славнов, только сейчас додумав одну глубоко взволновавшую его мысль, — вот я глядел на тебя все время и удивлялся, что тебя на все хватает. А ведь это в тебе не просто челове-

ское, что ли,— ну вот то, что только твое,— это в тебе вся партия сидит, это она тебя движет. Понимаешь? Нет! Ты этого не понимаешь, это я понимаю. Но ты с какого же года большевиком?

— Я — ленинского призыва,— тихо, с мягкой важностью ответил Милютин.— Тогда очень много народу в партию вступило. В особенности же рабочего класса. Было очень большое горе — смерть Владимира Ильича, партии трудно стало, вот мы и вступили — ты понимаешь?

— Понимаю,— так же тихо ответил мастер и, помолчав, важно, переходя вдруг на «вы», спросил: — Товарищ Милютин, а вы мне дадите рекомендацию для вступления в кандидаты ВКП(б)? — Он помолчал и произнес полностью: — В кандидаты Всесоюзной Коммунистической партии большевиков?

— Конечно, товарищ Славнов,— неторопливо и тоже переходя на «вы», ответил Милютин,— и даже сам подготовлю вас...

Милютин ни звуком не напомнил Славнову о прошлом разговоре насчет партии, и Славнов был глубоко благодарен ему за это: он сам ощущал огромную разницу между тогдашним своим состоянием и теперешним: если до войны он чувствовал, что, пожалуй, он может вступить в партию, то теперь он чувствовал, что не может не вступить. Не может потому, что Милютину трудно и он, Славнов, должен разделить с ним его великий труд — так велит ему совесть, совесть трудового человека, который не может сложа руки глядеть, как другие работают. Не может потому, что ему хочется ощутить в себе всю ту особую силу, которую дает каждому отдельному коммунисту вся партия. Не может, наконец, не вступить потому, что прошлая его жизнь погибла, а он хочет жить полной, деятельной жизнью, хочет отдать во имя победы все свои силы — а партия большевиков требует всех сил. Не часть сил, а именно — все, всю жизнь.

Долгими зимними вечерами при свете коптилки мастер Иван Ильич Славнов внимательно читал Устав и «Краткий курс», но больше всего он беседовал с Милютиним — задавал ему разные вопросы о партии и коммунистах. Он спрашивал несколько витиевато и туманно, потому что не хотел, чтоб Милютин счел его за несознательного мальчишку, который сам ничего в

жизни не думал и ничего не знает. А Милютин был просто счастлив, что может столько важного разъяснить человеку, и разъяснял с жаром, с сердцем, в то же время не обижая мастера излишней простотой объяснений. Особенно запечатлелся мастеру Славнову ответ Милютина на его вопрос — как точно понимать выражение, которое часто употребляют коммунисты: «Это имеет политическое значение»?

— Для ясности уточним,— воодушевляясь, и радуясь, и немного суетясь на месте, сказал Милютин.— Скажем, не вообще «это», а скажем, например, «работа имеет политическое значение». Что же это означает?

И он объяснил, что у Ленина есть в одном труде такая фраза: «Политика — это фактическая судьба миллионов людей». Значит, политическое значение работы — это ее значение для судьбы миллионов людей, то есть для всего народа, для Родины. И коммунист работает всегда с этим значением: что бы он ни делал — он творит политику, судьбу миллионов людей. А какой должна быть судьба наших советских людей теперь, на войне? Ясно — победа. И когда теперь говорят: «Это имеет политическое значение», — значит, это нужно для победы людей над фашизмом. И вот Киров еще говорил: «Истинному коммунисту свойственна постоянная благородная внутренняя тревога за дело партии!.. Тревога! Не забота — а тревога!» Тревожиться за дело всей партии — это и значит подходить к делу политически.

Ивана Ильича принимали в партию ранней весной, уже за своей заставой, в «своем райкоме», потому что они вернулись в это время из «тыла» на свой завод, который должен был начать работать для города. Придя в райком, Иван Ильич увидел с волнением и радостью, что с ним сегодня идут на бюро много старых его знакомых по своему заводу и заставе. Он понял, что это означает, и, вспомнив рассказ Милютина о ленинском призыве, подумал, что все, кто вступает в партию сейчас, в дни этой немыслимой блокады, — тоже коммунисты ленинского призыва!

Он подумал даже, что, когда через несколько лет кто-нибудь спросит его, с какого он года в партии, он ответит: «Я — блокадного ленинского призыва ленинградской зимы сорок второго года», а вернее всего будет сказать: «Я — коммунист ленинского призыва во

время Отечественной войны», — и эта мысль наполнила его теплом и гордостью.

После того как Иван Ильич стал коммунистом, внешне в его жизни ничто не изменилось, а внутренне все время менялось и появлялось новое.

Самое главное из этого нового было то, что теперь он тоже, как Милютин, стал «беспокойным». В нем появилось и все нарастало непреодолимое чувство постоянной тревоги и личной ответственности не только за свою работу, но за весь город, за всю страну, за всю ее судьбу. И это новое чувство заставляло Ивана Ильича брать на себя любую работу, не размышляя даже — по силам она ему или нет. Ведь он был теперь не просто мастером Славновым — он был коммунистом Славновым. Это было очень тяжело физически, потому что он был так же слаб и истощен, как все остальные, но он не мог иначе...

Ивану Ильичу особенно тяжело пришлось тогда, когда на завод поступил заказ на трамвайные моторы. Оживающему городу нужны были трамваи. Они уже начали ходить, но их было мало, а надо было, чтоб было достаточно: трамвай в те дни был в Ленинграде не просто транспортом, средством передвижения — он был средством сохранения сил и жизней истощенных, обессилевших ленинградцев.

— Трамвай в нашем городе имеет политическое значение, — объяснил Милютин Славнову, — тебе придется поднажать, товарищ Славнов, именно тебе.

А дело было в том, что уже много-много лет данный завод не изготовлял трамвайных моторов, он давно перешел на гигантские машины... Ни специалистов этого дела, никаких чертежей, схем на заводе не было, и почему-то не оказалось их в трамвайном управлении. Иван Ильич был единственным специалистом на заводе, да и во всем Ленинграде, который пятнадцать лет назад мотал якоря для трамвайных моторов и, значит, мог вспомнить, как он это делал, мог дать мотор. И вот Иван Ильич стал мотать якоря по памяти, а память за время голода у него сдала, а сроки были жесткие... Никогда в жизни не работал мастер Славнов с таким напряжением всех сил мозга, тела и души, и мысль, что работа его имеет политическое значение, не давала ему покоя и отдыха. Он работал, не покидая цеха, ночуя тут же в конторке, благо было уже



довольно тепло. Иногда, когда Иван Ильич ложился на краткий отдых, он вдруг чувствовал, что больше не поднимется — так, как не поднимались люди с той проклятой койки,— и он так пугался этого ощущения, что тут же вставал и пытался работать. Во сне он вспоминал, как мотал когда-то якоря.

Первые три мотора немедленно сгорели — один за другим. Иван Ильич был так угнетен, что на него больно было смотреть. И люди отворачивались или не смотрели ему в глаза, жалея его. Но у него и мысли не возникало о том, чтобы отказаться от дальнейшей работы, которая многим казалась в общем-то невыполнимой. Ведь он же был коммунист: «Не я — так кто же?» И он принимался вспоминать и искать вновь и вновь, преодолевая свою неуверенность, разочарование, усталость, пока не добился своего: он дал моторы трамваю — он по-настоящему помог людям жить и бороться в блокаде. И это была не просто производственная победа опытного мастера, старого человека над самим собой — это была победа молодого коммуниста Славнова. Правда, о ней нигде не писали, но она принесла Ивану Ильичу самые драгоценные дары: сознание полностью совершенного долга и, главное, уверенность в себе как в коммунисте-ленинце.

Потом, хотя город все еще был в осаде, хотя немцы продолжали свирепо обстреливать завод, пошли заказы еще сложнее и трудней — новые машины для освобождаемого родного Донбасса и многое, многое другое. Но Иван Ильич уже знал, что может коммунист, и какой бы фантастикой ни казались сроки заказа и возможность выполнения его в городе-фронте, Иван Ильич спокойно ручался своим рабочим, что заказ выполнить можно и мы его обязательно выполним. Он знал дорогу. Он не надрывался, он думал, изобретал. И сам он брал на себя наивысшие обязательства и выполнял их, личным примером, жизнью своей доказывая, что все можно свершить — можно пережить любой огонь и страх, можно найти любую дорогу,— если это нужно во имя судьбы народа.

Как-то одна из его учениц, молодая девушка попросила у него рекомендацию для вступления в партию. Иван Ильич обрадовался и смутился.

— Я еще не имею права рекомендации давать, дорогуша,— сказал он,— у меня еще стажа не хватает...

— Да ну-у? — удивленно протянула девушка.— А ведь мы все думаем, что вы старый большевик. Вы уж, я извиняюсь, и седенький, и говорите так, и поступаете...

— Нет,— ответил Славнов, глубоко взволнованный ее словами,— человек я пожилой, это верно, но коммунист — молодой.— И, помолчав, тихо, немного стесняясь, прибавил свои заветные, давно приготовленные слова, которые ему еще не удалось никому сказать:— Мы с тобой одного призыва коммунисты: ленинского призыва Великой Отечественной войны.

О, грозные, ледовитые дни ленинского призыва 1924 года! Кто не помнит их из нашего и более старшего поколения? Какая скорбь была и какое ни с чем не сравнимое мужество! Как неукоснительно и с каким волнением отмечали мы всегда ленинские дни — дни траура о нем... И как правильно поступила Партия, когда перенесла ленинские дни на день его рождения. Ведь в самом деле, ежегодно в день смерти Ленина народ отчитывался перед своим бессмертным вождем, и, несмотря ни на какие издержки нашего строительства, с каждым годом все радостнее было отчитываться народу в своих победах. И победы — зримые и еще незримые тогда — все-таки, несмотря ни на что, нарастали, и мы не могли не радоваться им. Так день траура перестал быть днем скорби, но волею истории, волею народа превращался в день торжества. Так пусть же наше торжество будет полным, пусть вечно отмечает Земля один из лучших своих дней — день рождения Владимира Ленина. Вот уже почти столетие прошло со дня его рождения и более тридцати шести лет со дня смерти, но расстояние между живущими людьми и Лениным не нарастает — века не отдаляют Ленина от людей, от мира! Наоборот! Ленинский призыв разворачивается во всем мире. Уже не только русский рабочий класс — целые народы всех пяти частей земного шара поднимаются по ленинскому призыву на строительство нового общества — на создание скалы Любовь. И все ближе и ближе Ленин сердцу человеческому — величайший человек, отдавший всю жизнь свою за счастье людей.

## ВЫСТУПЛЕНИЯ. СТАТЬИ. ОЧЕРКИ.

### ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

*(Из речи на IX пленуме правления ССП СССР.  
«Литература и Искусство», 1944, 12 февраля.)*

...Тема Отечественной войны — тема народного испытания, тема человеческой души — в полный голос зазвучала в лучших произведениях нашей литературы, и вот почему мы наблюдаем самое драгоценное для нас, писателей,— растущее доверие и любовь народа к писателям, к их произведениям.

Часто приходится слышать, что настоящие полноценные произведения будут созданы после войны. Я думаю, что понятие полноценности художественных произведений — понятие очень конкретное. Ведь бутылки с горючим, которыми останавливали танки, менее полноценны, чем противотанковые ружья, но они были нужны и свою роль сыграли. У каждого из нас таких «противотанковых бутылок» заготовлено, может быть, больше, чем ружей, но мне все же думается, что корни великой литературы будущего уже заложены в нашей сегодняшней литературе.

Теперь почти каждый день гремят победные салюты в честь наших войск. Мы не только верим в победу, как в 1941 г., но мы совершенно рельефно видим ее контуры. И подобно тому, как ленинградцы разработали прекрасный и грандиозный план восстановления города, так и мы, писатели, не оставляя сегодняшней оперативной работы на окончательную победу, должны думать о будущей работе для мира.

Нам говорят, что в литературе еще не изображена фигура летчика, хлопковод и т. д. Но прежде всего — надо изобразить человеческую душу, и тогда это охватит всех — и летчика, и хлопковод, и человека, работающего в тылу, и фронтовика. А наша оперативная работа на мир, как инженеров душ, будет включать в

себя и восстановление многих и многих человеческих душ.

На станции Сиверская я видела людей, на которых двухлетнее германское рабство сказалось очень тяжело. Они надломлены. Их нужно распрямить. А сколько у нас вдов, безутешных матерей. И здесь колоссальную роль должны сыграть писатели, которые помогут человеку найти его место в жизни, которые утешают многие и многие душевные раны.

Мне кажется, что эта война отличается еще и тем, что у нас отсутствуют так называемые «серые герои». Народ очень хорошо понимает, что он делает, какой подвиг он совершает. И мы обязательно должны зафиксировать те новые черты, которые приобрел человек в справедливой войне. Надо говорить: ты был хорош, ты был прав, ты был прекрасен, ты делал прекраснейшее дело.

Но при этом не надо ничего приукрашивать, эстетизировать. Я позволю себе сослаться на одну небольшую вещь — «Ленинградская симфония» К. Паустовского. Я не сомневаюсь, что талантливый писатель Паустовский был преисполнен самыми благородными намерениями, но то, что он написал, вызвало в Ленинграде чувство оскорбления. Рассказ начинается с того, что в декабре 1941 г. идет по ленинградской набережной девочка и несет кусок хлеба. От слабости она падает, к ней подскакивает ворона, вырывает у нее этот хлеб и уносит. Страшно! Но на самом деле было страшнее. На самом деле в 1941 г. в Ленинграде не было ни одной птицы.

Матросы, патрулирующие набережную, относят девочку домой и оставляют ей буханку хлеба и банку с лососями. Паустовский хотел показать щедрость матросов. На самом деле они были еще щедрее: они отдавали свои 300-граммовые пайки хлеба. Никакой лосося и буханок у них не было.

В рассказе Паустовского изображен также архитектор, который таскает к себе на 5-й этаж обломки ленинградских чугунных решеток, чтобы их сохранить. Положение было трагичнее: у этого архитектора не было силы самому подняться на 5-й этаж. Он вынужден был просто смотреть, как гибнут эти произведения!

Но тот же архитектор, который не мог добраться

до 5-го этажа, составлял в эти дни планы восстановления Ленинграда.

Я хочу говорить о Ленинграде.

Мне кажется, здесь сконцентрированно и обнажено выразились самые характерные черты нашей великой войны.

Накопленный нами опыт позволяет ставить вопросы жизни и смерти, вопросы такого же масштаба и порядка, какие ставили великие наши русские художники. Я недавно перечитывала в Ленинграде «Бесы» Достоевского. Там есть трагическая фигура Кирилова, который целью своей жизни ставит изъять своеволие, стать «человеко-богом», то есть не устраситься смерти и убить себя. Мне показалось это теперь и необычайно наивным, и трагичным: ведь Кирилов умер задолго до того, как пустил себе пулю в лоб, так как весь был во власти идеи смерти.

А в Ленинграде не Кириловы, а самые обыкновенные люди, находясь каждую минуту под угрозой смерти, жили полноценной человеческой жизнью. Смерти не было. Была только оборванность жизни в самом ее высшем расцвете.

И это факт, что некоторые ленинградцы не умерли только потому, что не позволяли себе умереть. Это кажется почти невероятным, но так было.

Гитлер заявил, что Ленинград должен пожрать себя. Но в противовес нечеловеческим условиям, созданным блокадой, в Ленинграде родилось необычайное человеколюбие, не имеющее ничего общего с филантропией.

Чем больше немцы терзали Ленинград, чем больше обстреливали его, тем больше они начинали его бояться. В сентябре 1941 г. путиловцы обратились с письмом ко всем ленинградцам и закончили его такой фразой: «Скорее смерть испугается нас, чем мы смерти».

В 1941 г. эти слова казались исступленной клятвой. Но что кричат сейчас пленные немцы? Они вопят — «я не стрелял по Ленинграду», они просят заактировать, что их орудия такие, которые не могли бить по Ленинграду. И чем больше стреляли немцы, тем больший страх у них возбуждал этот им непонятный город. Такова была сила его духа.

И вот обо всем, что свидетельствует о необычайной силе, о человечности духа наших людей, мы должны

рассказать, должны поставить это на вооружение — как для достижения окончательной победы, так и для послевоенного мира.

В этих огромных темах много неизведанного для нас. Но мы помним слова Льва Толстого — писатель должен писать о том, что свойственно всему человечеству, но еще неизвестно ему. Будет много поисков, возможны ошибки, и здесь необходима большая коллективная работа. Но я уверена, что мы создадим великую литературу — это будет литература большевистская, литература воинствующего добра.

### НАПИСАТЬ БЫ ТАКУЮ КНИГУ

Годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина в этом году озарена особым светом — светом XX съезда Коммунистической партии, его замечательных, поистине исторических решений. И народ наш отмечает в этом году светлые ленинские дни не только воспоминаниями о своем великом и любимом вожде, но и тем, что вдумчиво изучает решения съезда, деятельно стремится воплотить их в жизнь.

Это происходит потому, что XX съезд проходил под знаком восстановления и укрепления ленинских норм партийной и общественной жизни. Недаром с его трибуны говорилось, что съезд был такой, «...как будто Ленин живет и находится вместе с нами».

Я, так же как миллионы коммунистов и беспартийных тружеников нашей страны, с глубочайшим вниманием вслушивалась и вчитывалась в каждое слово, доносившееся из Москвы, из Кремля, — со съезда. И не просто вслушивалась: мы все — весь народ и каждый человек в отдельности — работали вместе со съездом. Это была очень нелегкая, подчас напряженная, серьезнейшая работа ума и сердца, отнюдь не похожая на бездумное «ликование» — слово, которым за прошлые годы мы явно привыкли злоупотреблять...

Эта работа продолжается и сейчас, когда мы изучаем материалы съезда, но я утверждаю, что вместе с очень сложными, даже тяжкими душевными переживаниями она приносит с собой глубокое нравственное удовлетворение и небывалую уверенность в будущем.

Решения и материалы съезда, их ленинский дух всколыхнули сознание советских людей, в том числе, разумеется, и писателей, до самой глубины, заставили каждого из нас заново беспощадно и горячо продумать и оценить свой жизненный и творческий путь в неразрывной связи с путем всего народа, с путем его партии.

Делегаты съезда в своих докладах и речах, коммунисты и беспартийные на собраниях, посвященных решениям XX съезда, или у себя дома, наедине с собственной совестью, многократно обращались и обращаются к ленинским трудам. И в этом обращении нет ничего общего с тем недавним мертвенно-механическим употреблением цитат, когда цитатой, как щитом, иные прикрывали «отвычку» самостоятельно размышлять! Нет, человек приникает к вечно живому источнику ленинской мудрости для того, чтобы с помощью его мыслить самому,— так, как требовал этого Ленин.

Раздумывая над материалами съезда, над значением его для всей нашей жизни и деятельности, в частности для писательской, я не раз перечла один из любимейших мною отрывков ленинской статьи «Заметки публициста»:

«Погибшими наверняка надо бы признать тех коммунистов, которые бы вообразили, что можно без ошибок, без отступлений, без многократных переделываний недоделанного и неправильно сделанного закончить такое всемирно-историческое «предприятие», как завершение фундамента социалистической экономики (особенно в стране мелкого крестьянства). Не погибли (и, вероятнее всего, не погибнут) те коммунисты, которые не дадут себе впасть ни в иллюзии, ни в уныние, сохраняя силу и гибкость организма для повторного «начинания сначала» в подходе к труднейшей задаче».

О, как часто наши пропагандисты, историки, экономисты и мы, писатели, рассказывая о нашей действительности, не следовали этому бесстрашному и ясному указанию Ленина, изображали прошлый, настоящий и будущий путь нашего народа этакой автострадой, залитой сахарным асфальтом! Как часто и долго были многие из нас в плену начетнических, догматических схем, пытались уложить в них сложную, пол-

ную драматизма и героического напряжения нашу жизнь, характеры и поступки наших людей.

Прав А. И. Микоян, который в своей речи на съезде говорил, что «...часть вины за неудовлетворительное состояние идеологической работы надо отнести за счет обстановки, созданной для научной и идеологической работы за ряд предыдущих лет. Но бесспорно, что определенная вина за наше серьезное отставание на идеологическом фронте падает и на самих работников этого фронта». Говорилось это об экономистах, историках, юристах. Но все это целиком относится и к работникам литературы и искусства, с той только разницей, что для этой сложнейшей области идеологии «обстановка, созданная... за ряд предыдущих лет», была особенно трудна. Сплошь и рядом игнорировалось ленинское указание, что «...литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством»; что «...в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию». Правда, этими ленинскими указаниями «божились» довольно часто, но еще чаще на практике грубо пренебрегали ими.

Но дело сейчас не в том, чтобы непрерывно ссылаться на прошлую объективную обстановку, а в том, чтобы, сурово и спокойно разобравшись в прошлых заблуждениях своих, жить так, как учил Ленин: не дать себе впасть «...ни в иллюзии, ни в уныние, сохраняя силу и гибкость организма для повторного «начинания сначала» в подходе к труднейшей задаче». А у советской литературы — действительно, самой передовой литературы мира — огромный положительный опыт. В ее боевом арсенале достаточное количество подлинно партийных, правдивых и высокохудожественных произведений, и поэтому произведения фальшивые, «культовые» и просто серые не в состоянии исказить благородного облика нашей литературы, поставить под сомнение ее искреннюю преданность делу партии, делу народа (в особых доказательствах все это не нуждается).

Но сейчас, когда вместе со всем народом наша литература вступает в новый этап своего развития, она должна добиться таких творческих побед, чтоб весь



мир изумился и обрадовался им и с жадностью и наслаждением стал обогащаться ими.

Такие возможности и силы у советской литературы есть, несмотря ни на какие прошлые издержки и до сих пор цепкие традиции.

Я хочу затронуть два-три вопроса в связи с этим.

Вот на XX съезде Н. С. Хрущев, говоря о малом количестве хороших книг и вскрывая причины этого, сказал: «...не ослабла ли связь с жизнью у некоторых наших писателей и работников искусства?».

Бесспорно, что у некоторых писателей связь с народной жизнью крайне слаба, да и всем нам необходимо изучать ее конкретно, практически, повседневно — на новостройках, в колхозах, на предприятиях.

Главная наша задача состоит в том, чтобы о той обычной жизни трудящихся, которую ты, писатель, изучил, писать настоящую, а не парадную, «выборочную» правду, чтобы писать правду о том, что ты сам пережил и перечувствовал вместе с народом. А вот этого-то мы сплошь и рядом и не делали! Оттого-то и отставала наша литература.

Это, конечно же, поправимо. Я убеждена, что у большинства наших писателей — огромное знание советской жизни, полученное не просто путем «наблюдения» или командировочного «изучения», а знание, полученное путем того, что писатель сам, совместно с народом, испытал, пережил и перечувствовал.

XX съезд партии, его решения, его материалы широко открывают перед нашей литературой, кино, живописью, театром именно тот простор мысли и фантазии, простор индивидуальным склонностям, которые и завещаны искусству Лениным. Правда, большая, партийная, ленинская правда, и только она, а не приближительная правдивость, высокое индивидуальное мастерство — вот единственный закон для работы наших литераторов, единственный принцип оценки художественного произведения. Этот закон, этот принцип оценки не совместим ни с конъюнктурными соображениями, ни с перестраховкой, ни с нигилистическим фрондерством, маскирующимся под «смелость», ни с остатками антимарксистского культа личности во всех его проявлениях.

Восстановление и укрепление ленинских норм партийной и общественной жизни неразрывно связаны с

борьбой партии против антиленинского культа личности как культа, умалявшего роль народных масс и роль партии в строительстве коммунизма. А это значит еще и то, что при культе личности умалялась, принижалась личность рядового коммуниста, личность рядового советского труженика, сковывалась его трудовая, творческая инициатива, подрывалось доверие этой личности к самой себе, к своим силам. Вот во всем этом и коренятся истоки того, что мы (мягко, разумеется) именуем «обеднением» образов рядовых советских людей. Нередко иные литераторы в ущерб правде — исторической, жизненной и художественной — возвеличивали отдельные исторические личности вплоть до прямого обожествления их, а мужественных, мыслящих, вынесших огромные духовные и материальные трудности и ни перед чем не согнувшихся рядовых людей изображали уж такими-то «маленькими человеками», уж такими-то «самыми простыми», что выглядели наши люди похожими на одноклеточное существо...

Стоит ли после этого удивляться, что советский читатель и зритель не узнавали себя в этих «образах»?

И — увы! — чаще всего не узнавали себя в романе, пьесе или кинокартине коммунисты, в первую очередь партийные работники. Зловещий отблеск культа личности падал и на их изображение. Скажем, первый секретарь обкома изображался настоящим чудотворцем областного масштаба, по мановению руки которого рещались все конфликты (вплоть до семейных и любовных), мгновенно преодолевались все трудности, а «простым, совсем простым», почему-то недогадливым и в общем нерадивым коммунистам оставалось только чесать в затылке и поражаться универсальной мудрости данного руководителя. Если такой персонаж и обладал какими-нибудь человеческими качествами, то только, например, пристрастием к рыбной ловле или сбору грибов, — разумеется, в неслужебное время. И изображались эти секретари на одно лицо, по образу и подобию, и было это изображение в сущности своей не просто фальшивым, но прямо оскорбительным и для партийных руководящих работников и для партийной массы. А нередко и так бывало, что если писатель изображал рядовых коммунистов и не вводил обязательной фигуры секретаря (обкома, горкома,

райкома и т. д.) или сцен заседания (в обкоме, райкоме, парткоме), его прямо пытались обвинить в том, что он-де «не отобразил роли партии».

Схема, догма, культ личности порождали в нашем искусстве эти вредные для искусства и народа тенденции. От этого «наследия» нам нужно категорически освободиться для того, чтобы создать действительно правдивые во всей их духовной красоте, сложности, многообразии характеров образы коммунистов, рядовых партийцев и их вожаков, прошедших такой небывалый в истории, трудный и великолепный путь. Изобразить, не минуя ни одного года их славного пути, да, ни одного года. «Выборочная» история — ведь это не история.

Ленин писал, предвидя расцвет литературы, открыто связанной с делом пролетариата: «Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата...».

Написать книгу, полную живого опыта народа, книгу, которая бы оплодотворила «последнее слово революционной мысли», то есть подсказала бы что-то партии, помогла бы ей, а не просто проиллюстрировала одно из ее решений, и чтоб шла эта помощь от самого художественного звучания книги, от самой поэзии, — написать бы такую книгу!..

Мы напишем такие книги. Залог тому — решения XX съезда по идеологической работе. В этих решениях — целая программа деятельности для советских писателей, программа с тем ленинским простором, которым легко дышать, который увеличивает силу и желание трудиться на благо родного народа.

*«Литературная газета» № 48,  
21 апреля 1956 г.*

## **ИСПЫТАНИЕ МИРОМ**

Наверное, еще рано говорить об этом испытании — мир во всем мире еще слишком молод, несомненно, что только годы позволят точно судить, какие произведения, написанные во время войны и о войне, выдержали его испытание. И все же мне кажется, что первые дни и месяцы мира, бурное время перехода из одной скорости в другую, настолько богаты событиями и пере-

живаниями, что, быть может, именно они и являются наисильнейшим испытанием для людских душ и для произведений искусства.

Это испытание происходит иначе, чем в первые дни войны, однако оно не менее велико и жестоко и необычайно интересно тем, что имеет дело с той сущностью человека и искусства, которая так или иначе обнаружилась себя во время войны.

Здесь будет — и уже есть — много закономерного и еще больше неожиданного, отрадного и трагического, несомненного и в то же время непонятного. И вот мне думается, что если произведение искусства помогает человеку оглянуться на гордый и трудный путь его за время войны, открывая при этом то, чего он сам тогда не заметил и не понял, если произведение искусства закрепляет в душе человека то доброе, сильное и светлое, что родилось в ней в дни войны, — значит, такое произведение выдерживает испытание миром. Если произведение искусства о войне не только будит воспоминания о чувствах, владевших нами тогда, но вызывает к жизни и действию непосредственное сегодняшнее чувство, — такое произведение выдерживает испытание миром.

Попробую пояснить это примером, хотя редкий пример не условен: так, чувство мщенья, без которого невозможно было ни воевать, ни победить, на сегодня отработало, отпыхало, вернее, отлилось в другие формы, трансформировалось. Мы можем только вспомнить о том великом гневе, который владел нами непрестанно четыре года, вспомнить и взволноваться этим воспоминанием, это чувство может по-новому вспыхнуть в нас, когда мы читаем о процессе в Бельзене или Нюрнберге, но практически, повседневно, нам не вызвать в себе тогдашнее, такое же чувство, да в нем и нет сейчас первоочередной нужды, как то было в дни войны.

Но, например, великое чувство локтя, взаимопомощи, весь связанный с понятием людского братства комплекс чувств, столь обогатившийся во время войны, — он принадлежит к чувствам стойким и непреходящим, практически необходимым людям сейчас, в дни возрождения мира. Поэтому произведения о войне, проникнутые этими чувствами, волнуют нас непосредственно и прежде всего.

Душа человеческая устала от того, что ей пришлось пропустить сквозь себя такое продолжительное и огромное ожесточение, пришлось созерцать такое чудовищное количество разнообразного, бессмысленного зла, внесенного в мир фашистами; взгляд ее с жадностью, надеждой и благодарностью устремится к картинам добра, счастья и благородства.

И не так важно при этом, «какой период» изображается, скажем, сорок первый год или сорок пятый. Неверно думать, что произведения, написанные о мире, в силу своей темы, необходимей произведений о войне — это точка зрения сезонников от искусства. Уже появилось, например, много стихов о цветах, фруктах и злаках, возросших на месте недавних боев; и до того многие из этих стихов «оптимистичны», такой инфантильной безмятежностью веет от них, что читать их не радостно, а обидно. Уж слишком как-то конфузливо упоминается о недавних боях, уж на слишком «голой земле» выросли эти плоскостные, торопливые цветы и злаки. И здесь дело не в механической пропорции — скажем, сто строк о «боях», а сорок — о «цветах», а во внутреннем чувстве стихов. И как тогда, на войне не могла утолить человека проповедь только одной ненависти, а необходимо было искусство, говорящее о будущем мире, так и теперь невозможно писать стихи о сегодняшнем дне, о мире без мысли о дне вчерашнем, мысли, выраженной хотя бы в умолчаниях стиха, в его чувстве, — иначе произведение о мире испытания миром не выдержит.

Я забыла оговориться, что имею в виду поэзию и при этом — поэзию лирическую, что эти и многие другие мысли возникли во мне при чтении последних глав «Василия Теркина» А. Твардовского («Знамя» № 9). Я прочла эти главы, потом взяла книгу, прочла еще раз с самого начала до самого конца... Об этой поэме, конечно, надо писать много и очень подробно и профессионально, потому что она принадлежит не просто к числу лучших, но и к числу принципиальных произведений нашей литературы, т. е. таких, где писатель активно утверждает свои собственные, очень индивидуальные принципы изображения жизни.

И, как всякое принципиальное произведение, поэма Твардовского такова, что о ней и в связи с ней можно много говорить и много спорить; это очень ра-

достно, так как беда большинства наших произведений в том, что они безнадежно бесспорны, что о них можно лишь сказать: «Да, действительно, так в жизни бывает». А ведь это не оценка для произведения искусства! К сожалению, почти вся наша критика только этим и занимается: установить, что «так бывает», или что «тут все, как в жизни», и на этом кончить свое бесцельное следствие.

У М. Зощенко в одном рассказе есть превосходное место: на улице — какое-то происшествие. Прибегает милиционер; столпившиеся граждане начинают подробно рассказывать ему, что тут было, но милиционер перебивает их категорическим требованием: «Гражданин, я прошу вас замолчать и рассказывать не о том, что было, а о том, что случилось».

Мне думается, что поэма Твардовского интересна более всего не тем, что в ней «все, как было», т. е. не бытом своим, правда, очень точным, драматическим, сочным, а тем, что во время войны «случилось», т. е. теми мыслями и чувствами, той философией и нравственностью, которую война породила в герое поэмы и прежде всего — в самом авторе. Поэма Твардовского, разумеется, лирическая поэма, недаром она «без начала, без конца».

Поэтому мне кажется, что главное значение поэмы не в Василии Теркине, что Вася Теркин вовсе не просто «русский бывалый солдат», за которого его приняли вначале, даже не просто «типичный боец», да и вообще менее всего бытовая фигура. Вася Теркин — лирический герой, устами которого чаще всего говорит сам поэт, в чем, кстати, он сам, поэт, и признается хотя бы в главе «О себе». Кстати, вот у нас много говорят об «образе», который создан писателем, о том, правилен или нет, хорош или нет «образ», т. е. герой, и почти никогда не говорят о самом авторе — поэте, писателе, об его образе, об его личности и душе, приступающей в произведении, как будто молчаливо условившись, что автор, как написано в «Поручике Кижже», «секретный, фигуры не имеет». Правда, надо сказать, что зачастую в этом виноват сам автор, не имеющий фигуры. Но поэма Твардовского сильна еще именно тем, что в ней отчетливо и властно выступает личность поэта, сущность которой, пользуясь выражением Белинского, хочется назвать «умным сердцем». И вот

здесь совпадение автора со своим героем — рядовым русским советским бойцом Теркиным — полное, потому что Теркин — это прежде всего умное сердце. Поэтому-то нам не так уж важно видеть его, а важнее — слушать. Нам дороги прежде всего не типично-героические, условные, разумеется, поступки Теркина, а то, что при этом думает, чувствует, говорит его умное сердце, которое готово слушать сколько угодно, прощая иногда излишнее многословие.

И слушая это умное сердце, невольно — не вспоминаяешь, а заново переживаешь путь сердца собственного, и многое в нем проверяешь по поэме и понимаешь заново.

Вот, читаешь, например, главу «Перед боем», написанную в сорок втором году о том горьком времени, когда «вслед за властью за советской, вслед за фронтом шел наш брат», — читаешь сейчас, когда все это так далеко, — и волнуешься, переживаешь все так, как будто это происходит сейчас. Сколько боли, тревоги за людей и Россию в этой главе — и сколько света!

Свет и рождается от этой боли и скорби.

Что «было», что послужило «материалом» этой главы? Небольшой отряд наших бойцов выходил из окружения, пробирался к своим. А что «случилось», что потрясло умное сердце автора и его героя? А случилось то, что одна женщина, жена командира отряда, к которой отряд завернул по пути, встретила отступающую группу бойцов, бредущую «вслед за фронтом», «с такой заботой милой, с доброй ласкою такой, — словно были мы герои и немалые притом»... Вот это и врезалось в сердце Васи Теркина всей болью своей и всем светом своим. Врезалось тем острее и глубже, что в те минуты, когда женщина оказывала отступающим и несчастным мужчинам почет, как «немалым героям», им нечем было отдарить ее, а ведь сильнейшая потребность истинно благородного сердца именно и состоит «в непрерывном обмене светом и добром». И вот, в ответ на эту «добрую ласку» рождается в Теркине и всю войну сопровождает его неодолимое желание — «на берег правый, бой пройдя, вступить живым», — не ради славы,

А затем, чтоб поклониться  
Доброй женщине простой...  
Взять топор, шинелку сбросить,  
Нарубить хозяйке дров.

И это желание — которое, собственно, и есть жажда победы, — упорное, простое, ясное, сопровождает солдата всю войну — он не в силах забыть заботу хозяйки, не в силах не отдарить ее, потому что умное его сердце понимает, что стоит за этой заботой: глубокое понимание той тоски, которую несли в своей душе отступающие воины, и страстное желание эту тоску хоть чем-нибудь умерить, а главное — за этой «доброй лаской» стоит человеческое, народное доверие. Ничто не в состоянии так полно покорить и открыть сердце человека, народа, поэта, как доверие. Ничто, кроме доверия, не вызывает в нем столько светлых сил, столько истинной ответственности, которая, в частности, живет в Васе Теркине в форме некоей «вины» перед родиной, неизбежного долга перед нею. Это не прибеднение — это душевное богатство и безмерная щедрость, это ощущение сил своих, как сил нарастающих, но не иссякающих.

В этом смысле замечательно внутренне перекликается с главой «Перед боем» глава о Днепре, опубликованная в № 9 «Знамени». Два года, а может, и больше прошло с той ночи, когда хозяйка, оставшаяся в немецком тылу, встретила отступающих бойцов, как «немалых героев», и вот уже переправились они, и с ними Василий Теркин, «на берег правый», уже свободна родная сторона Теркина и Твардовского — совершается победа, торжество, радость... Но балагур, запевала, гармонист Теркин, умевший в самые страшные минуты подбодрить товарищей шуткой, сказкой, песней, в момент всеобщего ликования «не встречает в шутки», а повторяет про себя ту «речь к родимой стороне», которая «сама собою» жила в нем все годы войны:

Мать земля моя родная,  
Вся смоленская родня,  
Ты прости — за что, не знаю,  
Только ты прости меня...

И замечают при этом товарищи Теркина, что Теркин «плачет вроде»... Да, в час победы солдат со слезами на глазах просит прощения у освобожденной им родины, не хвалясь ни мукой, ни печалью, которую изведаль, ни трудами и подвигами своими, совершенными во имя ее. Для него естественно все это было при-



нять и совершить, ведь, как договорился с ним поэт, — «мы с тобой за все в ответе», ведь ему же в горчайший час было оказано доверие, которое дороже любых наград.

Вот эту естественную, величавую скромность, это ощущение себя постоянным должником народа и главным ответчиком, безмерную, бескорыстную щедрость возмужавшей в борьбе души и стремится закрепить в душах людей поэма Твардовского не как великое воспоминание, а как новое их свойство, закрепить для будущего, для десятилетий мира.

Замечательна в этом отношении глава «Про солдата-сироту». Здесь умное сердце поэта говорит особенно полным и свободным голосом, потому что говорит о главном — о человеке, который ради победы принял неисправимое горе, о победителе, обреченном войной на сиротство, то есть на самое страшное для человека — на одиночество. Кстати, вот из таких «сирот» и складывалось на Западе «потерянное поколение» после войны 1914—18 гг., основной признак которого — глубокое отчуждение от людей, неодолимое одиночество. А отделившись от людей, человек терял и самого себя. Было бы трусостью и черствостью со стороны истинного художника не замечать того, что и у нас после войны миллионы таких сирот, которые именно в первые дни мира, победы особенно остро испытывают свое трагическое одиночество и особенно остро нуждаются в сердце другого человека...

И вот Александр Твардовский в главе про солдата-сироту очень своевременно призывает помнить об этом солдате. И света, и оптимизма, и перспективы в этом призыве куда больше, чем в любой критической или поэтической пасторали, потому что, читая эту главу, как и многие другие главы поэмы, мы чувствуем, что и герой ее и поэт, а, значит, в какой-то мере и мы сами, разделяющие чувство этих строк, вышли из жестокой и тяжелой войны добрей, щедрей и бескорыстней, чем были, с возросшим сознанием собственной личности, не «отделившейся» от мира, не эгоистической, а обогащенно-человечной, а это то, что нужно для мира и его возрождения.

*«Литературная газета» № 47,  
1945 г., 17 ноября*

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ  
НА 2-М ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ СП СССР

15—26 декабря 1954 года

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Седьмой день съезда

Председатель. Слово имеет Ольга Берггольц.  
(Аплодисменты).

Ольга Берггольц. Товарищи! Когда я готовилась к сегодняшнему выступлению, мне вспомнился эпизод, который рассказывал мне один музыковед, бывший в то время политруком в военных частях, оборонявших блокированный Ленинград. В ночь, когда была назначена атака, он обходил посты. Подошел к одному бойцу и спросил его, все ли в порядке. Боец ответил, что все в порядке. Политрук пошел дальше. Вдруг боец его окликнул:

— Товарищ политрук, разрешите обратиться!

— Пожалуйста!

— Вот я стою этой зимней ночью, смотрю вокруг и все время твержу про себя стихи:

Выхожу один я на дорогу,  
Сквозь туман кремнистый путь блестит,  
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,  
И звезда с звездою говорит.

Скажите, товарищ политрук, есть ли что-нибудь на свете лучше этого стихотворения? Как будто это все про меня написано!

Политрук подумал и сказал:

— Нет, на свете ничего лучше этого стихотворения нет.

Мне вспомнился этот эпизод потому, что он говорит о необычной всенародной потребности в поэзии, о необыкновенной духовной культуре нашего народа, который воевал вместе с поэзией. Мне вспомнилось это еще потому, что есть на свете нечто лучшее, чем это стихотворение,— советская поэзия в целом! Каждый из нас в отдельности не превзошел лермонтовский шедевр, но вся советская поэзия является таким огром-

ным шагом вперед в духовной культуре народов, что в целом она превзошла это великолепное стихотворение.

Я еще подумала о том, что такому читателю, который стоит на посту перед боем и повторяет это лермонтовское стихотворение, суррогата не подсунешь.

Поэзия сопровождала революцию с самого первого ее момента.

Далеко не каждое историческое событие сопровождается поэзией. На пути советской власти всю ее историю поэзия сопровождает верно, преданно и самоотверженно. И все-таки при наличии такой поэзии, при наличии больших мастеров, при наличии замечательных традиций мы говорим об отставании и поэзии, и критики, и драматургии.

В чем же дело? В чем причины отставания?

Мне кажется, что одна из первых причин отставания не только поэзии, но и драматургии и критики состояла в том, что оценка художественных произведений проводилась зачастую не с идейно-эстетических позиций, не с позиций мастерства и художественности, а совсем с других позиций, нередко конъюнктурных. Эта оценка нередко бывала директивной, исходящей непосредственно от Секретариата. Мне кажется, что для искусства это более всего страшно и губительно, в том числе и для поэзии.

Мы уважаем труд Федора Панферова, но неужели мы не знали, что роман «В стране поверженных» лежит за гранью литературы? Знали, но поднимали эту вещь из других соображений. А ведь она послужила некоторым эталоном для нашей молодежи.

Еще в 1949 году мы с вами знали, что пьеса Сурова «Зеленая улица» плохая пьеса и тоже лежит по сути за гранью литературы. Однако что было при обсуждении этой пьесы? Я перед съездом нашла номера «Литературной газеты» и руками развела, прочитав на одной странице высказывание Софронова, что у него при чтении этой пьесы «растут крылья» (*шум и смех в зале*), на другой странице — К. Симонова, который говорит, что Суров «прокладывает новую лыжню в искусстве». В том же номере газеты написано, как эта пьеса обсуждалась в МХАТе, где одна из ведущих актрис заявила, что «вот когда повеяло свежим ветром в МХАТе». А Суров, слушая все это, говорил, что ему

это нравится, о чем и сообщила «Литературная газета».

Как видите, время от времени мы сами предаем принципы искусства. А это приводит к тому, что искусство начинает немедленно отставать. Оно отстает с того момента, как только перестает быть искусством.

Мы мало оцениваем нашу работу и состояние литературы по критерию художественности, а идейность и партийность могут быть воплощены в произведении лишь средствами высокой художественности.

Вот когда антихудожественная пьеса Сурова «Зеленая улица» и подобные ей были объявлены главной линией в драматургии, с того момента отставание драматургии и началось, именно по этой причине.

Могу привести пример и из другой области. Мне пришлось писать о балете «Родные поля». Кажется, все было на месте. В балете происходит строительство гидростанции, балерины, изображающие передовых колхозниц, выносят плакат, где указано «130% выполнения плана», на сцене неистово работает молотилка, и все-таки я думаю, это был явно отсталый балет. Потому, что он перестал быть тем, чем должен быть балет — искусством, искусством танца, пластики.

Мне пришлось быть в высотном здании гостиницы «Ленинградская». Как будто и там все на месте! Этажей множество, архитектура сверхсовременная, но безвкусица внутреннего убранства такая, что гостиница производит впечатление полного отставания от современности. При всей роскоши, при канделябрах, которые скопированы с теремных дворцов, в гостинице очень мало полезной площади, а та, которая есть, чрезвычайно дорога. И вот таких высотных зданий в литературе немало, и об этом надо говорить со всей прямотой. (*Аплодисменты.*)

Мне кажется, что до известной степени такими высотными зданиями были и некоторые доклады и содоклады на нашем съезде. (*Аплодисменты.*) А некоторые доклады, кроме того, носили на себе отпечаток директивной критики, исходящей от Секретариата.

В докладе А. А. Суркова из 3,1 тысячи имен писателей упомянуты были, пожалуй, две тысячи. И теперь писатели так и разделяются: на единожды упомянутых, дважды упомянутых, выше не упомянутых и ниже не упомянутых. (*Шум, оживление в зале.*)

Но дело не в том, чтобы упомянуть имена двух тысяч писателей, дело в бережливости к каждой творческой индивидуальности. Упоминать или не упомянуть писателя — не главное, самое главное, чтобы к писателю была проявлена бережливость, как к индивидуальности.

Однако нередко целому ряду писателей, в том числе поэтам, критика и разные организации навязывают нечто такое, что данному поэту или писателю не свойственно. У каждого поэта есть свой профиль, свои особенности, и нельзя его долбить за то, чего у него нет и не может быть, вместо того чтобы помочь ему развить то, что ему свойственно.

В Ленинграде у нас существует светлое, радостное творчество А. Прокофьева; он может писать лишь в том ключе, в той тональности, которая ему свойственна. А ему несколько лет подряд навязывают другие, несвойственные ему темы и интонации. Зачем? В частности, Назаренко в «Литературной газете» критиковал Прокофьева за шутовское, веселое, простое стихотворение, только за то, что оно было веселое и простое.

А ведь когда поэту навязывают нечто несвойственное его творческому лицу, то он начинает петь не своим голосом, «пускать петухов». Вот тут и начинается отставание. Если даже поэт поет в четверть голоса, вполголоса, то мы терпим урон. Надо как можно бережнее относиться к индивидуальности, личности поэта.

Два года тому назад возник разговор о самовыражении в лирике, потому что положение создалось такое, когда личность поэта просто совершенно исчезла из поэзии, она была заменена экскаваторами, скреперами, но человек и личность поэта исчезли. Возник разговор о том, что поэт прежде всего должен выражать себя как сына народа. И я подчеркивала во всех своих выступлениях и статьях общественную функцию самовыражения и раскрытия советского поэта. В докладе Самеда Вургунга, моего оппонента, было сделано отступление на заранее не подготовленные позиции. Он, как и многие другие, пытался все свести к терминологическим спорам. А спор идет о правах личности советского поэта. Никаких новых и серьезных аргументов содокладчик по этому поводу не привел, поэтому я не буду вступать с ним в полемику. Он хочет опровергнуть одно слово — с а м о в ы р а ж е н и е.

Если у него есть другой термин — пожалуйста, но суть-то в том, что без действительного выражения своей личности у поэтов ничего не получится. Безличность — вот еще одна причина отставания нашей поэзии.

Наши критики клянутся и божатся, что им хотелось бы побольше поэтов хороших и разных, но, простите меня, мне иногда кажется, что они мечтают, чтобы был один-единственный поэт и по возможности усопший. (*Движение в зале.*) Тогда им будет совершенно спокойно жить.

Еще одна из причин отставания — это забвение наших собственных завоеваний и традиций. У нас очень часто начинают все с начала, как говорится — голый человек на голой земле. На самом же деле у нас есть великолепные традиции советских писателей и советской литературы. Например, когда т. Самед Вургун говорил о революционной романтике, он почему-то даже не вспомнил такого замечательного поэта, как Михаил Светлов. Почему? А потому, что Светлов не входит в «обойму» ни в поэзии, ни в драматургии. А ведь «Гренада» — одно из лучших стихотворений на свете! (*Аплодисменты.*) У нас здесь сейчас много друзей, которые приехали из разных стран, которые нас приветствуют, и мы их приветствуем, а «Гренада» была написана задолго-задолго до Первого Всесоюзного съезда советских писателей.

Более того — Светлов существует не только как поэт. Я лично думаю, что существует театр Светлова, но о нем тоже почему-то не принято говорить, больше всего говорится о «театре Сурова», где веет «свежий ветер». Однако, у Светлова своеобразный театр, поэтический, то, что нам совершенно необходимо. Нужно, чтобы театр тоже, как и многие искусства, вернулся к самому себе. Лирика утратила множество присущих ей тем. Об этом очень хорошо только что говорил т. Яшин. В живописи исчезли обнаженное тело и любовный сюжет, из кино исчезло движение. Там или сидят, или стоят, а главным образом заседают. Из балета пытаются вытеснить танец, из театра театральность. Так вот пьесы Светлова помогают театру вернуться к самому себе, как к театру поэтическому.

Театры жалуются на отсутствие репертуара, а между тем у нас существует и такой замечательный, но не

вошедший в «обойму» драматург, как Е. Л. Шварц. Напрасно т. Полевой говорил о нем только как об инсценировщице. Это талант самобытный, своеобразный, гуманный.

Я хочу напомнить, какую огромную роль в сближении двух стран сыграла его пьеса «Тень», поставленная в Германской Демократической Республике в первые годы ее существования. Как это было важно и нужно! Однако многие его пьесы для взрослых лежат, их не ставят, о них не пишут.

Мне думается, что в этом забвении собственных завоеваний и традиций тоже одна из причин отставания и что это происходит потому, что мы мало пользуемся таким критерием, который должен нас вести,— критерием художественности. Вот при забвении наших собственных завоеваний и традиций, при директивной критике, при отсутствии внимания к творческой личности писателя и вырастают литературные деятели вроде Сурова и возникает отставание. Но у нас нет ни прав, ни оснований для этого отставания. У нас есть народ, который любит поэзию и чувствует в ней потребность. Это наше самое великое достижение и завоевание за годы от Первого до Второго съезда. У нас есть партия, которая помогает нашей поэзии. У нас есть мастера, традиции, друзья, и наша литература не будет отставать. Она будет идти вперед и расти все выше и выше. (*Аплодисменты.*)

## **СТЕНОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СОБРАНИИ МОСКОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ**

*15 июня 1956 года*

**Ольга Берггольц:**

— Так как я никуда не ездила, не была на съезде в Чехословакии, не знаю ни чешского, ни польского языка,— я, главным образом, буду говорить в связи с выступлением Назыма Хикмета.

Я начну с вопроса о ревности. Должна сказать, что очень часто, например, когда я гляжу итальянские фильмы — отличные фильмы, когда была на выставке индийского изобразительного искусства, когда вообще

соприкасаюсь с другими явлениями зарубежной культуры, я испытываю глубокое чувство ревности и печали: ведь мы могли бы делать картины лучше, чем итальянцы. Мы все знаем, что наше киноискусство было матерью того чудесного киноискусства, на произведения которого мы с удовольствием и завистью смотрим теперь. Но мы это все растеряли, мы погубили наше киноискусство. Мы лучше могли бы рисовать, чем индийские художники. Но у нас считалось совершенно нормальным явлением, что восемь художников пишут одну картину и что у всех у них одинаковые мазки, одна манера...

Такое же чувство ревности я испытала, когда слушала о дискуссиях по искусству, происходивших в Польше, о которых сообщил Назым Хикмет. Мне кажется, что очень многое из того, что говорилось там, первыми должны были сказать мы. Товарищи, которые были там, свидетельствуют, что XX съезд всколыхнул сознание не только наше, но и сознание всех мыслящих людей, всех людей, стремящихся к построению нового, свободного общества. А у нас, вместо этого, очень долгое время и Союз писателей, и особенно «Литературная газета» делали и делают вид, что ничего решающего не произошло.

Хочу еще сказать об одной клеветнической легенде: о якобы идейной неустойчивости советских писателей. Отчасти об этом говорил и Назым Хикмет.

Совершенно не понимаю, почему только какой-то узкий круг писателей может находиться в курсе того, что происходит за рубежом, что происходит в демократических странах, как там борются против нас буржуазные идеологи, буржуазные писатели. А почему другие писатели — и их большинство — не должны знать об этом или могут знать лишь в пределах, дозволенных т. Сурковым и Чаковским? Это совершенно ненормальное положение. Оно нуждается в срочном изменении. Может быть, нужна другая форма, может быть, попросту надо в наших журналах давать подробные и добросовестные обзоры о том, что делается в литературе за рубежом. Хотя бы взять повесть «Оборона Гренады»; ее читают все — в демократических странах, но почему-то считается, что если мы прочтем, то обязательно тут же «разложимся». Ничего с нами не случится, как не случалось до сих пор, тем более, что



произведение это — «Оборона Гренады» — очень своевременное и вызывает на глубокие раздумья.

Но за последние годы мы привыкли к такому бессмысленному существованию — к такому бессмыслию, что нам кажется странным, чтоб мы свободно читали то, что вызывает раздумья, тревогу, боль... Но мне думается, что мы уже не такие «бараны непомнящие», а особенно после XX съезда. Как известно щедринский «баран непомнящий», начав размышлять и вспомнив, что когда-то был свободным, сдох от раздумий. С нами этого не случится, бояться нечего.

Мы все знаем, какая ответственность лежит на нас по борьбе с буржуазной идеологией. Но буржуазная идеология не есть нечто абстрактное или что-то вроде воздуха, нет, — она персонифицируется, она выражается в каких-то произведениях, в каких-то статьях. А вот их-то мы не знаем.

Мне думается, что опять-таки, кроме вреда, такое положение ничего не принесет. Я не предлагаю, конечно, пропагандировать буржуазную идеологию, но какие-то вещи, может быть, именно через закрытый писательский бюллетень должны быть известны всему писательскому активу.

Вот, долгое время крайне неопределенно говорили о Сартре. Через Лейтеса мы знали, что он «растленный», и многим, по правде говоря, казалось, что вдруг в нем есть что-то «обольстительное»; может быть, Лейтес неправ? Но потом напечатали две пьесы Сартра, и мы увидели, что он не страшнее, чем наш А. В. Софронов. И таинственный ореол Сартра — исчез. Миф о нем был снят.

Доверие к советскому художнику, писателю — это первое, что нам необходимо. Мы хотим и должны работать на прочной базе доверия к нам, писателям...

Вспомните, как в годы жестокой классовой борьбы, в первые годы революции, доверял искусству Ленин. Ленин никогда не делал свой вкус законом советского искусства и его развития. Ленину, например, не нравился «Сверчок на печи», но Станиславский из-за этого не был уволен из Художественного театра. И у Маяковского не все Ленину нравилось, наоборот — ему мало что нравилось, кроме стихотворения «Прозаседавшиеся». Но Маяковский жил и писал, как хотел сам.

И когда в книге т. Метченко изображается дело так, что Маяковский сформировался исключительно под влиянием Горького, а развивался во все периоды советской власти под знаком того, что Ленину понравилось стихотворение «Прозаседавшиеся», — это неправильное изображение.

Ленину и постановка «На дне» не нравилась, однако никаких карающих оргмер по отношению к автору и постановщику принято не было.

Ленин, не смущаясь, говорил, что не считает себя компетентным в области искусства. А главное — Ленин любил искусство и доверял ему.

Мы так радостно приветствуем возвращение к ленинским нормам, которое декларировал XX съезд, потому что для нас — для искусства — это означает чрезвычайно много: это означает новый этап его развития.

В своем докладе Назым Хикмет сообщил много интересного, например, то, что доклад тов. Хрущева о культе личности читался в Польше в деревнях... Но вот у нас, в Ленинграде, на читку этого доклада не допустили одного из зачинателей советской литературы — М. М. Зощенко, несмотря на то, что большая группа товарищей была возмущена этим и дошла вплоть до обкома партии с требованием допустить Зощенко на читку. Но требование наше не было удовлетворено. Этот факт свидетельствует о том, что пережитки культа личности и связанные с ним пороки еще далеко у нас не изжиты.

Назым Хикмет говорил о серьезном, угрожающем отставании нашего искусства. Это замечаем не только мы, но и наши друзья, и замечают с болью. Это правда. Болеем за это и мы. Мы уже долго и очень много говорим об отставании, глубокомысленно ищем причину... Между тем причина нашего отставания — я говорю о литературе послевоенных лет — очень проста. Мы действительно очень много лгали.

С места: А почему лгали?

О. Берггольц: Если вы не догадались об этом до сих пор, то я в пять минут не могу вам всего объяснить... Но в связи с этим воспользуюсь личным примером. Вот, в 1954 году с этой трибуны А. А. Сурков на пленуме, посвященном поэзии, говорил о моих стихах о Волго-Доне. Он говорил, что они страдают

тем недостатком, что в них отсутствует «пафос радостного созидания». Это о стихах о Волго-Доне!!! А я считаю, что основной недостаток их в том, что там недостаточен пафос трагедийного созидания. Мы все знаем, что на Волго-Доне не совсем все было так, как мы изображали; мы все знаем, что, кроме созидательной работы, там было очень много народного страдания, но мы об этом молчали. Народ знал всю правду о Волге-Доне, а мы о нем молчали, а теперь говорим об отставании. Реальная народная жизнь и ее изображение в литературе резко расходились между собою, почти на сто процентов они были попросту противоположны. Поэтому и отставала литература от народа. Но возьмем такие старые стихи, как «Выхожу один я на дорогу...» Они не «отставали» от главного — от человека, а значит, и от человечности. Мы очень сильно отставали от человека и от человечности, от реальной жизни, от нашего живого человека, от той жизни, которой он живет и которую мы до сих пор в своих произведениях не изображаем как подобает. Мы делали робкие попытки говорить правду, порой совершали и настоящие прорывы к правде, но крайне редко эти попытки увенчивались успехом. Кому не памятен роман Гроссмана «За правое дело» и вся трагическая история его? Можно назвать еще ряд вещей, когда совершался в литературе какой-то прорыв к правде в обстановке страшного духовного террора. Но это были отдельные прорывы. В своей статье «Памяти Фадеева» Эльза Триоле пишет о последнем разговоре с Фадеевым, когда она спросила его, найдет ли в литературе нашей свое отражение та трагедия, которая разыгрывалась на протяжении многих лет в нашем Союзе,— несправедливое осуждение тысяч и тысяч советских честных граждан? Об этом говорилось на XX съезде— эта трагедия разыгрывалась в течение многих лет, но она не нашла своего отражения в нашей литературе и до сих пор не находит его. А между тем сделать это необходимо.

Вот — «Друг детства» Твардовского; это первый прорыв к огромной, доселе закрытой и запретной теме. Но это первая ласточка. Нужна внутренняя народная правда, пронизывающая всю литературу, правда всей жизни, которая идет через душу писателя, нужна сегодня, когда мы пяти—десяти шагов не можем

пройти рядом друг с другом, чтобы не вспомнить ужасов бериевщины и ежовщины. Отраднo надеяться, что все эти ужасы находятся в прошлом. Но литература должна все это запечатлеть — и бериевщину, и ее ликвидацию Партией.

Но вот в моей статье, которую поместила «Литературная газета», не напечатали анализа стихов «Друг детства». Товарищ, от имени редколлегии говоря о том, что это место надо снять, сказал: «А вы заметили, что об этой вещи до сих пор нет прессы?»

Я сказала, что, конечно, заметила, потому и написала. Вот и будет пресса!

«Нет,— сказали мне,— еще не время об этом писать. Твардовский пишет, что его друг детства 17 лет несправедливо страдал. Это верно. Но все-таки эти 17 лет мы строили социализм!»

Я возразила, что несправедливо осужденный друг детства тоже строил социализм, трудясь в Магадане, на Колыме, в Воркуте... Товарищ помялся, но все же твердо ответил: «Нет, в прессе пока нет ничего об этом, ничего не пишется, говорят, что надо погодить».

Мы слишком долго «годили» и ждали! Что значит — «не время»? Время делаем мы сами — мы, советские писатели и художники.

Ждать особого дня, когда «можно» будет написать и напечатать то-то и то-то, это значит жить по старинке, как мы жили до XX съезда.

Мы накопили такой огромный опыт и настолько срослись со своим народом, что нам не страшно говорить самую трагическую правду; самое страшное бывает тогда, когда суррогат выдается за большую правду.

Мне кажется, что одной из причин отставания литературы (об этом я говорила в своих статьях и на съезде) является еще и то, что у многих из нас отсутствует личный взгляд на мир.

Вот у нас очень много говорят о партийности. Мы некоторые слова превратили в заклинания, зачастую лишённые смысла. Так и слово «партийность» употребляется зачастую чисто абстрактно. Подобно тому, как общее проявляется в частном, так и партийность проявляется только индивидуально, только лично. Но такой точки зрения мы до сих пор очень боялись. А бояться этого нельзя, индивидуальное выражение пар-

тийности не противоречит ее общей сущности, наоборот, выражает ее наиболее полно... Но во власти догмы были очень долго; почти все призраки догматизма властвуют и сейчас и мешают нашему движению вперед.

Назым Хикмет правильно говорил, что мы перестали двигаться вперед. Но движение нашей литературы вперед — это обеспечение движения всего искусства, и не только нашего, но и в демократических странах. В связи с этим хочу остановиться на одном важном вопросе. Я говорила уже об этом на партийном собрании в Ленинграде. Считаю своим долгом сказать и здесь.

Считаю, что одной из основных причин, которые давят нас и мешают нашему движению вперед, являются те догматические постановления, которые были приняты в 1946—1948 годах по вопросам искусства — якобы ЦК. Давайте, товарищи, говорить о них теперь с полной откровенностью.

Почему — теперь? Потому что именно теперь, после XX съезда, после доклада тов. Хрущева о культе, нам ясно, что эти постановления были выражением личных вкусов Сталина, то есть были порождены исключительно культом личности.

Когда я сказала об этом в Ленинграде на собрании, сразу раздался окрик, — мол, «не позволим пересматривать постановления ЦК». Хочется надеяться, что это всего лишь горстка трусливых людей, не желающих помочь Партии в трудном деле подъема нашей культуры. Партия смелее их, Партия и не такие постановления пересматривала, и не такие авторитеты подвергались критике. Надо отнестись к своим писательским делам по-хозяйски, выделить, что есть в данных постановлениях рационального, а с другой стороны — и это главное — сказать, что есть в них положения, которые устарели, которые были всегда неправильны, связаны только с культом личности, т. е. фактически не являются «решениями ЦК», и от этого нам решительно надо освободиться.

Начну с «главного» постановления — о «Звезде» и «Ленинграде» — о Зощенко и Ахматовой. Я уже говорила, что у нас Зощенко не пустили на читку доклада т. Хрущева, а доклад читался в ЖАКТ-ах; не решили опубликовать на афише идущего сатирическо-

го обозрения Райкина фамилию Зощенко над написанной им сценкой. А «Литературная газета» позволила себе в своей крайне реакционной статье «Литература и жизнь» совсем недавно грубо пнуть Зощенко. Да, это не просто плохая газета, это на данном этапе явно реакционная газета.

Г о л о с а: Правильно, правильно!

(Аплодисменты.)

С. Михалков: А разве реакционная газета — хорошая?

О л ь г а Берггольц: Плохая, тов. Михалков, но вы подходите к ней с моральной оценкой, а я с политической.

М. М. Зощенко имеет полное право на существование в советской литературе, и я не думаю, чтобы мне надо было здесь защищать его как писателя. Кстати, я разговаривала с Михаилом Михайловичем после появления этой статьи, он очень тяжело ее переживал, у него было очень тяжелое душевное состояние, так что мы боялись, чтобы это не кончилось трагедией.

Итак, через десять лет после их опубликования я перечла с карандашом в руках эти постановления, подходя к ним в свете решений XX съезда, под знаком возвращения к ленинским нормам партийной жизни, к ленинским нормам в области руководства искусством и т. д. Думаю, что это должны сделать и писатели и руководство. Для начала я перечла рассказ «Обезьяна». Исключайте меня из Союза писателей, но я там ничего, потрясающего основы, ничего крамольного не нашла. Вот история этого рассказа: в 1944 году, еще во время войны, рассказ был напечатан в «Мурзилке». И все было в порядке, никто не обратил на него внимания, никакого исторического потрясения не произошло, страна наша победно завершила войну, приступила к восстановлению. Но в середине 1946 года Саянову и Прокофьеву пришла в голову мысль перепечатать эту «Обезьяну» в «Звезде» № 5—6 под рубрикой «Новинки детской литературы». Журнал попался на глаза Сталину, и вот возникла история, обрушились на детский рассказ громы и молнии, обвинения во всех грехах, вплоть до таинственного наплевизма. Бедная мартышка, которая скачет по людским головам, не желая стоять в очереди, вырывает из рук у бабушки конфетку и т. д., превращена в постановлении в целую фи-

лософскую категорию, вокруг нее строится целая концепция, она «представлена как некое разумное начало»! И на основании этого измышления говорится о Зощенко как о «пошляке», о «хулигане», о «пасквильянте», о «подонке», — оскорбляются все писатели, ибо говорится о «подонках литературы, подобных Зощенко», во множественном числе...

И на основании таких же измышлений, на основании чистейшей вкусовщины несколько лирических, совершенно безобидных стихов Ахматовой, которые не затрагивают, конечно, проблем высокой политики, — сочиняется история о вреде, который она якобы приносит делу воспитания нашей молодежи. И вот — самое страшное, что под этим постановлением и под тем докладом Жданова, который читался по этому постановлению, мы живем до сих пор.

А что было сделано хотя бы постановлением о «Звезде»?

Как сейчас видно в свете решений XX съезда о задачах идеологической работы, — тогда был нанесен удар по обоим крылам искусства, по трагедии и комедии, по двум его великим маскам — трагической и комической. А потом было сказано, что необходима лирика, что нам нужны Гоголи и Щедрины — сразу много Гоголей и Щедриных! А литература была поставлена в ложное положение, особенно лирика и особенно сатира.

И вам, тов. Михалков, конечно, очень трудно было говорить за рубежом, почему у нас нет сатиры!

Теперь о самом докладе Жданова по поводу постановления о «Звезде». Я внимательно его прочитала. Какое правильное положение там есть? Это то, что литература должна быть в основе своей политически заостренной. Это верно, и для нас иного положения быть не может...

Не случайно наша литература показала себя во время Отечественной войны как литература, нераздельно связанная с народом, с его борьбой, и тем тяжелее было сразу после подвига, который совершило русское искусство и литература вместе с воюющим народом, услышать разговоры о писателях — о себе! — как «подонках литературы», «пошляках» и т. д. Допустим, что в докладе Жданова о «Звезде» есть что-то рациональное, но я думаю, что и этот доклад, и после-

дующая вульгаризаторская трактовка его нанесли крупный ущерб и нашему искусству, и литературоведению.

Я недавно присутствовала на защите дипломов на филологическом факультете Ленинградского университета. Одна студентка защищала работу на тему «Положительный герой по произведениям Горького 30-х годов». Я не читала дипломной работы, но сугубо схоластический разговор, который велся между дипломанткой и оппонентом, привел меня в ужас. Потом дипломантка подошла и спросила: как мне понравилась защита?

Я сказала, что проблема положительного и отрицательного героя, по-моему, несколько искусственная проблема. Это все равно, если бы человечество, достигшее интегрального исчисления, вернулось к двум правилам арифметики — сложению и вычитанию — для всех расчетов и случаев жизни. Потом она спросила: «Скажите, а был такой поэт Ходасевич? А Ахматова художник или нет?» И тому подобные вопросы.

Я ответила, что человек, задающий такие вопросы, не имеет права считать себя закончившим университет по кафедре литературы XX века.

— Да ведь мы по Жданову учились! — ответила она.

А в докладе Жданов утверждал, например, что символизм начался в 1907 году: «На свет выплыли символисты, имажинисты, декаденты всех мастей...»

Таким образом, у нас отняли великолепное, порой болезненное, но все же замечательное искусство XX века. Оно все залито в черную краску неопределенного, внеисторического «декадентства», и среди этого сплошного черного моря возвышается один Горький, который якобы не совершал богоискательских ошибок, и Маяковский, который якобы никогда не был футуристом.

Более того, оказалась искаженной вся история нашей советской литературы.

Надгробный камень, положенный вышеуказанным постановлением и докладом на русское искусство XX века, на его историю, на историю советской литературы, необходимо сдвинуть в ближайшее время и во что бы то ни стало.

И вот почему нам нужно очень серьезно подумать, чтобы к предстоящему Пленуму Центрального Коми-



тета по вопросам идеологии, в помощь ему, каждый из нас смог в отдельности или коллективно сказать свое мнение о документах прошлого по вопросам искусства. Может быть, должен появиться новый документ или ряд статей, я не знаю, но это положение необходимо изменить.

Почему у нас воцарилась бесконфликтность на сцене, в кино, в книгах? Вспомните постановление о кинофильме «Большая жизнь». Утверждаю, что это постановление есть программа и эстетика лакировки, программа и эстетика бесконфликтности. «В фильме изображено бездушно-издевательское отношение к молодым работницам, приехавшим в Донбасс. Работниц вселили в грязный, полуразрушенный барак и отдают на попечение отъявленному бюрократу и негодяю. Руководители шахты не проявляют элементарной заботы о работницах. Вместо того, чтоб привести в порядок сырое, протекающее от дождя помещение, в котором были размещены девушки, к ним, как бы в издевку, посылаются увеселители с гармошкой и гитарой».

А я уверена, что так и было на самом деле, что люди именно в таких условиях начали восстанавливать залитый кровью и разрушенный родной Донбасс.

А что говорится о фильме «Иван Грозный»?—«Иван Грозный представлен Эйзенштейном чем-то вроде Гамлета...»

«...Эйзенштейн обнаружил свое невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов...»

Ну, и отсюда все выводы... А выводы—это программа бюрократического, антиленинского «руководства» искусством.

В постановлении о «Звезде» это звучало таким образом: «В целях наведения надлежащего порядка в работе редакции журнала «Звезда» и серьезного улучшения содержания журнала иметь в журнале главного редактора и при нем редколлегию».

Товарищи, да ведь это почти Щедрин!

Или, например, постановление о музыке. Заканчивается постановление так: «Осудить формалистическое направление в советской музыке как антинародное и ведущее на деле к ликвидации музыки».

Все, что сделали наши композиторы, такие, как

Прокофьев, Хачатурян, Мясковский, Шостакович, объявляется «формалистическим» или подражанием европейскому джазу, в то время когда все знают, что русская музыка, особенно в начале XX века, лидировала и продолжает лидировать в серьезной всемирной музыке.

Вот второй пункт этого постановления:

«Предложить Управлению пропаганды и агитации ЦК и Комитету по делам искусств добиться исправления положения в советской музыке, ликвидации указанных в настоящем постановлении недостатков и обеспечения развития советской музыки в реалистическом направлении».

Но что мог сделать несчастный М. В. Храпченко, бывший тогда председателем комитета по делам искусства? Сыграть «Интернационал»? Но это не улучшило бы дела. Положение в искусстве меняем только мы, художники.

И у нас теперь только одно желание — изменить это положение в сторону действительного, а не мифического расцвета искусства. Мы мучаемся, спорим, работаем только для того, чтобы наше искусство действительно влияло на людские сердца, действительно овладевало умами и думами. И у нас нет и не может быть другого пути, чем общий путь нашего народа, указанный нашей партией.

Я думаю, что мы должны до конца во всем прошлом разобраться, не гипнотизируя себя тем, что эти постановления приняты такими высокими организациями... Не надо гипнотизировать себя никак, не надо ни культа личности, ни культа коллегиальности,— вред культовщины показал наш великий горький исторический опыт, нужно больше верить в себя, в возможности народа, который сумеет отличить дурное от хорошего и взять на идейное вооружение то, что ему нужно. И, судя по всему пути нашего искусства, несмотря на все ущербы и удары,— сил у наших художников очень много, особенно после XX съезда.

Поэтому мне хочется свое выступление закончить, немного перефразируя Маяковского, словами:

«Искусство славлю,

которое есть,

Но трижды, которое будет».

*(Аплодисменты.)*

## СЛОВО О ГУМАНИЗМЕ

Я начну, как и всегда начинаю,— с краткого лирического объяснения, а именно: с того, что в докладах происходящей дискуссии и в прениях меня обрадовало очень многое, искренне обрадовало! Обрадовало прежде всего то, что гораздо смелее стали литераторы говорить, гораздо откровеннее, шире; это большая общая наша радость и, разумеется, несомненный итог трудной и благородной работы XXII съезда партии.

Здесь мы прежде всего дискутируем, спорим. Поэтому, естественно, и у меня есть некоторые возражения, соображения и сомнения. Так, мне показалось, что слово «гуманизм» трактуется прежде всего в основных докладах несколько общо. В одном полушутливом разговоре с приятелем-литератором, когда я сказала, что буду участвовать в дискуссии «Современная литература и гуманизм»,— он спросил: «А ты действительно знаешь, что такое гуманизм? Особенно — в литературе?»

Не скрою, я вдруг задумалась. Прочитав доклады — задумалась еще сильнее.

Мне кажется, что почти все доклады, более или менее повторяя друг друга в определении гуманизма, не дают все-таки некоего конкретного, емкого, наиболее точного и, я бы сказала, современного ответа на вопрос — что такое гуманизм в литературе. А ведь он — современный гуманизм — несет в себе и вновь родившиеся нравственные категории и незыблемые общечеловеческие понятия, чувства, такое свойство, как человеколюбие, проще говоря, любовь человека к человеку, любовь, которую один человек несет другому человеку, которую он деятельно отдает обществу, и любовь, которую этому одному человеку возвращает общество и другой человек. Человеколюбие — деяние двухстороннее, любовь разделенная... Но о ней-то менее всего говорилось...

Прошу прощения, но при этом не могу удержаться от одного воспоминания.

В ранней молодости моей и моих одногодков необычайно популярными были многолюдные и многочасовые диспуты на тему «Был ли Христос», а также на тему «Половой вопрос». И вот сейчас мне вспоми-

нается один такой диспут. Это происходило в Ленинграде, в Большом зале филармонии. Белые колонны и скупо освещенные, но пышные хрустальные люстры зала, красный бархат диванов и кресел, вся эта «буржуазно-дворянская гнусная роскошь» накаляла наши страсти (здесь была сплошная молодежь, преимущественно студенты), и выступления были необычайно страстные, категорические и очень-очень длинные.

— Я очень извиняюсь, товарищи! Я, извиняюсь, просто слесарь, вероятно, многого недопонял. Но вот я семь часов подряд слышу: «половой вопрос», «половые сношения», «половые отношения». И никто ни слова не сказал о... любви. А по-моему, половые отношения без любви — ерунда.

И диспут закрылся.

Я не хочу проводить прямой аналогии между тогдашней и сегодняшней дискуссией, и все же сходство в чем-то есть! Потому что, мне кажется, любовь, человеколюбие, честность, совесть, верность — все эти и многие другие непреходящие, вечно прекрасные человеческие категории или свойства, или чувства, то есть суть, содержание гуманизма, должны были прозвучать в том, что здесь прочитывалось и говорилось, — более определенно, отчетливо и безбоязненно.

Разумеется, и добро, и любовь, и честность, и верность не только вечны, но и историчны. Я думаю, вы меня поймете правильно: говоря о любви к людям, я говорю о той любви, которой обладал Владимир Ильич Ленин, о той любви, которую он щедро, бесстрашно и беспощадно нес в мир и которой отвечало и отвечает ему до сих пор человечество.

Мне кажется безусловно правильным то, что в центре дискуссии поставлен вопрос о человеке. Да, только человек может быть носителем добра. Ни кибернетическая машина, ни конь, ни хризантема не могут быть добрыми. И если мы говорим: «доброе солнце», «щедрая заря», то мы только очеловечиваем и передаем свое человеческое всему этому. Добрым или злым может быть только человек, гуманным — только человек. И он никогда в жизни не сможет задать кибернетической машине программу «быть гуманной». Он сможет, конечно, заставить ее произнести речь о гуманизме и его пользе по соответствующе набранным

номерам, то есть задать ей гуманную программу, — она выполнит ее по заданной программе — но и только. Развиваться гуманизм, в том числе и гуманизм социалистический, наш, наивысший, будет только через человека, через его труд, его отношения друг к другу и, может быть, интенсивнее и мощнее всего — через искусство, в особенности — художественную литературу.

Я уже упомянула, что «вечные» чувства и свойства человека — историчны, в том числе и такое самое общее понятие, как добро. Оно — самое общее, но и самое многогранное свойство, чувство, понятие. В него входит разнообразнейшая гамма человеческих чувств, страстей, быть может, почти все хорошее в человеке, например, такое чувство, как сострадание.

Однако мы все помним слишком недавние времена, когда само понятие добра ставилось под сомнение или когда из него изымалось самое существенное.

Так, в 1949 году, во время так называемой борьбы с космополитами, появилась статья одного писателя об очень талантливом критике и очеркисте Д. Данине по поводу данинской статьи о Ленинграде и ленинградских писателях, главным образом — обо мне. Статья называлась «Преодоление страданий». В частности, в этой статье Данин писал о том великом страдании, которое Родина и народ испытывали по отношению к Ленинграду, осажденному, умирающему от голода, стужи и жажды. И вот как раз над этим моментом — над словами о сострадании к ленинградцам — и разыгрался писатель Г. Он говорил, что чувство жалости недостойно советского человека — как того человека, который жалеет, так и того, которого жалеют; что в нашей стране давно уже забыли, что такое сострадание; что мы, мол (он говорил, разумеется, от имени народа!), испытывали по отношению к Ленинграду чувство законной гордости, восхищения, но никак не «унижающее героев» чувство сострадания.

Читать это было до невероятия обидно и, по правде говоря, противно. Обидно за человека, потому что опять-таки человека от мира животных (в том числе и от «общественных животных») отличает прежде всего сострадание. Страдать может все живое — и лошадь, и птица, и, может быть, даже деревья. Сострадать, то

есть почувствовать, как свое, страдание другого человека (или целого народа), пожалеть его — другого человека или народ... (да, не бойтесь слова «жалеть» — в русском языке оно синоним слова «любить») — да, пожалеть его за это страдание, принять часть его страдания на себя, или предотвратить его, или помочь ему — другому, страдающему человеку,— словом, повторяю: сострадать может только человек; сострадать другому народу может только истинно человеческий народ. А наш народ — наичеловечнейший, и это доказано всей его историей, в особенности советским, ленинским ее этапом. И неприятно было читать презрительные выражения советского писателя относительно народного сострадания к тяжело страдавшему и несдающемуся Ленинграду потому, что невольно вспоминались афоризмы некоего философа Фридриха Ницше, рекомендовавшего: чтобы стать «сверхчеловеком» — нужно прежде всего «убить в себе сострадание»... Не сомневаюсь, что писатель Г. просто не слышал о Ницше, и все же это совпадение...

Но я привела этот пример главным образом потому, что на дискуссии уже говорилось, что в эпоху, которую мы именуем «периодом культа личности и беззаконий», была организованным порядком предпринята страшная попытка расчеловечивания или, как говорят научно,— «дегуманизации» нашей литературы. И эта попытка во многом удалась, не надо этого скрывать. Мы знаем и кинокартины, и просто картины типа «Гост за русский народ», и стихи, и книги, где человеку начисто отказывалось в человеческих чувствах (их презрительно именовали и до сих пор именуют «мелкотемьем»), где человек становился схемой на двух ногах и где положительный герой или пассивно иллюстрировал, или настырно и примитивно толковал очередные постановления, разумеется, всегда и заранее исторические и мудрые.

Сейчас эта чисто иллюстративная, служебная, подчас униженно подсобная роль литературы почти ушла, хотя несомненны некоторые рецидивы. Одним из печальнейших, на мой взгляд, и наиболее затянувшихся рецидивов этого нечеловеческого отношения к главному герою литературы являются, во-первых, назойливые разговоры о «простом человеке», иначе —

о знаменитом «винтике». Очень часто читаешь в статьях, рецензиях, в интервью о «творческих планах»: «Мой герой — простой, совсем простой человек». Я не понимаю такой трактовки. Позвольте, в каком отношении — простой? В служебном? Но в таком случае — это «простой служащий», а не «простой человек». Недаром кто-то правильно сказал, что у нас ликвидирован культ личности, но, увы, еще остался культ должности.

Но это — прямое наследие культа личности. Нет «простого человека» для писателя! Не может быть такой рабочей задачи: «А напишу-ка я о простом, совсем простом человеке». Это, простите, тот же абстракционизм — писать белым по белому. У художника слова есть горьковская задача — написать об удивительном человеке, какая бы у него должность и служба ни была: в наивысших инстанциях или на «низовке».

И еще «аппендицит» остался от службистского, программированного, — а не программного, — периода литературы, когда все человеческие чувства подвергались сомнению и даже тщательно изгонялись (я уже приводила пример — осуждение великого чувства народного сострадания к городу-герою), это — так называемая проблема мелкотемья.

Я категорически не понимаю: что такое «мелкотемье»? Я не принимаю этой формулы. Это мне напоминает статью одного критика, который критиковал большой роман, где действие разворачивается в колхозе: критик весьма хвалил роман, но добавлял: «Жаль только, что любовь колхозников Африкана и Агафьи показана очень широко и в прямой ущерб показу развития огородно-бахчевых культур». По мнению критика, любовь двух людей — более «мелкая» тема, чем проблема огородно-бахчевых культур! Да это ж бред! Но он страшно устойчив — до сих пор! Нет мелкотемья, есть мелкие писатели и есть мелкая разработка тем, а малых, мелких тем, особенно в нашем обществе, там, где речь идет о человеке, нет.

Кстати, о человеке. Одним из рецидивов пережитков и наслоений культа личности было выступление одного из секретарей нашего союза (кажется, год назад), которое я помню почти наизусть. Оно звучало так: «Некоторые писатели пишут о человеке и це-

нят человека как такового, не учитывая его общественно полезные функции, а это прежде всего». А я лично думаю, что все-таки «прежде всего» существует человек как таковой. Разумеется, он не может быть взят в безвоздушном пространстве, в колбе и т. п., но все-таки человека нужно уважать больше, чем его общественное положение, его «функциональное значение» и т. д.

Наш социалистический гуманизм вбирает в себя вовсе не какие-нибудь пассивные добрые категории всепрощения и эдакой идиллической любви. Нет — это любовь активная, это любовь, которая ненавидит зло и яростно борется с ним, и прежде всего со злом зла — с насилием человека над человеком. Щедрин, один из самых ядовитейших сатириков мира, был величайшим гуманистом, он был одним из тех писателей, которые во имя любви к человеку посвятили себя борьбе со злом и которым изображение зла и так называемые отрицательные герои удаются лучше, рельефней, ярче положительных. И, по-моему, этих писателей никак нельзя упрекать в том, что они, мол, антигуманисты, огулом записывать в «очернители», а то и в «клеветники», как это было совсем недавно.

О некоторых писателях и их трудах именно в связи с проблемой советского гуманизма, о тех писателях, которые внесли бесценный художественный вклад, огромный духовный опыт в нашу советскую гуманистическую литературу, следовало сказать, наконец, полным голосом. Я говорю, в первую очередь, о блистательном и, не побоюсь этого слова, гениальном драматурге Евгении Львовиче Шварце. Его драматические произведения, такие, как «Тень», как «Дракон», особенно острая великолепная пьеса-сказка «Дракон», вся идущая против фашистского насилия, — много лет были под запретом и считались крамольными. Кто-то что-то в ней «усматривал» и «ущучивал»... А Евгений Шварц — поэт необыкновенной формы, это последний сказочник в мире, это человек, который так яростно ненавидел всяческих драконов, насильников, искажающих человеческую душу, так беспощадно и страстно любил людей, их добро, их свет, так умел утешать их в горестях, от души рассмешить их и так рыдать над тем, что в людях плохо, что его просто нельзя бы-



ло в докладах о гуманизме обойти, хотя все его персонажи — это персонажи сказочные. «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

Не говорить об Евгении Шварце и писателях, подобных ему, это и значит — то и дело говорить не о любви, а о чем-то другом.

Необходимо было говорить еще об одном замечательном советском писателе-гуманисте, который всеми силами своей души ненавидел зло. Это Михаил Михайлович Зощенко. Считаю и настаиваю, что его трагическая судьба — итог несправедливостей к нему в период культа Сталина и что Зощенко не высмеивал советский строй, а боролся за него. Не смеялся над хорошими человеческими чувствами, а воспитывал их, потому что неистово ненавидел тех, кто мешал расти новому человеку, крепнуть нашему строю, развиваться и становиться лучше.

Не советского человека, а заскоруждого мещанина, стяжателя, жулика, держиморду, сутяжника — всех этих и прочих истинных врагов советского человека, истинных врагов народа — вот кого высмеивал Зощенко, вот остатки каких свойств в советском человеке стремился он обнажить и поразить смехом. Как и Е. Л. Шварц, он любил людей беспощадно и страстно. Все глубоко гуманное творчество его было борьбой за прекрасного, за нового человека. О, как бы засверкал его талант сегодня, если б не преждевременная его гибель!

Как же можно было на дискуссии обойти тот вклад, который он внес в литературу?! Как можно обойти последние произведения И. Эренбурга и К. Паустовского, особенно в связи с проблемой жанра — романа?!

Конечно, нужно было говорить и о Бабеле, и о таком поэте, как Борис Корнилов, об его поэмах «Моя Африка», «Триполье», «Соль». Поэма «Соль», написанная как либретто оперы по одноименному рассказу Бабеля, представляет собой самостоятельное высокохудожественное произведение, остро и тонко сочетающее в себе бескорыстную, высокую любовь человека к Родине и ненависть к стяжателям, пользующимся бедствиями народа. Это ли не образец истинного гуманизма в литературе? Да, все произведения, все писатели, которых столь кратко я упомянула, громко го-

ворят о любви к людям, к Родине, а не об «отношении» к ней. Это гуманизм живой, непосредственный, а не рационалистически головной, выраженный неотразимыми и неповторимыми средствами Искусства, Литературы, Поэзии...

Правильно здесь говорили, что стоило бы — и, по моему, очень стоило! — поговорить о гуманизме гениальной музыки Шостаковича и о прямом и бесстрашном гуманизме такой картины, как «Мир входящему», тем более, что это картина спорная, у которой есть и свои поклонники, точнее — единомышленники, и свои противники. Это все — материал дискуссионный, которого как раз так резко и не хватает в этой дискуссии. Не хватает явно, но кое-что есть. Я позволю себе с некоторыми положениями докладов не согласиться. В частности, мне думается, что «Живые и мертвые» К. Симонова никакие не родные и даже не двоюродные брат и сестра пьесы «Фронт» А. Корнейчука. Во «Фронте» автор попытался общие ошибки сталинского командования в первый период войны оправдать дурным характером отдельных генералов. Может быть, в свое время эта пьеса была и нужна, но мне кажется, что это все-таки настолько пройденный этап, что ссылаться на него вряд ли имеет смысл. Может быть, было честнее просто промолчать, не упоминать этой пьесы.

А что касается романа К. Симонова «Живые и мертвые», то, думается, что этот роман вовсе не представляет из себя фиксации одних событий и что, вопреки своим теориям, К. Симонов создал самое лучшее свое и наиболее живое произведение. Там есть и Серпилин, с его железной челюстью («зубов казенных блеск унылый») и тяжелой судьбой, и Синцов, и многие другие, — и уже не слегка одушевленные категории, как в ряде пьес Симонова, например, «Русский вопрос», а человеческие характеры!

Что касается вопросов жанра, то мне кажется не совсем правомерным членение на «семейный роман», «роман судьбы», «роман событий». В. Ермилов правильно считает, что в таком произведении, как «Война и мир», все сливается и предстает в целом. Но есть на земле, к счастью людей, еще одно произведение, уникальное, неповторимое, которое объединяет в себе и роман событий, и роман судьбы, и семейный роман, —

и небывалое — «роман духа». Это «Былое и думы» А. Герцена.

Я уже писала в одной из глав «Дневных звезд», что будущее нашей современной прозы (в частности, моей «Главной книги») рисуется мне прежде всего в произведениях типа «Былого и дум». Да к тому, кажется, и идет.

А вообще-то очень трудно, ну просто невозможно, по-моему, предсказать, какое будет искусство, каким будет будущий роман. Это все равно как если бы беременная женщина утверждала: «У меня будет мальчик, брюнет и красавец». Но пока что нельзя выяснить — каким и какого пола будет ребенок... Надо надеяться — история покажет, она вообще делает сюрпризы.

В одном из докладов говорилось о произведениях нашей литературы как о произведениях исключительно и только гуманистических. А по-моему, это не совсем так. Все тот же культ личности, в основе своей культ античеловеческий и антигуманистический, породил и ряд антигуманистических мотивов в некоторых наших романах.

Ну, например, один из братьев Ершовых в романе Кочетова мечтает, как бы он отомстил изуродовавшим его немцам, мечтает, что вот он бы взял ножнички, маленькие такие, маникюрные, и резал бы ими живого немца, и резал... Это просто клевета, русский солдат этого не может сделать, никогда не может, — он может убить, но «ножничками» резать попавшего ему в руки врага не будет! Так при чем же здесь гуманизм? Это — антигуманный мотив. А есть и другие примеры.

Я, например, не согласна с той почти единодушной положительной оценкой киносценария Л. Леонова «Бегство мистера Мак-Кинли». Читая это произведение Л. Леонова (а я его очень любила), — на этот раз я испытывала просто чувство отвращения. Я уже говорила, что наш социалистический гуманизм не исключает жалости и сострадания ни к жизни нашего ошибочно именуемого «простым» человека, ни к жизни действительно маленького человека Запада. Но этот американский маленький человек — мистер Мак-Кинли — до того противен в своем гнусном стремлении спасти свою, свою и только свою жизнь, до того

В нем нет ничего человеческого, что никакими капиталистическими условиями этого оправдать нельзя, что сострадание к нему существует лишь в соединении с брезгливостью, да и то условно, рассудочно. Мистер вступает в сожительство с богатой старухой, чтобы убить ее и завладеть ее деньгами, совершает еще ряд мерзостей — только бы выжить ему, ему! Наконец, благодаря случаю, он попадает в желанное атомоубежище, его усыпляют на триста лет. После чего бедный мистер вылезает на поверхность земли, видит пустую, выжженную землю (оставим в стороне вопрос — кто уничтожил Америку), а на ней... вновь одни колпаки бесконечных атомоубежищ. Но это, оказывается, — лишь дурной сон. Мистер Мак-Кинли просыпается и физически, и духовно; его духовное пробуждение выражается в том, что он дарит соседской девочке конфету и делает предложение руки и сердца одной пожилой даме, которую доселе не замечал, охваченный жаждой самоспасения от атомной бомбы.

Как бы ни убеждал меня Леонов, что его герой — жертва атомного психоза империализма и т. п., все равно я не могу его ни пожалеть, ни поверить ему. А вот сказочного рыцаря Ланцелота Е. Шварца — люблю, а Дракона и Бургомистра ненавижу и знаю, что эта сказка — современна и по-нашему гуманистична.

Но почему гуманистично и антивоенно последнее произведение Леонова, понять не могу! Ведь оно вызывает не боль, не ужас за человека, а отвращение к нему. Верно говорил Ермилов, что все это похоже на тех божьих старичков и старушек, которые пугали людей светопреставлением.

В заключение мне хочется рассказать кое-что из своего личного опыта. Не скрою, некоторое время я колебалась, смущалась собственного душевного опыта; оно осталось у нас от прошлого, это нелепое, трусливое ощущение смущения перед самим собой, перед собственным душевным миром и опытом. Да и кому он был тогда нужен? То есть очень нужен был он, но фактически «запечатан», как в горькой сказке Салтыкова-Щедрина «Преступление Крамольникова»: «Он понял (писатель Крамольников.— О. Б.), что все оставалось по-прежнему, только душа у него запечатана».

Этой «запечатанности» писательских душ приходит решительный конец. И вот сегодня я хочу прочитать вам выдержки из одного небольшого письма, которое получила в прошлом году из Франции от преподавателя литературы Жана Биэля. Это письмо — отклик на мою книгу «Дневные звезды».

«Дорогая госпожа Ольга Берггольц!

Я только что прочел Вашу книгу «Дневные звезды». Думаю, что Вам будет приятно узнать, как подействовала на меня Ваша книга: точно Вы написали ее для меня — иначе не скажешь. И мне необходимо поделиться с Вами, иначе польза, которую она мне принесла, не будет полной.

В том обществе, в котором мы живем во Франции, каждый человек раздвоен: если он находится в разладе с окружающими его, то еще больше он находится в разладе с самим собой. Наши философы считают, что такая раздвоенность «присуща» человеку.

Вся советская литература и в особенности Ваша книга заставили меня осознать, что примирение с самим собою — это не что иное, как примирение с окружающими. И оно вполне возможно, раз это произошло с Вами, Ольга Берггольц, и с людьми Вашей страны. Тема нашей литературы — это одиночество, тема Вашей литературы — единение. Как это верно, что в своем движении к коммунизму советский социализм изменяет самого человека.

Отбросив философию, я Вам скажу, дорогая Ольга Берггольц, что в тот момент, когда я Вам пишу, Ваша книга помогает мне видеть «дневные звезды». Я говорю себе, что это мое письмо, вместе с полученными Вами письмами от других, поможет Вам продолжить Ваш труд. И мне кажется, что Вы помогли мне придать смысл моей жизни — так же, как и жизни других людей. Поверьте мне, у меня не хватает слов для выражения Вам своей благодарности.

Прошу Вас также передать всем, кто Вас окружает, что моя признательность распространяется на всю вашу Россию, на всю советскую литературу, на всю вашу Коммунистическую партию. Особенно благодарю журнал «Произведения и мнения»: это он познакомил

меня с Вашей книгой и с другими чудесными произведениями.

*Жан Биэль.*

Я ответила господину Биэлю и прочту также, вернее, кратко изложу свой ответ.

— Господин Биэль, я была очень рада Вашему письму,— писала я,— особенно словам, что это написано «как бы про меня и для меня». Я писала, что мне уже об этом говорили мои советские и зарубежные читатели и что высшей наградой для писателя как раз является это, что так во всем мире и у нас в Советском Союзе. Но то, что об этом написали не только Вы, подтверждает мое мнение, что у искусства и особенно в самом его гуманном и действенном виде — литературе, существует единое мировое кровообращение, и если на вены и артерии, через которые проходит это кровообращение, где-либо наложить жгут, то это губельно для любого искусства — и для искусства мирового, и для искусства моей страны. Поэтому,— повторила я,— Ваш отклик мне необычайно дорог.

Далее я писала ему, что к сознанию свободы личности, к единению друг с другом, к «миру с самим собой» мы шли путем трудным, что мы прошли аскетический период комсомольского отрицания личности и признания приоритета только коллектива и пришли к сознанию, что коллектив — это коллектив личностей и что личности без коллектива не существуют так же, как не существует коллектива без личностей. Что мы пришли к этому не очень скоро и не очень легко. Что было время, когда в период культа личности между людьми старались посеять недоверие к лучшим и глубочайшим чувствам, разобщить коллектив, разобщить и принизить личность, внушить подозрение друг к другу и — к самому себе. Но что и этот период, с помощью партии, мы прошли, что мы исправляем все те увечья и рубцы, которые были нанесены нам, и что наша литература становится все больше литературой понимания и доверия, литературой воинствующего добра, воинствующего человеколюбия.

Я думаю, что это так и будет! И мне хочется, слегка перефразируя великого поэта, закончить свое выступление словами: «Искусство славлю, которое есть, но трижды — которое будет!»

## ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА

*Рассказ о ленинградских комсомольцах — бойцах бытовых отрядов*

Среди подвигов, совершенных Ленинским комсомолом в годы Великой Отечественной войны, есть один необычайный, высокопатриотический, удивительный по красоте и всечеловеческому значению своему подвиг, о котором все еще мало знают: это подвиг бойцов бытовых отрядов Ленинградского комсомола.

...Они называли себя бойцами, и это была сущая правда, хотя, выходя на бой, они не были вооружены даже винтовками самого старого образца.

Их главным материальным оружием были обыкновенные спички, которые им выдавали не пачками и даже не целыми коробками, а по счету. Каждая спичка ценилась больше, чем на вес золота, потому что в то время оно в Ленинграде было дешевле всего. Иногда это были самодельные зажигалки. Еще были у них на вооружении фонарики, ручные «жужжалки» или батарейные нагрудные, но фонариков было мало, ими вооружали в первую очередь командиров отрядов и звеньев, тех, кто вел за собой рядовых бойцов.

Им не выдавали ни армейского, ни флотского обмундирования: они шли в бой в ватниках, незамысловатых зимних пальто, из-под которых нередко виднелись лыжные штаны, в ушанках, поверх которых был повязан платок. Валенки были у немногих: кто из этих молодых девушек мог предполагать, что им зимой в Ленинграде — обычно теплой и даже дождливой — понадобятся валенки, что зима будет такой лютой, такой холодной? Поэтому им часто было холодно, пока они двигались к передовой, на сближение с противником.

Они были настоящими бойцами, хотя ни разу не приходили в непосредственное соприкосновение с гитлеровцами. Их противником была смерть, рядом с которой стояли ее преданнейшие союзники: голод, жажда, холод, тьма. Второе имя этой смерти было — блокада.

Блокада началась в конце августа сорок первого года, когда были перерезаны все пути из Ленинграда в страну, а в сентябре при первой воздушной бомбардировке сгорели Бадаевские склады, где хранились ог-

ромные запасы продовольствия города. Подвоза продовольствия в окруженный город почти не было, нормы выдачи на душу населения сразу после пожара Бадаевских складов резко снизились. Они продолжали и продолжали снижаться, и уже в ноябре каждый из нас, ленинградцев, начал ощущать доселе непривычное, отвратительное, грызущее чувство голода, от которого было не отвязаться, с которым мучительно трудно было работать, думать, просто ходить по улицам. В начале декабря люди начали пухнуть и чернеть от голода, падать на улицах, замерзать в постелях, стали умирать. Январь и февраль сорок второго были самыми черными месяцами ленинградской блокады. В своем новогоднем приказе Гитлер писал, что благодарит своих солдат «за создание невиданной в истории мира блокады», и с самоуверенностью истого маньяка заявлял, что штурмовать Ленинград он более не намерен, так как в ближайшее время «Ленинград выжрет самого себя» и, «как спелое яблоко, упадет к нашим ногам».

«Ленинград выжрет самого себя»!.. Такое слово мог придумать только выродок, враг всех людей. Гитлеризм, не сумевший своими превосходящими силами взять Ленинград штурмом, надеялся, что человеческий коллектив осажденного города распадется, что оголодавшие, измученные холодом и темнотой люди, разединенные, отчаявшиеся, вцепятся друг другу в горло, перестанут работать, перестанут обороняться. Ведь армии наши, стоявшие с нами в кольце, тоже голодали...

Но обороной колыбели революции руководили ленинградские большевики, им самоотверженно помогал Ленинградский комсомол, младшие братья и сестры Василия Алексеева, Петра Смородина и других, первых питерских комсомольцев.

И вот как раз в самые черные дни, когда, по «предсказанию» Гитлера, Ленинград должен был «выжрать самого себя», по инициативе комсомола возникло движение самого высокого, самого воинственного человеколюбия, которое просто именовало себя «бытовым движением». Хочу подчеркнуть, что оно возникло по инициативе девушек и женщин, и в отрядах были одни только девушки и женщины.

Самый первый комсомольский бытовой отряд деву-



шек был создан в Приморском районе 14 февраля 1942 года...

О, февраль сорок второго года в Ленинграде! Никто из переживших тебя не забудет твоих свиреполедяных, золотисто-голубых закатов, твоих садов и улиц, где заиндевела каждая ветка, каждый провод, все стены — все, что может заиндеветь, заиндевело и блистало в белоснежной, иступленной, неправдоподобной траурной красоте. И по блистающим этим улицам двигались люди, то синевато-опухшие, то почти черные и скелетоподобные, многие в странных масках на лицах, только с прорезями для глаз, — то в черных, то в ярко-красных, то в синих шерстяных масках. Каждая ворсинка на маске покрывалась инеем. Люди двигались неуверенными шагами, клонясь вперед, с бидончиками в руках или с одним полешком, или волоча за собой детские саночки, по большей части с трупом, укутанным в простыню. А еще множество, множество людей не могло передвигаться даже так — они просто лежали в темных ледяных своих квартирах. Лежали, не в силах сходить за хлебом, не в силах встать и прибрать комнату, затопить «буржуйку», лежали и умирали. Иногда рядом с ними лежали мертвые их родственники. Иногда среди мертвых копошился и пищал еле живой ребенок.

И вот к таким людям, в такие квартиры, по таким улицам двинулись в феврале комсомолки Приморского района, бойцы первого бытового отряда — на бой со смертью, на борьбу за жизнь. Теперь понятно вам, что они были настоящими бойцами.

Надо сказать, что и сами они были так же голодны и так же слабы, как те люди, что брели по улицам Ленинграда. Они не получали за свою работу ни одного лишнего грамма хлеба, ни одной лишней ложки знаменитого дрожжевого супа и, разумеется, никакого денежного вознаграждения. Они жили на свой скудный хлебный паек — рабочая норма 250 граммов хлеба в день — и на свою зарплату, потому что все они работали на том или ином предприятии района и поэтому помогали ослабевшим ленинградцам, как правило, после работы, а работа, как правило, была мужская, тяжелая, военная...

Что же они делали, как они работали — конкретно?

Но предоставим слово им самим, слово, настолько ску-  
пое и суровое, что не раз мне придется дополнить его.

Вот выдержки из отчетного доклада комсомольско-  
го отряда Приморского района.

«По инициативе районного комитета комсомола и  
при поддержке РК ВКП(б) и райисполкома 14 февра-  
ля 1942 г. был создан районный комсомольский быто-  
вой отряд девушек из числа лучшей части членов  
ВЛКСМ и несоюзной молодежи.

Вначале отряд состоял из 42 человек, но отряд по-  
полнился, и к концу февраля в отряд было зачислено  
80 девушек. Все бойцы отряда были разбиты на звенья  
по 10 человек. При отряде был выделен комиссар. Ра-  
ботой девушек руководил штаб, созданный при РК  
ВЛКСМ.

Бойцы, придя в домохозяйство, разговаривали с уп-  
равхозом, а затем шли по квартирам. Мы не пропуска-  
ли ни одной квартиры, выявляя, в чем население нуж-  
дается.

РК ВКП(б) и райисполком предоставили нам воз-  
можность иметь несколько ордеров на дрова, места  
в больницы, прикрепительные талоны к детским, столо-  
вым, несколько мест в детские дома.

Для больных мы имели возможность доставлять  
горячие обеды из специально организованной комсо-  
мольской столовой, а также доставлялись продукты по  
продовольственным карточкам из базы комсомольско-  
го отряда.

В своей работе девушки не чурались черновой,  
тяжелой работы. Они доставляли дрова со склада,  
убирали комнаты, в которых находились больные, при-  
носили горячие обеды и продукты, получали зарплату,  
пенсию, продовольственные карточки и т. д.

В результате этой повседневной работы нами об-  
следовано за 3 месяца 165 домохозяйств, обойдено  
13.810 квартир, из них доставлено дров на дом 275 че-  
ловекам, обслужено горячими обедами в течение пяти  
дней 780 человек. Обслужено врачом и сандружинни-  
цами 520 человек».

Вот как они писали. Они писали попросту...

Они помогали эвакуировать детей из Ленинграда.  
А вы знаете, что такое было эвакуировать детей из Ле-  
нинграда в ожесточенные дни блокады? Их можно бы-  
ло увозить с единственного вокзала — Финляндского.

С того, куда приезжал Ленин в 1917 году. Памятник ему, обшитый досками, обложенный землей, как огромный холм высился около этого вокзала. Но все знали, что под этим холмом стоит Ленин и что его рука протянута вперед, а кепка засунута в карман. А на постаменте написаны слова, которые он тогда произнес: «Да здравствует социалистическая революция во всем мире!» Молодые дружинницы, которые с этого единственного в Ленинграде вокзала отправляли на Большую землю детей, знали об этом, хотя вряд ли помнили это именно в ту минуту, когда сажали в вагоны детей. Дети плакали, дети были испуганы. Их надо было успокоить. Их надо было проводить из города Ленина ласково, по-матерински: они ведь были круглыми сиротами.

В отчете написано: «Обошли столько-то квартир и столько-то лестниц».

А мы спрашивали тогда друг друга полупшепотом:

— А ты по лестницам еще ходишь? Да? До которого?

— До третьего,— смущенно признавалась подруга.

Но мы не винули ее: подняться до третьего этажа весной сорок второго в Ленинграде, это уже было героизмом, потому что каждая ступенька вверх иногда была шагом к смерти. Надо было уметь ходить по нашим ленинградским лестницам, обледеневшим, залитым ледяными нечистотами, по бывшим роскошным парадным петербургским лестницам... Ну как бы объяснить мне вам это? Сердце сдавало — вдруг на какой-то ступеньке оно переставало работать, дальше нельзя было сделать ни шагу.

Я ничего не нагнетаю. Я просто хочу сказать, что, когда боец-красноармеец с автоматом, прижатым к груди, шел в атаку, в эту же самую минуту по обледеневшей ленинградской лестнице поднималась простая ленинградская девушка с водой, для того чтобы напоить горячим чайком умирающего — какую-то старушку, какого-то профессора с неизвестными ей, но нужными Отечеству научными трудами, какого-то мальчика... Она поднималась, чтобы разжечь огонь и напоить их. И это был единый великий народный бой.

В документах, которые публикуются на этой странице, часто встречаются слова: «зажгли ему свечку... истопили печурку». А это значит, что в долгодневный

мрак, где под грудями обледеневшего хлама умирал человек, пришел добрый человек — ленинградская девушка-комсомолка — и зажег ему огонь, обогрел его, напоил горячей водой, включил «тарелку» репродуктора. И умирающий человек понял, что он не один, что он со всеми, он с огромной страной, с Россией, что он не лежит, он сражается и, чуть-чуть окрепнув, встанет на ноги, чтобы еще больше бороться, сражаться и жить.

Они несли к ленинградцам свет — спичку, огонь печурки, огонь коптилки или свечи, но главное, что они туда несли, — свет их собственного большого человеческого сердца. Сильнее этого света ничего на земле нет.

Не слава — большая добрая весть о комсомольских бытовых отрядах разнеслась по безмолвному, разъединенному, лишенному связи Ленинграду и по армиям, которые стояли с ним в кольце. Действовала, видимо, какая-то особая народная почта. К бойцам бытовых отрядов стали обращаться все люди, которые нуждались в помощи и поддержке: и артист, и заслуженный учитель, и рабочий, и домохозяйка, и дети.

Особо обращались в бытовые отряды фронтовики. Они стояли иногда на бывшей трамвайной остановке на окраине Ленинграда, но связь со своей семьей утратили. И вот они просили разыскать их родных и сообщить, что с ними. И бойцы бытовых отрядов шли по прекрасным ледяным улицам Ленинграда, шли в мертвые дома, открывали двери... искали, искали... И писали на фронт. А фронт — на трамвайном кольце. Если семья была мертва, они отвечали бережно, осторожно, чтобы не наносить бойцу еще одной лишней раны.

Они называли себя бойцами, эти девочки. Но настоящими-то, превыше их стоящими бойцами, героями, они числили тех, кто шел под огонь, кто разил врага. Истинный героизм не осознает себя, не замечает себя. Истинный, совершая то, что после когда-нибудь назовут героизмом и сделают легендой, делает это, как то, без чего он ни минуты не может существовать и жить. Так жили и бойцы ленинградских бытовых отрядов. Они шли к ослабевшим и умирающим людям по велению сердца. Они не могли иначе. Кто-то назвал их «голодная тимуровская команда». Да, их подвиг не был ни исключителен, ни случаен. Он был этапом, звеном, шагом в бесконечно прекрасном и бесконечно

трудном пути всего нашего народа. И все-таки если они были не героями, а, скажем так — настоящими бойцами, то их имена, все до одного, необходимо узнать и занести в золотые списки подвигов Ленинского комсомола.

Вы прочтете на этой странице в документах, как эти девочки, сами слабеющие и шатающиеся от голода, несли на руках, на носилках в больницу больного, несли на руках детей, найденных в вымерших квартирах. Руки, которыми они приносили в дома огонь и воду и выносили нечистоты, эти руки их вцеплялись в веревочку саночек, на которых они везли больного в стационар. О, руки ленинградских женщин!..

Все это ничего не имело общего с «армией спасения». Девушки, которые шли в страшные дома Ленинграда, были не только сестрами милосердия, но прежде всего организаторами человеческого коллектива. Если они видели, что довольно здоровые женщины содержат свою комнату в неряшестве, они делали им строгое предупреждение и давали срок для уборки. Если они видели, что в квартире, где находится совершенно ослабевший дистрофик, он не один, то обязывали соседей ухаживать за ним и поднять его на ноги. И они следили, чтобы соседи выполняли эту обязанность.

Нет, это была совсем не «армия спасения». Они держали круговую оборону, включая в него каждого, кто мог ее держать, — круговую оборону физическую и прежде всего моральную, духовную.

Я уже говорила вначале, что они не получали ни одной ложки дрожжевого супа, ни одного дополнительного грамма хлеба, ни одной копейки за свой труд, они были так же слабы, как все другие ленинградцы, которых они спасали. Их выручали молодость и железная закалка, нервы и воля. Их вела вера в добро. Они были добры, а поэтому они были и мужественны. Ведь мужествен только добрый человек, который хочет защищать другого, заслонить его собой. Добру их научили партия и комсомол.

Накануне торжественного 40-летия комсомола я заговорила о наших ленинградских бытовых отрядах потому, что считаю, что этот подвиг должен быть приравнен к фронтовым подвигам, потому, что свет, который несли эти девочки в ленинградские дома, никогда

не погаснет. Имена всех их нужно найти, нужно собрать их, может быть, вместе с теми, кого они подняли на ноги, с детьми, которых они усыновили и определили в детские дома, которые теперь, конечно, уже стали взрослыми. Это нужно для того, чтобы от их драгоценного душевного опыта было все взято на вооружение нашим Ленинским комсомолом, нашей молодостью навсегда.

## С РОДИНОЙ В ПУТИ

Когда-нибудь, через мало или много лет, я открою дневник свой и перечту записи об апреле 1961 года.

Это будет и запись о первом полете в космос первого нашего, русского человека, и о мужестве революционной Кубы, отразившей наемных интервентов, и о присуждении Ленинских премий...

Нет, не улыбайтесь, я отнюдь не сравниваю и не равняю друг с другом перечисленные мною события, но верю, что через много лет испытаю такое же, как сейчас, ощущение пронзающего счастья и насторожившейся тревоги, которое вызывает сейчас в душе единственность, слияние, внутренняя, что ли, связь столь разных по масштабу и характеру событий. Наверное, это только мое субъективное ощущение. Но... Первый человек в космосе... Самоотверженная оборона юной Революции на далеком маленьком острове... Ленинские премии, которыми в эти дни венчают русскую советскую поэзию... Нет, как хотите, а связь между всем этим есть — тончайшая и нерушимая, живая и вечная связь, существующая в сознании современника.

Я очень люблю этого поэта, всю его поэзию, и эту поэму люблю, и радуюсь награде, как собственной, потому что «За далью — даль» — не только великий трудовой и гражданский подвиг Александра Твардовского, но и неотъемлемая, уже десять лет как неотъемлемая, часть моей жизни.

(Все время вместо «я» хочется писать «мы» и говорить не «мое», а «наше». Прошу так и понимать меня.)

Десять лет трудился поэт над своим созданием, десять лет открывал для себя и меня (для нас!) не столько географическую, сколько духовную, философскую даль. И эти открытия производились не средствами

рассудочно-логических убеждений, увещаний и поучений, а волшебными и непостижимыми, навеки таинственными средствами самой Поэзии. Впрочем, хоть «тайна сия велика есть», она известна. Поэт Александр Твардовский вкладывал всю свою щедрую, мужественную и нежную душу в каждое слово стиха — в его мускулатуру, в ритмику стиха — в его сердцебиение, в интонацию стиха — то простую до задушевнейшего разговора, то величаво-возвышенную, такую, что порой слышатся в ней отзвуки пушкинской и даже державинской лиры. Да, тайна пути поэта к далям человеческого сердца и духа известна нам, но и непостижима ни для кого, кроме поэта и — читателя, постигающего смысл этой тайны всем сердцем своим, доверяющим родной поэзии.

Именно на такого читателя, открытого и щедрого душой, доверчивого и взыскательного, и рассчитывал Твардовский, создавая книгу про бойца Василия Теркина, многие-многие свои стихи и поэму «За далью — даль». Именно это постоянное, мудрое ощущение своей аудитории помогало поэту найти правильный, безошибочный путь к читателю...

Я написала слова «правильный», «безошибочный» — и запнулась. Уж слишком злоупотребляют у нас этими словами, уж слишком часто их... неправильно употребляют! «Поэзия — вся! — езда в незнаемое», — какие же «правила», «правильности» и «неправильности» могут быть узаконены при такой езде — рискованной, поисковой, разведочной — и кто же из образованных, душевно тонких людей сможет взять на себя смелость расставить дорожные знаки на пути в незнаемое? Но правила для езды в незнаемое все-таки существуют: это правила совести, отваги и правды — суровые и свободные правила партийной, ленинской литературы. И Твардовский придерживался этих правил на всем своем десятилетнем трудовом пути.

Он сам говорит об этом в одной из самых взволнованных глав поэмы — в главе, посвященной трагедийной судьбе друга своего детства:

...Мне правда Партии велела  
Всегда во всем быть верным ей,  
С той правдой малого разлада  
Не понесет моя строка.  
И мне свое исполнить надо,  
Чтоб в даль глядеть наверняка.

Более десяти лет назад начали мы вместе с поэтом пути сквозь дали — от Москвы до Владивостока географически, от самого начала пятидесятих годов вплоть до наших дней исторически и, так сказать, автобиографически.

Поэт отправлялся в путь, когда в пламени напалма обугливались селения далекой Кореи,— да, давно дело было, давно... Но что это? Мы читаем стихи о событиях одиннадцатилетней давности, а в лицо нам немолимо летит ветер сегодняшнего дня:

Что ж, или тот урок забыт,  
И вновь, под новым только флагом,  
Живой душе война грозит,  
Идет на мир знакомым шагом?

Ну скажите теперь, что это не про интервенцию на революционную Кубу, не про «холодную войну», разжигаемую империалистами, не про то, что душитель Ленинграда Ферч сделан в ФРГ генеральным инспектором бундесвера?

И, чуждый жизни, этот шаг,  
Врываясь в речь ночных известий,  
У человечества в ушах  
Стоит, как явь и как предвестье,  
С ним не забытья, не уснуть,  
С ним не обвыкнуть и не сжиться,  
Он — как земля во рву на грудь  
Зарытым заживо ложится...

Нельзя без глубочайшего душевного волнения читать эти беспощадно точные и живые строки, нельзя не соотносить их со всем своим сегодняшним душевным состоянием в связи с мировыми событиями.

И это произвольное мое сопряжение далековатых понятий,— это означает глубочайшую современность поэмы Твардовского, в частности и первой главы, хотя она и написана одиннадцать лет назад по поводу определенного тогдашнего события. Человечность, трепет живой человеческой души превратили преходящую злободневность в длительное служение стиха современности; стихи о локальной войне в Корее остались на духовном вооружении сегодняшних борцов за мир на нашей планете Земля.

И здесь, поскольку не пишу я ни научного труда о поэме «За далью—даль», ни даже толковой критиче-



ской статьи, позволю себе на мгновение отвлечься, обратясь к другому труду Твардовского.

Вот, начиная с 12 апреля, я, как все люди на Земле, неотрывно вглядывалась в портреты нашего первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Не отходила по мере сил от телевизора, и, слушая этот обыкновенный и светлый голос, смекалистые, иронические и тонкие, по-настоящему умные ответы его иностранным корреспондентам, глядя на глаза, на улыбку, на всю повадку первого нашего звездоплывателя, я все старалась вспомнить: кого же он мне напоминает? Ну невероятно на кого-то похож, даже не то чтобы внешне, а именно всей своей повадкой!

И вдруг вспыхнуло в сердце: да ведь он на молодого Васю Теркина похож! «Настоящему»-то Василию Теркину уже совсем под пятьдесят, может, и одышка у него появилась, может, и погрузнел он слегка или больше чем надо,— а этот, космонавт наш, именно на молодого Теркина похож. На того, кто боролся один на один со Смертью, кто в минуты самого большого «сабантуя» мог поддержать товарища веселой шуткой, на того, кто, пройдя сквозь тягчайшие муки войны, все же чувствовал некую свою вину перед исстрадавшейся Родиной, всегда человеческого, доброго, щедрого, с русской лукавинкой, всегда — прежде всего — находящегося в ответе за судьбы и пути народа и знающего, что ведет бой «не ради славы, ради жизни на земле».

И еще раз скажу: нет, не ставлю я знака равенства между Василием Теркиным и Юрием Гагариным; мне дорого их родство, и думаю, что Юрий Алексеевич не будет этим недоволен. И уж если мы говорим, что подвиг Гагарина историей своей и трудами подготовил весь наш народ, то смею утверждать, что в великой этой подготовке — в формировании характера и души нового человека — наша советская поэзия принимала участие самое активнейшее! Нередко поругиваем мы, поэты, друг друга, часто слышим упреки от читателей, но оглянитесь в эти необыкновенные апрельские дни не на частности, а на весь путь, пройденный от Октября до сегодняшних дней нашей мужественной, доброй и щедрой советской поэзией,— какой огнистый, какой чистейший поток пронесется перед мысленным нашим взором, поток, который бле-

щущими живыми струйками прорвался к сердцу народа, чтобы омыть его, согреть, осветить, формировать его так, как это может только поэзия!

Нет, не отстала и не отстанет наша советская, социалистическая поэзия от первого полета человека к звездам; и поэтические труды Александра Твардовского, в особенности же последний труд — поэма «За далью — даль», — одно из убедительнейших доказательств тому!

Много, очень много будут писать об этой поэме, и я тоже, несомненно, еще буду о ней писать. Потому что уж очень многое дорого мне в этом поэте и в этой поэме, рядом с которой я шла по жизни десять последних своих, перенасыщенных горем и радостями лет.

Особенно дорога мне в этой поэме необычайно возмужавшая личность поэта, обретшая проникновенную мудрость и устойчивую (точнее, по-морски — остойчивую) гражданскую страсть.

Еще в «Василии Теркине», разговаривая с читателем о себе, Твардовский писал:

И скажу тебе, не скрою,—  
В этой книге, там ли, сям,  
То, что молвить бы герою,  
Говорю я лично сам.  
Я за все кругом в ответе,  
И заметь, коль не заметил,  
Что и Теркин, мой герой,  
За меня гласит порой.

В поэме «За далью — даль» автор с первых же строк — главный герой поэмы. Он пишет о себе, про свой путь на Дальний Восток, про свой жизненный путь, он размышляет страстно и строго, он делает философские обобщения относительно времени, искусства, труда — и все это излито в стихах совершенных, в ямбах, как бы «дробящих камень», в стихах очень возмужавших, новых для поэта. Чехов где-то говорил, что писатель растет до тех пор, пока у него душа растет. Счастье Твардовского именно в том, что непрерывно растет его душа, полнозвучно и отважно откликаясь на все главные, магистральные события народной жизни, на действия вожака народа — Коммунистической партии. Потому все, что он пишет о себе, важно и значительно для всех.

А потому и в книге этой —  
Признаться, правды не тая,—

Того — другого — званья нету,  
Всего героев —  
ты да я...—

говорит поэт, обращаясь к читателю-народу, и добавляет тут же:

Что горько мне, что тяжело было  
И что внушало прибыль сил,  
С чем жизнь справляться торопила,—  
Я все сюда и заносил.

А «заносил» А. Твардовский в свою поэму-дневник многое.

Я жил, я был — за все на свете  
Я отвечаю головой.  
Нет выше долга, жарче страсти  
Стоять на том  
В труде любом!  
Спасибо, Родина, за счастье  
С тобою быть в пути твоём.

Ну как же не соотнести эти строки с благодарностью Юрия Гагарина Родине, пославшей его в путь к звездам?

Александр Твардовский — в полном расцвете душевных и творческих сил своих. Он готов к новому поэтическому подвигу. Он непременно совершит его.

*«Литература и жизнь»,  
1961, 26 апреля.*

## **СТО СОРОК СОЛНЦ...**

Если меня спрашивают, особенно молодые, была ли я знакома с Маяковским, я твердо отвечаю (и с каждым годом все тверже):

— Конечно. И очень даже хорошо.

И видя, как тут же вспыхивают в глазах вопрошающего искры изумления и восторга, тороплюсь добавить:

— Но только не так, как вы думаете... Чай я с ним вместе никогда не пила, при встрече мы друг с другом не здоровались, даже если я видела его совсем рядом, как во время его выставки в Доме писателей на Фонтанке, потому... ну, просто потому, что мы не были знакомы лично... Но разве быть знакомым с писателем —

это обязательно распивать с ним чай? Да в особенности с таким гигантом! Он был и остался для меня, как для всего нашего поколения, больше, чем мог бы быть самый близкий знакомый. Не собеседником за чайным столом, не спутником по прогулкам, а духовным вожаком, властителем дум... Как же мне сказать, что будто бы я его не знаю?

Но если я начну подробнее вспоминать все вечера — в университете, в Доме учителей на Мойке, в Доме писателей на Фонтанке, где я его видела и слушала,— воспоминания мои, наверное, будут очень и очень похожи на воспоминания моих современников и ровесников — тогда молодых поэтов, рабфаковцев, студентов, заводских комсомольцев,— будут похожи не только по внешне зачатлевшимся событиям этих встреч, но и по немедленно оживающему (как тогда!) внутреннему своему состоянию, по тому грозному, счастливому, знобящему взлету, который каждый раз, когда он читал, овладевал душами нашими.

И если бы я стала говорить о его гибели, тоже сказала бы прежде всего о неординарном, но об едином чувстве, охватившем тогда нас, ленинградских студентов, да, вероятно, и всю молодежь. Эта смерть пронзила нас, как огневое ранение, но то было ранение навылет, и рана осталась чистой и почти тут же закрылась: мы просто не поверили в смерть Маяковского — он остался с нами, в нас — живой и отважный. Это вовсе не значит, что мы не испытывали боли недоумения и горя. Я решила, что обязательно поеду в Москву проводить его, и ребята, комсомольцы нашей группы, одобрили это и собрали мне денег на дорогу — только на билет: на цветы не хватало...

Но зато они говорили:

— Поклонись Владим Владимычу за всех нас... Хорошенько поклонись, по-комсомольски...

И я поехала в Москву, и стояла в почетном карауле у ног Владимира Владимировича в свежееотглаженной юнгштурмовке, в портупее, с кимовским значком на груди,— стояла за всех наших ребят с филфака и поэтому изо всех сил старалась не плакать.

И все-таки у меня есть одно воспоминание о нем, когда я увидела и услышала его таким, как видел и слышал его лишь один человек, рассказавший нам об этом.

Мы — это были Анна Андреевна Ахматова и я. Уже кончались белые ночи, уже был вечер в небольшом и дремучем саду бывшего Шереметевского дворца — «Фонтанного дома», самого, кажется, старого в Ленинграде. Мы сидели обе задумавшись, молча. И вот неожиданно раздался звонок, и в комнату порывисто вошел уже совсем пожилой, но весь какой-то легкий, почти стремительный человек невысокого роста, с профилем тоже легким и островатым. Анна Андреевна познакомила меня с ним — это был владелец известного в свое время в 1911—1916 гг. артистического погребка «Бродячая собака» Борис Пронин. Вернее, давно бывший владелец, а ныне — то есть тогда, в сорок первом году, — артист театра имени Пушкина на выходных ролях. Не могу не сказать тут же, что почти в каждой статье о Маяковском или работе, где упоминается «Бродячая собака» и Борис Пронин, о нем говорится почти в пренебрежительных тонах, в лучшем случае — этак барски снисходительно, и это явная несправедливость. Я мало общалась с Прониным после нашего знакомства — буквально чуть ли не через неделю наступила Отечественная война, театр эвакуировался, а после возвращения в Ленинград Пронин прожил недолго. Но и за это краткое знакомство он произвел на меня впечатление человека живого, умного, а главное — безгранично влюбленного в искусство, так влюбленного, так преданного ему, особенно поэзии, что дай бог любому нашему администратору любого Дома писателей или композиторов!.. А в тот вечер он меня прямо покори́л. Они с Ахматовой не делились очень долго, и, разумеется, сразу же понес их поток совместных воспоминаний о тех столь далеких годах и днях, о людях, многих из которых не было уже ни в Ленинграде, ни на свете. Я слушала, как говорится, во все уши. Ведь Ахматова — поразительный, очень точный и своеобразный рассказчик и собеседник, да и Пронин оказался рассказчиком на редкость живым, веселым, много помнящим.

— А помните, Анна Андреевна, как свистали однажды в свои «комоды» эти «фармацевты»?!

— Они свистали не однажды, — уточнила Ахматова. — Особенно они буйствовали в ту ночь, когда в «Бродячей собаке» впервые выступал Маяковский.

— Почему «фармацевты»? — удивилась я.— И почему «комоды»?

— Мы называли так... ну, буржуев, что ли,— пояснил Пронин.— За право отужинать среди знаменитых поэтов, артистов, художников мы брали, надо признаться, с них большие деньги,— на что и существовал этот в сущности литературно-артистический клуб. Но жаловали мы их не очень. Почти на сто процентов это были самые махровые мещане... Они иногда приходили к нам и в Большой драматический на пьесы Блока с комодными ключами, чтоб удобней было освистать то, что им, видите ли, не по вкусу...

Мы все засмеялись.

— А это все-таки потеха,— заметила я.— Солидный, уважаемый господин, какой-нибудь там либеральный адвокат, идет поглядеть на обожаемых знаменитостей и берет на всякий случай ключ от комода, чтоб их же освистать...

— То, что было в тот вечер, когда впервые выступал Маяковский... это не поддается описанию! Меня как владельца погребка чуть не убили...

— Но ведь он же читал тогда бог знает что... с точки зрения «фармацевтов»...— добавила Ахматова.— Это было во время войны, кажется, в начале пятнадцатого года. Он читал стихи «Вам!».

— Да, я помню,— вскакивая, вскричал Пронин,— я даже первую строфу помню... Пойдите, вот:

Вам, проживающим за оргией оргию,  
имеющим ванную и теплый клозет!  
Как вам не стыдно о представленных к Георгию  
вычитывать из столбцов газет?!

А дальше еще хлестче! Про губы, вымазанные в котлетах...

— Они орали, а Маяковский стоял на эстраде совершенно спокойно и, не шевелясь, курил огромную сигару... Да. Вот таким я и запомнила его, очень красивым, очень молодым, большеглазым таким среди воющих мещан...

Анна Андреевна помолчала и очень тихо прочла четверостишие из стихов своих о Маяковском, написанных недавно:

И уже отзывный гул прилива  
Слышался, когда ты нам читал:  
Дождь косил свои глаза гневно,  
С городом ты в буйный спор вступал...

Мы помолчали, и веселое оживление и смех, с которых началась эта встреча, вдруг сменились некой общей грустью — светлой и тихой.

— А мне он больше всего запомнился в Подмосковье,— тоже негромко начал Пронин.— Я там недалеко от него жил, тоже на даче. Наступал уже вечер, я вышел в луга погулять, там луга такие чудесные. Жаркий был вечер, но солнышко уже готовилось садиться. И я пошел прямо на него, на солнце, а травы на лугах цвели так, что дух захватывало. Кажется, там тимофеевка цвела. И еще какая-то такая мохнатенькая-мохнатенькая трава, метелочки этакие, названия не помню. А луг был огромный, покатый, вернее, полукруглый, вроде пологого большого пригорка, ну замечательно было видно, что земля наша действительно круглая. И она вся под красным огромным садящимся солнцем, вот в этих красновато-сиреневых цветущих травах, вся как-то дымилась — это сплошь над лугом стояла пыльца... А похоже было, что это сияние от земли подымается... И вот я иду, слегка ослепленный этим невероятным солнцем, и вдруг как-то сразу из-за полукружия луга, на фоне огромного красного солнца, как будто снизу откуда-то, возникает огромная фигура Маяковского... И понимаете, он несет в слегка протянутой вперед руке большущее круглое красное яблоко... Он все выше становится на этой сияющей земле, вырастает, подходит ко мне, за ним пышет солнце, а он басит:

— Борис! Стой! Хочешь послушать, какие я стихи только что написал?

Я говорю:

— Конечно!

— Ну стой тогда тут. Слушай.

И, не выпуская из руки яблока,— а в другой, кажется, маленький такой блокнотик был,— стоя начинает греметь:

В сто сорок солнц закат пылал,  
в июль катилось лето.  
Была жара,  
жара плыла —  
на даче было это.  
Пригорок Пушкино горбил  
Акуловой горою..

Я стою, дохнуть боюсь... Вот уж он дочитывает — «светить, и никаких гвоздей — вот лозунг мой и солнца»... Спрашивает:

— Как?

Я только одно ответить смог:

— Ну-ну,— говорю...

Вот таким он запомнился мне — на круглой земле, а за ним огромное багрово-золотое такое солнце, и в руке это яблоко, тоже красное и огромное, в протянутой ладони.

Борис Пронин смолк, и мы долго молчали. В комнате уже были совсем сумерки. А у меня перед глазами так и стоял Владимир Владимирович, тот, которого я только что увидела.

Через несколько дней фашисты напали на нашу землю, на ее цветущие луга, на ее небо и солнце. Много, очень много других видений толпится теперь передо мною, после войны, после блокады Ленинграда... Но даже они не в силах затмить увиденного в тот далекий вечер Маяковского, он встал с нами рядом и даже как будто бы стал еще могучее и светлее — ведь и он воевал с нами. Зачем я не живописец? Зачем? Я бы обязательно написала Маяковского именно так: шагающего по круглой, светящейся пылью трав земле с лучшим, древнейшим плодом земным, всегда живого брата и соратника солнца...

*Ленинград*

*«Литературная Россия» № 29,*

*19 июля 1963 г.*

## **ВЕЧНОЕ ПЛАМЯ**

Даже в самую тяжкую пору войны — в 1941—1942 годах, когда многие наши города были захвачены врагом или осаждены, советские люди думали не только о том, как выстоять и победить, но и о делах и заботах послевоенных.

Думали и о будущих памятниках, о памятных орденах и медалях. Мы не могли не думать об этом. Они предназначены даже не столько для нас самих, сколько для поколений, идущих вслед за нами, они подсказываются желанием передать им свой трудный опыт и свою любовь к народу, партии и Родине.



Вспоминается, например, как у нас, в Ленинградском радиокомитете, в ту же тягчайшую зиму стало известно, что один старый мастер-гравер, напрягая последние силы свои, создал в гипсе модель ленинградского ордена и отослал ее в Москву, но вскоре умер. Многих наших поэтов эта история просто потрясла. И многие из нас написали об этом стихи. Я тоже в своей «Ленинградской поэме» описала этот орден, по рассказам, конечно. Вот каким он должен быть:

Колочей проволокой он,  
как будто бы венцом терновым,  
кругом — по краю — обведен,  
блокады символом, суровым.  
В кольце, плечом к плечу, втроем —  
ребенок, женщина, мужчина  
под бомбами, как под дождем,  
стоят, глаза к зениту вскинув.

И надпись сердцу дорога —  
она гласит не о награде,  
она спокойна и строга:  
«Я жил зимою в Ленинграде».

Эта мечта осуществилась еще до конца войны. Появилась медаль «За оборону Ленинграда». Но я привожу мои строки не с целью удивить читателей своей прозорливостью, но лишь затем, чтобы вызвать у них какие-то конкретные мысли, чтобы сообща обдумать, как наиболее ярко и достойно увековечить память павших героев и победителей, а также ныне здравствующих. Скоро исполняется двадцать лет, как наш народ и наши друзья победили гитлеризм, но, увы, с каждым годом все меньше становится тех, кто завоевывал мирную жизнь для поколения молодых.

Быть может, я слишком много говорю о Ленинграде, но это не только потому, что люблю его беспредельно и благодарно. В нашей стране Ленинград — город самых своеобразных и многочисленных памятников, и то, как хранят жители невских берегов память о своих героях, может стать примером для жителей многих советских городов и сел, где шли бои за Родину.

Есть у нас памятник, где главные компоненты архитектуры, как говорится, несущие его, — это почти не поддающееся воображению пространство с огромными плоскими братскими могилами и очень высокий не-

бесный купол, легко и мощно осеняющий его, опрокинувшийся над ним,— это Пискаревское мемориальное кладбище. Уже стало у нас традицией каждый год в День Победы возлагать на эти братские могилы (их зовут у нас «холмами», и это, пожалуй, правильно) венки и склонять у ног статуи Матери-Родины знамена. Задолго до начала церемонии собираются сюда трудящиеся, а по городу в открытой военной машине в сопровождении боевых знамен дивизий, защищавших Ленинград, движется трижды орденосное знамя города Ленина. Знамя и цугом сопутствующие ему знамена объезжают весь город, и те, кто сегодня не на Пискаревском, смотрят на него, смотрят с любовью, с печалью, с вспыхнувшим гневом, с гордостью, со слезами. Потому что все в городе знают — эти знамена едут на Пискаревку. И знамена, вобрав в себя все эти взоры и трепет сердец ленинградцев, склоняются перед теми, кто отдал свою жизнь за колыбель революции.

А недавно к памятным дням окончательной ликвидации блокады Ленинграда был открыт мужественный, строгий памятник над могилами павших в 1941—1943 годах ленинградцев на Серафимовском кладбище...

Вы скажете мне: а не много ли о павших и надгробиях над ними?

Нет!

В разные сроки, но с неизменным вдохновением надо решить, как воздать должное подвигам народных героев в городах и селах. Пусть эти памятники будут скромными, но впечатляющими обелисками. Вечный огонь нашей памяти высечет на их камнях незабвенные имена павших. Так уже делается во многих обозначенных на карте маленькими точками, даже самых малоприметных местах, но которые в военных сводках звучали как символы жестоких и мужественных схваток с врагом.

Жители небольшого села Сомина Ленинградской области решили на свои средства воздвигнуть памятник, на который занести имена погибших односельчан. Жители ряда сел Лодейнопольского района установили памятные доски героям в сельских клубах и Домах культуры. Кстати, на многих заводах Ленинграда есть такие же доски.

Мне кажется, что и в музейных экспозициях прежде всего необходимо точно, достоверно воскресить то, что не смогут воспроизвести ни монументы, ни символические фигуры, ни отдельные документальные материалы. Продуманно, разумеется, с большим отбором, нужно воспроизвести невероятный, уже почти легендарный быт того времени — ну, например, квартиру рядового минчанина и волгоградца, москвича и ленинградца — блокадную квартиру с «буржуйкой», труба которой выведена прямо в окно, закрешенное бумажными полосками, и почти рядом с этой квартирой — землянку бойцов зенитной батареи на Марсовом поле, около камней, на которых еще с первых дней революции начертано: «Не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах благодарных потомков»... Да, такой показ, абсолютно реалистический, прямо необходим рядом с высокими символическими обобщениями. О, какие потрясающие сцены можно оживить!

Я уверена, что не в размерах памятника заключается его величественность. Менее всего нужна нам здесь «мания грандиоза». Разве не прекрасны скромные источники — памятники в честь павших героев, установленные в Армении, в Грузии? Они трогают сердца своей слиянностью с окружающей их природой, своей естественностью и даже, если хотите, их практической пригодностью для повседневной человеческой жизни. Вечно живая, чистейшая, сверкающая струя воды, утоляющая жажду путника, — разве это не достойное напоминание о вечно живых героях Отечественной войны?!

И тут в заключение мне хочется сказать о том, что и книги, и театральные постановки в силах донести эту историю до наших современников, до молодежи, до детей, и в особенности живые встречи с живыми людьми — участниками Великой Отечественной войны, армейцами и горожанами или героями трудового военного тыла и рабочей молодежью на этом предприятии... На днях у нас, ленинградских писателей, в Доме имени Маяковского была встреча со знаменитыми «красновскими усачами» — бывшими бойцами и командирами гвардейской дивизии, героями Невской Дубровки. Здесь были писатели П. Ойфа, П. Петунин и другие, воевавшие вместе с дивизией, был художник гвардии лейтенант С. И. Левенков, были отец и сест-

ра гвардии старшего лейтенанта Владимира Нонина, погибшего в 1941 году при взятии Вороньей горы,— я тогда же написала о нем небольшую поэму «Памяти защитников». Удивительно дружеской, взволнованной была эта встреча! Это была как бы некая ожившая панорама, хотя многие участники встречи с трудом узнавали друг друга — прошел-то ведь со дня победы под Ленинградом двадцать один год!

И почти каждому выступающему в зале, если он не мог вспомнить, тут же подсказывали имена рядовых и командиров, номера частей, даты и даже часы тех или иных событий. Так шла живая, боевая перекличка, и всем хотелось рассказать как можно больше, рассказать что-то самое запечатлевшееся. И я не могла оторвать глаз от нескольких совсем молоденьких солдат, сидевших в четвертом ряду от сцены,— так полыхала история славной дивизии на юных их, отважных лицах... И все они — их было пять или шесть — так напоминали мне чудеснейший портрет Володи Нонина, портреты других молодых гвардейцев, экспонированные на выставке С. И. Левенкова в залах Дома писателей! Только... многих-многих из них сейчас уже нет в живых, они пали смертью храбрых, но эти живые, внимающие истории дивизии, понесут их славу, их мужество, их любовь к родине все дальше в жизнь...

#### ПРОПУСК № 23637

Какая из реликвий Великой Отечественной войны и блокады мне всего дороже? У меня их множество, и трудно выбрать какую-нибудь самую памятную. Но некоторые из них я назову все-таки.

Вот предо мною пожелтевший, когда-то бывший голубоватым пропуск № 23637 на право прохода и проезда в город Ленинград. Выдан на основании § 90 приказа по гарнизону города Ленинграда от 11 ноября 1941 г.

Пропуск этот служил мне для прохода на завод «Электросила», где я в это время вела кружок марксизма-ленинизма, а «Электросила» считалась уже фронтом. Нередко наши занятия, которые я вела от-

нюдь не по программе, были прерываемы сиренами воздушной тревоги, и, покидая здание, мы выбежали тушить зажигалки.

По этому пропуску я ходила не только на «Электросилу», но ездила в 7-ю Отдельную армию и в другие армии и дивизии, стоявшие в черте и за чертой нашего города. Он также служил ночным пропуском... Впрочем, ночным пропуском служили еще роскошнейшие пригласительные билеты на празднование 25-летия Советской власти...

Но этот скромный пропуск храню и берегу я действительно как реликвию.

Я берегу также автограф, написанный рукою Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — черновик его выступления по радио в сентябре 1941 года, где он рассказывает о том, как пишет Седьмую симфонию. То, что я держу сейчас в руках этот подлинник, наполняет меня, как и два десятилетия с лишком назад, глубочайшим волнением и уважением перед его автором. Тем более, что на оборотной стороне подлинника редактором отдела радиокомитета записан перечень передач на ближайшее время:

1. Организация отрядов и уличные бои.
2. Связь на улицах.
3. Борьба с танками путем бутылок.

И так далее.

А разве нельзя считать реликвией билет и программу на премьеру Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в 1942 году в Ленинграде? На последней странице программы записан весь состав симфонического оркестра, впервые исполнявшего симфонию в Ленинградской филармонии.

Еще один документ. Это запись на странице, вырванной из какой-то конторской книжки, написанная под диктовку Анны Андреевны Ахматовой и выправленная ее рукой, — ее выступление 26 сентября 1941 года по радио, произнесенное из квартиры Михаила Михайловича Зощенко.

Но вернемся к первоначальным реликвиям и, так сказать, к более вещественным.

Однажды осенью, пользуясь пропуском на право прохода и проезда в город Ленинград, я шла на очередное занятие своего кружка на «Электросилу», в это время начался неистовый шрапнельный обстрел (ведь

«Электросила» находилась примерно в четырех с небольшим километрах от переднего края). Обстрел был свирепым. И вот перед ногами моими упал осколок шрапнели. Упал у самого носка. Когда я его подняла, он был еще теплый. Я не очень осведомлена в военном деле и в вооружении, но на этом остром осколке с нарезкой запечатлен № 935. Не очень весело шутя, я говорю, что это номер моей несостоявшейся смерти.

И, наконец, подкова, найденная мною около Херсонеса и описанная в «Стихах о Херсонесской подкове». Вот несколько строк:

Есть у меня подкова, чтоб счастливой —  
по всем велениям примет — была.  
Ее на Херсонесе, на обрыве,  
на бывшем поле боя я нашла.

Она не прибита у меня у порога, но висит над письменным столом, рядом с настенной вазочкой, в которой хранится пучок засушенных растений, набранных на еще не затопленном участке коммуны «Первороссийск» несколько лет назад...

*Ольга Берггольц*

*Литературная газета № 24, 1967 г., 21 июля.*

#### ПОСТСКРИПТУМ

*«Литературная Россия»,  
1968 г., 23 февраля, № 9.*

*Накануне полувекового юбилея Советских Вооруженных сил редакция «Литературной России» обратилась к ряду писателей с просьбой рассказать читателям о том, какое значение в их судьбе имела Советская Армия, рассказать о самом памятном событии в их военной биографии.*

#### АРМИЯ

Мне скажут — Армия...

Я вспомню день — зимой,  
январский день сорок второго года.  
Моя подруга шла с детьми домой —  
они несли с реки в бутылках воду.

Их путь был страшен, хоть и недалек.  
И подошел к ним человек в шинели,  
взглянул — и вынул хлебный свой паек,  
трехсотграммовый, весь обледенелый.  
И разломил, и детям дал чужим,  
и постоял, пока они поели.  
И мать рукою, серую, как дым,  
дотронулась до рукава шинели.  
Дотронулась, не посветлев в лице...  
Не ведал мир движенья благодарней!  
Мы знали все о жизни наших армий,  
стоявших с нами в городе, в кольце.  
...Они расстались. Мать пошла направо,  
боец вперед — по снегу и по льду.  
Он шел на фронт, за Нарвскую заставу,  
от голода качаясь на ходу.  
Он шел на фронт, мучительно палим  
стыдом отца, мужчины и солдата:  
огромный город умирал за ним  
в седых лучах январского заката.  
Он шел на фронт, одолевая бред,  
все время помня — нет, не помня — зная,  
что женщина глядит ему вослед,  
благодаря его, не укоряя.  
Он снег глотал, он чувствовал с досадой,  
что слишком тяжелеет автомат,  
добрел до фронта и попал в засаду  
на истребленье вражеских солдат...  
...Теперь ты понимаешь — почему  
нет Армии на всей земле любимей,  
нет преданней ее народу своему,  
великодушной и непобедимей!

Стихотворение написано в 1942 году в Ленинграде.  
Ничего сегодня не могу прибавить к его содержанию.  
Или — всю жизнь.

Судьба нас, горожан,— и в частности моя — была неразлитна с судьбой Армии, которая стояла «с нами в городе, в кольце». Солдаты отдавали ребятишкам нашим хлеб (а норма их была страшная — 300 г. без приварка), мы им читали стихи, или, как блистательная Софья Преображенская, пели песни. Помню, она исполняла арию Марфы-раскольницы из «Хованщины». После концерта солдаты нам стыдливо совали пряники, видимо, хранившиеся чуть ли не со времен «Хованщины», настолько они были одеревенелыми.

— Ты сама съешь или детям повезешь? — спросила я Софью.

— Конечно, детям.

— Ну, я тоже... мужу.

Я приехала домой с этим ужасным засохшим пряником и увидела, что мой муж Николай Молчанов лежит весь перебинтованный, с разбитым лицом. Пока мы с Преображенской выступали в расположении 42-й Армии, где комиссаром был товарищ Хамармер, в нашем районе была очередная бомбежка, упала крупная бомба. И Коля, который, как всегда, стоял на крыше, был ранен...

...Об Армии, о нашей драгоценной Армии, к которой я имею честь принадлежать (тем более, что недавно вручили мне значок гвардейца), — мои лучшие стихи, чувства и мысли. Это гвардия, которая рвала блокаду, располагаясь на Невской Дубровке, возглавляла прорыв блокады.

Благодарю нашу Армию, люблю ее и кланяюсь ей земным поклоном.

Женщины мира, последуйте мне.

Наша Армия — это Армия мира. Я бы еще прибавила, что это величайшая Армия на свете, — наши смелые, веселые ребята, наша слава, наше знамя!

Спасибо вам.

*Ленинград*

## ЩЕДРЫЙ ТАЛАНТ

*К шестидесятилетию А. Твардовского*

Никогда не подозревала, что о поэте, таком большом, своеобразнейшем, а главное, очень любимом, так трудно писать. Правда, я неоднократно писала о Твардовском, но с каждым разом чувство трепета перед его живым, напряженно движущимся, крылато развертывающимся талантом росло и росло.

Правда и простота — вот те прямые, кратчайшие и смелейшие пути, которыми идет Александр Твардовский к своим читателям, к народу. Правда, которой насыщено творчество Твардовского, не имеет ничего общего с пресловутым «жизненным правдоподобием», она настолько верна и смела, что с гордостью отмечает от себя какое бы то ни было дешевое поэтическое фрондерство.



Поэт правдив и тогда, когда пишет о нелегком пути крестьянина Моргунка к колхозу. Он не скрывает его колебаний, сомнений, и тем убедительнее финал поэмы. В стихах и поэмах Твардовского о войне нас, его современников, больше всего поражала и воодушевляла именно эта большая правда. Никогда не забуду, как в середине 1942 года, приехав в блокированный Ленинград, Александр Александрович Фадеев читал нам тогда наизусть еще неопубликованные главы из «Василия Теркина». Ленинград с трудом оправлялся после своей трагической первой блокадной зимы. Фашисты рвались к Сталинграду. И в это время звучат суровые и мужественные строки рассказа Теркина перед жестоким боем:

Как с немецкой, с той зарецкой  
Стороны, как говорят,  
Вслед за властью за Советской,  
Вслед за фронтом шел наш брат.

Шли бойцы за нами следом,

Покидая пленный край.  
Я одну политбеседу  
Повторял:

— Не унывай.

Эти исполненные горечи слова были победительны, они не оставляли сомнений в нашей неприменной победе над фашизмом. Мы записали тогда с голоса Фадеева и наизусть заучили и повторяли все время слова из этой политбеседы Василия Теркина:

Не зарвемся, так прорвемся,  
Будем живы — не помрем.  
Срок придет, назад вернемся,  
Что отдали — все вернем.

И, несмотря на всю боль этой главы, она вдыхала в нас твердую, безграничную уверенность, что мы обязательно выстоим. Вместе с Василием Теркиным мы мечтали о мире, о его простой и полной обыкновенных забот, тревог и труда жизни, когда можно будет «взять топор, шинельку сбросить, нарубить хозяйке дров». О, как долго было еще до этих дней... Как радовались мы, когда в Ленинград прибыли центральные газеты с главами из «Василия Теркина». В Ленинград — значит, и в армии, оборонявшие его. Уж эти-то

газеты бойцы на раскурку не пускали! А Теркин сразу же стал живым, вышел из книги на передовую. В одной из военных частей меня как-то спросили: «А вы знакомы с Василием Теркиным?» — «Конечно, знакома». Я думаю, что имела право так ответить, потому что была давно, еще с начала тридцатых годов, знакома с Александром Твардовским, а он перелил в Василия Теркина всю свою негромогласную, но глубокую любовь к Родине и партии.

Поэт, отдавший такую массу глубинных душевных сил своим военным стихам и поэмам, когда наступил желанный мир, пишет неустанно и вдохновенно. Это талант щедрый. Он создает такие замечательные стихи, как «Я убит подо Ржевом...», «В тот день, когда окончилась война...», «22 июня 1941 года», пишет поэму «Дом у дороги». Верность памяти защитников Родины не изменяет поэту ни на миг. Эта память о друзьях по жизни и по бою берет горизонт за горизонтом, с особой силой развертываясь в поэме «За далью — даль» и в сегодняшних блистательных лирических стихах Александра Трифоновича. И в этих стихах он остается верен себе, верен главным принципам своего творчества — правде и простоте.

Это ничем не измеримая сила, и ею владеет только тот поэт, чье сердце открыто настежь для всего трудного, радостного и прекрасного, чем живет весь народ. Многолетняя поэтическая работа — это воистину трудовой подвиг.

Я знаю, что в день своего шестидесятилетия Твардовский получит огромное количество приветствий, пожеланий и благодарностей от друзей, читателей и соратников. Мне хочется присоединить к ним свой голос. Благодаря вниманию и дружеской помощи Александра Трифоновича рождались книжка моих стихов «Узел» и повесть «Дневные звезды». И не только мне — многим ныне известным писателям помогло щедрое сердце большого человека и поэта Александра Твардовского.

Я рада, что на свете есть поэт большого таланта — Александр Твардовский. Он встречает день своего рождения в расцвете своих поэтических сил.

*«Известия»,  
1970, 23 июня.*

## СВЕТОНОСНАЯ СИЛА

*К 150-летию со дня рождения Н. А. Некрасова*

«Мой Некрасов», «мой Лермонтов», «наш Блок» — так пишут сейчас все чаще. И это, в сущности, справедливо. Каждый великий поэт входит в жизнь всего общества и в жизнь каждого отдельного человека по-разному, и не один раз, а несколько, и тоже каждый раз — по-разному. Так было и так до сих пор происходит и со мною, причем началось это давно, с самого моего детства. Оглушающе и ослепляюще вдохновенным, хотя и неосознанным познанием всего сущего как живого обрушилась на душу мою поэзия Пушкина; пафосом великого одиночества и в то же время сопричастности своей с вечно взволнованным миром врезался в душу Лермонтов; и удивительным проникновением, вернее, ощущением родной русской земли, родного русского народа проник в сознание Некрасов.

Ни один вновь принятый душой поэт не вытеснял предыдущего, хотя некоторое время главенствовал, вероятно, по детской потребности всегда и во всем определять, «кто главнее». И никогда общение с каждым включенным в сознание поэтом не ограничивалось первым впечатлением, первым его восприятием, но возрастало, обогащало и обогащалось своей и окружающей жизнью. Так было и с Некрасовым. О, конечно, сначала был «Дедушка Мазай» с его умильными, милыми зайцами, были отрывки из «Мороза, Красного носа», но ощущение поэзии Некрасова в целом приходило медленнее и как-то иначе, чем других поэтов...

Это было во второй половине двадцатых годов, в 1925, 1926, 1927 годах. Республика Советов только оправлялась от немыслимой интервенции, от апокалипсической разрухи, только-только приводила в порядок свои ржаные и пшеничные поля, свои железные дороги. Я была тогда девчонкой из-за Невской заставы, и мы — сестра, я и мать — ездили не на дачу, а в деревню Новгородской губернии. Ездили на поезде самом дешевом, на «максиме», который тащился до станции Торбино чуть не сутки, а от станции до деревни — на лошадях, на подводе. Эта была деревня двадцатых годов, о которой мало что знают теперешние читатели, особенно молодые. Прошли бури первых революцион-

ных лет, и деревня как-то стабилизировалась, за-каменела в облике, который, пожалуй, был ближе к Некрасовской деревне, чем к нынешней, и между тем (это ясно теперь) таил в себе все нынешнее, все будущее...

Здесь, среди убогих деревень со странными названиями Пластицы, Самокража, Вшивый Бор, среди целого скопища высоких сопок — старинных русских курганов, среди ржаных, гречишных и льняных полей, общаясь ежедневно с крестьянами, а попросту говоря, живя в их избах, слушая рассказы деда Анемподиста о крепостном праве, которое он отлично помнил (а жил он в деревне Оленино, недалеко от темно-синей Рюриковой сопки, где, по преданию, погребен был князь Рюрик), я поняла одно.. Живя среди этого, внимая всему, что говорилось, что замечала вокруг, я почувствовала, что все дороже становилась для меня поэзия Некрасова, и горечь ее, и еще не осознанная целиком мною, огромная, внутренняя, истинно богатырская русская сила...

Но все это было, я бы сказала, предчувствием Некрасова. Он начался и захватил своей иссеченной музой, своей «карающей лирой», музой мести и печали, великой жадной единения и служения народу, а особенно — поэмой «Кому на Руси жить хорошо» во время собственной моей и моего поколения горючей жажды подвига и самоотречения во имя революции. Это совпадало с завистью к успешным родиться и повоевать во имя революции. Это было начало молодости, время вступления в комсомол, время, как я вижу сейчас, интенсивнейшей духовной жизни, слившейся с интенсивной подготовкой страны к крутым переменам своей судьбы.

О, как я читала, как вбирала в себя одну из величайших русских поэм, особенно разделы ее — «Крестьянка», «Пир — на весь мир», как врезались в душу ее слова! И мне совершенно не кажется удивительным, что это чтение «Кому на Руси жить хорошо» совпало для меня и многих друзей моих с открытием Блока, и Блок начался для меня не с таинственной и непонятной «Прекрасной Дамы», а с «Двенадцати» и «Скифов». Это совпало также с первым трепетом перед Есениным и с приятием неистового Маяковского. Мо-

стом к ним от Пушкина и Лермонтова, мостом сияющим и грозным, стал для меня именно Некрасов...

Незадолго до войны мужем моим Николаем Степановичем Молчановым была задумана работа «Пушкин — Лермонтов — Некрасов — Блок — Маяковский». Мы много говорили об этом. Работа не состоялась,— Молчанов погиб в Ленинграде в 1942 году, зимой...

Для меня в объединении этих имен драгоценны непрерывное единство, преемственность и непрестанное обогащение гражданственности поэзии.

Александр Пушкин первый создал новую гражданскую поэзию, сделав политическую тему личной лирической темой, одной из главных тем своей поэзии и жизни. Его путем пошли и Лермонтов, и Некрасов, и Блок, и Маяковский. Разумеется, каждый по-своему, в меру личной гениальности, соответственно с духовными запросами, задачами, идеями своего времени... Мы, советские поэты,— наследники этого безграничного национального сокровища. Беречь его, пропагандировать и в меру сил своих приумножать — задача каждого из нас, больше того — условие нашей творческой жизни.

Я счастлива, что великие эти традиции остались живы среди нашей поэзии. Перечитывая, вспоминая, а вернее, не просто вспоминая, а ощущая ритмы «Кому на Руси жить хорошо», я вижу, что это стихия свободная, не невесомая, но легчайше сама себя несущая, почти не осязаемая материально, то есть дело не в ритмах, метафорах, во всем, что можно оценить, что имеет меру и вес, но летящая эта форма неотделима от наполняющего ее смысла, воспринимается только свободной, светло скорбящей и светло радующейся душой... Я думаю, что достойным наследником этой свободно летящей поэзии, где стих блистательно переходит в чувство, в чувство теперешнее, сиюминутное, является прекраснейший из наших поэтов Александр Твардовский.

Лучшие стихи его и поэмы порождены богатырской светоносной полетностью стихов предыдущей поэзии, и, по-моему, главным образом — Некрасова...

Я так много хотела бы (и могла бы) рассказать о моем Некрасове, но время мое истекает. Вечная слава вечно прекрасной и вечно живой русской поэзии!

**ОЧЕРКИ РАЗНЫХ ЛЕТ**  
**ИЗ НЕИЗДАННОГО ВАРИАНТА АВТОБИОГРАФИИ**

...В это время мы оба входили в литературную группу «Смена», где я и повстречала Бориса Корнилова. Я с безумной робостью появилась в этом литературном объединении, которое считалось литературным объединением рабочей молодежи. Мы встречались не реже 2—3 раз в неделю в доме № 1 по Невскому проспекту, под самой крышей этого странного дома, который не пользовался тогда лифтом — видимо, лифт тоже считался буржуазным предрассудком. На седьмой этаж мы восходили без преднамеренного героизма и какого бы то ни было придыхания, и тут же начинали читать стихи и спорить. По-моему, я уже говорила о том, что у меня в то время были длинные золотистые косы. Кроме того, я приезжала на Невский, 1, напротив Адмиралтейства, тайком от бабушки, от папы и мамы и других родственников. Вот там я и увидела коренастого и низкорослого парнишку в кепке, сдвинутой на затылок, в распахнутом пальто, который независимо, с откровенным и глубочайшим оканьем читал стихи.

Дни мальчишки, вы ушли, хорошие,  
Мне оставили одни слова.  
И во сне я рыженькую лошадь  
В губы мягкие поцеловал.

Глаза у него были узкого разреза, он был слегка скуласт и читал с такой уверенностью в том, что он читает, что я сразу подумала: «Это Он (мой)». Это был Борис Корнилов, мой первый муж, отец моей первой дочери, человек, с которым мы разошлись за восемь лет до его трагической гибели в 1938 году и чья судьба и чья гибель до сих пор лежит на моей судьбе далеким и странным отблеском<sup>1</sup>. Прочитируем в его честь еще раз:

Чтобы по бледным заревам искусства  
Узнали жизни гибельный пожар.

---

<sup>1</sup> Едва появилась возможность, как Ольга Берггольд, с согласия матери и жены заключенного Бориса, вновь назвалась его женой и подала ходатайство с целью выяснения его судьбы. На ее имя (как жены) пришло извещение о гибели Б. Корнилова и его последующей реабилитации. Ольга с М. Берковичем собрала книгу стихотворений Б. Корнилова для Большой Библиотеки поэта, написала вступительную статью к ней — «Продолжение жизни» и прилагала немало усилий, чтобы вернуть его имя советской литературе. (От сост.)

Литературной группой «Смена» руководили Илья Садофьев, один из первых пролетарских поэтов, Виссарион Саянов, приезжал сюда Михаил Светлов в черном не то тулупе, не то кафтани, с огромным количеством сборок сзади, в общем, в наряде, похожем на длинную и громоздкую бабью юбку. Может быть, это называлось иначе, но мы об этом не задумывались тогда. У нас был Михаил Светлов, человек, может быть, впервые в нашем странном кружке прочитавший бессмертную свою «Гренаду». Но ведь мы же не знали тогда, что это гениально и что это бессмертно: об этом никто не может знать — ни читатель, ни народ, ни сам поэт...

Мы оба с Борисом Корниловым учились тогда в странном учебном заведении под названием Высший курс искусствознания при Институте истории искусств; оно помещалось в мрачном, как история смерти, особняке графа Зубова, расположенном напротив Исаакиевского собора.

Секретарем учебного комитета был Лев Успенский. Это было странное существо с огромнейшей головой и дикими глазами, которое могло столь пугать несчастных девушек, пришедших из-за Невской заставы, где дедушки и бабушки пытались удержать их на веревке в Иисуса Христа.

В институте любили молодого Бориса Михайловича Эйхенбаума, молодого Тынянова, молодого Виктора Шкловского, Соллертинского, конечно, который читал нам искусствоведение, он говорил в нос и ходил, ломая руки...

Борис Михайлович Эйхенбаум, молодой, изящный, как Буратино, читал нам о молодом Пушкине, Тынянов вел семинар «Неизвестные поэты пушкинской поры», Шкловский вообще говорил о чем придется, главным образом, о кино, о гениальности Эйзенштейна, Пудовкина, выпускавших тогда одну картину за другой. Шкловский начинал свои лекции так: «Знаете, что я вам скажу...» — и говорил так, что мы теряли начало речи, когда приближался ее конец.

В этом институте пытался учиться Борис Корнилов, тогда уже он был моим мужем, но чаще он уводил меня из института, мы садились возле Медного всадника и обнимались,

В эти дни в нашем Институте неоднократно выступали Эдуард Багрицкий (я ходила приглашать его от имени комсомольского актива), Иосиф Уткин, Маяковский. Поэты не пренебрегали нами, в то время как пролетарские писатели типа Чумандрина, Либединского и др. — пренебрегали. Они говорили про наш Институт: «нэповские недобитки», «эстеты», «формалисты» и... видимо, уже по возрастному состоянию мне даже не вспомнить всех тех пренебрежительных слов, которыми нас обзывали пролетарские ортодоксы.

Но между тем мы, комсомольская часть (нас было, примерно, 8 человек), проводили там диспуты. Так, мне было поручено провести диспут с одним «убежденным идеалистом» на тему: «Материализм или идеализм?» Мой оппонент до этого учился в институте Брюсова в Москве, и у него откуда-то из-за ушей и щек росли немислимые баки, но не капитанские, а философские. Ужасно сложно было мне овладеть тонкостями идеализма, но, несмотря ни на что, я одолела премудрости Лосского, предшествующих ему неофихтеанцев и даже — о! — неогегельянство и с грубостью комсомола доказать, что идеализм — вздор, подлежащий распылению.

После диспута все-таки с победой, одержанной мною, причем хочу отметить — не демагогически, а научно — я его не пугала, что его посадят, — ко мне подошел еще один неокантианец, примерно с такими же пучками волос, растущих из-под низовья щек, и, снизойдясь осмотрев меня с ног до головы как блоху, сказал: «Н-да... Книжонка Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», конечно, вздор, но вы, Берггольц, сделали из нее настоящее чудо». Для новых моих читателей хочу отметить, что мы тогда, как говорится, «закалялись в боях», то есть напрямую спорили с нашими идеологическими противниками.

И несмотря на то, что в нашем учебном заведении действительно училось довольно много нэпмановских сынков и дочерей, ходивших в туфельках без каблучков и чулках тельного цвета, остальное звено составляли дети пролетариев и полупролетариев, которым есть было совершенно нечего. Но напротив нас находился богатейший Дом Советов — нынешняя «Астория», — и мы, студком, куда входил Л. Успенский, установили очередь ходьбы в столовую Дома Советов. Там была



на каждом столе огромная стопка хлеба, нарезанного крупными ломтями, и на талончик выдавали полную тарелку борща (не буду говорить о его содержимом). Задачей, которую ставил студком в лице Л. Успенского, было как можно больше наворовать хлеба (это все нужно было для реконструктивного периода — для перехода к социализму). Задача состояла в том, что мы сидели и медленно хлебали неудобоваримый борщ, по возможности быстро напихивали карманы и портфели хлебом, клали его за пазухи, уносили под мышкой, потом приходили в студком и выкладывали хлеб перед Л. Успенским, а потом этот хлеб распределяли среди голодных студентов.

Так мы строили фундамент социализма. И если кто-нибудь, — я говорю только о своих, — осудит нас за это, да будет осужден он сам в том сытном, прекрасном и благоухающем обществе, которое со временем наше общество и построит. Вспомните тогда, ребятки, о нашем кусочке хлеба!

В это же время, в тех же 1926—1928-х годах, уже окончательно поссорившись в связи с богом и идеологическим вопросом с моей мамой, тетями и бабушкой, я поступила на работу курьером в «Красную вечернюю газету» при Петре Ивановиче Чагине. Если кто-нибудь не помнит — это близкий друг Сергея Есенина, которому он посвятил свои «Персидские напевы».

Я была курьером при Петре Ивановиче Чагине. О том, что я студентка второго курса странного института, он не знал. Я являлась в редакцию почти так же рано, как и он. Из-за Невской заставы, еще до свету, я ходила на службу пешком, чтобы сэкономить 14 копеек туда и 14 обратно, чтобы набрать 30 копеек на билет на галерку в Филармонию, на концерты под управлением Штидри, Себастиана, Артуро Тосканини и других всемирно известных дирижеров. На свои 30 копеек, не меняя костюма курьера и разрешив себе взять в буфете бутерброд с сыром, который от старости уже свернулся в трубочку, я садилась и слушала бессмертные произведения бессмертных сынов человечества под управлением лучших дирижеров Европы и России.

Будучи курьером, я тщательно выполняла свои обязанности: мыла галоши, носила алименты, а главное, носила полосы в типографию — сырые, пропахшие краской. Одно у меня было взыскание. Спускаясь от Ча-

гина с сырой первой полосой, держа ее двумя пальцами у себя перед глазами, я вдруг увидела большой заголовок: «Последние события в Китае...» Я села на лесенку и стала читать этот сырой лист. Там, кажется, взяли что-то важное (сколько я помню, Китай всегда воевал). Я сидела на лесенке и внимательно читала первую страницу и понятия не имела, что все издательство подняло тревогу: куда делась курьер с первой полосой. Меня настигли на лесенке, но не уволили и даже не дали мне очень строгого выговора. Все совершенно правильно поняли, что мы строим фундамент социализма во всем мире.

А фундамент социализма я поехала строить с Николаем Степановичем Молчановым. Любовью моей. Единственной. Всегдашней. Неотъемлемой. Если говорить правду, мы сбежали из Ленинграда. Распределение у нас было другое. Его и меня собирались засадить в обком комсомола: его на оргработу, а меня — на пропаганду. Господи боже, это в то время, когда нужно было строить социализм!

Мы посоветовались с нашими университетскими друзьями, которые кончили тот же факультет: им-то посчастливилось, один из них, Паша Тонберг, был отправляем в Сталинград, где должен был возникнуть Тракторный, а другой, Сережа Махин, — на Уралмашстрой, который еще не возник, но должен был возникнуть. А нас в обком! Этого унижения мы не могли стерпеть. И вот, собравшись в комнате, кажется, у Сережи Махина, мы торжественно выложили на газету, растеленную на столе, два соленых огурца, два пол-литра и буханку черного хлеба. Сережа и Паша сказали нам: «И не думайте, дураки, завтра же поезжайте в Казахстан. И наплевать на распределение». Мы откусывали от огурца все по очереди — ножей-то не было — и пили из горлышка. Паша и Сережа говорили нам: «Дурачье, поезжайте строить социализм — все остальное образуется!» — «Ну, конечно!» — сказали мы.

Тут я должна рассказать о жизни моей и Николая Молчанова в Казахстане. Но, как уже на полнейшем склоне лет, мне особенно ясно, что вступление к собственной книге не так-то уж просто написать и не такой-то уж это разработанный жанр. Повторяю, мне ка-

жется, что я кое-что успела рассказать в стихах и в повести, в том числе и о Казахстане. Я и так тут слишком много наговорила, для того чтобы повторяться, оправдываться или комментировать. Комментировать мне рано, а оправдываться не в чем, я вообще никогда не буду оправдываться.

А потом мне и Коле пришлось вернуться в Ленинград. Это время моей жизни настолько глубокое, горькое и, знаете что — героическое, что я предпочла бы об этом говорить отдельными книгами, как, впрочем, я о многом хочу говорить отдельной книгой, нежели предисловием. Размеры статьи и размеры времени не позволяют мне говорить об этом, но я, конечно, обязательно расскажу. Пусть не подумает кто-нибудь, что я угрожаю или даже, может быть, напоминаю — это, знаете ли, без меня будет. Время, простое историческое время, обывательское время, чище сказать — человеческое время приходит само по себе, тихо стучится в окно или в дверь и говорит: «Я пришло». И тогда человек вспоминает все, что ему должно вспомнить, но пока что нельзя, но что ему необходимо вспоминать, а главное — то, о чем он не может не вспоминать. Видимо, это время ко мне еще не пришло...

А может быть, оно и пришло, но слишком поздно? А может быть, слишком рано? <sup>1</sup>

(Герцен сказал: «В той стране, где писателю отказано на сомнение, не может быть истины», но ведь это был Герцен! В маленькой моей столовой висит овальный портрет Герцена. Вошла ко мне подруга, знаменитейшая актриса, взглянула на портрет Герцена и говорит: «Лялочка, ну до чего же ты похожа на папулю!» Я пробормотала: «Может быть». Тогда она обратила свой взгляд на противоположную стену, где, тоже в старинном овале, был запечатлен немыслимый облик Александра Александровича Блока — его мне подарила Анна Андреевна Ахматова, сказав: «Это вам, Оля, зимний Блок», — и сказала: «Господи, а какой у вас

---

<sup>1</sup> Уже начиная с 1933 года Ольга Берггольц прошла круги травли и преследований, исключение из партии, мучительное восстановление и почти сразу заключение в тюрьму (беременной) в декабре 1938 г. Освобождена она была из-под следствия в июле 1939 г. В тюрьме был погублен ее ребенок и навсегда подорвано здоровье. (От сост.)

муж был интересный!» Ничего не могла выжать из себя, кроме очень тихого: «Вы так думаете?»

Невежество и наглость, наглость и насилие всегда идут рука об руку и врываются в дом любого человека помимо его воли).

Далее я хочу сказать о тех людях, которые дали мне путь в жизнь и показали дорогу к работе (навряд ли я когда-нибудь поименую эту работу творческой, по-моему, это очень надменно). Хочу им положить по глубочайшему земному поклону, начиная с младенчества.

Кланяюсь няне Авдотье, которая первая рассказала мне о непобедимой деревне Гужово, о головешках, которые летят прямо на «чаря».

Кланяюсь бабушкам и дедушкам, теткам и дядьям, отцу и матери, которые заботливо учили меня ходить и говорить по-человечески.

Великой русской литературе кланяюсь: неба нет выше ее, нет дна глубже, нет человеческого сердца сердечнее. Уже в юности своей кланяюсь Есенину и Маяковскому, блистательному Клюеву, который указал мне путь к лучезарнейшей Анне Андреевне Ахматовой: я имела счастье быть близким ее другом — с того дня, когда девчонкой с огромными золотыми косами пришла к ней, до дня ее смерти. Кланяюсь Борису Леонидовичу Пастернаку, открывшему мне невероятные тайны слова и вершины и стойкость духа. И блистательным учителям моим — Корнею Ивановичу Чуковскому и Самуилу Яковлевичу Маршаку за приобщение к детской душе и к детской радости слова.

И современникам моим — Михаилу Аркадьевичу Светлову, Владимиру Александровичу Луговскому, Павлу Григорьевичу Антокольскому, Борису Петровичу Корнилову, Ярославу Смелякову, Александру Трифоновичу Твардовскому — за счастье непрерывно работать с ними и учиться отдавать без остатка сердце и душу свою во имя блага народа.

Меня приняли в члены Союза писателей в год его образования. Помню, был тогда красный кирпичный дом на углу Графского (ныне Пролетарского) переулка и Фонтанки. Там был «Союз поэтов». И вот я от-

важилась, приехала из-за Невской заставы в «Союз поэтов». Я приехала туда за много времени раньше, чем все остальные, тем более поэты. Первое, что меня потрясло, был громадный закрытый рояль, на нем холщовый чехол, а на чехле разноцветными буквами выписаны автографы писателей. Я подошла к роялю и стала его разглядывать. Меня поразила размашистая надпись — Ал. Блок, — она была вышита, по-моему, красными нитками. Вторая надпись была через «фиту» — Ф. Сологуб — лиловыми нитками. И так далее. Весь чехол этого невероятного рояля был расписан и вышит. Я села в уголок и замерла. В таком святилище с расписанным роялем с автографами самых знаменитых поэтов века, которых я, несмотря на глубокую неграмотность, все же знала. Мне здесь было все же как-то одиноко.

Но вот в изгибе рояля появился очень странный человек. У него были большие волосатые ноздри, он фыркнул и сказал: «Мы откроем очередное заседание Союза поэтов». Находящиеся в зале старики и старушки сказали: «Откроем, откроем!» И я, со своими абсолютно неподобными косичками, достигавшими колен, толкнула близидящую бабулю и спросила: «Кто это?» Она посмотрела на меня, как на не совсем нормальную, и ответила с глубочайшим презрением: «Господи боже мой, ну это Корней. Корней Иванович Чуковский!»

Для меня это был автор «Крокодила», доблестный Ваня Васильчиков. Мир передо мной мгновенно перевернулся, и я поняла: если я не прочту Корнею Ивановичу своих стихов, меня больше в жизни не будет. И я спросила: «А можно я прочту стихи?»

— Пожа́луйста, девочка, прочтите! — сказал страшный Корней Иванович и запричитал: — Девочка, ну вы сюда, сюда, к роялю идите...

И я подошла к этому роялю и прочтала стихи:

Я каменная утка,  
Я каменная дудка,  
Я песни простые пою.  
Ко рту прислони,  
Тихонько дыхни  
И песню услышишь мою.  
Лежала я у речки  
Простою землею,

Бродили по мне журавли.  
А люди с лопатой  
Приехали за мною,  
В телегах меня увезли.  
Мяли меня, мяли  
Руками и ногами,  
Сделали птицу из меня.  
Поставили в печку  
В самое пламя,  
Горела я там три дня.  
Стала я тонкой,  
Стала я звонкой,  
Точно огонь я красна.  
Я каменная утка,  
Я каменная дудка,  
Пою потому, что весна.

Я прочитала это, может быть, пропела, может быть, пропищала, а огромный Корней Иванович подошел ко мне, обнял за плечи и сказал:

— Ой, ну какая хорошая девочка! Какие ты стишки прекрасные прочитала.— А потом повернулся ко всем и проговорил:— Товарищи, это будет блистательный русский поэт.

Лучше бы уж мне в то время было провалиться сквозь землю!..

А что, я знала, что через несколько лет дом будет сверху донизу разрушен фашистской бомбой? А что, я знала, что мне придется встать на вахту и сказать стихи:

Покуда небо сумрачное меркнет,  
Товарищ, друг, прислушайся, поверь,  
Клянусь тебе, клянусь, что мы бессмертны,  
Мы — смертью попирающие смерть.

Ни Корней Иванович, ни я не знали, что до этих дней так невообразимо далеко и так невообразимо близко.

Я еще не сказала о заставках и заводах, которым так много я обязана в судьбе своей. Но ведь это не автобиография, это только вступительное слово к книге, правда?

Невский машиностроительный завод принял меня в пионеры (да, да, я юная пионерка,— мне всегда было смешно, что вдруг я буду рассказывать о том, что я была старой пионеркой, но вот пришлось).

На «Электросиле» меня приняли в кандидаты ВКП(б). Я рада, что могла присутствовать (о, больше я ничего не имею права сказать) и каким-то, быть может, ничтожнейшим усилием, как редактор «Комсомольской страницы» заводской многотиражки, участвовать в создании сверхмощных (по тогдашнему времени) гидрогенераторов для Большого Днепра и для прочих могучих станций наших. Но как бы ни мала была доля моего участия, я добросовестно отдавала этому все силы, как и все мы, разумеется. Кроме того, нам нужно было в свое время выделять бойцов для Испании. Кроме того, мы приняли на завод и приняли в комсомол довольно много испанской молодежи.

Когда началась Великая Отечественная, они первыми пришли в комитет комсомола, где я была тогда членом бюро, и попросили отправить их на фронт борьбы с фашизмом. О, как они были молоды и прекрасны!

. . . . .

По распоряжению горкома партии, я была прикреплена к городскому радиокомитету. И выступала по радио почти ежедневно во всевозможных доступных или недоступных писателю жанрах: издевки над противником, который, дурак, замыслил войну против нас и через три дня кончится и сгинет. Я работала еще на так называемой контролпропаганде, в отделе, которым заведовали два милейших австрийца с сакраментальными именами — Фриц и Ганс. Кроме своих обычных передач на город, на страну («Говорит Ленинград!»), я еще проходила в их секторе и надиктовывала им обращения к гитлеровским войскам, ордам, идиотам... К сожалению, я знала только русский и говорила: «Фриц — переведи, Ганс — немедленно записывай». Передача начиналась, например, так: «Фриц, ты напрасно пришел к нам. Ты найдешь под Ленинградом свою могилу (а на Невском строили баррикады). Тебя обманывают твои генералы. Ленинград нельзя победить. Ты запомни это, Фриц!» Все это на фронт передавали наши Фриц и Ганс.

(Потом я еще говорила от имени немецкой генеральской могилы: «Мы, немецкий генерал, говорим

вам из могилы под Ленинградом, мы говорим вам: «Остановитесь, немцы! Ленинград вам все равно не победить. Это говорим мы вам, немецкие генералы».)

Когда наступила полная и окончательная победа над немцами и когда их к чертовой матери погнали от Ленинграда, пленили или уничтожили, я говорила своим товарищам: «Ну что, у меня совесть чиста — я ведь их предупреждала».

. . . . .

Прогремел, как полный июльский ливень с грозой, не с дождем, а с жемчугом, День Победы. Настали дни мира. Никто из нас, фронтовиков, ни я в том числе, не могли отдышаться от фронтовых боев, да и вряд ли когда-нибудь мы, что называется, отдышимся.

Что было за это время?

Постановка пьесы «Они жили в Ленинграде» в театре Таирова... <...>

Потом я получила командировку от Политуправления флота в только что освобожденный Севастополь на предмет «отображения героических действий Севастополя»...

Я чувствую, что все более и более книга моя приближается к некоему путеводителю не по маршрутам моим, а по душе моей. Я была в Севастополе, жила среди двух стен — третьей и четвертой не было, — общалась с его жителями, воинами, «городскими партизанами», написала трагедию «Верность». Пубалт, а также Центробалт заявили: «Ага, не выполнила задание, деньги высчитаем за командировку обратно вы не то написали, что мы задали». Но трагедик взялся ставить А. Я. Таиров с Алисой Коонен во главе. И вот, когда уже репетиция двигалась к концу некое учреждение, название которого мне очень трудно вспомнить, запретило все это. Ах, нет, кажется оно называлось Комитетом по делам искусств (как будто может быть такой комитет!). Они мне сказали «Ольга Федоровна, все прекрасно. Жанр трагедии нам нужен, но нельзя ли, чтобы ваша трагедия была повеселее? И чтобы, например, в третьем акте были танцы?» Я сказала: «Нет, нельзя».



Трагедию в концертном исполнении силами студии рабочих Выборгского Дома культуры поставил З. Я. Корогодский. Она шла в концертном исполнении и имела успех среди рабочих Выборгской стороны, в Колонном зале и т. д.

. . . . .

Ленинград и Севастополь — два невероятных светоча на моем жизненном пути. И еще Сталинград. Я бродила в нем, когда были еще не убраны развалины, но был уже организован музей обороны. Не сомневаюсь, что так и надо: организовывать музей не через 100 лет после события, а рядом с событием, вровень с ним.

Я выпишу это все из моей сталинградской тетради. На Мамаевом кургане, откуда я просто так схватила щепотку земли, где был обломок какого-то снаряда или мины или другого чего (я ведь не военная, чтобы знать точно), там тогда стояла девушка в плащпалатке с откинутым верхом, вся из какой-то неведомой глины или из вещества, еще невиданного на нашей планете. Она стояла на верхушке Мамаева кургана, где нельзя было щепотки земли почерпнуть, чтобы не с осколками и человеческими костями, — стояла и держала в руках что-то огромное, массивное, круглое, прикасающееся к земле у ее ног. Так как молчать на этой вершине было уже трудно, я спросила спутников своих: «Это что у нее в руках, автомобильная шина, да?» — «Да нет, — сказали они, — это лавровый венок».

В 196-энном году Ленинградский Совет депутатов трудящихся предложил мне сделать надпись на Пискаревском кладбище, которая должна быть выточена на гранитной стеле. Не скрою, что вначале это предложение покорило меня: как я могу знать, где мои близкие и что нужно писать о согражданах? Но архитектор Левинсон сказал мне как-то: «Поедемте на кладбище».

Был самый ненастный ленинградский день, когда мы пробрались на окраину Ленинграда. Среди еще абсолютно неоформленных курганов, а не могил, но там уже за ними была огромная гранитная стела, и

там стояла женщина с дубовым венком в руках. Не-выразимое чувство печали, скорби, отчуждения полного настигло меня в ту минуту, когда я шла по этим мосткам, по этой страшной земле, мимо этих огромных холмов-могил к этой, еще слепой и, главное, безгласной стене. Не думайте, что я вообразила, что именно я должна дать буквы и голос этой стене. Но ведь кто-то должен был дать ей это — слова и голос. И, кроме того, была такая страшная ленинградская осень, и казалось мне, что времени уже не оставалось. Я поглядела вокруг, на эти страшнейшие и невероятнейшие героические могилы, и вдруг подумала, что ничего нельзя сказать проще и определенней: здесь лежат ленинградцы, здесь мужчины, женщины, дети, рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Их имен благородных мы всех перечислить не сможем —

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто!

В общем, вот, кажется, и вся моя биография.

Вторую часть «Дневных звезд» я еще не написала. Я не написала огромного количества тех стихов, которые должна была написать.

Я не опубликовала... многого. Надеюсь, что все напишут и опубликуют за меня.

## ДАЛЬНОСТЬ ПО ВЕРТИКАЛИ

### Исключительное настроение

Стройку на Гизельдонстрое приурочили к открытию XVI съезда Коммунистической партии.

Это была последняя сбойка. Оканчивалась проходка водонапорного тоннеля в 2677 метров длины.

За четыре дня до сбойки я первый раз была на Гизельдоне по заданию редакции.

Ущелье наполнял густой вечер; над рабочим городком едва маячила редкими огнями своими высокая Верхняя Кобань. В прошлом это было место бесстрашных схваток с Кабардою; безглазые сторожевые башни, куски крепостей лепятся вокруг гизельдонского строительства.

В 1927 году сюда, по руслу реки Гизельдон, при-

шли строители. Они шли по руслу оттого, что на Кобань не было пути, хотя Владикавказ стоит отсюда всего в тридцати километрах. Они руками из земли вырывали колючки, чтобы разложить костры и разбить палатки. Два года жили в холоде и дыму палаток, мерзли, простужались, болели. Хлеб возили на волах по руслу реки; часто арба опрокидывалась, и пищу уносила вода. Или, это бывало еще чаще, по два-три дня ели один хлеб, одну буханку, поделенную между работниками, когда метель или паводок отрезали Кобань от города.

Между тем прокладывали дорогу, строились, бурили, под Верхней Кобанью возникал жестокий быт строительства.

— Можно сказать, что теперь мы живем очень неплохо даже,— говорил Гиоев, председатель стройкома.— У нас и клуб, и кооператив, и столовая. Правда, не совсем еще устроились, только с 27-м годом и сравнить нельзя.

Он, я и ударник-комсомолец Санакоев сидели в темной дощатой зале красного уголка. За тонкими стенами барака расположился вечерний поселок — ржанье лошадей, грохот Гизельдона, осетинская горловая песня. На сцене готовились к празднику сбойки, и слабый свет из-за занавеса выхватывал узкое, тонкогубое лицо Санакоева, похожее на клинок. Он говорил:

— Уж слышно, как с другой стороны стучат.

— Слышно?

— Слышно!.. Я трехметровые буры заказал.

— Зачем?

— Чтоб, понимаешь, скорее насквозь прошли... Ты и не знаешь, какое это удовольствие, когда бурят, бурят, а с другой стороны слышно, как поют, стучат, говорят... И вдруг бур проходит насквозь!.. Большая радость бывает...

Гиоев говорит сдержанно и тихо:

— Мы в последний месяц дали 82 метра проходки. Это очень большая цифра. Ты видела — как бурят?

В тяжелой пыли за полтора шага нельзя отличить человека от породы — перфораторы работают без воды. Каменная пудра въедается в бурщика. В грудь ему стучит двухпудовый молот. Сырость и холод окружают его в скале.

— А вот группа комсомольцев, где работает он (и

указал на Санакоева), просила стройком разрешить работать без выходных дней. Говорили — нам не надо платить за них... Поскорее хотели кончить... Но — не разрешил стройком...

Санакоев высок и тонок. Движения его неспешны и уверены, узкое лицо осетина малоподвижно и несколько надменно.

На съезде строителей, после сбойки, он говорил, однообразно размахивая ладонью:

— Мы закончили проходку на два месяца раньше, а могли бы и даже на полгода раньше кончить... У нас соревнование было, а никто им не руководил... У нас ударной работа была, а часто машина работала на одного бурщика; наряды давали после окончания месяца, двойной работы много было... Ну все-таки есть исключительное настроение построить станцию к сроку!

#### Первая по высоконапорности

Я приехала на сбойку первым грузовиком. В моем распоряжении был целый рабочий день. Я не знала, куда мне девать его.

Григорий Рожденович, фотограф, обслуживающий строительство с самого начала, меня выручил.

— Хотите интересную прогулочку? Поднимаемся по Пурту, а оттуда по тоннелю насквозь до девятого забоя. К сбойке как раз подойдем, а мне кое-что снять надо... А?

Я согласилась.

Григорий Рожденович взвалил на плечо аппарат, под мышку взял треножник, и мы вышли из поселка. Легчайшее облако утра окружало Верхнюю Кобань. Из ущелья шли двое мальчишек, между ними висела распростертая сова — каждый тащил ее за конец крыла; сова была таинственная и ночная, утро изумляло ее... Милиционер, обмотанный патронами, под «грибом» сторожил выход из Кобани. Мы подошли к котловану, где строится постоянная гидростанция, и фотограф заснял взорванный «пароход». Над котлованом на высоте 360 метров висел тысячетонный ка-

мень, похожий на огромный нос каменного корабля. Он висел над самой стройкой и угрожал падением. Тогда решили предупредить природу. «Пароход» взорвали, но взорвали не совсем удачно, и сейчас его разбирали вручную. Мелкие осколки дробно летели сверху, шурша, как каменная речка. Иногда сверху еле слышно кричал рог, это подавали сигнал — осторожней... На строительстве приходится все время бороться с наступающими горами. Грунты в котловане рыхлы, они осыпаются, примыкают к карстовой породе, наполняющейся водой. Обвалы, оползни сторожат строителей за любым поворотом.

А гидростанция вылезала уже тогда из земли, фундамент был закончен, уже складывались стены...

— Вот! — десятник Таболов протянул мне большую ладонь. — Вот что тут было, когда мы пришли сюда. Один гора! Вот — смотри! Тут будут турбины. Маленько повыше — повысительная подстанция. Видишь?.. А вон оттуда — где выемка — пойдет водонапорный труба — видишь?.. 347 метров вышины — ты понимаешь?

В Союзе советских республик это будет первая по высоконапорности гидростанция.

Здесь вьется гнездо энергии.

Отсюда ток пойдет по аулам Осетии и Ингушетии.

Уже отчуждена земля под линию передачи Владикавказ — Грозный; борозды отчужденной земли прошли через поля, огороды и сады.

На электричестве Гизельской гидростанции будут работать новые заводы «Севкавказинка»; в его цехах, когда он был еще бельгийской концессией, работали каторжане — преимущественно. Пожалуй, нигде в мире нет таких мрачных, удушливых, допотопных помещений, кроме Олагирского завода, где плавят свинец, цинк и серебро. Новые электролитные заводы ничем не будут напоминать теперешние цеха; их снесут, как только вступит в работу новый завод.

Темные улицы Владикавказа похожи на русла рек. Их зальет свет.

Во Владикавказе у извозчиков на спине еще сохранились два ряда стеклянных пуговиц. Когда на улицах будет светло, им придется затушить фонари роскошных своих фаэтонов. Кроме того, очевидно, что число их уменьшится, так как владикавказский трам-

вай будет ходить даже после пяти вечера. Энергию с Гизельдона получают колхозы Дигорского комбината, Бесланстрой и, может быть,—Садонские рудники.

А гидростанцию строят почти так же, как строили древние башни и могильники. Тут нет ни одного подъемного крана, ни одной лебедки. Все тяжести—машины, камни, цемент — рабочие передвигают вручную, долго, надрываясь. Не хватает вагонеток—иногда мастерят их сами; не хватает рельсов для путей на стройках; не хватает—остро—камнедробилок, бетономешалок, просто лопат и кирок...

Так, почти голыми руками, в Кобаньском ущелье строится гидростанция, первая в Союзе по высоконапорности и образец — в мире — по бетонированию водонапорного тоннеля.

#### Привычка портить природу

Григорий Рожденович «щелкал» всю дорогу.

— Ах, не могу пройти, здорово работают...— Он вился вокруг треножника.

Рабочие бросали дело.

— Работайте! — умолял фотограф.— Ну, работай, черт, чего рот разинул? — Он топал ногами.— Да не смотрите в аппарат как идиоты!..

Рабочие кричали:

— Сними, Гриша, сними! Ты человек свободный, буржуй!

Григорий Рожденович делал фотографический жест.

— Готово!

Работа опять начиналась. Тут-то и снимал ее Григорий Рожденович.

— Ничего не поделаешь,— смеялся он,— приходится надувать людей! А то мертвый снимок... Мертвый, понимаете, снимочек выходит.

Мы продвигались к Пурту. Пурт—идея и главная сила стройки—стоит в двух с половиной километрах от гидростанции. Так тесно в Северной Осетии, что возле самого Пурта строить постоянную станцию нельзя. Ее пришлось отнести, а для Пурта, на уровне его падения, пробурить известняковую скалу... Но дальше я остановлюсь на схеме станции подробнее, когда мы доберемся до вершины Пурта. Сбоку гудел Гизельдон.

Мшистые камни сочились светлыми струями, так как это были родники. Кругом громоздилась Северная Осетия.

В горах была я первый раз. Сначала мне казалось, что скалы медленно кружатся вокруг меня. Это потом я поняла, что не горы ходили вокруг, а кружилась голова, глаз, привыкший к плоскости Севера, к университетскому коридору.

Григорий Рожденович рассказывал мне историю нашей дороги. Он «фиксировал» строительство с самого начала. Он добросовестно и талантливо снимал панорамы, взрывы и людей, иногда рискуя жизнью. Он говорил:

— Горжусь! Я ведь на строительстве был, так сказать, еще до начала его... Ах, какая тут глушь была, какая первобытная дичь!.. Ведь всю дорогу поднимали руками. Вон там она шла, дорога, в самой реке. Один раз камень нашли, ну, точный отпечаток женской лежащей фигуры. Звали его «ложе царицы Тамары». Ведь у них, знаете, везде царица Тамара. Ну, взорвать пришлось... Так жаль было! А вот у этого камня пролилась первая кровь: рвали камень — рабочему оторвало ногу. Тут все кругом рвали. Да, нет уж той первобытной красоты, а жаль ее, жаль...

— Жаль,— деликатно сказала я.

— А сколько святилищ разрушили, могильников! Вот тут были могильники, вот тут...

Он набрал мне целую пригоршню мелких черепных косточек и черепков древней посуды. До конца дня они болтались в моем кармане.

Мы проходили мимо скал, изукрашенных угловатыми автографами строителей. На одной скале было написано:

«Рабочий, топай скорей!»

«Десятник, не опаздывай!»

— Глупая привычка портить природу,— горько сказал фотограф.

Он рвал мне цветы, присовокупляя:

— Извольте лиловую ромашечку!

— Скромный цветочек горная роза, а пахнет как Роз а-ля франс! Чудный запах!

Он, наконец, вступил со мной в политический спор.

— Плохо вам теперь, журналистам! Свободы слова нет, своего сказать не дают... Например, написал Ста-

лин в «Правде»—«раскулачить кулачество», и все газеты завывали—«раскулачить, раскулачить»... Хоть бы одна что-нибудь свое сказала! Оригинальное...

— А если б она «свое» сказала, так ее бы...— я засмеялась.

— Вот-вот, именно!.. Да и о чем сейчас пишут газеты? Там революция, сям — забастовка... Что, разве в мире одни только забастовки? Я хочу про весь мир знать, а они мне забастовку тычут. Да, трудно теперь жить, трудно... Все так гадательно! Все так... обусловлено!

— Индивидуалист вы,— слабо возразила я.

— Да! Индивидуалист! И останусь им до смерти. Личная свобода выше всего... Вы что думаете — меня же из университета за революцию выгнали! За индивидуальность, да-с!

— Вас? За революцию?..

— Ну да!—гордо ответил Григорий Рожденович.— Ведь студент—это же была марка! Раз студент—значит против царя. А тут у нас завелся такой союз Михаила Архангела — марку подрывали. Ну, подрались мы с этим союзом, меня и высадили...

Григорий Рожденович просился в обобщение. Я подумала, что, в сущности, их у нас везде много: в прошлом—«революционеров марки». Теперь добросовестно фиксирующих и отображающих. Объектив заменяет им мировоззрение...

#### Форель и люди

Временная силовая станция заработала в 1928 году. Генераторы и машины возили сюда на волах по руслу Гизельдона, по новой, только что проложенной дороге, еще неровной, неверной... Волы идут медленно, кренясь друг на друга. По Кахтыр-Сагу поднимаются больше часу. Слева от станции бьется и рычит Пурт. Справа поднимается Кахтыр-Саг. По-русски это значит—«Голова не нужна, давай ноги». 38 петель одна над другой медленно заносит дорога по Кахтыр-Сагу, прежде чем выходит в Даргавскую долину.

Как весело и страшно для северянина идти по Кахтыр-Сагу: скалы растут бок о бок с тобою, и недавняя дорога становится дном узкой пропасти.



Но по всем 38 петлям — ежедневно — должен подниматься рабочий, прежде чем начать работать у головных сооружений. Он приходит на место уже усталый — на Гизельдонстрое жилкризис. Ему не весело. Он уходит со стройки.

Селение Даргавс украшено древнейшими родовыми башнями и покинутыми святилищами. Напротив селения лепится город мертвых, конусообразные могильники, сложенные из больших камней. Я заглядывала в окошечки могильников: там сидят и лежат человеческие кости, перемешанные с обрывками тканей и конскими волосами.

В Даргавской долине пас баранту Байматов, инициатор гизельдонской станции. Байматов задолго до революции задумал использовать силу Пурта.

Гизельдон течет по плоскогорью мелко, а в конце долины обрывается водопадом. Это и есть Пурт.

Озеро стояло в долине в доисторические эпохи. Потом произошел обвал. Озеро завалило. Но Гизельдон пробил себе дорогу в породе и вырвался в Кобаньское ущелье. Принцип установки станции таков: надо восстановить историческое озеро. Земляная плотина с обратным фильтром в 16 метров ростом встанет над Пуртом. Образуется обширное водохранилище, может быть, будет затоплено селенье Даргавс. Отсюда, сквозь породу известняка, сквозь Кахтыр-Саг, на высоте 360 метров пройдет двухкилометровый тоннель до котлована. Через водонапорную трубу вода бросится в турбины гидростанции. Так родится ток Гизельдона...

Даже старые горцы недоверчиво качали головой, глядя на скалы, сквозь которые надо было проложить русло новой реки. Скептики и сейчас сомневаются в эффективности станции. Но сейчас она стала почти реальностью. Сейчас она — факт.

Второй тоннель, более короткий и широкий, будет служить для спуска излишков воды в Гизельдон. Говорят, что в озере предполагается разводить высокосортную рыбу.

Для того, чтобы станция могла работать с наименьшими перебоями, за перевалом, в Тменикау, начата переброска горячих вод Геналдона в Гизельдон. Это должно увеличить расход воды. Условия работы на Тменикау во много раз тяжелее, чем сейчас на Гизельдоне. Там, рядом с ледниками, с вечным снегом, бьют

горячие источники. Добраться туда чрезвычайно трудно. Снабжение скверное. Работники живут в палатках. Возвращаясь со слета ударников в конце лета, Санаков, сказал мне:

— Ты знаешь, если б мы начали строить плотину, станция была бы готова!

К строительству приступили без предварительных изысканий и точных проектов. Геолком «пришел, увидел, определил» скалистое основание под водохранилищем. Но реально существует рыхлая порода завала с прослойками ленточной глины.

Потребовались действительно точные изыскания. Разведочные работы велись параллельно с проходкой в течение двух лет и тяжелым накладным расходом ложились на строительство, тормозили его.

Пришлось перепроектировать заново плотину, уменьшить ее; водоспускной тоннель перепроектировали пять раз. Пять раз его расширяли, рвали забетонированные стенки.

Нечего и говорить, как отразилась эта бесплановость на темпах.

Электричество гор рождается тяжело.

От временной силовой по краю Пурта мы поднимались к головным сооружениям. Вода летела рыжими шерстяными клоками, в пене и громе. Она была не похожа на воду. Радуги стояли над Пуртом. Платье мое покрылось легкой кольчугой водяной пыли.

Григорий Рожденович восторженно квохтал:

— Ах, какая красота! Ну, точно кружево, точно кружево! Не могу — сниму...

Если человек попадет в Пурт, его размелет.

Форель поднимается вверх по Пурту во время метания икры. Стремление к продолжению жизни оказывается сильнее воды. Сюда не было иной дороги, кроме плечей рабочих. На плечах таскали цемент, трубы, арматуру. Зимой раздевались и ходили босиком, чтобы не скользить. Когда захватным сооружениям грозила опасность, инженеры не спали по двое-трое суток...

— Вот о чем писать надо! — сказал фотограф с упреком. — А вы все социализма ищите... Вам все социализм подавай...

Путем воды, путем, по которому (скоро, скоро!) помчит Пурт свои лошадиные силы, мы шли до четверто-

го штрека. Еще в прошлом году тут ходили медведицы с выводком.

Прыгая через тропы, мы рысью добежали до девятого забоя.

Тут произошла сбойка.

## Шестнадцать запалов

Сбойка была назначена в три. Гости и «начальство», как водится, задерживались. Пока прилаживали над входом в тоннель примитивные (углем на досках) лозунги.

— «Нет преград рабочему энтузиазму», — прочитал фотограф и прибавил вкусно: — Нет, и не надо!..

Внизу, едва отличимая от горы, маячила гидростанция. Из тоннеля тянуло холодом земли. Время копилось.

— Э-э, часы-то у меня выходные! — балагурил Григорий Рожденович. — Ни направо, ни налево... Выдержанные часы... А знаете, почему у нас пятилетку в четыре года? Да потому что пятый год выходной!..

Работники сдержанно похохатывали.

— Вои наши профессора сидят, — кивнул Григорий Рожденович на двух больших людей. — Вели проходку — не сбились ни разу. А? Каково? А народ простой. Часто собираемся, играем в картишки, то чаю поьем, то расскажем что-нибудь комическое из жизни. С юмором вечер проходит и, главное, недорого... А? Каково?

Понемногу гости подтянулись. Сразу посерьезневший Григорий Рожденович зафиксировал группу. Мы вошли в тоннель, смеясь и волнуясь. Тоннель вначале брал вверх. Говорили хозяйски:

— Хороший напор будет!.. Ха-роший напор!..

Шутили:

— Плавать удобно! У плотины нырнул — тут вынырнул. Недолго!

Мы подходим к последней перегородке тоннеля. Рабочий говорит обыкновенным голосом:

— Товарищи, ну вот, сейчас будет последняя сбойка водонапорного тоннеля. Четыре шпура — электрический запал, двенадцать обыкновенных. Рубильник включает наш лучший ударник Богаев Готя, палит Санакоев Георгий... Ну вот — посмотрели. Отойдите подальше, сейчас будем палить...

Мы отошли в глубь тоннеля и сели по стенкам.

— А почему так далеко? — спросила я у Гиоева.

— Ничего, услышим, — улыбнулся он.

Взрыв — и тугая круглая волна воздуха тяжело бьет в лицо.

Женщины смеются и повизгивают. Проходка наполнилась белым дымом, пылью, дышать стало трудно. Удары мягче.

— Это туда уже идет... В ту сторону...

— Да, да... Верно!

— Ветер... Сквозняк... Пробито!

— Нагните головы, головы нагните. Дайте дорогу воздуху...

Поседевшие от пыли люди бросаются к месту взрыва. Сквозь дым видны огни пятого забоя, как на далеком берегу реки. С криком переходят кучу породы, бегом бегут по проходке, жмут друг другу руки. Путь воде открыт, и дышать легче! Снова до четвертого штрека идут строители, где были не раз. Сюда высоко и тяжело подниматься, дальность по вертикали — основная тяжесть строительства. Тут трудно работать, опасно работать. А кругом еще много дел: расширять, бетонировать, цементировать. Кругом еще ощеренная порода, крепи и кружала, вода под ногами...

#### Молитва Шамяля

У котлована стоит оркестр подшефного полка. Полку одиннадцать героических лет.

Оркестр играет молитву Шамяля.

Один из лучших ударников — Васико Цховребов — выходит на тесный круг.

Оркестр играет молитву. Васико оправляет шапку.

Оркестр играет.

Васико медленно закидывает за пояс полы бешмета.

Круг хлопает в восторге и нетерпении.

Васико серьезен, как у себя на работе в тоннеле. Он ходит по кругу все быстрее и быстрее, холодная пыль тонко вьется из-под его ног, легонько стучат кости поясного набора. Он танцует важно и добросовестно, и ни с какой пляской не сравнима пляска горца!

Оркестр играет марш.

Мы входим в Кобань, уже занятую вечером.

Дошатая зала красного уголка, залитая белейшим светом электричества, потела, лоснилась, хлопала. Плакали грудные. Эстрада пылала кумачом и пафосом.

Работники Гизельдона не умеют говорить красиво. Они говорят горячо, сбиваясь и путаясь. О трудностях проходки. О систематических перебоях в стройматериалах. О колоссальной текучести кадров. О недостатке рабсилы. О том, что нет квалифицированных бетонщиков... Гизельдонстроевцев приветствовал председатель Осовпрофа от имени двенадцати тысяч рабочих Северной Осетии. Он предложил почтить вставанием «всех, погибших за социализм».

Гизельдонстрой встает. Оркестр играет три акта траурного марша. Я вспоминаю прямые могилы Марсова поля, и памятник сотням погибших в гражданскую войну под городом Владикавказом, и всех, неизвестных мне, а известных Северной Осетии, кто погиб в эту историческую весну на полях сплошной коллективизации...

— Большевики всегда переносили трудности, — спокойно и трезво говорит заворотделом областкома, — но социализм мы все-таки построим. Товарищи, вы подумайте, ведь когда крестьянин хибарку строит, он и недопьет и недоест, а ведь мы не хибарку строим, мы социализм строим!

Служащий у эстрады снисходительно улыбается. Оркестр играет «Интернационал». Зал дико хлопает.

Толстый румяный комполка кричит, улыбаясь и расцветая:

— Товарищи! Восемьдесят четвертый стрелковый Краснознаменный полк шлет ударникам Гизельдона пламенный привет, и поздравляет, и радуется по поводу ваших успешных работ! Вся буржуазия говорила — вам житья две недели, но все это оказалось миф, все это пуф, все это — бум!

Зал кричит «ура!», оркестр играет, дети плачут, тебя груди матерей, жара и свет коромыслом стоят в зале. А председатель крайсоюза Черняк трезво и умно возвращает строительство к будням...

О Гизельдоне сейчас много говорят, а ему нужно помогать: слабой комсомольской организации, беспоп-

мощной партячейке, культработе. Помогать словом и делом...

Профессор Романовский — тот, кто блестяще вел проводку сквозь горы, без единого смещения, — наизусть, глуховато прочел лермонтовский «Спор» и констатировал, что гизельдонское строительство — яркий пример того, что заветы Лермонтова выполняются.

Речь его произвела большое впечатление.

— Вот интеллигенция, — завистливо сказал мой сосед, — уж она знает, что сказать...

И, наконец, выступил товарищ Сегедвери, венгерский коммунист, выкупленный нами из венгерской тюрьмы. Он работает в электромеханическом цеху. Пальцы Сегедвери изуродованы пытками. Он страшно акцентирует, до непонятности искажая слова, точно говорит на необыкновенном наречии.

— Каждый ваш шаг вперед, — высоко выкрикивал Сегедвери, — бьет по цепям мирового капитала. Каждая такая электростанция — залог мировой революции. И мы смотрим на вас и следим за вашими великими победами, и каждая такая сбойка приближает час мировой революции...

Холодная дрожь восторга прошла у меня по спине, и я оглянулась назад. Лицо зала лоснилось потом, обгорелое и напряженное. Гизельдонское строительство, со всеми его неполадками, бедами и радостями, было Фактом Мировой Революции. Она была понятна и ощутима. Она была тут.

— Как ты думаешь, — неожиданно прокричал мне в ухо мой сосед сквозь рукоплескания и музыку, — можно пускать на такое, как здесь, лишенцев?

— Нет! — ответила я запальчиво, хлопая.

— А я бы пустил! Пусть бы они... разорвались от злости!..

Потом премировали гизельдонцев.

Премировали курортами, экскурсиями, часами и Почетными грамотами. Под оркестр и восторг зала подходили ударники к трибуне, медленно приподнимая над суровыми бровями дорогие свои шапки. В большинстве это крестьяне-осетины, осевшие на строительстве. Текучесть на Гизельдоне велика. Уходят тоже преимущественно крестьяне. Но из оставшихся выковыывается новый, национальный пролетариат. Почти негнушима пальцами берут эти люди Почетные гра-

моты, где слабо светят золотые буквы: «За проявленную пролетарскую настойчивость и ударную работу по проходке...»

Грузовики шли к Владикавказу; ночь завалила ущелье. День сбойки, нагруженный до отказа, остался позади. В 1932 году должна заработать Гизельдонская гидростанция...

## Э п и л о г

Солнце здорово опалило меня в день сбойки, руки и лицо горели, в грузовике я дремала, припадая кому-нибудь на плечо, просыпалась, вдруг остро припоминая все... «И лампочка Ильича освещает путь горских народов, идущих к социализму», — вспомнила я чьи-то эпические слова на торжестве. Ночь. Ущелье. По дороге движутся люди; скрипят арбы, и кони сторонятся грузовика, волы шагают с библейской медлительностью; люди в четверугольных бурках, в гладких черных платках движутся по дороге. Быть может, они переселяются с гор, где руками наношены маленькие поля, — они оползают в долину. Мычат волы. Кричат люди... И высоко в ущелье, на тонком проводе, — качается ослепительная лампочка. Она освещает путь горских народов.

*Сентябрь — октябрь 1930 года*

## ПО СЛЕДАМ ПОЭМЫ

Ну и долго же я не отчитывалась в своем летнем путешествии. Иные писатели успели за это время съездить кто в Италию, кто в Индию, кто в Монтевидео.

Но я была дальше всех этим летом. Я путешествовала в прошлое, настоящее и будущее судьбы моей страны, моей судьбы. Я ехала, летела и плыла по следам поэмы «Первороссийск».

А перед тем как туда отправиться, у меня была встреча с одним первороссиянином. Мне трудно вспомнить, каким образом я узнала о нем. Но я узнала, что он был подростком в Первороссийске и что он один из тех инженеров, которые возводят плотину и затопляют исторический Первороссийск. Первое Рос-

сийское общество землеробов-коммунаров (его ядро — Обуховский завод). Второе Российское общество землеробов-коммунаров (ядро — Семянниковский, ныне имени В. И. Ленина завод) и третью коммуну — «Солнце», или «Солнечная» (тоже питерские). Это почти все из-за Невской заставы, места моей родины. И над всем этим сейчас расстилается Бухтарминское море.

Так вот, об этом первороссиянине. Я долго созванивалась с ним по телефону, и мы условились встретиться буквально накануне моего отъезда. Я и мои домашние очень хлопотали о том, как угостить старичка, потому что кем же может быть первороссиянин, как не глубоким согбенным старичком. Мы решили отварить ему цветную капусту, чтобы ему легче было жевать. И мы все в доме любовно именовали его «наш старичок», «придет старичок». И вот в точно условленное время, в десять часов вечера, раздался звонок. Передо мной стоял пожилой человек с развернутыми плечами, огромный, благородный, седоватый. Он представился. Я захохотала, как попугай. И в ту же минуту мелькнула невероятная мысль: да какой же он глубокий старик, он — мой современник, «годок». В те дни, когда я жила в Угличе и боялась дышать на копилку, он жил в Первороссийске. И это ощущение современности с легендарным Первороссийском, с его людьми озарило меня. Разумеется, он удивился моему странному веселью. Я объяснила ему, в чем причина такого идиотского смеха. Мне показалось, что он обиделся и его глаза с широко разлитыми зрачками немного смутились.

— Коммуна... Я, конечно, был в коммуне ребенком, подростком, но вы ведь знаете, что детская память крепче всего схватывает явления мира и держит их всю жизнь. И вы, конечно, знаете, что эти впечатления формируют человека.

Не могу не сказать, я спросила его:

— Вы читали «Дневные звезды»?

— Нет, — ответил он совершенно спокойно. — Я знаю вас просто как блокадного поэта. Но дело не в этом. Я хочу сказать: Первороссийск бессмертен, хотя исчезла сама точка — она затоплена. Первороссийск у меня тут, в груди. Первороссийск — коммуна, она в людях. А историческая точка, конечно, затоплена.



И вот я летела к этой исторической точке. Но, впрочем, не столько к ней, сколько к пуску первого агрегата Бухтарминской гидроэлектростанции. Я рада, что создание невероятных агрегатов, пуск могучих электростанций, их свет и сила сопутствуют мне, как и всем людям моего поколения, с самого детства. Я помню, как Невская застава была подключена к Волховстрою, только что рожденному. Я помню, как на «Электросиле» создавался генератор номер шесть — ворошиловский генератор, первая по-тогдашнему сверхмощная машина, сделанная собственными руками и из отечественных материалов. Я была на Волго-Доне в его тяжкие рабочие часы, когда Дон сливался с Волгой, а по обе стороны канала с обнаженными головами шли работяги, шел народ и строго говорил: «Освободительница идет!» Они сопровождали Волгу и Дон с обеих сторон с обнаженными головами, они вели две великие реки друг к другу. И я видела это. Я сейчас не написала об этом, потому что вся вторая часть «Дневных звезд», самая разверстая, самая трагедийная — впереди. Ее листы лежат передо мной. Мне страшно прикоснуться к ней руками. Но путешествие по следам поэмы — это для второй части.

Я-то мечтала поехать путем первороссиян — по железной дороге, по тому же маршруту, как они. Но я летела на «ИЛ-18», и подо мной были только облака, облака, облака. Таким образом, с пересадками я добралась до Усть-Каменогорска. А в Усть-Каменогорске, точно узнав, что послезавтра будет пуск первого бухтарминского агрегата, я в полном смысле слова взяла за горло какого-то «левака», такси, и, посадив к себе отвратительного чиновника, не помню, как его имя, который все время доказывал водителю, какой он главный в этой области, и девушку из Ленгидэпа, героически мчавшуюся на пуск, поскольку она принимала участие в проектировке, — устремилась по серпантину в Серебрянку.

Доехали уже почти ночью. Часы мои были еще не переведены, и четыре часа разницы еще не ощущались. Но я устала от облаков, я не ангел, чтобы летать меж облаками. Я направила стопы свои в гостиницу, где для моей спутницы был приготовлен номер, а для меня ничего не было. Но тут меня подцепил знакомый журналист и сказал:

— Что ты, Ольга, пойдем в городок журналистов.

Тут надо сказать, что начальник строительства Михаил Васильевич Инюшин, ученик и верный последователь таких рыцарей света, как Кржижановский, Винтер и в особенности Графтио, организовал на «диком берегу Иртыша» некий малый городок. Он противник палаточной романтики. Он думает, что строитель должен приехать в город, а не в палатку, что строителю нужно где-то спать, умываться, выпить чаю и т. д. И вот городок журналистов, где мы жили, был опытным участком будущего города строителей. Это были весьма хорошо сложенные домики, которые в любую минуту можно было перенести с места на место — разборные. В своей великолепной статье в четвертом номере «Нового мира» М. В. Инюшин пишет об этих городках. Мне думается, что это очень справедливо.

Почему, действительно, всегда в палатках, на сырой матери-земле? Городок разборный, легкий и легко переносится с места на место. Но это все-таки человеческое жилье. Увы, у нас не тот возраст, да и у республики нашей не тот возраст, когда мы с упоением пекли картошку в костре и пели: «Ах, картошка — объеденье, пионеров идеал, тот не ведал наслажденья, кто картошки не едал...»

Я знала, что агрегат Бухтарминской станции будет приведен в действие тем морем, которое разостлалось над коммуной. Конечно, никто не мог точно установить, когда агрегат будет пущен и когда он даст промышленный ток, предназначенный главным образом для рудного Алтая. Несметное количество журналистов, в числе которых, конечно, была я, толклось около плотины, как маленькая, но назойливая стайка комаров. А вода, выливавшаяся из-под плотины, грохотала, как в первый день творения. Стоять над этим водопадом было страшно.

Начальник строительства предложил мне проехать на верхний бьеф. Здесь вода была спокойна. Это было уже начало Бухтарминского моря. И вот только тут я успела объяснить Инюшину цель своей командировки по следам поэмы.

— Хорошо, — сказал он, — послезавтра у нас официальное открытие, а потом я дам вам катер «Академик Графтио», и вы пройдете над вашими коммунами. Они затоплены.

Но пуск первого агрегата, и подача промышленного тока, и включение его в сеть «Алтайэнерго» должны были состояться вечером. Мы, конечно, толклись, как комарики, задолго до этого момента. Не могу не похвалиться: мне было очень приятно, что проект создавал наш Ленгидэп и что наладчик, то есть человек, который должен был подключить первый агрегат, работающий на море коммуны, был наш ленинградец Александр Александрович Соколовский.

Пригатавливались к пуску первого агрегата долго. Все участки станции были ослепительно освещены. И, стоя рядом с тем агрегатом, который должен был быть пущен, только чуть-чуть вскинув глаза, можно было видеть скалу, в которую упирается станция. Она не была обнесена стенами.

Яростное возбуждение царило на станции. Люди бранились друг с другом, кто-то кого-то осуждал, журналисты отпихивали друг друга руками.

В зале, где был щит с приборами, показывающими, включен ли первый агрегат в систему «Алтайэнерго», и другие круглые приборы, расположился президиум. За президиумом толпились рабочие, инженеры и гости. Это был рабочий момент. Обернувшись, я обнаружила, что рядом со мной стоит Яков Жарков, бывший парторг завода «Электросила». Последняя наша встреча была в октябре 1941 года, когда немцы штурмовали Ленинград. Поговорив о чем следует в те минуты, Жарков сказал тогда:

— Хочешь, подброшу до города?

Я ответила:

— Давай.

Мы вышли из парткома. А у ворот завода стояла громоздкая санитарная машина с вдрызг разбитыми стеклами.

— Садись,— сказал он.

Я, конечно, села. Мы уселись друг против друга на койках, которые там были, и я спросила:

— Жарков, а почему это ты едешь на такой машине?

И он мне сказал, что все машины у завода взяли, потому что немцы примерно в пяти километрах от завода, а нам предоставили эту...

И вот Жарков теперь стоял рядом со мной и, так же как я, напряженно смотрел на щит, где трепетали

и колебались стрелки. Он-то все понимал, а я — нет. Я все шипала его за руку и просила:

— Ты мне, пожалуйста, объясни, когда будет подключен агрегат.

— Ничего особенного, — сказал он.

— Может быть, вздрогнет здание, когда наступит синхрон и наш ток пойдет навстречу алтайскому?

Может быть, товарищ Жарков и другие, читая эту статью, улыбнутся, но я не могу технически точно объяснить происходящее. Я спросила Жаркова:

— Ну, а что я должна увидеть?

— Сначала должен наступить синхрон, то есть ток, который мы подаем с агрегата, должен совпасть с током «Алтайэнерго». Затем должен быть дан импульс, то есть наш ток немножечко должен преодолеть встречный ток «Алтайэнерго» и поступить в его распоряжение. Но ты не бойся, — сказал он, — ну, вздрогнет здание, я тебя поддержу.

А я вспомнила бухтарминский грохочущий водопад, как бы созданный господом богом на второй день творения.

Александр Александрович Соколовский стоял у щита, резко освещенный и атакуемый «лейками» и прочими аппаратами журналистов, производил наладку, подключал агрегат к системе «Алтайэнерго».

Вцепившись в рукав Жаркова, я шипела:

— Пожалуйста, говори, что происходит, я все равно ничего не понимаю.

Он сказал:

— Ну, гляди вот на эти стрелки. И главное — ничего не бойся.

— Да я ни черта не боюсь. Разве ты не помнишь?

Вода грохотала под нами, здание слегка сотрясилось, господь бог создавал воду и землю. А стрелка металась, и это было очень долго, и все изнемогли и переругались друг с другом до потери сознания. А Александр Александрович крутил и крутил какие-то ручки. И вдруг стрелка бешено заметалась. Мой парторг, конечно, ничего не успел сказать мне, здание не вздрогнуло, но в зале раздался возглас:

— Синхрон, синхрон!

Это означало, что ток первого агрегата влился в систему «Алтайэнерго» и тотчас же отправился на рудный Алтай.

— Синхрон, синхрон! — кричали все. И все целовались, и вообще было непонятно, как это несколько минут назад кто-то ругался друг с другом, и товарища Ждана, начальника цеха электромонтажников, уже качали и, подбрасывая, кричали:

— Синхрон!

И все снова обнимались и целовались, как на пасху. И я подумала: так ведь коммуна здесь. Коммуна в людях. Что бы ни произошло, она в нас.

Потом на катере «Академик Графтио» вместе с двумя работниками райкома и еще двумя журналистами мы шли по Бухтарминскому морю. Работники райкома были местные старожилы. Они говорили:

— Над рощей идем... Над второй российской... А вот и Первоороссийск...

Первороссийск, который с помощью Ленина был создан петроградскими рабочими, находится на дне Бухтарминского моря, так же как и обе другие петроградские коммуны. До этих коммун люди мечтали о городе Солнца, о фаланстерах, о Коммунизме. Питерские рабочие вот там, на отрогах Алтая, построили эти коммуны. Коммуна — в сердце и в людях.

Я попросила причалить к остатку того урочища, которое было Первороссийском. Там, вдалеке, была могила первооснователей, а уже колхозников. Ведь на месте разгромленного колчаковцами Первороссийска возник в тридцатые годы колхоз «Первороссийск». И мы дошли до этой могилы.

Море, конечно, затопит и этот отрезок земли. Пока мы шли туда, буйство трав и цветов поразило меня. Но то были дикие травы. Выше человеческого роста вздымалась дикая конопля, источая удушающий запах мечты. Почти до колен поднималась полынь со своим страшным запахом разочарования и горя. В лицо хлестали лебеда, бурьян.

Так я шла по земле дерзаний, земле мечты.

И тут же было явление, о котором один высоколитературный товарищ сказал, что «это оставляют специально для писателей». Но что поделать — на этом клочке земли коммуны, еще не затопленном морем, в совершенно страшной хижине жил старичок, который сушил рыбу на солнце. Были у него две грядки картошки, а в городе Барнауле были у него сын-врач и дочь — медицинская сестра. Но ни под каким видом он

не соби́рался уходить с этого участка. За ним приезжала Советская власть, партия, дети. Все ему говорили:

— Дедушка, да ведь тебя же затопит.

— Не ваше дело,— отвечал он.

И когда «Академик Графтио» подходил к этому участку, мы заметили, что кто-то в лодчонке мелькнул вправо. Это был дед. Он думал, что его опять будут уговаривать переселиться. Робинзон, да еще без Пятницы! Действительно, кажется специально для литераторов.

И все-таки мы сквозь мокрую коноплю, лебеду и полынь дошли до могилы колхозников-первороссиян. Я нарвала пучок трав, всех, которые росли на этом участке земли, и, засушенные, они стоят около меня в вазе. Но они уже не источают своих ароматов...

А потом я еще была в городе Алма-Ате, куда тридцать лет назад я и покойный муж Николай Молчанов сбежали строить социализм. Об этом городе, о путешествии в неистовую юность нашу я расскажу особо в первой главе второй части «Дневных звезд».

Но я уже сейчас скажу, что прежде всего меня поразило то, что горы, под которыми стоит Алма-Ата, не уменьшились, а выросли. Обычно—со временем—все уменьшается, но горы были еще выше, чем в молодости. Я совершенно не узнала город, настолько он обстроился, настолько он заасфальтирован. Мне кажется, что так уж тщательно не нужно было асфальтировать его. Например, дорожки городского парка. В молодости там под ногами хрустел гравий, а сейчас абсолютно все залито асфальтом. Неужели могут деревья дышать при этом?

В Алма-Ате, на окраине, в новом доме я была у Веры Николаевны Петровой и ее дочки Нади. Вера Николаевна Петрова — жена председателя Семянниковской коммуны — Второго Российского общества «землеробов-коммунаров». Это было вечером, и выросшие за это время горы сияли ослепительно розовым светом. А Вера Николаевна до невероятия была похожа на мою бабушку и рассказала мне, как они сюда добирались, как муж ее был расстрелян в числе других двадцати восьми коммунаров и главарей первой петроградской коммуны. Их прах тоже перенесли с места расстрела, потому что и это пространство запол-

няет собой юное Бухтарминское море. Вера Николаевна говорила мне, что они — еще живущие коммунары — постарались заказать памятник — бетонную пирамидку над прахом первых коммунаров. А мне кажется, что Ленинград должен бы сделать это. И я еще хотела бы, чтобы Бухтарминская ГЭС, когда вступят в строй все ее агрегаты, была названа «Бухтарминской ГЭС имени петроградских рабочих». Я говорила об этом товарищам на пуске первого агрегата. Им кажется, что это было бы правильно...

И все-таки получилось, что я пишу статью к Новому году. Не люблю я писать статей к случаю. Но уж если так получилось, то это совсем неплохо. Даже хорошо. Даже очень хорошо. В заключение беглых строк, из которых потом, наверное, что-нибудь получится для Главной книги, я хочу поздравить с наступающим Новым годом всех читателей моих, особенно тех, которым я еще не ответила. Я хочу сказать им и всем: с Новым годом семилетия, товарищи, с Новым годом нашей бессмертной Коммуны!

*Январь 1961*

### **...ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА**

О Бородино, Бородино! Кто из русских людей, достигших полного зрелого возраста, не мечтал постоять посреди твоего поля?! Потому что, кажется мне, душа, вдруг увидевшая тебя, в молодости — до всего в тебе не дойдет, не постигнет, а в старости — многое потеряет. В зрелом возрасте нужно стоять посреди тебя, поле Бородино, и оглядывать тебя вокруг, насколько хватит ока.

Я счастлива, что именно сейчас увидела тебя и испытала все, что могла тебе дать сама, и приняла все, что ты могло дать мне. (Здесь опять, как почти во всех книгах своих, я смешиваю «я» и «мы», «мое» и «наше». Я так привыкла — мы, так привыкла очень давно и в особенности в последнее время.)

И вот я была на том поле в канун 150-летней годовщины великого Бородинского сражения, и хотя «круглые» даты никогда не вызывали у меня предпочтения перед обычными днями, этот день, как видно, и у всех русских людей представляет нечто особое, огромное,

и то, что я называю «жить всей жизнью», просилось пройти через душу. Знала я—что-то ушло, что-то потерялось за голубой завесой времени, что-то пришло ко мне со всем могуществом времени настоящего, со всем его сегодняшним синим небом, новыми трагедиями и новыми свершениями. Что-то пришло и тихо и неотступно остановилось рядом со мною. Я знаю, что это такое: это жизнь моя, наша, это недавняя Великая Отечественная война, гудевшая на этом же поле, и я была участницей ее, болью и надеждой ее, твоим рядовым солдатом, о Бородинское поле!

Бородинское поле, Бородинское поле... Кажется, нет в тебе ничего поражающего очей — есть большее: есть то, что поражает самую душу,— необозримое, тихое, чисто русское пространство с небольшими холмами и возвышенностями в зеленой траве, в крестьянских огородах, в небурных ручьях, в кустарниках, окруженное зубчатыми, синими издали полосами лесов, уже подхваченных скромным багрецом и тихой бронзой вблизи. И небо—чудовищно огромное, в тот день полное свирепыми ливневыми тучами, мешающимися с жемчужными облаками.

Но за тучами и за облаками было солнце, которое прорывалось вдруг и озаряло Бородинскую равнину, влажную от дождя, озаряло ослепительным светом, а потом вновь исчезало за тучами, и поле мгновенно погружалось в странный сумеречный свет, и только сурово-прямые лучи, не освещавшие землю, вырывались из бурного неба и прямыми столбами опирались в землю и ее травы, и вновь ветер сгонял свирепые серые тучи, и вновь солнце на несколько мгновений дивно озаряло бородинское пространство. Земля не знала, чем она была, буря или сияние владычило над нею.

Памятники, обелиски, колонны и надгробия над воинами 1812 года и над воинами 1941 года рассыпаны по всему бородинскому простору. Их много, их более тридцати пяти. Чаще всего это обелиски или колонны, издали похожие на огромные свечи, посвященные героям 1812 года, и на них сидят орлы. Орлы там разные, некоторые двуглавые и увенчаны маленькой короной, другие одноглавые, но все держат в когтях своих небольшие лавровые венки. И ни один из них на этом поле не воспринимается как некий герб. Это просто самые бесстрашные и благородные птицы слете-



лись на поле русской славы и до сих пор, растопырив крылья, беззвучно летят и летят над ними, над могилами давно павших героев, над покосами и картофельными огородами, над тихими селениями, над ребятишками, бредущими через это поле в леса по грибы и по орехи. И самый крылатый одноглавый орел, распростерший крылья свои так, что издали похож на маленький старинный самолет, этот орел венчает огромный обелиск на холме при дороге, где располагался командный пункт Кутузова, откуда он руководил великим народным сражением.

О Бородинское поле! Нет, не взор поражаешь ты: в сочетании тишины твоей, и пространства, и всей милой нашей русской природы, и мощного неба, какого нет ни в одной стране, поражает и окрыляет душу дыхание добра и бесстрашия, вечно живая русская сила.

Внутреннее ощущение этой силы нарастало все больше и больше, по мере того как двигались мы от памятника к памятнику, ехали, то и дело останавливаясь у памятников, к Спасо-Бородинскому монастырю, расположенному на месте прославленных Багратионовых флешей, а оттуда к Бородинскому музею, который стоит недалеко от знаменитой курганной высоты (батарея Раевского), центра Бородинского сражения.

Я сказала уже, что на Бородинском поле свыше тридцати пяти памятников, но поле столь велико, что памятники не загромаждают его, и поле совсем не похоже на кладбище, наоборот, оно полно жизни.

Поле русской славы, небо русской славы! Не потому мы называем его так, что здесь лежат десятки тысяч убитых, но потому, что именно здесь нашествие «двунадесяти языков», именно здесь дотоле непобедимый и действительно выдающийся полководец Наполеон был окончательно вымотан, морально поражен, было морально подавлено его войско, и его последующее бегство из Москвы, гибель его армии, гибель его империи категорически определились здесь, на этом поле. И, хотя русские после фактически выигранного сражения оставили Москву, именно здесь, на этом поле, они определились как победители наполеоновской армии и его империи.

Не могу не привести несколько строк из книги, которую называют «Илиадой» русского народа, из «Вой-

ны и мира»: «Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своей бессилии, была одержана русскими под Бородиным».

Мы медленно шли от памятника к памятнику. Солнце то озаряло равнину, то лил мгновенный сумрачный дождь. Тишина была вокруг, только петухи кричали из деревни Бородино. Невозможно было обойти все памятники. Но перед некоторыми я невольно останавливалась и старалась записать высеченные на них надписи. Вот памятник лейб-гвардии Литовскому и Измайловскому полкам. Помимо имен командиров, погибших здесь, и упоминания о безымянных нижних чинах—«имена их, господи ты веши», на цоколе высечена выдержка из донесения генерала Коновницына главнокомандующему Кутузову: «...Я не могу с довольной похвалой отозваться Вашей светлости о примерной неустрашимости, оказанной весь день полками Литовским и Измайловским... осыпаемыми картечами, несмотря на потери, ряды их пребывали в отличном устройстве и все чины, от первого до последнего, один перед другим являли рвение свое умереть, прежде чем уступить неприятелю».

Вот памятник-колонна с надписью: «Славным подвигам 17-й дивизии благодарные потомки». Колонна вся иссечена осколками. В ней крупные рябины, отбитые куски. Видно, били в нее в 1941 году из крупнокалиберных пулеметов или из танков.

1812 год и 1941 год сочетаются здесь в трепетном и величественном соответствии: оба раза люди стояли грудью перед Москвой. Оба раза защищали Родину.

Невозможно рассказать обо всех памятниках, разбросанных по Бородинскому полю...

Но вот и Спасо-Бородинский монастырь. Он был основан вдовой генерала Тучкова-4, одного из героев Бородинского сражения. Перед усыпальницей обелиск. На обелиске надпись: «Доблестным героям Бородина потомки 3-й пехотной дивизии генерала Коновницына». Чуть пониже и чуть покрупнее: «Слава погибшим за Русь православную».

В бывшем монастыре на заре Советской власти была организована сельскохозяйственная коммуна, которая влилась потом в колхоз «Бородино», ныне один из передовых колхозов Московской области.

За оградой монастыря — гранитный памятник-obelisk, увенчанный летящим орлом, с надписью на обелиске из бессмертного и всем известного нам произведения: «...И клятву верности сдержали мы в Бородинской бой». Это памятник гренадерам Киевского, Астраханского, Московского, Фанагорийского и других гренадерских полков... Гренадеры, бомбардиры, уланы, гвардейцы, кирасиры 1812 года; танкисты, артиллеристы, пехотинцы, разведчики и партизаны 1941 года лежат на Бородинском поле.

Напротив памятника русским гренадерам — остатки легендарных Багратионовых флешей. Восемь раз ходили в атаку на Багратионовы флешки отборные наполеоновские войска и с невероятными, смертельными для Наполеона потерями заняли их, а поздно ночью все-таки сами отступили отсюда.

Увы, я не военный историк! Я не могу достаточно живо описать то, что происходило здесь, я только могу отослать читателя к великолепным исследованиям академика Е. Тарле и, конечно же, к бессмертному творению Льва Толстого «Война и мир». И хотя оба эти произведения, главным образом по философии своей, в чем-то противоречат друг другу, в каждом из них читатель почерпнет изумительные, полные глубокого значения для ума и души сведения о героической борьбе на Багратионовых флешах — обо всей Отечественной войне 1812 года. Флешки, те, которые остались сейчас, — это всего-навсего обложенные дерном холмы! Нет в них ничего грозного, кроме их истории... Но как раз за остатками Багратионовых флешей стоит небольшое здание из красного кирпича: это бывшая монастырская гостиница, и ничем бы она не была примечательна, если бы не знать, что здесь несколько дней жил Л. Н. Толстой (тогда еще чернородый и черноволосый, с беспощадными и пристальными глазами гения) в те дни, когда он писал «Войну и мир», как раз главы о Бородинском сражении. Он ходил по этому полю, наверно, так же, как мы сейчас, такое же неистовое, пышное, прекрасное небо было над ним и такой же про-

стор. Еще не было ни одного памятника, но, наверное, остатки редутов и укреплений были явственнее, и в небе, конечно, не пролетело ни одного самолета. А потом по Бородинскому полю пошли, сражались и вечно остались жить на них герои Льва Толстого.

Вот здесь, на батарее Раевского, сидел в своей белой шляпе добродушный и толстый Пьер Безухов и наблюдал бой, а потом помогал бомбардирам подтягивать ящики со снарядами и ужаснулся гредам трупов, которые росли вокруг него, а затем душой открыл для себя и воспринял в душу свою народ.

Вот здесь был смертельно ранен Багратион, а здесь—Андрей Болконский, и здесь же, на перевязочном пункте, открылось ему счастье любви к человеку. Герои толстовской эпопеи как незримые и бессмертные памятники живут на Бородинском поле, и превыше всего он сам, Лев Толстой, потому что Бородинское поле не только поле славы великой русской литературы: ни один из гениев русской литературы не миновал в творениях своих ни Бородинского сражения, ни Отечественной войны 1812 года. И Пушкин, и Лермонтов, и Толстой, и многие другие славные литераторы родились и впервые осознали себя в немислимом зареве «Москвы великодушного пожара», в дыхании народно-бородинского подвига.

И вот, недалеко от батареи Раевского — Бородинский музей. Музей создан еще до столетия Бородина народом и на народные средства, так же как и все памятники в честь 1812 года «сооружены усердием офицеров и нижних чинов, прежде служивших в бригадах, полках и дивизиях тех же названий».

Уже в наше время, в двадцатых годах, было построено новое здание Бородинского музея, где собрано было много реликвий и экспонатов. Зимой 1941 года, отступая с Бородинского поля под натиском Красной Армии, фашисты дотла сожгли музей, расположенный на Бородинском поле, сожгли окрестные села, взорвали некоторые памятники. Ныне это восстановлено руками народа, который чтит свою двойную святыню и мирно трудится на полях кровавых сражений, рядом с могилами воинов.

Перед музеем два бронзовых бюста: Багратиона и Баркляя-де-Толли. Над бюстом Баркляя-де-Толли вздымается до самого неба громадный, многостволь-

ный, с кроной, похожей на шатер, серебристый тополь. На стволе его до сих пор видны железные скобы.

Это своеобразная лесенка, по которой наши советские разведчики подымались на верхушку тополя, чтобы наблюдать за противником, за фашистами. Так прошлое и настоящее переплетаются здесь, создавая нечто вечно живое и непреходящее.

И здесь я вновь хочу сказать о том, что встало и безмолвно остановилось возле меня на Бородинском поле—о своей жизни, о Великой Отечественной войне. Ибо, как память о Севастополе и Сталинграде, память о Бородине—не мертвая память о далеком событии, но живая память о собственной жизни.

Разве можно забыть те дни, когда в Ленинграде, который ожесточенно штурмовали бомбами и покрывали артиллерийскими снарядами фашисты, стало известно, что «они» — фашисты — уже на Бородинском поле?! Те же деревни, именуемые тогда в сводках как «населенные пункты» (НП) — Бородино, Шевардино, Семеновское,— кипели боями, те места, на которых некогда дрались русские гренадеры, кирасиры, бомбардиры и гвардейцы, защищались нашими красноармейцами.

Замерло сердце, ужаснулось близостью врага к Москве и ничем не объяснимой, инстинктивной, темной верой поверило, что уж раз здесь сто двадцать девять лет назад отстояли Россию, то уж теперь-то наверняка отстоят...

О том, как наши красные войска дрались на Бородинском поле в октябре 1941 года—а сражение началось 16 октября 1941 года,— как героически стояли на исторических редутах, например, на батарее Раевского, которая до сих пор сохранила в себе как реликвию ДОТ (долговременную огневую точку), скупко рассказывает маленький зал Бородинского музея. В этом зале — несколько тогдашних плакатов, несколько отобранных у гитлеровских войск знамен, фотографии. Но, по-моему, самая волнующая витрина—это та, что посвящена Павлу Михайловичу Зайцеву, бойцу Красной Армии, который первым ворвался в город Бунцлау, где умер Кутузов. По завещанию Михаила Илларионовича Кутузова, сердце его было погребено в Бунцлау, а тело предано родной земле— в России.

Сержант Зайцев, первым ворвавшийся в город Бунцлау, был убит в тот же день, в том же бою. Он похоронен невдалеке от сердца Кутузова...

На Бородинском поле Наполеон отчаянно дрался за Багратионовы флешы и Раевский редут и хотел выиграть сражение. Кутузов знал, что флешы и редут — это участок сражения, и стремился выиграть войну не только против Наполеона, а также против его империи. В 1941 году Красная Армия, в частности — героическая 32-я дивизия Полосухина, и вся Россия вместе с ними стремились не только отстоять Москву, но выиграть борьбу за человечество, против фашизма, идя на полное его уничтожение.

Музей невелик и скромен. Интересно, что внимание людей всех возрастов больше всего останавливает на себе тогдашнее оружие. Не только трофейные пушки, окружающие аллею, ведущую к музею, но и то, что находится в витринах: картечь, свинец, пули, штыки, сабли, палаши...

...И вот атомный век, термоядерное оружие, которым располагают главнейшие страны мира, и сверхзвуковые реактивные самолеты, и космические корабли — ну что значат перед этим современным, мирсокрушающим оружием картечь, похожая на маленькую ржавую картошку, эти крохотные круглые пули, эти погнувшиеся палаши и сабли?! Это музейные экспонаты, о которых с ласковой усмешкой можно сказать «старое, но грозное оружие» и взглянуть на них с уважением, но также и со снисхождением человека атомного века.

Что значит изображенное в куске панорамы «форсирование оврага и ручья» перед многократными облетами земного шара?! Но слышу, как подростки в Бородинском музее (они-то уж разбираются в оружии, в космосе и т. д.), подталкивая друг друга локтями, шепчут: «Смотри-ка — это картечь, картечь!».

Они шептали не только с благоговением, потому что узнавали строки любимых лермонтовских стихов, но потому, что даже дети чувствуют, какая сила стоит за этими, ныне беспомощными, картечью, ядрами и пулями. За ними стоит оружие, которое именуется любовью к Родине. И это оружие наш народ не только свято хранит, но наполняет его все новой силой, не-

престанно совершенствует его, больше чем оружие термоядерное.

Я вспомнила об этом и о многом другом, бродя тихо по Бородинскому полю среди огородов и лесов, среди травы тимopheевки, склоняющейся от ветра до земли, под огромным, клубящимся в тучах и облаках небом.

О, небо русской славы! Поле русской славы—Бородинское поле! Дважды измерила тобою Россия самоотверженность, отвагу, любовь и непобедимость славных сыновей своих. Эта мера сильнее любого термоядерного оружия, сколько бы смертоносных Хиросим оно ни несло в себе, потому что она—эта мера—сама жизнь.

Народ, дважды победивший на Бородинском поле сильного врага, сделает все, чтобы на человечество не обрушилась больше ни одна Хиросима.

**1961**



## СОДЕРЖАНИЕ

ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ . . . . .	5
БЛОКНОТ ЗА НЕДЕЛЮ . . . . .	170
ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД . . . . .	184
ВЫСТУПЛЕНИЯ. СТАТЬИ. ОЧЕРКИ . . . . .	362
Великие темы современности . . . . .	362
Написать бы такую книгу! . . . . .	365
Испытание миром . . . . .	370
Из выступления на 2-м Всесоюзном съезде СП СССР	377
Стенограмма выступления на собрании московских писателей . . . . .	382
Слово о гуманизме . . . . .	394
Так начиналась легенда . . . . .	406
С Родиной в пути . . . . .	413
Сто сорок солнц . . . . .	418
Вечное пламя . . . . .	424
Пропуск № 23637 . . . . .	427
Постскриптум . . . . .	429
Щедрый талант . . . . .	431
Светоносная сила . . . . .	434
Очерки разных лет . . . . .	437



**Берггольц О. Ф.**

Б 48 Дневные звезды. Говорит Ленинград. ! Сост. М. Ф. Берггольц.— М.: Правда, 1990. (Библиотека журнала «Знамя»).— 480 с.

В книгу писательницы Ольги Берггольц вошли широко известные произведения «Дневные звезды» и «Говорит Ленинград» — документальные повести, повествующие о бес- смертном подвиге ленинградцев в тяжелые 900 дней и но- чей блокады Ленинграда.

В сборник включены также выступления, статьи и очер- ки О. Берггольц разных лет, многие из которых публику- ются впервые.

Б 4702010200—2174 2174—90  
080(02)—90

84 Р 7

*Литературно-художественное издание*

**Берггольц Ольга Федоровна**

**ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ**

**ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД**

Составитель

Мария Федоровна Берггольц

Редактор

В. Ф. Кравченко

Оформление художника

А. И. Неровного

Художественный редактор

В. В. Масленников

Технический редактор

Л. Ф. Молотова

ИБ 2174

---

Сдано в набор 19.04.89. Подписано к печати 12.07.89.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 2.  
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.  
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 25,84.  
Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1 — 200 000).  
Заказ № 003. Цена 1 р. 90 к.

---

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства Удмуртского обкома КПСС, 426000, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 10-й км.

1 р. 90 к.